Гюго Виктор

Девяносто третий год



Часть первая
В море
Книга первая
Содрейский лес

В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов, отправленных в Бретань под началом Сантерра,[1] вел разведку в грозном Содрейском лесу близ Астилле. Около трехсот человек насчитывал теперь этот отряд, больше чем наполовину растаявший в горниле суровой войны. То было после боев под Аргонном, Жемапом,[2] и Вальми[3] когда в первом парижском батальоне из шестисот волонтеров осталось всего двадцать семь человек, во втором – тридцать три и в третьем – пятьдесят семь человек. Памятная година героических битв.

Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было девятьсот двенадцать человек. Каждому батальону придали по три орудия. Сформировали их в спешном порядке. 25 апреля, в бытность Гойе[4] министром юстиции и Бушотта[5] военным министром, секция Бон-Консейль предложила послать в Вандею несколько батальонов волонтеров; член коммуны Любен сделал соответствующее представление; первого мая Сантерр уже мог направить к месту назначения двенадцать тысяч солдат, тридцать полевых орудий и батальон канониров. Построение этих батальонов, возникших молниеносно, оказалось столь разумным, что и посейчас еще служит образцом при определении состава линейных рот; именно тогда впервые изменилось традиционное соотношение между числом солдат и числом унтер-офицеров.

28 апреля Коммуна города Парижа дала своим волонтерам краткий наказ: «Ни пощады, ни снисхождения!» К концу мая из двенадцати тысяч человек, покинувших Париж, восемь тысяч пали в бою.

Батальон, углубившийся в Содрейский лес, готов был к любым неожиданностям. Продвигались не торопясь. Зорко смотрели по сторонам направо и налево, вперед и назад; недаром Клебер[6] говорил: «У солдата и на затылке глаза есть». Шли уже давно. Сколько могло быть времени? День сейчас или ночь? Неизвестно, ибо в таких глухих чащах безраздельно господствует вечерняя мгла и в Содрейском лесу вечно разлит полумрак.

Трагическую славу стяжал себе Содрейский лес. Здесь, среди лесных зарослей, в ноябре 1792 года свершилось первое злодеяние гражданской войны. Из гибельных дебрей Содрея вышел свирепый хромец Мускетон; длинный список убийств, совершенных в здешних лесах и перелесках, вызывает невольную дрожь. Нет на всем свете места страшнее. Углубляясь в чащу, солдаты держались настороже. Все кругом было в цветенье; приходилось пробираться сквозь трепещущую завесу ветвей, изливавших сладостную свежесть молодой листвы; солнечные лучи с трудом пробивались сквозь зеленую мглу; под ногой шпажник, касатик, полевые нарциссы, весенний шафран, безыменные цветочки – предвестники тепла, словно шелковыми нитями и позументом расцвечивали пышный ковер трав, куда вплетался разнообразным узором мох; здесь он рассыпал свои звездочки, там извивался зелеными червячками. Солдаты шагали медленно в полном молчании, с опаской раздвигая кустарник. Над остриями штыков щебетали птицы.

В гуще Содрейского леса некогда, в мирные времена, устраивались охоты на пернатых, ныне здесь шла охота на людей.

Стеной стояли березы, вязы и дубы; под ногой расстилалась ровная земля; густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов; ни тропинки, а если и встречалась случайная тропка, то тут же пропадала; заросли остролиста, терновника, папоротника, шпалеры колючего кустарника, и в десяти шагах невозможно разглядеть человека. Пролетавшая иногда над шатром ветвей цапля или водяная курочка указывали на близость болота.

А люди все шли. Шли навстречу неизвестности, страшась и с тревогой поджидая появления того, кого искали сами.

Время от времени попадались следы привала – выжженная земля, примятая трава, наспех сбитый из палок крест, груда окровавленных ветвей. Вот там готовили ужин, тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть, совсем рядом, залегли в засаде с ружьем в руке? Лес словно вымер. Батальон двигался вперед с удвоенной осмотрительностью. Безлюдье – верный знак опасности. Не видно никого, тем больше оснований остерегаться. Недаром о Содрейском лесе ходила дурная слава.

В таких местах всегда возможна засада.

Тридцать гренадеров, отряженные в разведку под командой сержанта, ушли далеко от основной части отряда. С ними отправилась и батальонная маркитантка. Маркитантки вообще охотно следуют за головным отрядом. Пусть на каждом шагу подстерегает опасность, зато чего только не насмотришься… Любопытство – одно из проявлений женской храбрости.

Вдруг солдаты маленького передового отряда почувствовали тот знакомый охотнику трепет, который предупреждает его о близости звериного логова. Будто слабое дуновение пронеслось по ветвям кустарника, и, казалось, что-то шевельнулось в листве. Идущие впереди подали знак остальным.

Офицеру не для чего командовать действиями разведчика, в которых выслеживание сочетается с поиском; то, что должно быть сделано, делается само собой.

В мгновение ока подозрительное место было окружено и замкнуто в кольцо вскинутых ружей: черную глубь чащи взяли на прицел со всех четырех сторон, и солдаты, держа палец на курке, не отрывая глаз от цели, ждали лишь команды сержанта.

Но маркитантка отважно заглянула под шатер ветвей, и, когда сержант уже готов был отдать команду: «Пли!», раздался ее крик: «Стой!»

Затем, повернувшись к солдатам, она добавила: «Не стреляйте, братцы!»

Она бросилась в кустарник. Солдаты последовали за ней.

И впрямь там кто-то был.

В самой гуще кустарника на краю круглой ямы, где лесорубы, как в печи, пережигают на уголь старые корневища, в просвете расступившихся ветвей, словно в зеленой горнице, полускрытой, как альков, завесою листвы, сидела на мху женщина; к ее обнаженной груди припал младенец, а на коленях у нее покоились две белокурые головки спящих детей постарше.

Это и была засада!

– Что вы здесь делаете? – воскликнула маркитантка.

Женщина молча подняла голову.

– Да вы, видно, с ума сошли, что сюда забрались! – добавила маркитантка.

И заключила:

– Еще минута, и вас бы на месте убили!..

Повернувшись к солдатам, она пояснила:

– Это женщина!

– Будто сами не видим! – сказал кто-то из гренадеров.

– Пойти вот так в лес, чтобы тебя тут же убили, – не унималась маркитантка, – надо ведь такую глупость придумать!

Женщина, оцепенев от страха, с изумлением, словно спросонья, глядела на ружья, сабли, штыки, на страшные лица.

Дети проснулись и захныкали.

– Мне есть хочется, – сказал один.

– Мне страшно, – сказал второй.

Лишь младенец продолжал спокойно сосать материнскую грудь.

Глядя на него, маркитантка проговорила:

– Только ты один не растерялся.

Мать онемела от ужаса.

– Да не бойтесь вы, – крикнул ей сержант, – мы из батальона Красный Колпак!

Женщина задрожала всем телом. Она робко взглянула на сержанта и не увидела на его обветренном лице ничего, кроме густых усов, густых бровей и пылавших, как уголья, глаз.

– Бывший батальон Красный Крест, – пояснила маркитантка.

А сержант добавил:

– Ты кто такая, сударыня, будешь?

Женщина, застыв от ужаса, не спускала с него глаз. Она была худенькая, бледная, еще молодая, в жалком рубище; на голову она, как все бретонские крестьянки, накинула огромный капюшон, а на плечи шерстяное одеяло, подвязанное у шеи веревкой. С равнодушием дикарки она даже не потрудилась прикрыть голую грудь. На избитых в кровь ногах не было ни чулок, ни обуви.

– Нищенка, что ли? – спросил сержант.

В разговор снова вмешалась маркитантка:

– Как звать-то?

Вопрос прозвучал по-солдатски грубо, но в нем чувствовалась чисто женская мягкость.

Женщина невнятно пробормотала в ответ:

– Мишель Флешар.

А маркитантка тем временем ласково гладила шершавой ладонью головку младенца.

– Сколько же нам времени? – спросила она.

Мать не поняла вопроса. Маркитантка повторила:

– Я спрашиваю, сколько ему лет?

– А, – ответила мать. – Полтора годика.

– Смотрите, какие мы взрослые, – воскликнула маркитантка. – Стыдно такому сосать. Придется, видно, мне отучать его от груди. Мы ему супу дадим.

Мать немного успокоилась. Двое старших ребятишек, которые тем временем уже успели окончательно проснуться, смотрели вокруг с любопытством и, казалось, даже не испугались. Уж очень были пышны плюмажи у гренадеров.

– Ах, – вздохнула мать, – они совсем изголодались.

И добавила:

– Молоко у меня пропало.

– Еды им сейчас дадут, – закричал сержант, – да и тебе тоже. Не о том речь. Ты скажи нам, какие у тебя политические убеждения?

Женщина молча смотрела на сержанта.

– Ты что, не слышишь, что ли?

Она пробормотала:

– Меня совсем молодой в монастырь отдали, а потом я вышла замуж, я не монахиня. Святые сестры научили меня говорить по-французски. Нашу деревню сожгли. Вот мы и убежали в чем были, я даже башмаков надеть не успела.

– Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?

– Не знаю.

Но сержант не унимался:

– Пойми ты, сейчас много шпионок развелось. А шпионок, брат, расстреливают. Поняла? Потому отвечай. Ты не цыганка? Где твоя родина?

Женщина глядела на сержанта, будто не понимая его слов. Сержант повторил:

– Где твоя родина?

– Не знаю, – ответила женщина.

– Как так не знаешь! Не знаешь, откуда ты родом?

– Где родилась? Знаю.

– Ну, так и говори, где родилась.

Женщина ответила:

– На ферме Сискуаньяр в приходе Азэ.

Туг пришла очередь удивляться сержанту. Он на минуту задумался. Потом переспросил:

– Как ты сказала?

– Сискуаньяр.

– Так разве твой Сискуаньяр – родина?

– Да, это мой край.

Она нахмурила брови и сказала:

– Теперь я поняла, сударь. Вы из Франции, а я из Бретани.

– Ну и что?

– Это ведь разные края.

– Но родина-то у нас одна, – закричал сержант.

Женщина упрямо повторила:

– Мы сискуаньярские.

– Ну, ладно, Сискуаньяр так Сискуаньяр! Твоя семья оттуда?

– Да!

– А что делают твои родные?

– Умерли все! У меня никого нет.

Сержант, человек красноречивый и любитель поговорить, продолжал допрос:

– У всех есть родные или были, чорт возьми. Ты кто такая? А ну, говори скорее.

Женщина слушала, оцепенев, эти окрики, похожие более на звериное рычанье, чем на человеческую речь.

Маркитантка поняла, что пришло время снова вмешаться в беседу. Она погладила головку грудного младенца и ласково похлопала по щечкам двух старших.

– Как зовут крошку? – спросила она. – По-моему, она у нас девица.

Мать ответила:

– Жоржетта.

– А старшего? Этот сорванец, видать, кавалер.

– Рене-Жан.

– А младшего? Ведь и он тоже настоящий мужчина, гляди какой щекастый.

– Гро-Алэн, – ответила мать.

– Хорошенькие детки, – одобрила маркитантка, – посмотрите только, прямо взрослые.

Но сержант не унимался:

– Отвечай-ка, сударыня. Дом у тебя есть?

– Был дом.

– Где был?

– В Азэ.

– А почему ты дома не сидишь?

– Потому что его сожгли.

– Кто сжег?

– Не знаю. Война сожгла.

– Откуда ты идешь?

– Оттуда.

– А куда идешь?

– Не знаю.

– Говори толком. Кто ты?

– Не знаю.

– Не знаешь, кто ты?

– Да просто бежим мы, спасаемся.

– А какой партии ты сочувствуешь?

– Не знаю.

– Ты синяя? Белая? С кем ты?

– С детьми.

Наступило молчание. Его нарушила маркитантка.

– А вот у меня детей нет, – вздохнула она. – Все некогда было.

Сержант снова приступил к допросу.

– А родители твои? А ну-ка, сударыня, доложи нам о твоих родителях. Меня вот, к примеру, звать Радуб, сам я сержант, я с улицы Шерш-Миди, мать и отец у меня были, я могу сказать, кто такие мои родители. А ты о своих скажи. Говори, кто были твои родители?

– Флешары. Просто Флешары.

– Флешары – это Флешары, а Радубы – это Радубы. Но ведь у человека не только фамилия есть. Чем они занимались, твои родители? Что делали? Что сейчас поделывают? Что они такого нафлешарничали твои Флешары?

– Они пахари. Отец был калека, он не мог работать, после того как сеньор приказал избить его палками; так приказал его сеньор, наш сеньор; он, сеньор, у нас добрый, велел избить отца за то, что отец подстрелил кролика, а ведь за это полагается смерть, но сеньор наш помиловал отца, он сказал: «Хватит с него ста палок», и мой отец с тех пор и стал калекой.

– Ну, а еще что?

– Дед мой был гугенотом. Господин кюре сослал его на галеры. Я тогда еще совсем маленькая была.

– Дальше?

– Свекор мой контрабандой занимался – соль продавал. Король велел его повесить.

– А твой муж чем занимался?

– Воевал.

– За кого?

– За короля.

– А еще за кого?

– Конечно, за своего сеньора.

– А еще за кого?

– Конечно, за господина кюре.

– Чтобы вас всех громом порасшибало! – вдруг заорал один из гренадеров.

Женщина подскочила от страха.

– Видите ли, сударыня, мы парижане, – любезно пояснила маркитантка.

Женщина в испуге сложила руки и воскликнула:

– О господи Иисусе!

– Ну-ну, без суеверий! – прикрикнул сержант.

Маркитантка опустилась рядом с женщиной на траву и усадила к себе на колени старших детей, которые охотно к ней пошли. У ребенка переход от страха к полному доверию совершается в мгновение ока и без всяких видимых причин. Тут действует какое-то непогрешимое чутье.

– Бедняжка вы моя, бретоночка, детки у вас такие милые, просто прелесть. Сейчас скажу, сколько им лет. Вот тому, что побольше, – четыре годочка, а младшему – три. А девица эта, смотри, как сосет, сразу видать – знатная обжора. Ах ты, чудовище этакое! Ты так свою мамашу совсем скушаешь. Вот что, сударыня, вы ничего не бойтесь. Вступайте в наш батальон. Будете вроде меня. Зовут меня Гусарша. Это мое прозвище. Но по мне уж лучше Гусаршей зовите, чем

мамзель Двурогой, как мою матушку. Я – маркитантка, а занятье наше маркитантское такое – разноси себе воду, пусть кругом стреляют и убивают. Хоть тут все на свете перевернись. У нас с вами одинаковая нога, я вам свои башмаки подарю. Десятого августа я была в Париже и подавала напиться самому Вестерману.[7] Ну, доложу я вам, было дело! Видела своими глазами, как гильотинировали Людовика Шестнадцатого, Луи Капета, его теперь так называют. Ух, и не хотелось же ему помирать! Да слушайте вы меня, чорт возьми! Подумать только, еще тринадцатого января жарили ему каштаны, а он сидел со своим семейством да посмеивался! Когда его силком уложили «на доску», как у нас в Париже говорят, он был без сюртука и туфель, только в сорочке, в пикейном жилете, в серых шерстяных штанах и в серых шелковых чулках. Своими глазами видела… Карета, в которой его везли, была выкрашена в зеленый цвет. Послушайтесь меня, идите с нами. У нас в батальоне все славные ребята, будете маркитанткой номер второй, я вас живо делу научу. Нет ничего проще, – дадут тебе большую флягу и колокольчик, а ты расхаживай себе спокойно, ступай в самое пекло. Пули летают, пушки ухают, шум стоит адский, а ты знай кричи: «А ну, сынки, кому пить охота, а ну?» Говорю вам, дело немудреное. Я, например, всем подряд пить подаю. Ей-богу, правда. И синим и белым, хотя сама-то я синяя. И самая настоящая синяя. А пить вот всем подаю. Ведь каждому раненому пить охота. Умирают-то все, и синие и белые, без различия убеждений. Перед смертью людям надо бы помириться. Нелепое это занятие – драться. Идите с нами. Если меня убьют, дело к вам перейдет. Вы не смотрите, что у меня такой вид, я женщина не злая, и солдат из меня неплохой бы вышел. Не бойтесь ничего.

Когда маркитантка закончила свою речь, женщина пробормотала:

– Нашу соседку звали Мари-Жанна, а нашу служанку звали Мари-Клод.

Тем временем сержант Радуб отчитывал гренадера:

– Молчал бы ты! Видишь, даму совсем напугал. Разве при дамах можно чертыхаться?

– Да ведь честному человеку такие слова слушать – прямо нож в сердце, – оправдывался гренадер, – легче на месте помереть, чем на этих самых чудищ заморских глядеть: отца сеньор искалечил, дедушку из-за кюре сослали на галеры, свекра король повесил, а они, дурьи башки, сражаются, устраивают мятежи, готовы дать себя уложить ради своего сеньора, кюре и короля!

Сержант скомандовал:

– В строю не разговаривать!

– Мы и так не разговариваем, сержант, – ответил гренадер, – да все равно с души воротит смотреть, как такая миленькая женщина сама лезет под пули в угоду какому-нибудь попу!

– Гренадер, – оборвал его сержант, – мы здесь не в клубе секции Пик. Не разглагольствуйте.

Он снова повернулся к женщине:

– А где твой муж, сударыня? Что он поделывает? Что с ним сталось?

– Ничего не сталось, потому что его убили.

– Где убили?

– В лесу.

– Когда убили?

– Третьего дня.

– Кто убил?

– Не знаю.

– Не знаешь, кто твоего мужа убил?

– Нет, не знаю.

– Синие убили? Белые убили?

– Ружье убило.

– Третьего дня, говоришь?

– Да.

– А где?

– Около Эрне. Мой муж упал. Вот и все.

– А когда твоего мужа убили, ты что стала делать?

– Пошла с детьми.

– Куда?

– Куда глаза глядят.

– Где спишь?

– На земле.

– Что ешь?

– Ничего.

Сержант скорчил непередаваемо свирепую гримасу, вздернув пышные усы к самому носу.

– Совсем ничего?

– Ежевику рвали, терн прошлогодний, он еще кое-где на кустах уцелел, чернику ели, побеги папоротника.

– Да это все равно, что ничего.

Старший мальчик, поняв, очевидно, о чем идет речь, повторил: «Есть хочу».

Сержант вытащил из кармана краюху хлеба – свое дневное довольствие – и протянул ее женщине. Она разломила краюху пополам и дала по куску старшим детям. Они с жадностью принялись уплетать хлеб.

– А себе не оставила, – проворчал сержант.

– Потому что не голодна, – сказал солдат.

– Потому что мать, – сказал сержант.

Мальчики перестали жевать.

– Пить хочу! – сказал один.

– Пить хочу! – сказал другой.

Маркитантка сняла медную чарку, висевшую у нее на поясе рядом с колокольчиком, отвернула крышку жбана, который она носила через плечо, нацедила несколько капель и поднесла чарку к губам ребенка.

Старший выпил и скорчил гримасу.

Младший выпил и сплюнул.

– А ведь какая вкусная, – сказала маркитантка.

– Ты чем их попотчевала, водкой, что ли? – осведомился сержант.

– И еще какой, самой лучшей! Да разве деревенские понимают!

И она сердито вытерла чарку.

Сержант снова приступил к делу:

– Значит, сударыня, спасаешься?

– Пришлось.

– Бежишь, стало быть, прямиком через поля?

– Сперва я бежала, сколько хватило сил, потом пошла, а потом свалилась.

– Ох вы, бедняжка, – вздохнула маркитантка.

– Люди все дерутся, – пробормотала женщина. – Кругом, куда ни погляди, всюду стреляют. А я не знаю, чего кто хочет. Вот теперь мужа моего убили. Ничего я не понимаю.

Сержант звучно ударил прикладом о землю и сердито прокричал:

– Да будь она проклята, эта война!

– Прошлую ночь мы в дуплине спали.

– Все четверо?

– Все четверо.

– Стоя, значит, спали?

– Стоя.

– Да, – повторил сержант, – стоя спали…

И повернулся к солдатам.

– Товарищи, здешние дикари называют дуплиной большое такое дуплистое дерево, куда человек может втиснуться, словно в ножны. Да с них какой спрос. Ведь не парижане.

– Спать в дупле, – повторила маркитантка, – и еще с тремя ребятишками!

– Да, – промолвил сержант, – когда малыши рев поднимали, вот прохожие, должно быть, дивились, ничего не могли понять, – стоит дерево и кричит: «Папа, мама».

– Слава богу, сейчас хоть лето, – произнесла женщина.

Она опустила долу покорный взгляд, и в глазах ее отразилось огромное удивление перед непостижимым бременем бед.

Солдаты молча стояли вокруг маркитантки.

Несчастная вдова, трое маленьких сироток, бегство, растерянность, одиночество, война, с грозным рыком обложившая весь горизонт, голод, жажда, единственная пища – трава, единственный кров – небо!

Сержант подошел поближе к женщине и поглядел на девочку, прижавшуюся к материнской груди. Малютка выпустила изо рта сосок, повернула головку, уставилась красивыми синими глазками на страшную мохнатую физиономию, склонившуюся над ней, и вдруг улыбнулась.

Сержант быстро выпрямился, крупная слеза проползла по его щеке и, словно жемчужина, повисла на кончике уса.

– Товарищи, – сказал он громогласно, – из всего вышесказанного выходит, что батальону не миновать стать отцом. Как же мы поступим? Возьмем да и усыновим трех малышей.

– Да здравствует Республика! – прокричали гренадеры.

– Решено, – заключил сержант.

И он простер обе руки над матерью и детьми.

– Значит, – сказал он, – отныне это дети батальона Красный Колпак.

Маркитантка даже подпрыгнула от радости.

– Под одним колпаком три головки, – прокричала она.

Потом вдруг зарыдала в голос, поцеловала бедняжку вдову и проговорила:

– А маленькая-то уже и сейчас, видать, шалунья!

– Да здравствует Республика! – снова крикнули гренадеры.

Сержант повернулся к матери:

– Пойдемте, гражданка.

Книга вторая

Корвет «Клеймор»

I. Англия и Франция в смешении

Весной 1793 года, в те дни, когда враги яростно рвались к границам Франции, а сама Франция находила трагическую усладу в падении жирондистов, вот что происходило в Ламаншском архипелаге.

1 июня, приблизительно за час до захода солнца, на острове Джерсей, в маленькой пустынной бухточке Боннюи, готовился к отплытию корвет под прикрытием тумана, столь же верного покровителя беглецов, сколь опасного врага мирных мореплавателей. Судно это, обслуживаемое французским экипажем, числилось в составе английской флотилии, которая несла службу охраны у восточной оконечности острова. Английской флотилией командовал принц Латур Овернький, из рода герцогов Бульонских, и именно по его приказу корвет был отряжен для выполнения важного и спешного поручения.

Этот корабль, значившийся в списках английского морского ведомства под названием «Клеймор», на первый взгляд казался обычным транспортным судном, хотя в действительности являлся военным корветом. По виду это было прочное, тяжеловесное торговое судно, но горе тому, кто доверился бы внешним приметам. При постройке «Клеймора» преследовалась двоякая цель – хитрость и сила: если возможно – обмануть, если необходимо – драться. Чтобы успешно справиться с предстоящей задачей, обычный груз заменили тридцатью крупнокалиберными каронадами, занявшими все межпалубное пространство. В предвидении непогоды, а вернее, стремясь придать корвету мирное обличье торгового судна, все тридцать орудий принайтовили, или, проще говоря, прикрепили тройными цепями, причем жерла их упирались в закрытые ставни портов; самый зоркий глаз не обнаружил бы ничего подозрительного, тем более что окна и люки тоже были задраены; корвет словно надел на себя маску. Каронады были на лафетах с бронзовыми колесами старинного образца – со спицами. Как правило, на военных корветах орудия размещаются лишь на верхней палубе, однако «Клеймор», предназначенный для внезапных нападений и засад, не имел открытой батареи, но, как мы уже говорили, мог нести целую батарею на нижней палубе. При своих внушительных размерах и относительной тяжеловесности «Клеймор» был достаточно быстроходен и среди всех прочих судов английского флота славился прочностью корпуса, так что в бою стоил целого фрегата, хотя его низкая бизань-мачта несла только одну бизань. Руль, редкой по тем временам, замысловатой закругленной формы, – творение саутгемптонских верфей, – обошелся в пятьдесят фунтов стерлингов.

Экипаж «Клеймора» состоял из французских офицеров-эмигрантов и французских матросов-дезертиров. Людей отбирали тщательно: каждый принятый на борт корвета должен был быть хорошим моряком, хорошим воином и хорошим роялистом. Каждый был трижды фанатиком – фанатически преданным корвету, шпаге и королю. На случай высадки экипажу корвета придали полубатальон морской пехоты.

Корветом командовал граф дю Буабертло, один из лучших офицеров старого королевского флота, кавалер ордена Святого Людовика; его старшим помощником был шевалье де Ла Вьевиль, который командовал той самой гвардейской ротой, где Гош начинал свою службу в качестве сержанта; лоцманом был самый опытный из всех лоцманов Джерсея – Филипп Гакуаль.

По всей видимости, корвету предстояло совершить незаурядные дела. Недаром «Клеймор» принял на борт человека, один вид которого говорил, что его стихия – риск и приключения. То был высокий, еще крепкий старик, не согбенный годами, с суровым лицом, которое казалось и юным и старческим одновременно, что затрудняло определение его возраста; пусть такому человеку много лет, зато у него много сил, пусть поседели виски, зато глаза мечут молнии; сорок – по богатырскому сложению и восемьдесят – по уверенной в себе властности. В ту минуту, когда новый пассажир вступил на палубу, ветер отогнул край его плаща и открыл взорам широкие штаны, гетры и куртку из козьей шкуры всклокоченным мехом внутрь, расшитую по коже позументом, – традиционный наряд бретонского крестьянина. Такие

куртки в Бретани раньше носили и в будни и в праздники, смотря по надобности, выворачивая наружу то мехом, то расшитой стороной, так что простая овчина становилась в воскресенье праздничным нарядом. Чтобы довершить сходство с крестьянской одеждой, костюм старика был с умыслом потерт на локтях и коленях и выглядел заношенным, а плащ из грубой ткани походил на обычное рубище рыбака. Голову старика венчала круглая по моде того времени шляпа с высокой тульей и широкими полями; при желании ее можно было носить и на крестьянский и на военный манер – в первом случае поля опускались, а во втором достаточно было приподнять один край и пристегнуть к тулье петлицей с кокардой. Сейчас шляпа была надета на крестьянский лад, без кокарды и петлицы.

Лорд Балькаррас, губернатор острова, и принц де Латур Оверньский лично сопровождали старика на корабль. Тайный агент эмигрантской знати, некто Желамбр, состоявший прежде в охране графа д'Артуа,[8] самолично следил за уборкой каюты для нового пассажира и, пренебрегши своим благородным происхождением, простер внимание и заботливость до того, что сам нес за стариком его баул. Отбывая обратно на сушу, г-н де Желамбр склонился перед мнимым крестьянином в низком поклоне; лорд Балькаррас сказал ему: «Желаю успеха, генерал», а принц Оверньский добавил: «До скорой встречи, кузен!»

Матросы «Клеймора» тут же окрестили нового пассажира «Мужиком», и эта кличка то и дело повторялась в тех обрывистых фразах, которые заменяют морякам беседу, но кто он, откуда взялся и зачем попал на судно, оставалось для них загадкой; однако они быстро поняли, что этот «Мужик» такой же мужик, как корвет – торговое судно.

Ветра почти не было. «Клеймор» вышел из бухты Боннюи, миновал Булэй-Бэй и некоторое время, прежде чем взять курс в открытое море, шел в виду берега; затем, постепенно уменьшаясь в размерах, судно исчезло во мраке.

Час спустя, вернувшись к себе в Сент-Элье, Желамбр отправил с саутгемптонским курьером в штаб-квартиру герцога Йоркского[9] следующие строки, адресованные графу д'Артуа:

«Ваше высочество, отъезд состоялся. Успех обеспечен. Через неделю все побережье от Гранвиля до Сен-Мало будет объято пламенем».

А за четыре дня до того тайный эмиссар вручил депутату от Марны гражданину Приеру,[10] прикомандированному с особыми полномочиями к Шербургской береговой армии и квартирующему в Гранвиле, послание, написанное той же рукой, что и первое, и гласившее:

«Гражданин депутат, 1 июня, с началом прилива, снимется с якоря корвет „Клеймор", несущий на себе батарею, скрытую на нижней палубе, цель его плавания – высадить на французский берег некоего человека, чьи приметы приводятся ниже: рост высокий, возраст пожилой, волосы седые, одежда крестьянская, руки аристократические. Завтра постараюсь сообщить более точные сведения. Высадка намечена на утро 2 июня. Поставьте в известность эскадру, захватите корвет, прикажите гильотинировать вышеозначенного человека».

II. Корабль и пассажир, скрытые во мраке

Вместо того чтобы идти на юг и держать путь на Сент-Катрин, корвет взял курс на север, потом повернул на запад и смело вошел в пролив между Серком и Джерсеем, известный под именем «Пролив бедствий». Ни на левом, ни на правом берегу в те времена маяков не было.

Солнце давно уже село; ночь выдалась темная, темнее, чем обычно; вот-вот должна была появиться луна, но тяжелые тучи – редкое явление в период солнцестояния и частое в дни равноденствия – затянули небосвод, и, судя по всем признакам, луна должна была проглянуть, уже склонившись к горизонту, лишь перед самым заходом. Тучи нависали все ниже, обволакивая морскую гладь пеленой тумана.

Эта темень как нельзя более благоприятствовала «Клеймору».

В намерения лоцмана Гакуаля входило оставить Джерсей слева, а Гернсей справа и, смелым маневром пройдя между Гануа и Дуврами, достичь любой бухты на побережье Сен-Мало, другими словами, он избрал путь хотя и более длинный, чем на Менкье, зато и более безопасный, ибо французская эскадра, следуя приказу, особенно зорко охраняла берега между Сент-Элье и Гранвилем.

При попутном ветре, если ничего не произойдет, если можно будет поставить все паруса, Гакуаль надеялся достичь французского берега еще на рассвете.

Все шло благополучно, корвет обогнул мыс Гро-Нэ; однако к девяти часам вечера погодка, по выражению моряков, зашалила: начался ветер, и поднялась волна; но ветер был попутный, а волна хоть и разгулялась, но не бушевала. Все же, при особенно сильном ударе о нос корвета, волны хлестали за борт.

«Мужик», коего лорд Балькаррас именовал «генералом», а принц Овернький «кузеном», обладал, что называется, «морскими ногами»; он спокойно и важно, будто не замечая качки, расхаживал по палубе. Время от времени он вынимал из кармана куртки плитку шоколада, отламывал кусочек и клал в рот; этот седовласый старец сохранил все зубы до единого.

Он ни с кем не вступал в беседу, только изредка бросал вполголоса и отрывисто несколько слов капитану, который выслушивал его замечания с почтительным видом, словно не он, капитан, а загадочный пассажир был подлинным командиром корабля.

Подчиняясь руке опытного лоцмана, «Клеймор» прошел незамеченным в тумане вдоль длинного крутого северного берега Джерсея, держась как можно ближе к суше, чтобы не натолкнуться на грозный риф Пьер-де-Лик, лежащий в самой середине пролива между Джерсеем и Серком. Гакуаль, не покидая руля, время от времени выкрикивал названия оставшихся позади рифов – Грев-де-Лик, Гро-Нэ, Племон – и вел корвет среди разветвленной их гряды почти ощупью, но уверенно, будто находился у себя дома, будто ему были открыты все тайны океана. Фонаря на носу корвета не зажгли, опасаясь обнаружить свое присутствие в этих зорко охраняемых водах. Все благословляли туман. Уже миновали Гранд-Этап, но сквозь туманную пелену еле обозначался высокий силуэт Пинакля. На колокольне Сент-Уэн пробило десять, и на корвете отчетливо прозвучал каждый удар – верный знак того, что ветер дует в корму. Все попрежнему шло хорошо, только волнение усилилось, как и обычно вблизи Корбьера.

В начале одиннадцатого часа граф дю Буабертло и шевалье де Ла Вьевиль проводили старика в крестьянском наряде до его каюты, вернее до капитанской каюты, которую тот предоставил к услугам гостя. Уже приоткрыв дверь, старик вдруг остановился и сказал вполголоса:

– Надеюсь, господа, вам не нужно напоминать, что тайна должна быть сохранена свято. Полное молчание до той минуты, пока не произойдет окончательный взрыв. Лишь вам одним известно мое имя.

– Мы унесем его с собой в могилу, – ответил дю Буабертло.

– А я, – прервал старик, – не открою его даже в свой смертный час.

И дверь каюты затворилась.

III. Знать и простолюдины в смешении

Капитан и его помощник поднялись на палубу и зашагали рядом, о чем-то беседуя. Видимо, они говорили о пассажире, и вот каков был этот ночной разговор, заглушаемый ветром.

Дю Буабертло вполголоса сказал Ла Вьевилю:

– Скоро мы увидим, каков он в роли вождя.

Ла Вьевиль возразил:

– Что бы там ни было, он – принц.

– Как сказать!

– Во Франции – дворянин, в Бретани – принц.

– Точно так же, как Тремуйли.[11] и Роганы[12]

– Кстати, он с ними в свойстве.

Буабертло продолжал:

– Во Франции и на выездах у короля он маркиз, как я – граф и как вы – шевалье.

– Где теперь эти выезды! – воскликнул Ла Вьевиль. – Началось с кареты, а кончилось повозкой палача.

Наступило молчание.

Первым нарушил его Буабертло.

– За неимением французского принца приходится довольствоваться принцем бретонским.

– За неимением орла… и ворон хорош.

– Мне куда больше был бы по душе ястреб, – возразил Буабертло.

На что Ла Вьевиль ответил:

– Еще бы! Клюв и когти.

– Увидим.

– Да, – произнес Ла Вьевиль, – давно пора подумать о вожде. Я лично вполне разделяю девиз Тентениака: «Вождя и пороха!» Так вот, капитан, я знаю приблизительно всех кандидатов в вожди, как пригодных для этой цели, так и вовсе непригодных, знаю вождей вчерашних, сегодняшних и завтрашних, и ни в одном нет настоящей военной жилки, а она-то нам как раз и нужна. Что требуется для этой дьявольской Вандеи? Чтобы генерал был одновременно и испытанным крючкотвором: пусть изводит врага, пусть оттягает сегодня мельницу, завтра куст, послезавтра ров, простые булыжники и те пусть оттягает, пусть ставит ловушки, пусть все оборачивает себе на пользу, пусть крушит всех и вся, пусть примерно карает, пусть не знает ни сна, ни жалости. Сейчас в их мужицком воинстве есть герои, но вождей нет. Д'Эльбе.[13] – полнейшее ничтожество, Лескюр[14] – болен, Боншан[15] – миндальничает; он добряк, что уж совсем глупо. Ларошжаклен[16]незаменим на вторых ролях; Сильз хорош лишь для регулярных действий и негоден для партизанской войны; Катлино[17] – простодушный ломовик; Стоффле[18] – хитрый лесной сторож, Берар – бездарен, Буленвилье – шут гороховый, Шаретт[19] – страшен. Я не говорю уже о нашем цирюльнике Гастоне[20] В самом деле, не понимаю, почему мы в конце концов поносим революцию, так ли уж велико различие между республиканцами и нами, коль скоро у нас дворянами командуют господа брадобреи?

– А все потому, что эта проклятая революция и нас самих тоже портит.

– Да, тело Франции изъедено проказой.

– Проказой третьего сословия, – подхватил дю Буабертло. – Одна надежда на помощь Англии.

– И она поможет, не сомневайтесь, капитан.

– Поможет завтра, а худо-то уже сегодня.

– Согласен, изо всех углов лезет смерд; раз монархия назначает главнокомандующим Стоффле, лесника господина де Молеврие, нам нет никаких оснований завидовать республике, где в министрах сидит Паш,[21] сын швейцара герцога де Кастри. Да, в Вандейской войне будут презабавные встречи, – с одной стороны – пивовар Сантерр, с другой – цирюльник Гастон.

– А знаете, дорогой Вьевиль, я ценю Гастона, он неплохо показал себя, когда командовал войсками при Гименэ. Без дальних слов велел расстрелять триста синих да еще приказал им предварительно вырыть себе братскую могилу.

– Что ж, в добрый час, но и я бы с этим делом не хуже его справился.

– Конечно, справились бы. Да и я тоже.

– Видите ли, – продолжал Ла Вьевиль, – великие военные деяния требуют в качестве исполнителя человека благородной крови. Такие деяния по плечу рыцарям, а не цирюльникам.

– Однакож и в третьем сословии встречаются приличные люди, – возразил дю Буабертло. – Вспомните хотя бы часовщика Жоли.[22] Во Фландрском полку он был простым сержантом, а сейчас он вождь вандейцев, командует одним из береговых отрядов, у него сын республиканец; отец служит у белых, сын у синих. Встречаются. Дерутся. И вот отец берет сына в плен и стреляет в него в упор.

– Да, это хорошо, – подтвердил Ла Вьевиль.

– Настоящий Брут,[23] Брут-роялист, – сказал дю Буабертло.

– И все-таки тяжело идти в бой под командованием разных Кокро,[24] Жан-Жанов, каких-то Муленов, Фокаров, Бужю, Шуппов.

– То же чувство, дражайший шевалье, испытывают и в другом лагере. В наших рядах сотни буржуа, в их рядах сотни дворян. Неужели вы полагаете, что санкюлоты,[25] в восторге от того, что ими командует граф де Канкло[26] виконт де Миранда,[27] виконт де Богарне,[28] граф де Валанс,[29] маркиз де Кюстин.[30] и герцог Бирон[31].

– Да, путаница изрядная.

– Не забудьте еще герцога Шартрского![32]

– Сына Филиппа Эгалитэ.[33] Когда Филипп, по-вашему мнению, станет королем?

– Никогда.

– А все же он подымается к трону. Его возносят его собственные преступления и тянут вниз собственные пороки, – добавил дю Буабертло.

Вновь воцарилось молчание, которое прервал капитан:

– А ведь он был бы весьма не прочь пойти на мировую. Приезжал нарочно повидаться с королем. Я как раз находился в Версале, когда ему плюнули вслед.

– С главной лестницы?

– Да.

– И хорошо сделали.

– У нас его прозвали «Бурбон-Бубон».

– Очень метко, плешивый, прыщавый, цареубийца, фу, пакость какая!

И добавил:

– Мне довелось быть с ним в бою при Уэссане.

– На корвете «Святой дух»?

– Да.

– Если бы он держался на ветре, следуя сигналу адмирала д'Орвилье, англичане ни за что бы не прорвались.

– Совершенно справедливо.

– А правда, что он со страха забился в трюм?

– Болтовня. Но такой слух распространить не вредно.

И Ла Вьевиль громко расхохотался.

– Есть еще на свете дураки, – продолжал капитан. – Возьмите хотя бы того же Буленвилье, о котором вы сейчас говорили. Я его знал, хорошо знал. Сначала крестьяне были вооружены пиками, а он забрал себе в голову превратить их в отряды копейщиков. Решил обучить их действовать пикой по всем правилам, как положено в воинских уставах. Мечтал превратить дикарей в регулярное войско. Старался научить их всем видам построения батальонных каре. Обучал их старинному военному языку: вместо командира отделения говорил «капдэскадр», как называли капралов во времена Людовика Четырнадцатого. Уверял, что создаст регулярную часть – из этих-то браконьеров; сформировал роты, и сержантам полагалось каждый вечер становиться в кружок; сержант шефской роты сообщал на ухо сержанту второй роты пароль и отзыв, тот передавал их тем же путем соседу, тот следующему и так далее. Он разжаловал офицера за то, что тот, получая от сержанта пароль, не встал и не снял шляпу. Судите сами, что там творилось. Этот дуралей никак не мог понять одного: мужики хотят, чтобы ими и командовали по-мужичьи, и что нельзя приучить к казарме того, кто привык жить в лесу. Поверьте, я знаю вашего Буленвилье.

Они молча сделали несколько шагов, думая каждый о своем.

Затем разговор возобновился.

– Кстати, подтвердились слухи о том, что Дампьер[34] убит?

– Подтвердились, капитан.

– На подступах к Конде?

– В лагере Памар. Пушечным ядром.

Дю Буабертло вздохнул:

– Граф Дампьер. Вот еще один из наших, который перешел на их сторону.

– Ну и чорт с ним! – сказал Ла Вьевиль.

– А где их высочества принцессы?

– В Триесте.

– Все еще в Триесте?

– Да.

И Ла Вьевиль воскликнул:

– Ах, эта республика! Сколько бед! Было бы из-за чего! И подумать только, что революция началась из-за какого-то дефицита в несколько несчастных миллионов!

– Ничтожные причины самые опасные, – возразил Буабертло.

– Все идет к чорту, – сказал Ла Вьевиль.

– Согласен. Ларуари,[35] умер, дю Дрене[36] – совершенный дурак. А возьмите наших пастырей Печального Образа, всех этих зачинщиков, всех этих Куси[37] епископа Рошельского, возьмите Бопуаля Сент-Олэра,[38] епископа Пуатье, Мерси,[39] епископа Люсонского, любовника госпожи де Лэшасери…

– Которая, да было бы вам известно, зовется Серванто.[40] Лэшасери – название ее поместий.

– А этот лжеепископ из Агры, этот кюре неизвестно даже какого прихода.

– Прихода Доль. А звать его Гийо де Фольвиль.[41] Он, кстати сказать, человек очень храбрый и хорошо дерется.

– Нам нужны солдаты, зачем нам попы! Да еще епископы, которые вовсе и не епископы даже! И генералы, которые вовсе и не генералы!

Ла Вьевиль прервал капитана:

– Есть у вас в каюте последний номер «Монитера»?[42]

– Есть.

– Интересно, что нынче дают в Париже?

– «Адель и Полэн» и «Пещеру».

– Вот бы посмотреть!

– Еще посмотрите. Через месяц мы будем в Париже.

И после минутного раздумья дю Буабертло добавил:

– Или чуть позднее. Господин Уиндхэм.[43] сказал это лорду Гуду[44]

– Значит, капитан, наши дела не так еще плохи?

– Все идет превосходно, чорт возьми, только в Вандее надо воевать лучше.

Ла Вьевиль покачал головой.

– Скажите, капитан, – спросил он, – высадим мы морскую пехоту?

– Высадим, если побережье за нас, и не высадим, если оно нам враждебно. Ведя войну, иной раз надо вламываться прямо в двери, а другой раз полезнее для дела проскользнуть бочком в щелку. Когда в стране идет гражданская война, необходимо держать наготове отмычку. Постараемся сделать все, что возможно. Но главное – вождь.

И задумчиво добавил:

– Скажите, Ла Вьевиль, что вы думаете о Дьези?[45]

– О младшем?

– Да.

– В качестве военачальника?

– Да.

– Он годен лишь для регулярных действий и открытого боя. А здешние дебри признают только крестьянина.

– Следовательно, придется вам довольствоваться генералами Стоффле и Катлино.

Подумав с минуту, Ла Вьевиль сказал:

– Тут нужен принц. Французский принц, принц крови. Словом, настоящий принц.

– Почему же? Раз принц…

– Значит, трус. Знаю, знаю, капитан. Но все равно принц необходим, хотя бы для того, чтобы поразить воображение этого мужичья.

– Но, дорогой шевалье, принцы что-то не спешат.

– Обойдемся и без них.

Дю Буабертло машинально потер ладонью лоб, словно это помогало пробиться наружу нужной мысли.

– Что ж, придется испытать нашего генерала, – произнес он.

– Во всяком случае, он чистокровный дворянин.

– Значит, по-вашему, он подойдет?

– Если только окажется хорош, – ответил Ла Вьевиль.

– То есть беспощаден, – уточнил дю Буабертло.

Граф и шевалье переглянулись.

– Господин дю Буабертло, вы сказали сейчас настоящее слово. Беспощадный, именно это нам и требуется. Наша война не ведает жалости. Пришел час кровожадных. Цареубийцы отрубили голову Людовику Шестнадцатому, мы четвертуем цареубийц. Да, нам нужен генерал, генерал Палач. В Анжу и в верхнем Пуату командиры играют в добряков, по уши увязли в великодушии, и, как видите, толку никакого. А в Марэ и в Ретце командиры умели быть жестокосердными, и все идет отлично. Только потому, что Шаретт жесток, он держится против Паррена.[46] Одна гиена стоит другой.

Буабертло не успел ответить. Последние слова Ла Вьевиля заглушил отчаянный крик, сопровождаемый шумом, не похожим на все существующие шумы. Крики и шум доносились с нижней палубы.

Капитан и помощник бросились туда, но не смогли пробиться. Орудийная прислуга в ужасе лезла наверх по трапу.

Произошло нечто ужасное.

IV. Tormentum belli[47]

Одна из каронад, входящих в состав батареи – двадцатичетырехфунтовое орудие, сорвалось с цепей.

Не может быть на море катастрофы грознее. И не может быть бедствия ужаснее для военного судна, идущего полным ходом в открытое море.

Пушка, освободившаяся от оков, в мгновение ока превращается в сказочного зверя. Мертвая вещь становится чудовищем. Эта махина скользит на колесах, приобретая вдруг сходство с биллиардным шаром, кренится в ритм бортовой качки, ныряет в ритм качки килевой, бросается вперед, откатывается назад, замирает на месте и, словно подумав с минуту, вновь приходит в движение; подобно стреле, она проносится от борта к борту корабля, кружится, подкрадывается, снова убегает, становится на дыбы, сметает все на своем пути, крушит, разит, несет смерть и разрушение. Это таран, который бьет в стену по собственной прихоти. Добавьте к тому же – таран чугунный, а стена деревянная. Это освобождает себя материя, это мстит человеку его извечный раб, будто вся злоба, что живет в «неодушевленных», как мы говорим, предметах, разом вырывается наружу. Это она, слепая материя, мрачно берет реванш, и нет ничего беспощаднее ее гнева. Эта осатаневшая глыба вдруг приобретает гибкость пантеры, она тяжеловесна, как слон, проворна, как мышь, неумолима, как взмах топора, изменчива, как морская зыбь, неожиданна, как зигзаг молнии, глуха, как могильный склеп. Весу в ней десять тысяч фунтов, а скачет она с легкостью детского мяча. Вихревое круговращение и резкие повороты под прямым углом. Что делать? Как с ней справиться? Буря утихнет, циклон пронесется мимо, ветер уляжется, взамен сломанной мачты вырастет новая, пробоину, куда хлещет вода, задраят, пламя потушат, но как обуздать этого бронзового хищника? Как к нему подступиться? Можно лаской уговорить свирепого пса, можно ошеломить быка, усыпить удава, обратить в бегство тигра, смягчить гнев льва; но все бессильно против этого чудовища – против сорвавшейся с цепей пушки. Убить вы ее не можете – она и так мертва. И в то же время она живет. Живет своей зловещей жизнью, которая дана ей необузданностью стихий. Пол ей не опора, он лишь подбрасывает ее. Ее раскачивает корабль, корабль раскачивают волны, а волны раскачивает ветер. Она убийца и в то же время игрушка в чужих руках. Она сама во власти корабля, волн, ветра, у них заимствует она свое наводящее ужас бытие. Как разъять звенья этой цепи? Как обуздать этот чудовищный механизм катастрофы? Как предугадать кривую бега, повороты, резкие остановки, внезапные удары? Каждый такой удар по борту может стать причиной крушения. Как разгадать хитрости каронады? Ведь это словно выпущенный из жерла снаряд, который заупрямился, задумал что-то свое и ежесекундно меняет на ходу данное ему первоначально направление. Как же остановить его, если нельзя к нему приблизиться? Страшное орудие бесчинствует, бросается напролом, отступает вспять, разит налево, разит направо, бежит, проносится мимо, путает все расчеты, сметает все препятствия, давит людей, как мух. И трагизм положения усугубляется еще тем, что пол ни на минуту не остается в покое. Как вести бой на наклонной плоскости, которая норовит еще ускользнуть из-под ваших ног? Представьте, что в чреве судна заточена молния, ищущая выхода, гром, гремящий в минуту землетрясения.

Через секунду весь экипаж был на ногах. Виновником происшествия оказался канонир, который небрежно завинтил гайку пушечной цепи и не закрепил как следует четыре колеса; вследствие этого подушка ездила по раме, станок расшатался, и в конце концов брус ослаб.

Пушка неустойчиво держалась на лафете, и канат лопнул. В ту пору еще не вошел в употребление постоянный брюк, тормозящий откат орудия. В ставень порты ударила волна, плохо прикрепленная каронада откатилась, порвала цепь и грозно двинулась по нижней палубе.

Чтобы лучше представить себе это удивительное скольжение, вспомните, какой извилистый путь пролагает себе на оконном стекле дождевая капля.

В ту минуту, когда лопнула цепь, все канониры находились при батарее. Кучками по нескольку человек или в одиночку они выполняли ту работу, которая требуется от каждого моряка в предвидении боевой тревоги. Повинуясь килевой качке, каронада ворвалась в толпу людей и первым же ударом убила четырех человек, потом, послушная боковой качке, отпрянула назад, перерезала, пополам пятую жертву и сбила с лафета одно из орудий левого борта. Вот почему на верхней палубе Буабертло и Ла Вьевиль услышали такой отчаянный крик. Вся прислуга бросилась к трапу. Батарея сразу опустела.

Огромное орудие осталось одно. Осталось на свободе. Оно стало само себе господином, а также господином всего корабля, оно могло сделать с ним все, что заблагорассудится. Экипаж «Клеймора», с улыбкой встречавший вражеские ядра, задрожал от страха. Невозможно передать ужас, охвативший все судно.

Капитан дю Буабертло и его помощник Ла Вьевиль – два отважных воина – остановились на верхней ступеньке трапа и, побледнев как полотно, молча смотрели вниз, не решаясь действовать. Вдруг кто-то, отстранив их резким движением локтя, спустился на батарейную палубу.

Это был пассажир, прозванный «Мужиком», о котором они говорили за минуту до происшествия.

Добравшись до последней ступеньки трапа, он тоже остановился.

V. Vis et vir[48]

Пушка беспрепятственно разгуливала по нижней палубе. Невольно приходила на мысль апокалиптическая колесница. Фонарь, раскачивавшийся под одним из бимсов, еще усугублял фантастичность этой картины головокружительной сменой света и тени. Пушка то попадала в полосу света, вся ярко черная, то скрывалась во мраке, тускло и белесо поблескивая оттуда, и вихревой бег скрадывал ее очертания.

Каронада продолжала расправляться с кораблем. Она разбила еще четыре орудия и в двух местах повредила обшивку корабля, к счастью выше ватерлинии, но при шквальном ветре в пробоины могла хлынуть вода. С какой-то неестественной яростью обрушивалась каронада на корпус судна. Тимберсы еще держались, так как изогнутое дерево обладает редкой прочностью, но даже и они начали предательски трещать, словно под ударами исполинской дубины, которая била направо, налево, во все стороны одновременно, являя собой удивительный образ вездесущности. Представьте себе дробинку, которую трясут в пустой бутылке: даже выписываемые ею кривые и те уступали в своей быстроте и неожиданности прыжкам чудовища. Четыре колеса каронады многократно прошлись по телам убитых ею людей, рассекли их на части, измололи, искромсали на десятки кусков, которые перекатывались по нижней палубе; казалось, мертвые головы вопят; ручейки крови то и дело меняли свое направление в зависимости от качки. Внутренняя обшивка корвета, поврежденная во многих местах, начинала поддаваться. Все судно сверху донизу наполнял дьявольский грохот.

Капитан быстро обрел свое обычное хладнокровие, и по его приказанию через люк стали швырять вниз все, что могло задержать или хотя бы замедлить бешеный бег каронады, – матрацы, койки, запасные паруса, бухты тросов, матросские мешки, кипы с фальшивыми ассигнатами, которыми были завалены все трюмы корвета, ибо эта подлая выдумка англичан считалась законным приемом войны.

Но какую пользу могло принести все это тряпье, если ни один человек не решался спуститься и разместить, как надо, сброшенные вниз предметы? Через несколько минут вся нижняя палуба белела, словно ее усеяли мельчайшие обрывки корпии.

Море волновалось ровно настолько, чтобы усугубить размеры бедствия. Сильная буря пришлась бы кстати; налетевший ураган мог бы перевернуть пушку колесами вверх, а тогда уже не составило бы труда укротить ее.

Тем временем разрушения становились все серьезнее. Уже треснули и надломились мачты, которые, опираясь о киль корабля, проходят через все палубы, наподобие толстых и круглых колонн. Под судорожными ударами пушки фок-мачта дала трещину и начала поддаваться грот-мачта. Батарея пришла в полное расстройство. Десять орудий из тридцати выбыли из строя; с каждой минутой увеличивалось число пробоин в обшивке корвета, и он дал течь.

Старик пассажир застыл на нижней ступеньке трапа, словно каменное изваяние. Суровым взглядом следил он за разрушениями. Но не двигался с места. Казалось, было выше сил человека сделать хоть шаг по батарейной палубе.

Каждый поворот непокорной каронады приближал гибель судна. Еще минута, другая, и кораблекрушение неминуемо.

Приходилось или погибнуть, или предотвратить катастрофу, что-то предпринять. Но что?

Перед человеком был могучий противник – пушка.

Требовалось остановить эту обезумевшую глыбу металла.

Требовалось схватить на лету эту молнию.

Требовалось обуздать этот шквал.

Буабертло обратился к Ла Вьевилю:

– Вы верите в бога, шевалье?

Ла Вьевиль ответил:

– Да. Нет. Иногда верю.

– Во время бури?

– Да. И в такие вот минуты – тоже.

– Вы правы. Только господь бог может нас спасти, – промолвил Буабертло.

Все молча следили за лязгающей и гремящей каронадой.

Волны били в борт корабля, – на каждый удар пушки отвечало ударом море. Словно два молота состязались в силе.

Вдруг на этой неприступной арене, где на свободе металась пушка, появился человек с металлическим брусом в руках. Это был виновник катастрофы, канонир, повинный в небрежности, приведшей к бедствию, хозяин каронады. Содеяв зло, он решил исправить его. Зажав в одной руке ганшпуг, а в другой конец с затяжной петлей, он ловко соскочил в люк, прямо на нижнюю палубу.

И вот начался страшный поединок – зрелище поистине титаническое: борьба пушки со своим канониром, битва материи и разума, бой неодушевленного предмета с человеком.

Человек притаился в углу, держа наготове ганшпуг и конец; прислонившись спиной к тимберсу, прочно стоя на крепких, словно стальных, ногах, смертельно бледный, трагически спокойный, словно вросший в палубу, он ждал.

Он ждал, чтобы пушка пронеслась мимо него.

Канонир знал свою каронаду, и, как казалось ему, она также должна его знать. Долгое время прожил он с нею рядом. Десятки раз вкладывал он руку ей в пасть! Хоть пушка зверь, но зверь ручной. И он заговорил с нею, словно подзывая собаку: «Иди, иди сюда», – повторял он. Может быть, он даже любил ее.

Казалось, он желал, чтобы она подошла к нему.

Но подойти к нему, значило пойти на него. И тогда ему конец. Как избежать смерти под ее колесами? Вот в чем заключалась вся трудность. Присутствующие, оцепенев от ужаса, не спускали глаз с канонира. Дыхание спирало у каждого в груди, и, быть может, только старик пассажир – мрачный секундант ужасного поединка, – стоя на палубе, дышал ровно, как всегда.

Его тоже могла раздавить пушка. Но он даже не пошевелился.

А под их ногами слепая стихия сама руководила боем.

В ту минуту, когда канонир, решив вступить в грозную рукопашную схватку, бросил вызов своей каронаде, морское волнение случайно затихло, и каронада на миг остановилась, словно в недоуменном раздумье. «Поди ко мне», – говорил ей человек. И пушка будто прислушивалась.

Вдруг она ринулась на человека. Человек отпрянул и избежал удара.

Завязалась борьба. Неслыханная борьба. Хрупкая плоть схватилась с неуязвимым металлом. Человек-укротитель пошел на стального зверя. На одной стороне была сила, на другой – душа.

Битва происходила в полумраке. Там возникало едва различимое сверхъестественное видение.

Как ни странно, но казалось, что у пушки тоже была своя душа, правда, душа, исполненная ненависти и злобы. Незрячая бронза будто обладала парой глаз. И словно подстерегала человека. Можно было подумать, что у этой махины имелись свои коварные замыслы. Она тоже ждала своего часа. Неведомое доселе огромное чугунное насекомое было наделено сатанинской волей. Временами этот гигантский кузнечик, подпрыгнув, задевал низкий потолок палубы, потом прядал на все четыре колеса, как тигр после прыжка опускается на все четыре лапы, и кидался в погоню за человеком. А человек, изворотливый, проворный, ловкий, скользил змеей, стараясь избежать удара молнии. Ему удавалось уклониться от опасных встреч, но удары, предназначенные канониру, доставались злосчастному кораблю, и разрушение продолжалось.

За пушкой волочился обрывок порванной цепи. Цепь непонятным образом обмоталась вокруг винта казенной части. Один конец цепи оказался закрепленным на лафете, а другой, свободный конец вращался, как бешеный, вокруг пушки и усиливал ее яростную мощь. Винт держал этот обрывок плотно зажатым, словно в кулаке, каждый удар тарана-пушки сопровождался ударом бича-цепи; вокруг пушки крутился страшный вихрь, будто железная плеть в медной длани; битва от этого становилась еще опаснее и труднее.

И все же человек упорно боролся. Минутами не пушка нападала на человека, а человек переходил в наступление; он крался вдоль борта, держа в руке брус и конец троса, но пушка словно разгадывала его замысел и, почуяв засаду, ускользала. А человек, ужасный в пылу битвы, бросался за ней следом.

Так не могло длиться вечно. Пушка вдруг точно решила: «Довольно! Пора кончать!» – и остановилась. Зрители поняли, что развязка близится. Каронада застыла на мгновение, как бы в нерешительности, и вдруг приняла жестокое решение, ибо в глазах всех она стала одушевленным существом. Она вдруг бросилась на канонира. Канонир ловко увернулся от удара, пропустил ее мимо себя и, смеясь, крикнул ей вслед: «Не вышло, разиня!» В ярости пушка подбила еще одну из каронад левого борта, затем снова, как пущенная из невидимой пращи, метнулась к правому борту, но человеку вновь удалось избежать опасности. Зато рухнули под ее мощным ударом еще три каронады; потом, слепая, не зная, на что еще решиться, она повернулась и покатилась назад, подсекла форштевень и пробила борт в носу корвета. Человек, ища защиты, укрылся возле трапа, в нескольких шагах от старика секунданта. Канонир держал наготове ганшпуг. Пушка, очевидно, заметила его маневр и, даже

не дав себе труда повернуться, ринулась задом на человека, быстрая, как взмах топора. Человек, прижавшийся к борту, был обречен. Все присутствующие испустили громкий крик.

Но старик пассажир, стоявший до этой минуты, как каменное изваяние, вдруг бросился вперед, опередив соперничающих в быстроте человека и металл. Он схватил тюк с фальшивыми ассигнатами и, пренебрегая опасностью, ловко бросил его между колес каронады. Это движение, которое могло стоить ему жизни, решило исход битвы; даже человек, вполне усвоивший все приемы, которые предписываются Дюрозелем в его книге «Служба при судовых орудиях», и тот не мог бы действовать более точно и умело, чем самый старый пассажир «Клеймора».

Брошенный тюк сыграл роль буфера. Незаметный камешек предотвращает падение глыбы, веточка иной раз задерживает лавину. Каронаду пошатнуло. Тогда канонир в свою очередь воспользовался этой грозной заминкой и всунул железный брус между спицами одного из задних колес. Пушка замерла на месте.

Она накренилась. Действуя брусом, как рычагом, человек налег всей своей тяжестью на свободный конец. Махина тяжело перевернулась, прогудев на прощание, как рухнувший с колокольни колокол, а человек, обливаясь потом, забросил затяжную петлю на глотку поверженной к его ногам бездыханной бронзе.

Все было кончено. Победителем вышел человек. Муравей одолел мастодонта, пигмей полонил громы небесные.

Солдаты и матросы захлопали в ладоши.

Весь экипаж бросился к орудию с тросами и цепями, и в мгновение ока его принайтовили.

Канонир склонился перед пассажиром.

– Сударь, – сказал он, – вы спасли мне жизнь.

Но старик снова замкнулся в своем невозмутимом спокойствии и ничего не ответил.

VI. На чаше весов

Победил человек, но победила и пушка. Правда, непосредственная опасность кораблекрушения миновала, но, однакож, корвет не был окончательно спасен.

Вряд ли представлялось возможным исправить нанесенные повреждения. В борту насчитывалось пять пробоин, при этом самая большая – в носовой части судна; из тридцати каронад двадцать лежали на лафетах мертвой грудой металла. Да и сама укрощенная и вновь посаженная на цепь пушка тоже вышла из строя: ее подъемный винт был погнут, из-за чего стала невозможной точная наводка. Батарея теперь состояла всего из девяти действующих орудий. В трюм набралась вода. Необходимо было принять срочные меры для спасения корабля и пустить в ход насосы.

Нижняя палуба, доступная теперь для осмотра, являла поистине плачевное зрелище. Взбесившийся слон и тот не мог бы так изломать свою клетку.

Как ни важно было для корвета пройти незамеченным, еще важнее было предотвратить неминуемое крушение. Пришлось осветить палубу, прикрепив фонари к борту.

Когда длилась трагическая борьба, от исхода которой зависела жизнь и смерть экипажа, никто не обращал внимания на то, что творилось в море. Тем временем сгустился туман, погода резко переменилась, ветер свободно играл кораблем; выйдя из-под прикрытия Джерсея и Гернсея, судно отклонилось от курса и оказалось значительно южнее, чем следовало; теперь корвет находился лицом к лицу с разбушевавшейся стихией. Огромные валы лизали зияющие раны корабля, и как страшна была эта грозная ласка! Баюкающая зыбь таила в себе опасность. Ветер крепчал. Нахмурившийся горизонт сулил шторм, а быть может, и ураган. Взор различал в потемках лишь ближайшие гребни волн.

Пока весь экипаж спешно исправлял наиболее серьезные повреждения на нижней палубе, пока заделывали пробоины, расставляли по местам уцелевшие орудия, старик пассажир поджидал на верхней палубе.

Он стоял неподвижно, прислонившись к грот-мачте.

Погруженный в свои думы, он не замечал движения, начавшегося на судне. Шевалье Ла Вьевиль приказал солдатам морской пехоты выстроиться в две шеренги по обе стороны грот-мачты; услышав свисток боцмана, матросы, рассыпавшиеся по реям, бросили работу и застыли на местах.

Граф дю Буабертло подошел к пассажиру.

Вслед за капитаном шагал какой-то человек в порванной одежде, растерянный, задыхающийся и все же довольный.

То был канонир, который только что и весьма кстати показал себя искусным укротителем чудовищ и одолел взбесившуюся пушку.

Граф отдал старику в крестьянской одежде честь и произнес:

– Господин генерал, вот он.

Канонир стоял по уставу на вытяжку, опустив глаза.

Граф дю Буабертло добавил:

– Генерал, не считаете ли вы, что командиры должны отметить чем-нибудь поступок этого человека?

– Считаю, – сказал старец.

– Соблаговолите отдать соответствующие распоряжения, – продолжал дю Буабертло.

– Командир здесь вы. Ведь вы капитан.

– А вы – генерал, – возразил дю Буабертло.

Старик бросил на канонира быстрый взгляд.

– Подойди сюда, – приказал он.

Канонир сделал шаг вперед.

Старик повернулся к графу дю Буабертло, снял с груди капитана крест Святого Людовика и прикрепил его к куртке канонира.

– Урра! – прокричали матросы.

Солдаты морской пехоты взяли на караул.

Но старый пассажир, указав пальцем на задыхавшегося от счастья канонира, добавил:

– А теперь расстрелять его.

Радостные клики вдруг смолкли, уступив место угрюмому оцепенению.

Тогда среди воцарившейся мертвой тишины старик заговорил громким и отчетливым голосом:

– Из-за небрежности одного человека судну грозит опасность. Кто знает, удастся ли спасти его от крушения. Быть в открытом море, значит быть лицом к лицу с врагом. Корабль в плавании подобен армии в бою. Буря притаилась, но она всегда рядом. Море – огромная ловушка. И смертной казни заслуживает тот, кто совершил ошибку перед лицом врага. Всякая ошибка непоправима. Мужество достойно вознаграждения, а небрежность достойна кары.

Слова старика падали в тишине медленно и веско, с той неумолимой размеренностью, с которой топор удар за ударом врезается в ствол дуба.

И, властно взглянув на солдат, он добавил:

– Выполняйте приказ.

Человек, на лацкане куртки которого блестел крест Святого Людовика, потупил голову.

По знаку графа дю Буабертло два матроса спустились на нижнюю палубу и принесли оттуда морской саван; корабельный священник, который с момента прибытия на судно не выходил из кают-компании, где он читал молитвы, шел за ними следом; сержант вызвал из рядов двенадцать человек и построил их по шестеро в две шеренги, канонир молча стал между ними. Священник, держа распятие в руке, выступил вперед и подошел к капитану. «Шагом марш», – скомандовал сержант. Взвод медленно двинулся к носу корабля, два матроса, несшие саван, замыкали шествие.

На корвете наступила гробовая тишина. Слышались только далекие завывания бури.

Через несколько мгновений раздался залп, блеснул во мраке огонь выстрелов, потом все смолкло, и лишь всплеск воды, принявшей в свое лоно труп расстрелянного канонира, нарушил тишину.

Старик пассажир попрежнему стоял в раздумье, прислонясь к грот-мачте и скрестив на груди руки.

Буабертло указал на него пальцем и, обращаясь к Ла Вьевилю, вполголоса произнес:

– Отныне у Вандеи есть глава.

VII. Поднявший парус бросает жребий

Но какая участь ожидала корвет?

Тучи, уже давно льнувшие к волнам, теперь почти слились с водой и заслонили весь горизонт, окутав море плотной завесой. Куда ни кинешь взгляд – всюду туман. Даже для неповрежденного корабля такое положение чревато опасностями.

К туману присоединилось волнение.

На корвете не теряли зря времени; судно постарались облегчить, выбросив за борт все, что удалось собрать после разгрома, учиненного каронадой, – поврежденные орудия, разбитые лафеты, смятые или оторванные тимберсы, бесформенные обломки дерева и металла; орудийные порты открыли и, приставив к ним доски, опустили в бушующее море искалеченные трупы, завернутые в парусину.

Море становилось все грознее. Не то чтобы неминуемо должна была разразиться буря; наоборот, казалось, где-то далеко за горизонтом стихает ураган и шквал пронесется севернее; но попрежнему высоко вздымались валы, верный признак неровного дна, и не такому израненному судну, как «Клеймор», было устоять против напора волн; любая могла стать причиной его гибели.

Гакуаль задумчиво стоял у руля.

Бестрепетно смотреть в лицо опасности – таков обычай капитанов.

Ла Вьевиль, человек от природы веселого нрава, подошел к Гакуалю.

– Ну что, лоцман, – сказал он, – ураган, как видно, не состоялся. Как ни тужился, чихнуть не смог. Теперь мы выкарабкаемся. Ветер, конечно, будет. Но не более того.

Гакуаль серьезно ответил:

– Где ветер, там и волна.

Ни улыбки, ни тревоги, – таков уж истинный моряк. Однако смысл его слов вселял беспокойство. Судно, давшее течь, боится волны, ибо она может затопить корабль. Как бы желая придать больше веса своему предсказанию, Гакуаль слегка нахмурил брови. Должно быть, в душе он считал, что после трагического происшествия с пушкой и канониром Ла Вьевиль слишком рано заговорил в таком небрежном, даже легкомысленном тоне. Есть слова, приносящие в плавании беду. У моря свои тайны, и кто знает, что заблагорассудится ему сотворить через минуту.

Ла Вьевиль почувствовал, что надо переменить тон.

– А где мы сейчас, лоцман? – спросил он серьезно.

На что лоцман ответил:

– В руце божией.

Лоцман – хозяин на корабле; надо всегда предоставлять ему свободу действовать, а иногда и свободу говорить. Впрочем, лоцманская братия не многоречива. И Ла Вьевиль счел за благо отойти прочь.

Ла Вьевиль задал вопрос лоцману, а ответ ему дал сам горизонт.

Море вдруг очистилось.

Пелена тумана, цеплявшегося за волны, разодралась, все темное взбаламученное море стало доступно глазу, и вот что увидел экипаж «Клеймора» в предрассветных сумерках.

Небеса прикрыло облачным сводом; но облака теперь не касались поверхности вод, восток прочертила бледная полоска, предвестница близкой зари, и точно такая же полоска появилась на западе, где заходила луна. И оба эти белесые просвета, блеснувшие друг против друга, узенькими тусклосветящимися ленточками протянулись между нахмурившимся морем и сумрачным небом.

И на фоне этих уже побелевших полосок неба прямо и недвижно вырисовывались черные силуэты.

На западе, освещенном последними лучами луны, вздымались три скалы, похожие на кельтские дольмены.

На востоке, на бледном предрассветном горизонте, виднелись восемь парусных судов, выстроенных в боевом порядке, и в самом их расположении чувствовался грозный умысел.

Три скалы были вершиною рифа, восемь парусов – французской эскадрой.

Итак, позади лежал Менкье, риф, пользующийся у моряков недоброй славой, а впереди ждал французский флот. На западе – морская пучина, на востоке – кровавая резня; кораблекрушение или битва – иного выбора не было.

Для борьбы с рифом корвет располагал лишь продырявленным корпусом, пришедшими в негодность снастями и расшатанными в основании мачтами; для боя в его распоряжении были девять уцелевших орудий, вместо тридцати прежних, к тому же самые опытные канониры погибли.

Заря чуть брезжила на горизонте, и вокруг корвета попрежнему лежала ночная мгла. Еще не скоро суждено было ей рассеяться, особенно теперь, когда густые тучи поднялись высоко, заполонив все небо и несокрушимо плотным сводом встав над корветом.

Ветер, уносивший вдаль последние клочья тумана, гнал корабль прямо на Менкье.

Потрепанный и полуразрушенный корвет почти не слушался руля, он уже не скользил по поверхности вод, а нырял и, подгоняемый волной, покорно отдавался ее воле.

Менкье – зловещий риф – в те времена представлял собой еще большую опасность, чем в наши дни. Ныне море – неутомимый пильщик – срезало большинство башен этой естественной морской цитадели; очертания скал и сейчас еще меняются, ведь не случайно по-французски слово «волна» имеет второй смысл – «лезвие»; каждый морской прибой равносилен надрезу пилы. В те времена наскочить на Менкье – значило погибнуть.

А восемь кораблей были той самой эскадрой Канкаля, что прославилась впоследствии под командованием капитана Дюшена, которого Лекиньо в шутку окрестил «Отцом Дюшеном».[49]

Положение становилось критическим. Пока буйствовала сорвавшаяся с цепи каронада, корвет незаметно сбился с курса и шел теперь ближе к Гранвилю, чем к Сен-Мало. Если даже судно и не потеряло пловучести и могло идти под парусами, скалы Менкье все равно преграждали обратный путь на Джерсей, а вражеская эскадра преграждала путь во Францию.

Впрочем, буря так и не разыгралась. Зато, как и предсказал лоцман, разыгралась волна. Сердитый ветер гнал по морю крупные валы, угрюмо перекатывая их над неровным дном.

Море никогда сразу не выдает человеку своих намерений. Оно способно на все – даже на каверзу. Можно подумать, что ему знакомы иные тайны крючкотворства: оно наступает и отступает, оно щедро на посулы и легко отрекается от них, оно подготовляет шквал и отменяет его, оно заманивает в бездну и не разверзает бездны, оно грозит с севера, а наносит удар с юга. Всю ночь «Клеймор» шел в тумане под угрозой урагана; море отказалось от своего первоначального замысла, но отказалось весьма жестоко: посулив бурю, оно преподнесло вместо нее скалы. Оно заменило один способ кораблекрушения другим.

Надо было или погибнуть в бурунах, или пасть в бою. Один враг споспешествовал другому.

Ла Вьевиль вдруг беспечно рассмеялся.

– Здесь кораблекрушение – там бой, – воскликнул он. – С обеих сторон шах и мат.

VIII. 9 = 380

«Клеймор» являл собой лишь жалкое подобие былого корвета.

В мертвенном рассеянном свете встающего дня, в громаде черных туч, в зыбкой дымке, окутавшей горизонт, в таинственном гуле морских валов – во всем была какая-то кладбищенская торжественность. Лишь ветер, злобно завывая, нарушал тишину. Катастрофа вставала из бездны во всем своем величии. Она подымалась в личине призрака, а не с открытым забралом бойца. Ничто не мелькнуло среди рифов, ничто не шелохнулось на кораблях. Всеобъемлющая, всеподавляющая тишина. Неужели все это действительность, а не просто мираж, проносящийся над водами? Казалось, ожили видения старинных легенд и корвет очутился между демоном-рифом и флотилией-призраком.

Граф дю Буабертло вполголоса отдал необходимые распоряжения Ла Вьевилю, который немедленно спустился в батарею, а сам капитан взял подзорную трубу и встал рядом с лоцманом.

Все усилия Гакуаля были направлены на то, чтобы идти против волны, ибо, если бы ветер и волны обрушились на судно сбоку, оно неминуемо бы опрокинулось.

– Лоцман, – спросил капитан, – где мы находимся?

– У Менкье.

– А с какой стороны?

– С самой опасной.

– Каково здесь дно?

– Сплошной камень.

– Можно стать на шпринг?

– Умереть всегда можно.

Капитан направил подзорную трубу на запад и оглядел скалы Менкье, потом повернулся к востоку и стал рассматривать видневшиеся на горизонте паруса.

А лоцман продолжал вполголоса, словно говоря сам с собой:

– Вот они, Менкье. Здесь отдыхает и белая чайка, летящая из Голландии, и альбатрос.

Тем временем капитан молча считал паруса.

Восемь кораблей, построенных в боевом порядке, виднелись на востоке, силуэты их грозно рисовались над водой. В центре можно было различить высокий корпус трехпалубного судна.

– Можете узнать отсюда эти корабли? – спросил капитан лоцмана.

– Еще бы не узнать, – ответил Гакуаль.

– Что это там такое?

– Эскадра.

– Французская?

– Чортова!

Воцарилось минутное молчание. Капитан заговорил первым:

– Что же, вся их эскадра здесь?

– Нет, не вся.

Он не ошибся. Второго апреля Валазе[50] доложил Конвенту, что в водах Ламанша крейсируют десять фрегатов и шесть линейных кораблей. Но капитан только сейчас вспомнил об этом.

– Ваша правда, – сказал он. – Ведь в их эскадре шестнадцать судов. А здесь только восемь.

– Все остальные, – заявил Гакуаль, – кружат возле берега и шпионят.

Не отрывая глаз от подзорной трубы, капитан пробормотал:

– Трехпалубный корабль, два фрегата первого ранга, пять второго ранга.

– Но я тоже, – проговорил сквозь зубы Гакуаль, – за ними шпионил.

– Недурные суда, – похвалил капитан. – Я сам командовал такими.

– А я, – заметил Гакуаль, – видел их все, как вас вижу. Как-нибудь одно от другого отличу. С закрытыми глазами узнаю.

Капитан передал подзорную трубу лоцману:

– Лоцман, а вы узнаете это судно, вон то с высокими бортами?

– Как же, капитан. Это «Кот д'Ор».

– Переименовали, значит, – сказал капитан. – Раньше он назывался «Бургундские штаты». Совсем новенькое судно. Сто двадцать восемь орудий.

Он вынул из кармана записную книжку и карандаш и проставил на страничке цифру 128.

– Лоцман, – произнес он затем, – а как называется судно по левую сторону от «Кот д'Ор»?

– Это «Опытный».

– Фрегат первого ранга. Пятьдесят два орудия. Два месяца тому назад его вооружили в Бресте.

И капитан записал цифру 52.

– Лоцман, – продолжал он, – а второе судно слева?

– «Дриада».

– Фрегат первого ранга. Сорок восемнадцатифунтовых орудий. Ходил раньше в Индию. Славное у него боевое прошлое.

Под цифрой 52 он подписал цифру 40, потом поднял голову и спросил:

– Ну, а направо?

– Там, капитан, фрегаты второго ранга. Всего пять.

– Какое судно идет первым?

– «Решительный».

– Тридцать два восемнадцатифунтовых орудия. А второй?

– «Ришмон».

– То же вооружение. Дальше?

– «Атеист».[51]

– Странное имя! С таким опасно пускаться в плавание. Дальше?

– «Калипсо».

– Дальше?

– «Ловец».

– Итого пять фрегатов по тридцать два орудия каждое.

Под прежними цифрами капитан подписал цифру 160.

– Лоцман, – сказал он, – вы действительно узнаете их с первого взгляда.

– А вы, – возразил Гакуаль, – знаете их назубок. Узнать – полдела, вот знать – это поважнее.

Капитан пристально глядел на листок записной книжки и, бормоча что-то про себя, подсчитывал:

– Сто двадцать восемь, пятьдесят два, сорок, сто шестьдесят.

В эту минуту на палубу поднялся Ла Вьевиль.

– Шевалье, – крикнул ему капитан, – против нас триста восемьдесят орудий.

– Превосходно, – ответил Ла Вьевиль.

– Вы осмотрели батарею, – сколько у нас орудий, годных к бою?

– Девять.

– Превосходно! – в тон ему ответил дю Буабертло.

Он взял из рук лоцмана подзорную трубу и стал всматриваться в горизонт.

Казалось, что восемь черных кораблей, откуда не доносилось ни звука, стоят на месте, и все же они неотвратимо увеличивались в размерах.

Эскадра незаметно приближалась к корвету.

Ла Вьевиль отдал честь.

– Капитан, – заговорил он, – разрешите доложить. Я с первой же минуты не доверял нашему «Клеймору». И нет, по-моему, ничего хуже, как внезапно очутиться на судне, к которому ты не привык или которое тебя не любит. Судно английское – значит для нас, французов, предательское. Тому доказательство хотя бы эта чортова каронада. Я все осмотрел. Якори крепкие, металл хороший, без раковин, якорные кольца надежные. Канаты превосходные, отдавать их легко, длина обычная – сто двадцать сажен. Ядер и прочего – достаточно. Шесть канониров убито, на каждую пушку приходится сто семьдесят один выстрел.

– Только потому, что у нас всего девять орудий, – пробормотал капитан.

Он навел подзорную трубу на горизонт. Эскадра попрежнему медленно приближалась.

У каронады есть свои преимущества: она требует всего трех человек прислуги; но у нее есть и недостатки – стреляет она на меньшее расстояние и поражает цель не так метко, как обычная пушка. Следовательно, по необходимости приходилось подпустить вражескую эскадру на расстояние выстрела из каронады.

Капитан вполголоса отдавал приказания. На корвете воцарилась тишина. Боевой тревоги не пробили, но все готовились к бою. Корвет был в такой же мере не пригоден к битве с людьми, как и со стихиями. Однако все, что можно сделать, было сделано, дабы придать боеспособность этой тени военного корабля. Команда собрала у ростр на шкафуте все запасные перлини и кабельтовы, чтобы в случае необходимости укрепить рангоут. Привели в порядок лазарет. По тогдашним морским обычаям на судне устанавливались защитные заслоны, что предохраняло против пуль, но отнюдь не против ядер. Принесли даже прибор для проверки калибра ядер, хотя сейчас уже вряд ли стоило проверять калибровку; но никто не мог предвидеть подобного поворота событий. Каждый матрос получил подсумок и засунул за пояс пару пистолетов и кинжал. Койки были скатаны, пушки наведены, заряжены мушкетоны, разложены по местам топоры и кошки; крюйт-камера и бомбовый погреб открыты. Люди заняли свои места. Все делалось бесшумно, словно у одра умирающего. Быстро и мрачно.

Корвет поставили на якоря. На «Клейморе», как и на фрегатах, имелось шесть якорей. Их отдали все шесть: становой якорь бросили с носа, стоп-анкер – с кормы, один из больших

верпов – со стороны открытого моря, другой – со стороны бурунов, второй становой якорь – с штирборта, запасной якорь – с бакборта.

Девять уцелевших каронад выстроили в боевом порядке, все девять на одном борту, в сторону врага.

Эскадра тоже бесшумно закончила свой маневр. Восемь судов выстроились полукругом, хорду которого составляли скалы Менкье. «Клеймор», запертый в этом полукольце и к тому же связанный собственными якорями, был почти прижат к скалам, другими словами, прижат к стене.

Так свора гончих наседает на кабана, не подавая голоса, но уже ощерив страшные зубы.

Казалось, противники выжидали, кто начнет первым.

Канониры «Клеймора» припали к орудиям.

Буабертло повернулся к Ла Вьевилю.

– Я хотел бы первым открыть огонь, – произнес он.

– Прихоть, достойная кокетки, – ответил Ла Вьевиль.

IX. Некто спасается

Старик пассажир не покидал палубы, невозмутимо наблюдая за всем происходящим.

Буабертло подошел к нему.

– Сударь, все приготовления к бою закончены, – сказал он. – Мы прикованы к нашей могиле, и пусть попробуют оторвать нас от нее. Мы – пленники вражеской эскадры или рифов. Сдаться врагу или погибнуть в бурунах – другого выбора нет. У нас единственный выход – смерть. Лучше вступить в бой, нежели разбиться об утесы и пойти ко дну. Я предпочитаю картечь пучине; умирать – так в огне, а не в воде. Впрочем, смерть это наше дело, но отнюдь не ваше. На вас пал выбор королевских особ, на вас возложена высокая миссия – возглавить вандейскую войну. Не будет вас, не станет и монархии; следовательно, вы должны жить. Наша честь повелевает нам остаться на судне, а ваша – покинуть судно. Посему, генерал, вам придется немедленно расстаться с корветом. Я дам вам провожатого и шлюпку. Еще не рассвело. Попытайтесь добраться до берега окольным путем. Волна сейчас высокая, на море темно, вам удастся проскользнуть незамеченным. Есть такие положения, когда бегство с поля боя равносильно победе.

Старик утвердительно склонил свое суровое чело.

Граф дю Буабертло возвысил голос.

– Солдаты и матросы! – громко крикнул он.

Все вдруг разом замерло на корабле от палубы до трюма, и все лица повернулись к капитану.

А он продолжал:

– Человек, который находится на борту корвета, – представитель короля. Его жизнь доверили нам, и наш долг спасти его. Он нужен престолу Франции; ввиду отсутствия принца он будет, по крайней мере мы надеемся, что будет, главой Вандеи. Это старый опытный военачальник. Он должен был высадиться на французский берег вместе с нами, теперь он высадится без нас. Спасти голову – значит, спасти все.

– Верно! – троекратно прокричали солдаты и матросы.

– И его тоже подстерегают впереди немалые опасности, – продолжал капитан. – Достичь берега не так-то легко. Для того чтобы пуститься сейчас, во время прилива, в открытое море, нужна большая лодка, но ускользнуть от вражеской эскадры можно лишь на маленькой шлюпке. Следовательно, необходимо достичь берега в каком-нибудь безопасном месте, и желательно ближе к Фужеру, чем к Кутансу. Для этой цели требуется искусный моряк, добрый гребец и добрый пловец, уроженец здешних мест, знающий каждый проливчик. Еще темно, и

шлюпка может отвалить от корвета незамеченной. Да и порохового дыму будет достаточно. Благодаря своим малым размерам шлюпка не боится мелководья. Там, где не проберется пантера, пролезет хорек. Для нас с вами нет выхода, для него выход есть. Шлюпка на веслах может уйти далеко, ее с неприятельских кораблей не заметят, да и мы тем временем постараемся отвлечь внимание врага. Ну как, верно?

– Верно! – снова троекратно прокричали присутствующие.

– Дорога каждая минута, – продолжал капитан. – Есть добровольцы?

Какой-то матрос, неразличимый в полумраке, шагнул вперед из рядов и произнес:

– Есть!

X. Спасется ли?

Через несколько минут маленькая шлюпка, называемая в матросском обиходе «гичка» и находящаяся в личном распоряжении капитана, отвалила от корабля. В гичке поместились два человека, старик пассажир сидел на руле, а матрос-доброволец на веслах. Ночной мрак еще не рассеялся. Следуя приказу капитана, матрос яростно греб по направлению к скалам Менкье. Иного пути не было.

На дно гички сбросили с борта корвета немного провизии: мешок с галетами, копченый говяжий окорок и бочонок с пресной водой.

В ту самую минуту, когда гичка отошла от корвета, неунывавший даже перед лицом смерти весельчак Ла Вьевиль перегнулся через ахтерштевень и бросил вслед отъезжающим:

– На такой гичке спастись, конечно, легко, а утонуть и того легче.

– Сударь, – прервал его лоцман, – не время шутить.

Через минуту гичка была уже далеко. Ветер и волна помогали гребцу, и гичка быстро неслась в темноте, временами исчезая между высоких валов.

Над необъятными морскими просторами нависло зловещее ожидание.

Вдруг безгласный ропот океана прорезал чей-то голос, которому почти нечеловеческую силу придавал металлический рупор, – казалось, что сквозь медную маску вещает античный лицедей.

Говорил капитан дю Буабертло.

– Королевские матросы, – возгласил он, – подымите на грот-мачте белый стяг. Сейчас пред нами в последний раз встанет солнце.

И с корвета раздался оглушительный пушечный выстрел.

– Да здравствует король! – закричали матросы.

Тогда из глубин горизонта, словно эхо, раздался другой крик, все покрывающий, отдаленный, неясный, но все же донесший слова:

– Да здравствует Республика!

И грохот, подобный одновременному удару трехсот громов, раздался над глубинами океана.

Битва началась.

Дым и огонь заволокли море.

Там, где в воду падало ядро, по всему гребню волны вскипали крошечные фонтанчики пены.

«Клеймор» изрыгал пламя, пушки его били по восьми вражеским кораблям.

В то же время эскадра, расположившись полумесяцем вокруг корвета, открыла огонь из всех своих батарей. Небо запылало. Словно расплавленная лава забила из хлябей морских. Ветер яростно свивал и скручивал пурпурное пламя битвы, то открывая, то застилая корабли-призраки. А впереди на фоне багряного неба четко вырисовывался темный остов «Клеймора».

Видно было, как на верхушке грот-мачты полощется по ветру стяг с королевскими лилиями.

Два человека, сидевшие в гичке, молчали.

Треугольное основание рифа Менкье, образующее под водой как бы усеченный конус, занимает большее пространство, чем весь остров Джерсей; море покрывает его, но до края его плоской вершины даже в штормовые дни не доходят волны прибоя. На северо-восток тянется гряда из шести огромных утесов, выстроившихся по прямой линии, – издали они кажутся высокой стеной, обвалившейся в двух-трех местах. Через узенький пролив, отделяющий главную вершину от шести утесов, можно пробраться только на лодке, да и то имеющей мелкую осадку. По ту сторону пролива снова расстилается морская гладь.

Матрос, которому доверили судьбу гички, направил ее как раз в этот пролив. Таким образом, скалы Менкье защищали беглецов от превратностей боя. Гребец искусно вел гичку через узенький пролив, ловко избегая подводных камней с правого и левого борта. По мере удаления от «Клеймора» все бледнее становились вспышки пламени на горизонте, все глуше доносился бешеный вой орудий; но по упорству взрывов можно было судить, что корвет держится стойко и мужественно и что там твердо решили с толком истратить все сто семьдесят ядер.

Вскоре гичка очутилась в открытом море, вдали от рифов, вдали от боя, вне предела досягаемости ядер.

Мало-помалу поверхность вод посветлела; сверкающие полосы, на которые еще набегала ночная мгла, стали шире, взбаламученная пена весело рассыпалась брызгами, и в первых лучах зари по барашкам волн пробежали беловатые отсветы. Вставал день.

Гичка ушла далеко от врага, но впереди ее поджидала еще более грозная опасность. Она спаслась от картечи, но в любую минуту ее могли поглотить волны. Неприметная скорлупка пустилась в плавание без парусов, без мачты, без компаса, и вся сила этой молекулы, отдавшей себя на милость двух колоссов – океана и бури, – заключалась лишь в паре весел.

Тогда, среди бескрайних просторов моря, среди окружающего безмолвия, человек, сидевший на веслах, вскинул бледное в предрассветном сумраке лицо и, пристально посмотрев на человека, сидящего на корме, произнес:

– Я брат канонира, которого расстреляли по вашему приказу.

Книга третья

Гальмало

I. Слово есть глагол

Старик медленно поднял голову.

Тому, кто произнес эти слова, было около тридцати лет. На лбу его лежала полоска морского загара; и странен был его взгляд – в простодушных глазах крестьянина светилась проницательность матроса. В мощных руках весла казались двумя перышками. Вид у него был незлобивый.

За матросским поясом виднелся кинжал и пара пистолетов рядом с четками.

– Кто вы? – переспросил старик.

– Я же вам сказал.

– Что вы от меня хотите?

Матрос бросил весла, скрестил на груди руки и ответил:

– Я хочу вас убить.

– Как вам угодно, – бросил старик.

Матрос возвысил голос:

– Готовьтесь.

– К чему готовиться?

– К смерти.

– Почему к смерти? – спросил старик.

Воцарилось молчание. Матрос словно опешил от такого вопроса и ничего не ответил. Потом он промолвил:

– Я же сказал, что хочу вас убить.

– А я спрашиваю, почему?

Глаза матроса метнули молнию.

– Потому что вы убили моего брата.

– Но ведь до этого я спас ему жизнь.

– Верно. Сначала спасли, а потом убили.

– Нет, не я его убил.

– А кто же?

– Его собственная вина.

Матрос, разинув рот, молча смотрел на старика, потом его брови снова грозно нахмурились.

– Как вас зовут? – спросил старик.

– Зовут меня Гальмало, впрочем вам вовсе не обязательно знать имя того, кто вас убьет!

Как раз в эту минуту над горизонтом поднялось солнце. Первый луч упал прямо на лицо матроса, подчеркивая дикарскую выразительность черт. Старик внимательно вглядывался в своего спутника.

Пушки все еще грохотали за рифом; залпы теперь следовали друг за другом в каком-то судорожном беспорядке, рывками, словно в агонии. Клубы дыма заволокли все небо. Гичка, не управляемая ударами весел, неслась по прихоти волн.

Матрос выхватил из-за пояса пистолет и взял в левую руку четки.

Старец поднялся во весь свой рост.

– Ты веришь в бога? – спросил он.

– Отче наш иже еси на небесех, – пробормотал матрос.

И он осенил себя крестным знамением.

– Есть у тебя мать?

– Есть.

Он снова осенил себя крестным знамением. Потом добавил:

– Решено. Даю вам всего одну минуту, ваша светлость.

И он взвел курок.

– Почему ты так меня величаешь?

– Потому что вы сеньор. Это сразу видать.

– А у тебя-то самого есть сеньор?

– Есть. Да еще какой важный. Как же без сеньора жить!

– А где он сейчас?

– Не знаю. Уехал куда-то из наших краев. Звали его маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, принц Бретани; он всем Семилесьем владел. Хоть я его никогда в глаза не видал, а все-таки он мой хозяин.

– Ну, а если бы ты его увидел, повиновался бы ты ему или нет?

– Разумеется. Я ведь не нехристь какой-нибудь, как же не повиноваться. Прежде всего мы должны повиноваться господу богу, потом королю, потому что король вроде бога на земле, потом сеньору, потому что сеньор для нас почти что король. Да все это к делу не относится, вы убили моего брата, значит я должен вас убить.

Старик ответил.

– Я убил твоего брата и тем сделал доброе дело.

Матрос судорожно сжал рукоятку пистолета.

– Готовьтесь! – сказал он.

– Я готов, – ответил старик.

И спокойно добавил:

– А где же священник?

Матрос удивленно поднял на него глаза:

– Священник?

– Да, священник. Я ведь позвал к твоему брату священника! Стало быть, и ты должен позвать.

– Где же я его возьму? – ответил матрос.

И добавил:

– Да разве в открытом море найдешь священника?

Издали доносились отрывистые отзвуки боя, становившиеся все тише.

– У тех, кто умирает там, есть священник, – произнес старик.

– Что верно, то верно, – пробормотал матрос. – У них есть господин кюре.

Старик спокойно продолжал:

– Вот ты хочешь погубить мою душу, а ведь это грех.

Матрос в раздумье потупил голову.

– И губя мою душу, – добавил старик, – ты тем самым губишь и свою душу. Слушай. Мне жаль тебя. Ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится. А я выполнил свой долг – я спас сначала жизнь твоему брату, потом отнял у него жизнь, и сейчас я выполняю свой долг, стараясь спасти твою душу. Подумай хорошенько. Ведь дело идет о тебе самом. Слышишь выстрелы? Там на корвете в эту минуту гибнут люди, там они стонут в предсмертных муках, там мужья, которые никогда больше не увидят своих жен, там отцы, которые никогда больше не увидят своих детей, братья, которые, подобно тебе, не увидят своего брата. А по чьей вине? По вине твоего собственного брата. Ты веруешь в бога? Так знай же, что бог скорбит сейчас, бог скорбит о сыне своем христианнейшем короле Франции, который страдает в тюрьме Тампль столь же безвинно, как сын божий Иисус Христос; бог скорбит о своей святой бретонской церкви; бог скорбит о поруганных своих храмах, об уничтоженных священных книгах, об оскверненных домах молитвы; бог скорбит об убиенных пастырях церкви. А мы, что мы делали на том судне, которое борется сейчас с гибелью? Мы старались помочь нашему господу. Если бы брат твой был добрый слуга, если бы он верно нес свою службу, как положено человеку разумному и полезному для нашего общего дела, не произошло бы несчастья с каронадой, корвет не был бы искалечен, не сбился бы с пути, миновал бы эту гибельную эскадру и мы бы сейчас – а ведь нас немало, – мы, доблестные солдаты и доблестные моряки, счастливо высадились бы на французский берег и с мечом в руке, с гордо развевающимся белым стягом, радостно помогали бы отважным вандейским крестьянам спасти Францию, спасти короля, спасти бога. Вот, что мы сделали, вот, что мы могли бы сделать. И вот то, что я, единственно оставшийся в живых, буду делать. Но ты противишься этому. В борьбе нечестивцев против священников, в борьбе цареубийц против короля, в борьбе сатаны против бога ты держишь руку сатаны. Брат твой был первым пособником дьявола, а ты второй его пособник. Он начал

черное дело, а ты довершишь начатое. Ты вместе с цареубийцами против престола, ты вместе с нечестивцами против церкви. Ты хочешь лишить господа бога последнего его оплота. Ибо, если я, я, представляющий ныне короля, не попаду на французскую землю, не перестанут полыхать в огне хижины, стенать осиротевшие семьи, проливать свою кровь священнослужители, страдать Бретань, король пребудет в узилище, а Иисус Христос в скорби. И кто тому будет виной? Ты. Что ж, действуй, если желаешь. Я надеялся на тебя. Видно, я ошибся. Ах да, правда, я убил твоего брата. Твой брат оказался храбрым, и я наградил его; он оказался виноватым, и я покарал его. Он изменил своему долгу, но я не изменил своему. И, приведись еще раз, я поступил бы точно так же. Клянусь святой Анной Орейской, что смотрит на нас с небес: так же, как я приказал расстрелять твоего брата, я приказал бы расстрелять и своего собственного сына. А теперь ты волен поступать, как знаешь. Да, мне жаль тебя, ты солгал своему командиру. У тебя, христианина, нет веры, у тебя, бретонца, нет чести. Меня передали в руки верного человека, а я оказался в руках изменника; ты обещал сохранить мне жизнь, а несешь мне смерть. А знаешь ли ты, кого ты губишь? Себя самого. Ты отнимаешь мою бренную жизнь у короля и вручаешь свою бессмертную душу сатане. Что ж, твори свое черное дело, твори. Недорого же ты ценишь свое место в раю. С твоей помощью победит дьявол, с твоей помощью падут храмы, с твоей помощью безбожники будут попрежнему лить из колоколов пушки, и то, что должно служить спасению души человека, обратится в смертоносное орудие против него. И вот сейчас, в ту самую минуту, когда я с тобой говорю, медь колокола, который благовестил на твоих крестинах, может быть, убила твою родную мать. Что ж, торопись, помогай дьяволу, не медли. Да, я покарал твоего брата, но знай, я лишь орудие в руце божьей. Ого, да ты, как видно, берешься судить пути господни, ты, чего доброго, будешь осуждать и гром, который разит с небес. Он падет на твою голову, несчастный. Но берегись. А знаешь ли ты, что на мне почиет милость божья? Не знаешь? Так действуй. Сверши свой замысел. Что ж! Ты волен ввергнуть меня, да и себя самого в ад. В твоей власти погубить в геенне огненной наши бессмертные души. Но отвечать перед господом будешь ты один. Здесь нет никого, кроме нас с тобой да морской пучины. Что ж, начинай, действуй, рази. Я стар, а ты молод, я без оружия, а ты вооружен, так убей же меня.

Старик говорил, стоя во весь рост, и голос его покрывал рокот моря; в лад с ударами волны о днище гички высокая фигура попадала то в полосу света, то в полосу тени; матрос побледнел, как мертвец, крупные капли пота струились по его лбу, он дрожал, словно осиновый лист, и время от времени благоговейно подносил к губам свои четки; когда старик замолк, он отбросил в сторону пистолет и упал на колени.

– Смилуйтесь, ваша светлость! простите меня! – вскричал он. – Сам господь бог глаголет вашими устами. Я виновен. И брат мой был виновен. Я все сделаю, лишь бы искупить свою вину. Располагайте мной. Приказывайте. Я ваш слуга.

– Прощаю тебя, – произнес старец.

II. Мужицкая память стоит знаний полководца

Провизия, сброшенная с корабля на дно гички, весьма пригодилась.

После вынужденного блуждания по морю беглецам удалось добраться до берега лишь на вторые сутки. Ночь они провели в открытом море; правда, ночь выдалась на славу, пожалуй даже слишком лунная, особенно если требуется проскользнуть незамеченным.

Сначала гичке пришлось отойти от французского берега и держаться открытого моря в направлении острова Джерсей.

Беглецы слышали последний залп разбитого врагами корвета, разнесшийся вокруг, подобно предсмертному рычанию льва, которого настигла в лесной чаще пуля охотника. Затем на море спустилась тишина.

Корвет «Клеймор» принял ту же смерть, что и «Мститель», но слава обошла его. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны.

Гальмало оказался на редкость опытным моряком. Он совершал чудеса ловкости и сообразительности; только вдохновенный мастер мог прочертить утлым челном извилистый и безопасный путь сквозь рифы и валы, под самым носом у неприятеля. Ветер утих, и плавание теперь не представляло больших опасностей.

Гальмало благополучно миновал скалы Менкье, обогнул Бычий Вал и укрылся в бухточке с северной его стороны, чтобы немного передохнуть, потом снова взял курс на юг, пробрался между Гранвилем и островами Шосси, благополучно обошел дозорные посты у Шосси и у Гранвиля. Так он достиг бухты Сен-Мишель, что уже само по себе было весьма дерзким маневром, ввиду близости Канкаля, где стояла на якоре французская эскадра.

К вечеру второго дня, приблизительно через час после захода солнца, гичка обогнула гору Сен-Мишель и пристала к берегу, куда не ступает нога человека, ибо смельчака подстерегает здесь опасность увязнуть в зыбучих песках.

К счастью, в это время начался прилив.

Гальмало подгреб как можно ближе к берегу, ощупал веслом песок и, убедившись, что он способен выдержать тяжесть человека, врезался носом гички прямо в берег и выскочил первым.

Вслед за ним вышел старик и внимательно огляделся вокруг.

– Ваша светлость, – сказал Гальмало, – мы с вами находимся в устье реки Куэнон. Вон там по левому борту Бовуар, а по правому – Гюинь. А вон там прямо, видите, колокольню, так это Ардевон.

Старик нагнулся, взял одну галету, сунул ее в карман и приказал Гальмало:

– Остальное возьми себе.

Гальмало положил в мешок остаток окорока и остаток галет и взвалил мешок на плечо. Затем он сказал:

– Ваша светлость, мне вести вас или идти за вами?

– Ни то, ни другое.

Гальмало удивленно уставился на старика.

А тот продолжал:

– Сейчас, Гальмало, нам приходится расставаться. Два человека – это ничто. Тут нужно идти или с тысячным отрядом, или одному.

Не докончив фразы, старик вытащил из кармана зеленый шелковый бант, напоминавший кокарду, с вышитой посредине золотой лилией.

– Ты читать умеешь? – спросил он.

– Нет.

– Тем лучше. Грамота – лишняя обуза. А память у тебя хорошая?

– Да.

– Вот это отлично. Слушай меня, Гальмало. Ты пойдешь вправо, а я влево; я направлюсь в сторону Фужера, а ты в сторону Базужа. Не бросай мешок, так легче сойдешь за крестьянина. Оружие спрячь. Вырежь себе в кустах палку. Пробирайся через рожь, она нынче высока. Крадись вдоль изгородей. Минуя околицы, иди напрямик полем. Прохожих сторонись. Избегай проезжих дорог и мостов. Не вздумай заходить в Понторсон. Ах да, путь тебе преграждает река Куэнон. Как ты через нее переберешься?

– Вплавь.

– Отлично. Впрочем, ее можно перейти и вброд. Знаешь, где брод?

– Между Ансе и Вьевилем.

– Отлично. Теперь я вижу, что ты действительно местный уроженец.

– Но ведь ночь на дворе. Где же вы будете ночевать, ваша светлость?

– Обо мне не беспокойся. А вот ты где думаешь переночевать?

– Где-нибудь на мху. Ведь до матросской службы я был крестьянином.

– Да, кстати, выбрось матросскую шапку, а то тебя по ней опознают. А крестьянский головной убор ты легко найдешь.

– Ну за этим дело не станет. Любой рыбак с охотой продаст мне свою шапку.

– Отлично. А теперь слушай. Ты здешние места знаешь?

– Все до единого.

– По всей округе знаешь?

– От Нуармутье до самого Лаваля.

– А как они называются, тоже знаешь?

– И леса знаю, и как они называются, знаю, все знаю.

– И все запомнишь, что я тебе скажу?

– Запомню.

– Отлично. А теперь слушай внимательно. Сколько лье ты можешь пройти за день?

– Ну десять, пятнадцать, восемнадцать. А если понадобится – и все двадцать.

– Может понадобиться. Запомни каждое мое слово. Пойдешь отсюда прямо в Сент-Обэнский лес.

– Тот, что рядом с Ламбалем?[52]

– Да. На краю оврага, который идет между Сен-Риэлем и Пледелиаком, растет высокий каштан. Там ты и остановишься. И никого не увидишь.

– А все равно там кто-нибудь да есть. Знаю, знаю.

– Ты подашь сигнал. Умеешь подавать сигналы?

Гальмало надул щеки, повернулся лицом к морю и несколько раз ухнул по-совиному.

Казалось, что звук идет из самой ночной мглы. Неотличимо похожее и зловещее ухание.

– Отлично, – произнес старик. – Молодец.

И он протянул Гальмало зеленый шелковый бант.

– Вот моя кокарда. Возьми ее. Неважно, что имени моего здесь никто не знает. Вполне достаточно этой кокарды. Смотри, вот эту лилию вышивала в тюрьме Тампль сама королева.

Гальмало преклонил колена. С священным трепетом он принял из рук старца вышитую кокарду и приблизил ее было к губам, но тут же отдернул руку, убоявшись такого святотатства.

– Смею ли я? – спросил он.

– Конечно, ведь целуешь же ты распятие!

Гальмало коснулся губами золотой лилии.

– Встань, – приказал старик.

Гальмало встал с колен и засунул бант за пазуху.

А старик продолжал:

– Слушай меня хорошенько. Запомни пароль: «Подымайтесь. Будьте беспощадны». Итак, добравшись до каштана, что на краю оврага, подашь сигнал. Трижды подашь. На третий раз из-под земли выйдет человек.

– Из ямы, что под корнями. Знаю.

– Человек этот некто Планшено, его прозвали также «Королевское Сердце». Покажешь ему кокарду. Он все поймет. Затем пойдешь в Астиллейский лес по любой дороге, которая тебе приглянется; там ты встретишь колченогого человека, который зовется Мускетон и не дает спуску никому. Скажи ему, что я его помню и люблю и что пора ему подымать все окрестные

приходы. Оттуда иди в Куэсбонский лес, он всего в одном лье от Плэрмеля. Там прокричишь по-совиному, из берлоги выйдет человек, это господин Тюо, сенешал Плэрмеля, бывший член так называемого Учредительного собрания, но придерживается он наших убеждений. Скажешь ему, что пора подготовить к штурму замок Куэсбон, который принадлежит маркизу Гюэ, ныне эмигрировавшему. Местность там пересеченная, овраги, перелески – словом, самая для нас подходящая. Господин Тюо – человек решительный и умный. Оттуда пойдешь в Сент-Уэн-ле-Туа и поговоришь с Жаном Шуаном, который, по моему мнению, подлинный вождь. Оттуда пойдешь в Виль-Англозский лес, увидишь там Гитте, его зовут также Святитель Мартен, и скажешь ему, чтобы он зорко следил за неким Курменилем, зятем старика Гупиль де Префельна,[53] который возглавляет в Аржентане якобинскую секцию. Запомни все хорошенько. Я ничего не записываю, потому что писать ничего нельзя. Ларуари написал несколько строк, и это его погубило. Оттуда ты пойдешь в Ружфейский лес, где встретишь Миэлета, он умеет прыгать через овраги, опираясь на длинный шест.

– У нас такой шест зовется жердиной.

– Ты тоже умеешь ею пользоваться?

– Еще бы, неужто я не бретонец, неужто я не крестьянин? Да у нас жердь первый друг, с нею и руки крепче и ноги длиннее.

– Другими словами, с нею враг слабее и расстояние короче. Хорошая штука.

– Раз как-то я со своей жердиной отбился от трех жандармов, а у них были сабли.

– Когда же это?

– Лет десять тому назад.

– При короле?

– Ну да.

– Значит, ты сражался еще при короле?

– Ну да.

– Против кого сражался?

– Хоть убей, не знаю. Я соль тайком привозил.

– Отлично.

– У нас это называлось бороться против соляных налогов. Да разве соляные налоги и король одно и то же?

– Да. Нет. Впрочем, тебе это знать необязательно.

– Прошу прощения, что осмелился задать вашей светлости вопрос!

– Хорошо, слушай дальше. Ты знаешь Ла Тург?

– Это я-то? Да я сам оттуда.

– Как так?

– Да так, я ведь родом из Паринье.

– Правильно, Тург рядом с Паринье.

– Знаю ли я Тург – да это же родовой замок моих господ, большой такой, с круглой башней. Старое здание от нового отделено крепкой железной дверью, ее и пушкой не прошибешь. В новом замке хранится книга про святого Варфоломея, многие нарочно приезжали в Тург поглядеть эту книжку. А лягушек там вокруг – пропасть. Сколько я их мальчишкой переловил. И подземный ход там тоже есть. Может, кроме меня, никто этого хода и не знает.

– Какой подземный ход? О чем это ты? Ничего не понимаю.

– Старинный ход, его еще в те времена прорыли, когда враг осадил Тург. Те, что сидели в замке, спаслись только потому, что прошли подземным ходом, а ход выводит прямо в лес.

– Такой подземный ход есть в замке Жюпельер, это верно, есть ход в замке Юнодэй и в Кампеонской башне тоже, но в Турге никакого хода нет.

– Да есть, ваша светлость, есть. Вот о тех ходах, что вы сейчас говорили, никогда не слыхивал. Знаю только один ход – в Турге, потому что я сам из тех краев. Кроме меня, об этом ходе ни одна живая душа не знает. Да никто о нем никогда и не заикался. Запрещено было, потому что этим ходом пользовались во времена войн, которые вел господин Роган. Мой отец знал про этот ход и мне показывал. И я знаю, как войти и как выйти. Из лесу я могу попасть прямо в башню, а из башни прямо в лес. И никто меня не увидит. Враг ворвется, а там пусто. Вот он какой наш Тург. Я-то его хорошо знаю.

Старик стоял в раздумье.

– Да нет, ты, должно быть, ошибаешься, будь в Турге такой ход, мне было бы это известно.

– Уж поверьте совести, ваша светлость. Там еще камень такой есть, который поворачивается.

– Так бы и сказал! Ведь вы, мужики, во что только не верите; у вас и камни вращаются, да еще поют, и ночью на водопой к ручью ходят. Словом, басни и басни.

– Да я сам видел, как этот камень поворачивается.

– А другие сами слышали, как камни поют. Слушай, приятель, Тург – хорошая, надежная крепость и защищать ее легко; но тот, кто станет рассчитывать на ваши подземные ходы, тот жестоко просчитается.

– Да как же, ваша светлость…

Старик нетерпеливо пожал плечами.

– Не будем терять зря времени. Поговорим о делах.

Слова эти были произнесены столь решительным тоном, что Гальмало перестал настаивать на существовании подземного хода.

А старик продолжал:

– Итак, слушай дальше. Из Ружфе пойдешь в лес Моншеврие, где верховодит Бенедиктус, командир Двенадцати. Он тоже славный малый. Читает «Benedicite», пока по его приказу расстреливают людей. На войне не до сентиментов. Из Моншеврие пойдешь…

Он не докончил фразы.

– Да, я забыл о деньгах.

Старик вынул из кармана кошелек и бумажник и протянул их Гальмало.

– В этом бумажнике тридцать тысяч франков в ассигнатах, что составляет приблизительно три ливра десять су; надо сказать, ассигнаты;[54] фальшивые, впрочем и настоящие стоят не дороже; а в кошельке – смотри хорошенько – сто золотых. Отдаю тебе все, что у меня есть. Мне ничего не нужно. Впрочем, это и к лучшему, по крайней мере при мне не найдут денег. Продолжаю: из Моншеврие пойдешь в Антрэн и встретишься там с господином Фротте[55] из Антрэна иди в Жюпельер, где увидишься с господином Рошкоттом;[56] из Жюпельера отправляйся в Нуарье, где повидаешь аббата Бодуэна. Запомнил?

– Как «Отче наш».

– Встретишься с господином Дюбуа-Ги[57] в Сен-Брикан-Коле, с господином Тюрпэном[58] в Моранне, – Моранн это укрепленный городок, – а в Шато-Гонтье отыщешь принца Тальмона.

– Неужели принц станет со мной говорить?

– Я же с тобой говорю.

Гальмало почтительно обнажил голову.

– Тебе повсюду обеспечен хороший прием, раз у тебя лилия, вышитая руками самой королевы. Не забудь еще вот что: выбирай такие места, где живут горцы и мужики потемней.

Переоденься. Это нетрудно. Республиканцы – болваны: в синем мундире и треуголке с трехцветной кокардой можно пройти повсюду беспрепятственно. Сейчас нет ни полков, ни единой формы; армии и те не имеют номеров, каждый надевает на себя любое тряпье, по своему вкусу. Непременно побывай в Сен-Мерве. Там повидайся с Голье, или, как его называют иначе, с Пьером Большим. Пойдешь в лагерь Парне, где тебе придется иметь дело с черномазыми. Дело в том, что они кладут в ружье двойную порцию пороха да еще добавляют песку, чтобы выстрел был погромче; что ж, молодцы. Скажешь им одно: убивать, убивать и убивать. Пойдешь в лагерь «Черная Корова», который расположен на возвышенности посреди Шарнийского леса, потом в «Овсяный лагерь», потом в «Зеленый», а оттуда в «Муравейник». Пойдешь в Гран-Бордаж, который иначе зовется О-де-Пре, там живет вдова, на дочери которой женился некто Третон, прозванный «Англичанином». Гран-Бордаж – один из приходов Келена. Непременно загляни к Эпине-ле-Шеврейль, Силле-ле-Гильом, к Парану и ко всем тем, что прячутся по лесам. Словом, друзей ты заведешь немало и пошлешь их к границе Верхнего и Нижнего Мэна; ты встретишься с Жаном Третоном в приходе Вэж, с Беспечальным – в Биньоне, с Шамбором – в Бошампе, с братьями Корбэн – в Мэзонселле и с Бесстрашным Малышом – в Сен-Жан-сюр-Эрв. Иначе его зовут Бурдуазо. Проделав все это, пройдя повсюду с лозунгом: «Подымайтесь, будьте беспощадны», ты присоединишься к великой армии, армии католической и королевской, где бы она ни находилась. Ты увидишься с господами д'Эльбе, Лескюром, Ларошжакленом, словом, со всеми вождями, которые еще будут живы к тому времени. Предъявляй им мою кокарду. Они сразу поймут, в чем дело. Ты простой матрос, но ведь и Катлино тоже простой ломовик. Скажешь им от моего имени следующее: «Пришел час вести разом две войны: войну большую и войну малую. От большой войны большой шум, от малой большие хлопоты. Вандейская война – хороша, шуанская хуже, но в годину гражданских междуусобиц худшее подчас становится лучшим. Война тем лучше, чем больше зла она причиняет».

Старик помолчал немного.

– Я не зря тебе все это говорю, Гальмало. Пусть ты не поймешь моих слов, зато поймешь суть дела. Я поверил в тебя, когда ты так искусно вел гичку; геометрии ты не знаешь, зато умеешь отгадывать капризы моря и пользоваться ими, а кто умеет править лодкой, тот сумеет направлять мятеж; и уж по одному тому, как ты ловко управлялся в море, обходя все его ловушки, я понял, что ты отлично справишься с моими поручениями. Продолжаю. Всем вандейским вождям ты передашь вот что, конечно, не этими самыми словами, а как сумеешь, и то слава богу: я отдаю все преимущества войне лесной перед войной в открытом поле; я вовсе не намерен подставлять стотысячную крестьянскую армию под картечь и пушки господина Карно;[59] через месяц, а то и раньше, мне необходимо иметь пятьсот тысяч надежных убийц, залегших в лесной чаще. Республиканская армия – это моя дичь. Браконьерствовать – значит воевать. Я – стратег лесных зарослей. Опять трудное слово, неважно, если ты его и не поймешь, улови хотя бы смысл: действовать беспощадно, и засады, повсюду и везде засады! Я хочу, чтобы дрались по-шуански, а не по-вандейски. Добавишь еще, что англичане с нами. Зажмем республику меж двух огней. Европа нам помогает. Покончим с революцией. Короли ведут с ней войну королей, а мы поведем с ней войну прихожан. Скажи им это. Понял ты меня?

– Понял. Все надо предать огню и мечу.

– Совершенно верно.

– Не щадить.

– Никого. Совершенно верно.

– Всех обойду.

– Только будь осторожен. Ибо в этом краю не так-то уж трудно стать мертвецом.

– А что мне смерть? Тот, кто делает свой первый шаг, уже снашивает свои последние башмаки.

– Ты храбрый малый.

– А если меня спросят, как вас звать, ваша светлость?

– Пока еще никто не должен знать моего имени. Скажешь, что не знаешь, и не солжешь.

– А где я увижусь с вами, ваша светлость?

– Там, где я буду.

– А как я узнаю?

– Все узнают, и ты тоже. Через неделю повсюду заговорят обо мне, я первый подам вам всем пример, я отомщу за короля и нашу веру, и ты догадаешься, что говорят обо мне.

– Понимаю.

– Смотри не забудь ничего.

– Будьте спокойны.

– Ну, а теперь в путь. Да хранит тебя бог. Иди.

– Я сделаю все, что вы мне приказали. Я пойду. Я скажу. Не выйду из повиновения. Передам приказ.

– Отлично.

– И если все мне удастся…

– Я награжу тебя орденом Святого Людовика.

– Как моего брата. Ну, а если мне не удастся, вы прикажете меня расстрелять?

– Как твоего брата.

– Хорошо, ваша светлость.

Старец уронил голову на грудь и вновь ушел в свои суровые думы. Когда он вскинул глаза, никого уже не было. Лишь вдалеке смутно виднелась какая-то черная точка.

Солнце только что скрылось.

Чайки и альбатросы возвращались на берег: как-никак море – не родное гнездо.

В воздухе была разлита смутная тревога, предвестница наступающей ночи; лягушки пронзительно квакали, кулички со свистом взлетали с мочежин, чайки, чирки, грачи, скворцы подняли обычный вечерний гомон, звонко перекликались болотные птицы, только человеческий голос не участвовал в этом хоре природы. Полное безлюдие! Ни паруса в море, ни крестьянина в поле. Куда ни кинешь взор, всюду пустынные просторы. Огромные чертополохи мерно вздрагивали под порывами ветра. Бесцветное сумеречное небо заливало всю землю мертвенным светом. Озерца, разбросанные по темной равнине, издали казались аккуратно разложенными оловянными монетками. С моря дул ветер.

Книга четвертая

Тельмарш

I. С вершины дюны

Старик подождал, пока вдали исчезнет фигура Гальмало, затем плотнее закутался в матросский плащ и двинулся в путь. Шагал он медленно, задумчиво. Он направлялся в сторону Гюина, а Гальмало тем временем пробирался к Бовуару.

Позади возвышалась огромным черным треугольником знаменитая гора Сен-Мишель, Хеопсова пирамида пустыни, именуемой океаном. У горы Сен-Мишель есть своя тиара – собор и своя броня – крепость с двумя высокими башнями – круглой и квадратной, – которая принимает на себя тяжесть каменных церковных стен и деревенских домов.

В бухточке, лежащей у подошвы Сен-Мишеля, идет непрестанное движение зыбучих песков, то и дело вырастают и рассыпаются дюны. В ту пору между Гюином и Ардевоном

особенно славилась высокая дюна, исчезнувшая ныне с лица земли. Дюна эта, которую как-то в дни равноденствия до основания смыли волны, насчитывала, – что редкость для дюн, – не один век, и на вершине ее красовался каменный верстовой столб, воздвигнутый еще в XII веке в память собора, осудившего в Авранше убийц святого Фомы Кентерберийского. Отсюда открывалась как на ладони вся округа, что позволяло без труда ориентироваться в местности.

Старик направился к дюне и стал взбираться на вершину.

Достигнув цели, он присел на одну из четырех каменных тумб, стоявших по углам верстового столба, прислонился к столбу и стал внимательно изучать географическую карту, разостланную у его ног самой природой. Казалось, он силится припомнить дорогу среди некогда знакомых мест. В беспредельно огромной панораме, уже затянутой сумерками, ясно вырисовывалась только линия горизонта, черная линия на бледном фоне неба.

Отчетливо были видны сбившиеся в кучу крыши одиннадцати селений и деревень; врезали в небо свои шпили далекие колокольни, которые здесь, как и во всех прибрежных селениях, с умыслом строили значительно выше обычного: плавающие могли по ним, как по маяку, определять курс судна.

Через несколько минут старик, очевидно, обнаружил то, что искал в полумраке: он не отрывал теперь взора от купы деревьев, осенявших крыши и ограду мызы, затерявшейся среди перелесков и лугов; он удовлетворенно качнул головой, будто подтверждая верность своей догадки: «Ага, вот оно!» – и, вытянув указательный палец, прочертил в воздухе извилистую линию – кратчайший путь между живых изгородей и нив. Время от времени он пристально вглядывался в какой-то бесформенный и неразличимый предмет, раскачивавшийся над крышей самого крупного строения мызы, и словно мысленно пытался разрешить загадку – что это такое? Однако темнота скрадывала очертания и цвет загадочного предмета; флюгером это быть не могло, хотя и вертелось во все стороны, а флаг водружать здесь было незачем.

Старик долго не вставал с тумбы, отдаваясь тому смутному полузабытью, которое в первую минуту охватывает утомленного путника, присевшего отдохнуть.

Есть в сутках час, который справедливо зовут часом безмолвия – безмятежный час, час предвечерний. И этот час наступил. Путник вкушал блаженство этого часа, он вглядывался, он вслушивался – вслушивался в тишину. Даже на самых жестоких людей находит своя минута меланхолии. Вдруг эту тишину не то, чтобы нарушили, а еще резче подчеркнули близкие голоса. Два женских голоса и детский голосок. Так иногда в ночную мглу нежданно ворвется веселый перезвон колоколов. Густой кустарник скрывал говоривших, но ясно было, что они пробираются у самого подножия дюны, в сторону равнины и леса. Свежие и чистые голоса легко доходили до погруженного в свои думы старца и звучали так явственно, что можно было расслышать каждое слово.

Женский голос произнес:

– Поторопитесь, Флешардша. Сюда, что ли, идти?

– Нет, сюда.

И два голоса, один погрубей, другой помягче, продолжали беседу.

– Как зовется та ферма, где мы сейчас стоим?

– «Соломинка».

– А это далеко?

– Минут пятнадцать, не меньше.

– Пойдемте быстрей, тогда, может, и поспеем к ужину.

– Верно. Мы сильно запоздали.

– Бегом бы поспели. Да малышей, гляди, совсем разморило. Куда же нам двоим на себе трех ребят тащить. И так вы, Флешардша, ее с рук не спускаете. А она прямо как свинец.

Отняли ее, обжору, от груди, а с рук она у вас все равно не слезает. Привыкнет, сами будете жалеть. Пускай сама ходит. Ну ладно, и холодного супа похлебаем.

– А какие вы мне башмаки хорошие подарили. Совсем впору, словно по заказу сделаны.

– Какие ни на есть, а все лучше, чем босиком шлепать.

– Прибавь шагу, Рене-Жан.

– Из-за него-то мы и опоздали. Ни одной девицы в деревне не пропустит, с каждой ему, видите ли, надо поговорить. Настоящий мужчина растет.

– А как же иначе? Ведь пятый годок пошел.

– Отвечай-ка, Рене-Жан, почему ты разговорился с той девчонкой в деревне, а?

Детский, вернее мальчишеский, голосок ответил:

– Потому что я ее знаю.

Женский голос подхватил:

– Господи боже мой, да откуда же ты ее знаешь?

– А как же не знать, – удивленно произнес мальчик, – ведь она мне утром разных зверушек дала.

– Ну и парень, – воскликнула женщина, – трех дней нет, как сюда прибыли, а этот клоп уже завел себе милую!

Голоса затихли вдали. Все смолкло.

II. Aures habet et non audiet[60]

Старик не пошевелился. Он не думал ни о чем, вряд ли даже мечтал. Вокруг него разливался вечерний покой: все дышало доверчивой дремой, одиночеством. На вершине дюны еще лежали последние лучи догоравшего дня, равнину окутывал полумрак, а в лесах уже сгустилась ночная тень. На востоке медленно всходила луна. Сияние первых звезд пробивалось сквозь бледноголубое в зените небо. И старик, весь поглощенный мыслью о будущих жестоких трудах, как бы растворялся душою в невыразимой благости бесконечного. Пока это было лишь неясное просветление, схожее с надеждой, если только можно применить слово «надежда» к чаяниям гражданской войны. Порой ему казалось, что, счастливо избегнув козней неумолимого моря и ступив на твердую землю, он миновал все опасности. Никто не знает его имени, он один, вдалеке от врагов, он не оставил после себя следа, ибо морская гладь стирает все следы, и здесь он надежно скрыт, никому неведом, никто не подозревает об его присутствии. Его охватило блаженное умиротворение. Еще минута, и он бы спокойно уснул.

Глубокое безмолвие, царившее на земле и в небе, придавало незабываемую прелесть этим мирным мгновениям, случайно выпавшим на долю человека, над головой и в душе которого пронеслось столько бурь.

Слышен был только вой ветра с моря, но ветер, этот неумолчно рокочущий бас, став привычным, почти перестает быть звуком.

Вдруг старик вскочил на ноги.

Что-то внезапно привлекло его внимание; он впился глазами в горизонт. Его взгляд сразу приобрел сверхъестественную зоркость.

Теперь он глядел на колокольню Кормере, которая стояла в долине прямо напротив дюны. Там действительно творилось что-то странное.

На фоне неба четко вырисовывался силуэт колокольни, с дюны ясно была видна башня с островерхой крышей и расположенная между башней и крышей квадратная, без навесов, сквозная звонница, открытая, по бретонскому обычаю, со всех четырех сторон.

Отсюда, с дюны, казалось, что звонница то открывается, то закрывается: через ровные промежутки времени ее просветы то обозначались белыми квадратами, то заполнялись тьмою; сквозь них то виднелось, то переставало виднеться небо; свет сменялся чернотой, будто его

заслоняли гигантской ладонью, а потом отводили ее с размеренностью молота, бьющего по наковальне.

Колокольня Кормере, стоявшая против дюны, находилась на расстоянии приблизительно двух лье; старик посмотрел направо, на колокольню Баге-Пикан, приютившуюся в правом углу панорамы; звонница и этой колокольни так же равномерно светлела и темнела.

Он посмотрел налево, на колокольню Танис, и ее звонница мерно открывалась и закрывалась, как на колокольне Баге-Пикан.

Старик постепенно, одну за другой, оглядел все колокольни, видимые в округе: по левую руку – колокольни Куртиля, Пресэ, Кроллона и Круа-Авраншена; по правую руку – колокольни Ра-сюр-Куэнон, Мордре, Депа; прямо – колокольню Понторсона. Звонницы всех колоколен последовательно то становились прозрачными, то заполнялись чернотой.

Что это могло означать?

Это означало, что звонили на всех колокольнях, звонили во все колокола.

Просветы потому и появлялись и исчезали, что кто-то яростно раскачивал колокола.

Что же это могло быть? Повидимому, набат.

Да, набат, неистовый набатный звон повсюду, со всех колоколен, во всех приходах, во всех деревнях. И ничего не было слышно.

Объяснялось это дальностью расстояния, скрадывавшего звук, а также и тем, что ветер дул сейчас с противоположной стороны и уносил все шумы земли куда-то вдаль, к самой линии горизонта.

Зловещая минута – круговой, бешеный трезвон колоколов и ничем не нарушаемая тишина.

Старик смотрел и слушал.

Он не слышал набата, он видел его. Странное чувство – видеть набат.

На кого же так прогневались колокола?

О чем предупреждал набат?

III. Когда бывает полезен крупный шрифт

Кого-то выслеживали.

Но кого?

Трепет охватил этого поистине железного старца.

Нет, конечно, не его. Никто не мог догадаться о его прибытии сюда. И нелепо даже предполагать, что уже успели известить представителей Конвента; ведь он только что ступил на сушу. Корвет пошел ко дну раньше, чем кто-нибудь успел спастись. Да и на самом корвете только дю Буабертло и Ла Вьевиль знали его подлинное имя.

А колокола надрывались в яростном перезвоне. Он снова оглядел все колокольни и даже машинально пересчитал их, не в силах ни на чем сосредоточить мысль, отбрасывая одну догадку за другой, в том состоянии смятения чувств, когда глубочайшая уверенность вдруг сменяется пугающей неизвестностью. Но ведь бить в набат можно по разным причинам, и старик мало-помалу успокоился, твердя вполголоса: «В конце концов никто не знает о моем прибытии, никто не знает моего имени».

Вот уже несколько минут откуда-то сверху доносился легкий шорох. Словно на потревоженном ветром дереве зашуршал лист. Сначала старик даже не поглядел в ту сторону, но так как шорох не смолкал, а будто нарочно старался привлечь к себе внимание, он обернулся. Действительно, это был лист, но только лист бумаги. Ветер пытался сорвать с дорожного столба большое объявление. По всей видимости, его приклеили лишь недавно, так как бумага еще не успела просохнуть, и ветер, играя, отогнул ее край.

Старик подымался на дюну с противоположной стороны и поэтому раньше не заметил объявления.

Он влез на тумбу, где только что спокойно отдыхал, и прихлопнул ладонью угол объявления, которое отдувало ветром. Июньские сумерки не сразу сменяет ночная мгла, и по-вечернему светлое небо лило свой бледный свет на вершину дюны, подножье которой уже окутала ночь; почти весь текст объявления был набран крупным шрифтом, еще различимым в наступивших потемках. Старик прочел следующее:

"Французская республика, единая и неделимая.

Мы, Призер из Марны, представитель народа, в качестве комиссара при береговой Шербургской республиканской армии, приказываем: бывшего маркиза де Лантенака, виконта де Фонтенэ, именующего себя бретонским принцем, высадившегося тайком на землю Франции близ Гранвиля, объявить вне закона. Голова его оценена. Доставивший его мертвым или живым получит шестьдесят тысяч ливров. Названная сумма выплачивается не в ассигнатах, а в золоте. Один из батальонов Шербургской береговой армии незамедлительно отрядить на поимку бывшего маркиза де Лантенака. Предлагаем сельским общинам оказывать войскам всяческое содействие. Дано в Гранвиле 2 сего июня 1793 года. Подписано

Приер из Марны".

Ниже этого имени стояла вторая подпись, набранная мелким шрифтом, и разобрать ее при угасающем свете дня не представлялось возможным.

Старик нахлобучил на глаза шляпу, закутался до самого подбородка в матросский плащ и поспешно спустился вниз. Мешкать здесь на освещенной вершине дюны было более чем бесполезно.

Возможно, он и так уж слишком задержался, ведь верхний склон дюны был последней светлой точкой во всем пейзаже.

Внизу темнота сразу поглотила путника, и он зашагал медленнее.

Он направился в сторону фермы, следуя намеченному еще на дюне маршруту, который он, очевидно, считал наиболее безопасным.

На пути он не встретил никого. В этот час люди предпочитают сидеть по домам.

Войдя в густую заросль кустарника, старик остановился, снял плащ, вывернул куртку мехом вверх, снова накинул плащ, только подвязал его теперь у шеи веревочкой, отчего тот сразу приобрел нищенский вид, и снова зашагал вперед.

Светила луна.

Старик дошел до перекрестка двух дорог, где стоял древний каменный крест. У подножья креста смутно виднелся какой-то белый квадрат – судя по виду, все то же объявление, которое он только что прочел. Старик подошел поближе.

– Куда вы идете? – раздался вдруг вопрос.

Старик обернулся.

По ту сторону зеленой изгороди стоял человек; ростом он был не ниже старика, годами не моложе его, волосом так же сед, только, пожалуй, рубище у пришельца было чуть поновее. Почти двойник.

Подпирался он длинной палкой.

– Я вас спрашиваю, куда вы идете? – продолжал незнакомец.

– Скажите прежде, где я нахожусь, – ответил старик спокойно, почти высокомерно.

Незнакомец ответил:

– Находитесь вы в сеньории Танис, я здешний нищий, а вы здешний сеньор.

– Я?

– Да, вы, маркиз де Лантенак.

IV. Нищеброд

Маркиз де Лантенак, впредь мы так и будем его именовать, сурово вымолвил:

– Что ж! Идите и сообщите обо мне.

Но незнакомец продолжал:

– Мы тут с вами оба дома, вы у себя в замке, я у себя в лесу.

– Довольно. Идите. Сообщите обо мне, – повторил маркиз.

Незнакомец спросил:

– Вы, я вижу, держите путь на ферму «Соломинка». Так?

– Да.

– Не советую туда ходить.

– Почему?

– Потому что там синие.

– Сколько дней?

– Уже три дня.

– Жители фермы оказали им сопротивление?

– Какое там. Отперли перед ними все двери.

– Ах так! – сказал маркиз.

Незнакомец показал пальцем в сторону фермы, крыша которой еле виднелась из-за купы деревьев.

– Вот она, крыша, видите?

– Вижу.

– А видите, что там такое наверху?

– Что-то вьется.

– Да.

– Флаг вьется.

– Трехцветный, – заключил незнакомец.

Еще с вершины дюны маркиз обратил внимание на этот предмет, вблизи оказавшийся флагом.

– Что это, кажется, в набат бьют?

– Да, бьют.

– А что тому причиной?

– Вы, должно быть.

– А почему ничего не слышно?

– Ветер относит.

Незнакомец спросил:

– Объявление видели?

– Видел.

– Вас разыскивают.

Затем, бросив беглый взгляд в сторону фермы, добавил:

– Там целый полубатальон.

– Республиканцев?

– Парижан.

– Ну что ж, – ответил маркиз, – идем.

И сделал шаг по направлению фермы.

Нищий схватил его за руку.

– Не ходите туда!

– А куда же, по-вашему, я должен идти?

– Ко мне.

Маркиз молча взглянул на нищего.

– Послушайте-ка меня, господин маркиз. У меня не сказать чтобы очень богато, зато надежно. Землянка не высока, вроде погреба. Вместо кровати сухие водоросли. Вместо кровли ветки и трава. Идем ко мне. На ферме вас расстреляют. А у меня вы спокойно отдохнете. Вы, должно быть, устали; завтра утром синие уйдут, и можете идти куда вам угодно.

Маркиз попрежнему глядел на незнакомца.

– А вы-то на чьей стороне? – спросил он. – Вы что – республиканец? роялист?

– Я – нищий.

– Не республиканец, не роялист?

– Как-то не думал об этом.

– За короля вы или против?

– Времени не было решить.

– А что вы думаете о происходящих событиях?

– Думаю, что жить мне не на что.

– Однакож вы решили спасти меня.

– Я узнал, что вас объявили вне закона. А что такое закон, раз можно быть вне его? Никак в толк не возьму. Вот я, что я – вне закона? Или наоборот? Ничего не понимаю. С голоду помереть это по закону выходит или нет?

– Вы давно уж так бедствуете?

– Всю жизнь.

– И все-таки решили меня спасти?

– Решил.

– Почему?

– Потому, что я подумал: вот человек, которому еще хуже, чем мне. Я хоть имею право дышать, а он и того права не имеет.

– Это верно. И вы хотите меня спасти?

– Конечно. Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость. Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие.

– А вы знаете, что моя голова оценена?

– Знаю.

– А как вы об этом узнали?

– Объявление прочел.

– Вы умеете читать?

– Умею. И писать тоже умею. Почему же я должен неграмотным скотом быть?

– Раз вы умеете читать и раз вы прочитали объявление, вы должны знать, что тот, кто меня выдаст, получит шестьдесят тысяч франков!

– Знаю.

– И не в ассигнатах.

– Знаю, в золоте.

– А знаете ли вы, что шестьдесят тысяч – это целое состояние?

– Да.

– И следовательно, тот, кто меня выдаст, станет богачом?

– Знаю, ну и что?

– Богачом!

– Как раз я об этом и подумал. Увидел вас и сразу сообразил: тот, кто выдаст этого человека, получит шестьдесят тысяч франков и станет богачом, Значит, придется его спрятать да побыстрее.

Маркиз молча последовал за нищим.

Они углубились в чащу. Здесь и помещалась землянка нищего. Огромный старый дуб пустил к себе человека, устроившего под его сенью свое жилье; под мощными корнями была вырыта землянка, прикрытая сверху густыми ветвями. Землянка была темная, низкая, надежно укрытая от глаз. В ней могли поместиться двое.

– Словно я знал, что мне придется принимать гостей, – сказал нищий.

Такие землянки гораздо чаще попадаются в Бретани, чем принято думать, и зовутся на местном диалекте «пещерка». Тем же словом здесь называют тайники, которые устраивают в толще стен.

Все убранство такой пещерки обычно составляют несколько горшков, ложе из соломы или из промытых и высушенных на солнце морских водорослей, дерюга вместо одеяла, два-три светильника, наполненных животным жиром, и десяток сухих стебельков в замену спичек.

Согнувшись, почти на четвереньках, вползли они в пещерку, перерезанную толстыми корнями дуба на крохотные каморки, и уселись на кучу сухих водорослей, заменявших кровать. Меж двух корней, образующих узкий вход, в пещерку проникал слабый свет. Спускалась ночь, но человеческий глаз приспособляется к любому освещению и в конце концов даже в полном мраке сумеет отыскать светлую точку. Лунный луч бледным пятном лежал у входа. В углу виднелся кувшин с водой, лепешка из гречневой муки и кучка каштанов.

– Давайте поужинаем, – предложил нищий.

Они поделили каштаны, маркиз вынул из кармана матросскую галету, они откусывали от одного куска и пили по очереди из одного кувшина.

Завязался разговор.

Маркиз начал первым.

– Следовательно, – спросил он, – случаются ли какие-нибудь события, или вовсе ничего не случается, вам все равно?

– Пожалуй, что и так. Вы – господа, вы другое дело. Это уж ваша забота.

– Но ведь то, что сейчас происходит…

– Происходит – наверху.

И нищий добавил:

– А многое происходит еще выше: вот солнце, к примеру, подымается, или месяц на убыль идет, или полнолунье наступит, вот это мне не все равно.

Он отхлебнул глоток из кувшина и произнес:

– Хороша вода, свежая.

И добавил:

– А вам она по вкусу ли, ваша светлость?

– Как вас зовут? – спросил маркиз.

– Зовут меня Тельмарш, а кличут «Нищеброд».

– Слыхал такое слово. В здешних местах так говорят.

– Нищеброд – значит нищий. И еще одно прозвище у меня есть – «Старик».

Он продолжал:

– Вот уже сорок лет как меня «Стариком» величают.

– Сорок лет! да вы тогда были еще совсем молодым человеком.

– Никогда я молодым не был. Вот вы, маркиз, всегда были молоды. У вас и сейчас ноги, как у двадцатилетнего, смотрите, как легко вы на дюну взобрались; а я еле двигаюсь, пройду четверть лье, и конец, из сил выбился. А ведь мы с вами однолетки; ну да у богатых против нас есть одно преимущество – каждый день едят. А еда человека сохраняет.

Помолчав немного, нищий снова заговорил:

– Бедняки, богачи – страшное дело. Отсюда все беды и идут. По крайней мере так на мой взгляд выходит. Бедные хотят стать богатыми, а богачи не хотят стать бедными. В этом-то весь корень зла, по моему разумению. Только мое дело сторона. События они и есть события. По мне что кредитор, что должник – все едино. Знаю только, что раз есть долги, их надо платить. Вот и все. Было бы лучше, если бы короля не убивали, а почему – сказать не могу. Мне на это возражают: «В прежние времена господа ни за что ни про что людей на сук вздергивали». Что и говорить, я своими глазами видел, как один бедняга подстрелил в недобрый час королевскую косулю, за что его и повесили, а у него осталась жена и семеро ребятишек. Так что тут надвое можно сказать.

Он помолчал и снова заговорил:

– Поверьте, никак я в толк не возьму. Одни приходят, другие уходят, события разные случаются, а я вот сижу на отшибе да гляжу на звезды.

Тельмарш погрузился в глубокое раздумье, потом произнес:

– Я, видите ли, немножко костоправ, немножко лекарь, в травах разбираюсь, знаю, какая на пользу человеку идет, а здешние жители заметят, что я гляжу на что-нибудь задумавшись, ну и говорят, будто я колдун. Я просто размышляю, а они считают, что мне невесть что открыто.

– Вы местный житель? – спросил маркиз.

– Всю жизнь здесь прожил.

– А меня вы знаете?

– Как же не знать. В последний раз я вас видел два года тому назад, в последний ваш приезд. А отсюда вы в Англию отправились. А вот сейчас заметил какого-то человека на вершине дюны. Смотрю, человек высокого роста. А высокие здесь в диковину; в Бретани народ все мелкий, низкорослый. Пригляделся получше, прочел объявление и подумал: «Гляди-ка ты!» А когда вы спустились, тут уж луна взошла, я вас сразу же и признал.

– Однако я вас не знаю.

– Вы меня видели и не видели.

И Тельмарш-Нищеброд пояснил:

– Я-то вас видел. Прохожий и нищий по-разному друг на друга глядят.

– Стало быть, я вас и раньше встречал?

– Частенько, ведь я здешний, значит как бы ваш нищий. Я просил милостыню на той дороге, что ведет к вашему замку. При случае вы мне тоже подавали; но тот, кто милостыню подает, не смотрит, а тот, кто получает, все заметит, все оглядит. Нищий, говорят, тот же соглядатай. Хоть мне подчас и горько приходится, однако я стараюсь, чтобы мое соглядатайство во зло никому не пошло. Я протягивал руку, вы только мою руку и видели; бросите проходя монету, а она мне как раз утром нужна, чтобы дотянуть до вечера и не умереть с голоду. Иной раз круглые сутки маковой росинки во рту не бывает. А когда есть грош – значит еще жив. Выходит, я вам обязан жизнью, а теперь только заплатил долг.

– Совершенно верно, вы меня спасли.

– Да, я вас спас, ваша светлость.

В голосе Тельмарша прозвучали торжественные ноты.

– Только при одном условии.

– Каком условии?

– При том, что вы явились сюда не ради зла.

– Я явился сюда ради добра, – ответил маркиз.

– Ну, пора спать, – сказал нищий.

Они устроились рядом на ложе из водорослей. Нищий тут же заснул. А маркиз, несмотря на сильную усталость, с минуту еще думал о чем-то, потом взглянул на лежащего с ним рядом в потемках Тельмарша и лег. Спать на нищенском ложе, значит спать прямо на голой земле; воспользовавшись этим обстоятельством, маркиз припал ухом к земле и стал слушать. Оттуда доносился глухой шум – как известно, звук быстро распространяется под землей; и маркиз различил далекий перезвон колоколов.

Попрежнему били в набат.

Маркиз уснул.

V. Подписано: «Говэн»

Когда он проснулся, уже брезжил свет.

Нищий стоял не в землянке, так как в землянке невозможно было выпрямиться во весь рост, а у порога своей пещерки. Он опирался на палку. На лице его играли солнечные лучи.

– Ваша светлость, – начал Тельмарш, – на колокольне Танис уже пробило четыре часа; ветер переменился, теперь он с суши дует. А кругом тихо, ни звука, стало быть в набат больше не бьют. Все спокойно и на ферме и на мызе «Соломинка». Синие или еще спят, или уже ушли. Теперь опасности нет, разумнее всего нам с вами распрощаться. В этот час я обычно ухожу из дому.

Он указал куда-то вдаль:

– Вот туда я и пойду.

Затем показал в обратную сторону:

– А вы вот туда идите.

И нищий важно махнул рукой на прощание.

Потом указал на остатки вчерашнего ужина:

– Если вы голодны, можете взять себе каштаны.

Через мгновение он уже скрылся в чаще.

Маркиз поднялся со своего ложа и пошел в направлении, указанном Тельмаршем.

Был тот восхитительный час, который в старину нормандские крестьяне именовали «птичьи пересуды». Со всех сторон доносился пересвист щеглов и воробьиное чирикание. Маркиз шагал по тропинке, по которой он шел вчера в сопровождении нищего. Он выбрался из лесной чащи и направился к перекрестку дорог, где стоял каменный крест. Объявление попрежнему было здесь, в лучах восходящего солнца оно выглядело каким-то нарядным и особенно белым. Маркиз вспомнил, что внизу объявления имеется строчка, которую он не мог прочитать накануне. Он подошел к подножью креста. И действительно, ниже подписи «Приер из Марны», две строчки, набранные мелким шрифтом, гласили:

«В случае установления личности маркиза де Лантенака он будет немедленно расстрелян». Подписано: «Командир батальона, начальник экспедиционного отряда Говэн».

– Говэн! – промолвил маркиз.

С минуту он стоял неподвижно, не отрывая глаз от объявления.

– Говэн! – повторил он.

Он зашагал вперед, потом вдруг обернулся, взглянул на крест, повернул обратно и прочел объявление еще раз.

Затем он медленно отошел прочь. И повстречайся с ним в эту минуту прохожий, он услышал бы, как маркиз вполголоса твердит про себя: «Говэн!»

Высокий обрывистый откос дороги, по которой он шел, загораживал крыши фермы, оставшейся по левую руку. Путь маркиза лежал мимо крутого холма, покрытого цветущим терновником. Вершину пригорка венчал голый земляной выступ, именовавшийся в здешних краях «Кабанья Голова». Подножье пригорка густо поросло кустарником, и взгляд терялся в зеленой чаще. Листва словно вбирала в себя солнечный свет. Вся природа дышала безмятежной радостью утра.

Вдруг этот мирный пейзаж стал страшен. Перемена была внезапной, как нападение из засады.

Лавина диких криков и ружейных залпов внезапно обрушилась на эти леса и нивы, залитые солнцем; над фермой и мызой поднялся огромный клуб дыма, пронизанный языками огня, словно там заполыхал стог соломы. Как зловещ и скор был этот переход от безмятежного спокойствия к ярости, эта вспышка адского пламени на фоне розовеющей зари, этот внезапно родившийся ужас! Бой шел возле фермы «Соломинка». Маркиз остановился.

Нет человека, который в подобных обстоятельствах не поддался бы чувству жгучего любопытства, чувству более сильному, нежели чувство самосохранения. Старик взошел на холм, у подножия которого пролегала дорога. Пусть отсюда будет видно его самого, зато он сам увидит все. Через несколько минут он достиг Кабаньей Головы. И огляделся по сторонам.

Да, там раздавались выстрелы, там разгорался пожар. Сюда наверх доносились крики, отсюда видно было пламя. Ферма оказалась в центре какой-то непонятной катастрофы. Какой именно? Неужели «Соломинка» подверглась нападению? Но кто же напал на нее? Да и бой ли это? Вероятнее всего, это просто карательная экспедиция. Нередко синие, во исполнение революционного декрета, карали мятежные деревни и фермы, предавая их огню; чтобы другим не повадно было, они сжигали каждый хутор и каждую хижину, не сделавших в лесу вырубки, как то от них требовалось, или же своевременно не расчистивших прохода в чаще для следования республиканской кавалерии. Совсем недавно подобная экзекуция была совершена в приходе Бургон, неподалеку от Эрне. Неужели и «Соломинка» подверглась такой каре? Даже простым глазом было видно, что среди кустарника и лесов, окружавших Танис и «Соломинку», никто не позаботился, вопреки требованию декрета, проложить стратегической просеки. Значит, расправа обрушилась и на «Соломинку»? Уж не получили ли занявшие ферму солдаты соответствующего приказа? И уж не входит ли этот авангардный батальон в состав карательных отрядов, именуемых «адскими колоннами»?

К пригорку, с которого маркиз обозревал округу, со всех четырех сторон подступал густой, почти непроходимый перелесок. Известный больше под именем рощи, но вполне достойный по своим размерам зваться бором, перелесок этот тянулся вплоть до фермы «Соломинка» и, подобно всем бретонским чащам, скрывал глубокие складки оврагов, лабиринты тропинок и дорог, где сутками блуждали в поисках пути республиканские армии.

Экзекуция, если только это действительно была экзекуция, должно быть, обрушилась на мирную ферму со всей жестокостью, ибо длилась она всего несколько минут. Как и любое насилие, она совершилась мгновенно. Гражданские войны приемлют такие расправы. Пока маркиз терялся в догадках, не зная, спуститься ли ему вниз, или оставаться здесь, на холме, пока он вслушивался и вглядывался, шум побоища утих, или, вернее, рассеялся. Маркиз догадался, что теперь среди густого кустарника растеклась во всех направлениях яростная и торжествующая орда. Под сенью дерев кишел человеческий муравейник. Расправившись с фермой, все бросились в лес. Барабаны били сигнал атаки. Выстрелы смолкли; бой затих, но

началась облава, словно люди преследовали, выслеживали кого-то, гнались за кем-то. Ясно было, что начался поиск; кругом стоял глухой и раскатистый шум; слышались вперемежку крики гнева и ликования, из общего гула вдруг вырывался радостный возглас, но слов нельзя было различить. Подобно тому как сквозь густой дым вдруг начинают вырисовываться очертания предметов, так и сквозь этот гам пробилось одно четко и раздельно произнесенное слово, вернее имя, имя, повторенное тысячью глоток, и маркиз различил: «Лантенак! Лантенак! Маркиз де Лантенак!»

Стало быть, искали именно его.

VI. Превратности гражданской войны

И внезапно вокруг маркиза, разом со всех сторон, перелесок ощетинился дулами ружей, штыками и саблями; в пороховом дыму заплескалось трехцветное знамя, крики «Лантенак!» явственно достигли слуха маркиза, а у ног его, между колючек, терний и веток, показались свирепые физиономии.

Одинокая фигура маркиза, стоявшего неподвижно на вершине пригорка, была заметна из каждого уголка леса. Хотя сам он с трудом различал тех, кто выкликал его имя, его было видно отовсюду. Если в лесу имелась тысяча ружей, то он, стоя здесь, на вершине пригорка, являл собою превосходную мишень для каждого. В густом кустарнике виднелись лишь горящие зрачки.

Маркиз снял шляпу, отогнул поля, сорвал с терновника длинную сухую колючку, вытащил из кармана белую кокарду и приколол ее колючкой вместе с поднятым бортом к тулье, надел шляпу, так что кокарда сразу же бросалась в глаза, и произнес громким голосом, как бы требуя внимания от лесной чащи:

– Я тот, кого вы ищете. Да, я маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, бретонский принц, генерал-лейтенант королевских армий. Кончайте быстрее! Целься! Огонь!

И, схватившись обеими руками за отвороты своей козьей куртки, он широко распахнул ее, подставив под дула голую грудь.

Опустив глаза долу, он искал взглядом нацеленные на него ружья, а увидел коленопреклоненную толпу.

Громогласный крик единодушно вырвался из сотен глоток: «Да здравствует Лантенак! Да здравствует его светлость! Да здравствует наш генерал!»

Над деревьями замелькали брошенные в воздух шляпы, весело закружились над головами клинки сабель, и над зеленым кустарником поднялся частокол палок, с нацепленными на них коричневыми вязаными колпаками.

Люди, толпившиеся вкруг Лантенака, оказались отрядом вандейцев.

Увидев его, вандейцы преклонили колена.

Старинная легенда гласит, что некогда в тюрингских лесах жили удивительные существа, из породы великанов, похожие на людей и вместе с тем не совсем люди, коих римлянин почитал дикими зверьми, а германец – богами во плоти, и в зависимости от того, кто попадался на пути такого бога-зверя, его ждал смертоносный удар или слепое преклонение.

В эту минуту маркиз ощутил нечто подобное тому, что должны были испытывать те сказочные существа, – он ожидал, как зверь, удара, и вдруг ему, как божеству, воздаются почести.

Сотни глаз, горевших грозным огнем, впились в маркиза с выражением дикарского обожания.

Весь этот сброд был вооружен карабинами, саблями, косами, мотыгами, палками; у каждого на широкополой войлочной шляпе или на коричневом вязаном колпаке рядом с белой кокардой красовалась целая гроздь амулетов и четок, на всех были широкие штаны, не

доходившие до колен, плащи, кожаные гетры, открывавшие голые лодыжки, космы волос падали на плечи; у многих был свирепый вид, но во всех взглядах светилось простодушие.

Какой-то молодой человек с красивым лицом растолкал толпу коленопреклоненных вандейцев и твердым шагом направился к маркизу. Голову его украшала простая войлочная шляпа с белой кокардой на приподнятом крае, одет он был, как и все прочие, в плащ из грубой шерсти, но руки выделялись белизной, а сорочка качеством полотна; под распахнутой на груди курткой виднелась белая шелковая перевязь, служившая портупеей для шпаги с золотым эфесом.

Добравшись до верха Кабаньей Головы, молодой человек швырнул наземь шляпу, отцепил перевязь и, опустившись на колени, протянул ее маркизу вместе со шпагой.

– Да, мы искали вас, – сказал он, – и мы вас нашли. Разрешите вручить вам шпагу командующего. Все эти люди отныне в полном вашем распоряжении. Я был их командиром, теперь я получил повышение в чине: я ваш солдат. Примите, ваша светлость, наше глубочайшее почтение. Мы ждем ваших приказаний, господин генерал.

Он махнул рукой, и из леса показались люди, несущие трехцветное знамя. Они тоже подошли к маркизу и опустили знамя к его ногам. Именно это знамя заметил маркиз тогда среди деревьев и кустов.

– Господин генерал, – продолжал молодой человек, сложивший к ногам маркиза свою шпагу с перевязью, – мы только что отбили это знамя у синих, засевших на ферме «Соломинка». Имя мое Гавар. Я служил под началом маркиза де Ларуари.

– Что ж, чудесно, – ответил старик.

Уверенным и спокойным движением он перепоясал себя шарфом.

Потом выхватил из ножен шпагу и, потрясая ею над головой, воскликнул:

– Встать! Да здравствует король!

Коленопреклоненная толпа поднялась.

И в мрачной чаще леса прокатился глухой ликующий крик: «Да здравствует наш король! Да здравствует наш маркиз! Да здравствует Лантенак!»

Маркиз повернулся к Гавару:

– Сколько вас?

– Семь тысяч.

И, спускаясь с пригорка за Лантенаком, перед которым услужливые руки крестьян торопливо раздвигали колючие ветки, Гавар добавил:

– Нет ничего проще, ваша светлость. Сейчас я вам все объясню в двух словах. Мы ждали лишь первой искры. Узнав из объявления республиканцев о вашем прибытии, мы призвали всю округу встать за короля. К тому же нас тайком известил мэр Гранвиля – наш человек, тот самый, что спас аббата Оливье. Нынче ночью ударили в набат.

– Ради чего?

– Ради вас.

– А!.. – произнес маркиз.

– И вот мы здесь, – подхватил Гавар.

– Вас семь тысяч?

– Сегодня всего семь. А завтра будет пятнадцать. Да и эти пятнадцать – дань лишь одной округи. Когда господин Анри Ларошжаклен отбывал в католическую армию, мы тоже ударили в набат, и в одну ночь шесть приходов – Изернэ, Коркэ, Эшобруань, Обье, Сент-Обэн и Нюэль выставили десять тысяч человек. Не было боевых припасов, – у какого-то каменотеса обнаружилось шестьдесят фунтов пороха, и господин Ларошжаклен двинулся в поход. Мы

предполагали, что вы должны находиться где-нибудь поблизости в здешних лесах, и отправились на поиски.

– Значит, это вы перебили синих на ферме «Соломинка»?

– Ветром унесло колокольный звон в другую сторону, и они не слышали набата. Потому-то они и не поостереглись; жители фермы – безмозглое мужичье – встретили их с распростертыми объятиями. Сегодня утром, пока синие еще мирно почивали, мы окружили ферму и покончили с ними в одну минуту. У меня есть лошадь. Разрешите предложить ее вам, господин генерал?

– Хорошо.

Какой-то крестьянин подвел к генералу белую лошадь под кавалерийским седлом. Маркиз, словно не заметив подставленной руки Гавара, без посторонней помощи вскочил на коня.

– Ур-ра! – крикнули крестьяне. Возглас «ура», как и многие другие английские словечки, широко распространены на бретонско-нормандском берегу, издавна связанном с островами Ламанша.

Гавар отдал честь и спросил:

– Где изволите выбрать себе штаб-квартиру, господин генерал?

– Пока в Фужерском лесу.

– В одном из семи принадлежащих вам лесов, маркиз?

– Нам необходим священник.

– Есть один на примете.

– Кто же?

– Викарий из прихода Шапель-Эрбре.

– Знаю. Если не ошибаюсь, он бывал на Джерсее.

Из рядов выступил священник.

– Трижды, – подтвердил он.

Маркиз обернулся на голос:

– Добрый день, господин викарий. Хлопот у вас будет по горло.

– Тем лучше, ваша светлость.

– Вам придется исповедовать сотни людей. Но только тех, кто изъявит желание. Насильно никого.

– Маркиз, – возразил священник, – Гастон в Геменэ насильно гонит республиканцев на исповедь.

– На то он и цирюльник, – ответил маркиз. – В смертный час нельзя никого неволить.

Гавар, который тем временем давал солдатам последние распоряжения, выступил вперед.

– Жду ваших приказаний, господин генерал.

– Прежде всего встреча состоится в Фужерском лесу. Пусть пробираются туда поодиночке.

– Приказ уже дан.

– Помнится, вы говорили, что жители «Соломинки» встретили синих с распростертыми объятьями?

– Да, господин генерал.

– Вы сожгли ферму?

– Да.

– А мызу сожгли?

– Нет.

– Сжечь немедленно.

– Синие пытались сопротивляться, но их было всего сто пятьдесят человек, а нас семь тысяч.

– Что это за синие?

– Из армии Сантерра.

– А, того самого, что командовал барабанщиками во время казни короля? Значит, это парижский батальон?

– Вернее, полбатальона.

– А как он называется?

– У них на знамени написано: «Батальон Красный Колпак».

– Зверье!

– Как прикажете поступить с ранеными?

– Добить.

– А с пленными?

– Расстрелять.

– Их человек восемьдесят.

– Расстрелять.

– Среди них две женщины.

– Расстрелять.

– И трое детей.

– Захватите с собой. Там посмотрим.

И маркиз дал шпоры коню.

VII. Не миловать (девиз Коммуны), пощады не давать (девиз принцев)

В то время как все эти события разыгрывались возле Таниса, нищий брел по дороге в Кроллон. Он спускался в овраги, исчезал порой под широколиственными кронами дерев, то не замечая ничего, то замечая что-то вовсе недостойное внимания, ибо, как он сам сказал недавно, он был не мыслитель, а мечтатель; мыслитель, тот во всем имеет определенную цель, а мечтатель не имеет никакой, и поэтому Тельмарш шел куда глаза глядят, сворачивал в сторону, вдруг останавливался, срывал на ходу пучок конского щавеля, жевал свежие его листочки, то, припав к ручью, пил прохладную воду, то, заслышав вдруг отдаленный гул, удивленно вскидывал голову, потом вновь подпадал под колдовские чары природы; солнце пропекало его лохмотья, до слуха его, быть может, доносились голоса людей, но он внимал лишь пенью птиц.

Он был стар и медлителен; дальние прогулки стали ему не под силу; как он сам объяснил маркизу де Лантенаку, уже через четверть лье у него начиналась одышка; поэтому он обогнул кратчайшим путем Круа-Авраншен и к вечеру вернулся к тому перекрестку дорог, откуда начал путь.

Чуть подальше Масэ тропка вывела его на голый безлесный холм, откуда было видно далеко во все четыре стороны; на западе открывался бескрайний простор небес, сливавшийся с морем.

Вдруг запах дыма привлек его внимание.

Нет ничего слаще дыма, но нет ничего и страшнее его. Дым бывает домашний, мирный, и бывает дым-убийца. Дым разнится от дыма густотой своих клубов и цветом их окраски, и разница эта та же, что между миром и войной, между братской любовью и ненавистью, между гостеприимным кровом и мрачным склепом, между жизнью и смертью. Дым, вьющийся над

кроной деревьев, может означать самое дорогое на свете – домашний очаг и самое страшное – пожар; и все счастье человека, равно как и все его горе, заключено подчас в этой субстанции, послушной воле ветра.

Дым, который заметил с пригорка Тельмарш, вселял тревогу.

В густой его черноте пробегали быстрые красные язычки, словно пожар то набирался новых сил, то затихал. Дым подымался над фермой «Соломинка».

Тельмарш ускорил шаг и направился туда, откуда шел дым. Он очень устал, но ему не терпелось узнать, что там происходит.

Нищий взобрался на пригорок, к подножью которого прилепились ферма и мыза.

Но ни фермы, ни мызы не существовало более.

Тесно сбитые в ряд пылающие хижины, вот что осталось от «Соломинки».

Если существует на. свете зрелище более печальное, чем горящий замок, то это зрелище горящей хижины. Охваченная пожаром хижина невольно вызывает слезы. Есть какая-то удручающая и нелепая несообразность в бедствии, обрушившемся на нищету, в коршуне, раздирающем земляного червя.

По библейскому преданию, всякое живое существо, смотрящее на пожар, обращается в каменную статую; и Тельмарш тоже на минуту застыл, как изваяние. Он замер на месте при виде открывшегося перед ним зрелища. Огонь творил свое дело в полном безмолвии. Ни человеческого крика не доносилось с фермы, ни человеческого вздоха не летело вслед уплывающим клубам; пламя в сосредоточенном молчании пожирало остатки фермы, и лишь временами слышался треск балок и тревожный шорох горящей соломы. Минутами ветер раздирал клубы дыма, и тогда сквозь рухнувшие крыши виднелись черные провалы горниц; горящие угли являли взору всю россыпь своих рубинов; окрашенное в багрец тряпье и жалкая утварь, одетая пурпуром, на мгновение возникали среди разрумяненных огнем стен, так что Тельмарш невольно прикрыл глаза перед зловещим великолепием бедствия.

Каштаны, росшие возле хижин, уже занялись и пылали.

Тельмарш напряженно прислушивался, стараясь уловить хоть звук человеческого голоса, хоть призыв о помощи, хоть стон; но все было недвижно, кроме языков пламени, все молчало, кроме ревущего огня. Следовательно, люди успели разбежаться?

Куда делось все живое, что населяло «Соломинку» и трудилось здесь? Что сталось с горсткой ее жителей?

Тельмарш зашагал с пригорка вниз.

Он старался разгадать страшную тайну. Он шел не торопясь, зорко глядя вокруг. Медленно, словно тень, подходил он к этим руинам и сам себе казался призраком, посетившим безмолвную могилу.

Он подошел к воротам фермы, вернее к тому, что было раньше ее воротами, и заглянул во двор: ограды уже не существовало и ничто не отделяло его от хижины.

Все увиденное им прежде было ничто. Он видел лишь страшное, теперь пред ним предстал сам ужас.

Посреди двора чернела какая-то груда, еле очерченная с одной стороны отсветом зарева, а с другой – сиянием луны; эта груда была грудой человеческих тел, и люди эти были мертвы.

Вокруг натекла лужа, над которой подымался дымок, отблески огня играли на ее поверхности, но не они окрашивали ее в красный цвет; то была лужа крови.

Тельмарш приблизился. Он начал осматривать лежащие перед ним тела, – тут были только трупы.

Луна лила свой свет, пожарище бросало свой.

То были трупы солдат. Все они лежали босые; кто-то поторопился снять с них сапоги, кто-то поторопился унести их оружие. Но на них уцелели мундиры – синие мундиры; в груде мертвых тел и отрубленных голов валялись простреленные каски с трехцветными кокардами. То были республиканцы, которые еще вчера, живые и здоровые, расположились на ночлег на ферме «Соломинка». Этих людей предали мучительной смерти, о чем свидетельствовала аккуратно сложенная гора трупов; людей убили на месте и убили обдуманно. Все были мертвы. Из груды тел не доносилось даже предсмертного хрипа.

Тельмарш провел смотр этим мертвецам, не пропустив ни одного; всех изрешетили пули.

Те, кто выполнял приказ о расстреле, по всей видимости, поспешили уйти и не позаботились похоронить мертвецов.

Уже собираясь уходить, Тельмарш бросил последний взгляд на низенький частокол, чудом уцелевший посреди двора, и заметил две пары ног, торчащих из-за угла.

Ноги эти были обуты и казались меньше, чем все прочие; Тельмарш подошел поближе. То были женские ноги.

По ту сторону частокола лежали две женщины, их тоже расстреляли.

Тельмарш нагнулся. На одной женщине была солдатская форма, возле нее валялась продырявленная пулей пустая фляга. Это оказалась маркитантка. Череп ее пробили четыре пули. Она уже скончалась.

Тельмарш осмотрел ту, что лежала с ней рядом. Это была простая крестьянка. Бледное лицо, оскаленный рот, глаза плотно прикрыты веками. Но раны на голове Тельмарш не обнаружил, Платье, превратившееся от долгой носки в лохмотья, разорвалось при падении и открывало почти всю грудь. Тельмарш раздвинул лохмотья и увидел на плече круглую пулевую ранку, – очевидно, была перебита ключица. Старик взглянул на безжизненно посиневшую грудь.

– Мать-кормилица, – прошептал он.

Он дотронулся до тела женщины. И ощутил живое тепло.

Других повреждений, кроме перелома ключицы и раны в плече, он не заметил.

Тельмарш положил руку на сердце женщины и уловил робкое биение. Значит, она еще жива.

Он выпрямился во весь рост и прокричал страшным голосом:

– Эй, кто тут есть? Выходи.

– Да это никак ты, Нищеброд, – тут же отозвался голос, но прозвучал он приглушенно.

И в ту же минуту между двух рухнувших балок просунулась чья-то физиономия.

Следом из-за угла хижины выглянуло еще чье-то лицо.

Два крестьянина успели во-время спрятаться, только им двоим и удалось спастись от пуль.

Услышав знакомый голос Тельмарша, они приободрились и рискнули выбраться на свет божий.

Их обоих до сих пор била дрожь.

Тельмарш мог только кричать, говорить он уже не мог; таково действие глубоких душевных потрясений.

Он молча показал пальцем на тело женщины, распростертое на земле.

– Неужели жива? – спросил крестьянин.

Тельмарш утвердительно кивнул головой.

– А другая тоже жива? – осведомился второй крестьянин.

Тельмарш отрицательно покачал головой.

Тот крестьянин, что выбрался из своего укрытия первым, заговорил:

– Стало быть, все прочие померли? Видел я все, своими глазами видел. Сидел в погребе. Вот в такую минуту и поблагодаришь господа, что нет у тебя семьи. Домишко-то мой сожгли. Боже мой, господи, всех поубивали. А у этой вот женщины дети были. Трое детишек! Мал мала меньше. Уж как ребятки кричали: «Мама! Мама!» А мать кричала: «Дети мои!» Мать, значит, убили, а детей увели. Сам своими глазами видел. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Те, что всех здесь перебили, ушли потом. Да еще радовались. Маленьких, говорю, увели, а мать убили. Да она жива, скажи, жива ведь? Как, по-твоему, удастся тебе ее спасти? Хочешь, мы тебе поможем перенести ее в твою пещерку?

Тельмарш утвердительно кивнул головой.

Лес подступал к самой ферме. Не мешкая зря, крестьяне смастерили из веток и папоротника носилки. На носилки положили женщину, попрежнему не подававшую признаков жизни, один крестьянин впрягся в носилки в головах, другой в ногах, а Тельмарш шагал рядом и держал руку раненой, стараясь нащупать пульс. По дороге крестьяне продолжали беседовать, и их испуганные голоса как-то странно звучали над израненным телом женщины, которая в лучах луны казалась еще бледнее.

– Всех поубивали.

– Все сожгли.

– Святые угодники, что-то теперь будет?

– А все это длинный старик натворил.

– Да, это он всем командовал.

– Я что-то его не заметил, когда расстрел шел. Разве он был тут?

– Не было его. Уже уехал. Но все равно, все делалось по его приказу.

– Значит, он всему виной.

– А как же, ведь это он приказал: «Убивайте, жгите, никого не милуйте».

– Говорят, он маркиз.

– Маркиз и есть. Наш маркиз.

– Как его звать-то?

– Да это же господин де Лантенак.

Тельмарш поднял глаза к небесам и прошептал сквозь судорожно стиснутые зубы:

– Если б я знал!

Часть вторая

В Париже

Книга первая

Симурдэн

I. Улицы Парижа тех времен

Вся жизнь протекала на людях. Столы вытаскивали на улицу и обедали тут же перед дверьми; на ступеньках церковной паперти женщины щипали корпию, распевая марсельезу; парк Монсо и Люксембургский сад стали плацем, где новобранцев обучали воинским артикулам; на каждом перекрестке работали полным ходом оружейные мастерские, здесь готовили ружья, и прохожие восхищенно хлопали в ладоши; одно было у всех на устах: «Терпение. Этого требует революция». И улыбались героически. Зрелища привлекли огромные толпы, как в Афинах во время Пелопонесской войны; на каждом углу пестрели афиши: «Осада Тионвиля», «Мать семейства, спасенная из пламени», «Клуб беспечных», «Папесса Иоанна», «Солдаты-философы», «Сельское искусство любви». Немцы стояли у ворот столицы; ходил слух, будто прусский король приказал оставить для него ложу в Опере. Все было страшно, но никто не ведал страха. Зловещий «закон о подозрительных»,[61] который останется на совести Мерлена из Дуэ, вздымал над каждой головой зримый призрак гильотины. Некто Сэран,

прокурор, узнав, что на него поступил донос, сидел в ожидании ареста у окна в халате и ночных туфлях и играл на флейте. Всем было недосуг. Все торопились. На каждой шляпе красовалась кокарда. Женщины говорили: «Нам к лицу красный колпак». Казалось, весь Париж переезжал с квартиры на квартиру. Лавчонки старьевщиков уже не вмещали корон, митр, позолоченных деревянных скипетров и геральдических лилий – всякого старья из королевских дворцов. Отжившая свой век монархия шла на слом. Ветошники бойко торговали церковным облачением. У Поршерона и Рампоно люди, наряженные в стихари и епитрахили, важно восседая на ослах, покрытых вместо чепраков ризами, протягивали разливавшим вино кабатчикам священные дароносицы. На улице Сен-Жак босоногие каменщики властным жестом останавливали тачку разносчика, торговавшего обувью, покупали вскладчину пятнадцать пар сапог и тут же отправляли в Конвент в дар нашим воинам. На каждом шагу красовались бюсты Франклина,[62] Руссо,[63] Брута и Марата;[64] под одним из бюстов Марата на улице Клош-Перс была прибита в застекленной черной рамке обвинительная речь против Малуэ;[65] с полным перечнем улик и припиской сбоку: "Все эти подробности сообщены мне любовницей Сильвэна Байи – доброй патриоткой, не раз доказывавшей мне свое сердечное расположение. На подлинном подпись: «Марат». На площади Пале-Рояль прежняя надпись на фонтане: «Quantos effundit in usus!»[66] – исчезла под двумя огромными полотнищами – на одном был изображен темперой Кайе де Жервилль, открывающий Национальному собранию пароль арльских «тряпичников», а на другом – Людовик XVI, возвращающийся под конвоем из Варенна[67] снизу к королевской карете была привязана длинная доска, и по обеим выступающим ее концам стояли два гренадера с ружьями наперевес. Большинство лавок не торговало; женщины развозили по улицам тележки с галантерейными товарами и разной мелочью; вечерами торговля шла при свечах, и оплывающее сало падало на разложенные сокровища; на улицах, под открытым небом, держали ларьки бывшие монахини в светлых париках; штопальщицей чулок, устроившейся в углу темной лавчонки, оказывалась графиня, портниха оказывалась маркизой; госпожа де Буфле перебралась на чердак, откуда могла любоваться своим собственным особняком. С криком сновали мальчишки, предлагая прохожим «листки со свежими известиями». Тех, кто щеголял в высоких галстуках, обзывали «зобастыми». Весь город кишел бродячими певцами. Толпа улюлюкала вслед песеннику-роялисту Питу,[68] человеку, впрочем, мужественному, ибо его сажали за решетку двадцать два раза и, наконец, предали революционному суду за то, что, произнося слова «гражданские добродетели», он щелкнул себя по мягкому месту; видя, что ему грозит гильотина, Питу воскликнул: «Уж если рубить мне что-нибудь, так не голову! Она-то здесь ни при чем», – и, рассмешив судей, спас свою жизнь. Этот самый Питу высмеивал моду на греческие и латинские имена; охотнее прочих он распевал песенку о некоем сапожнике, который именовал себя Цезарем, а супругу свою Цесаркой. На улицах плясали карманьолу; никто не называл даму дамой, а кавалера – кавалером, говорили просто «гражданка» и «гражданин». В разоренных монастырях устраивали танцы; украсив алтарь лампионами, плясали под сенью двух палок, сбитых крестом, с четырьмя свечами по концам и лихо пристукивали каблуками по могильным плитам. В моде были синие камзолы «а ля тиран». В галстук втыкали булавку, известную под названием «Колпак Свободы», в которой последовательно перемежались белые, синие и красные камешки. Улицу Ришелье,[69] переименовали в улицу Закона, предместье Сент-Антуан – в предместье Славы; на площади Бастилии водрузили статую Природы. Любимцами уличных зевак были в ту пору Шатле, Дидье, Никола и Гарнье-Делонэ, дежурившие у дверей дома столяра Дюпле[70] и Вуллан,[71] который не пропускал ни одной казни и провожал каждую телегу, везущую осужденных на смерть, вплоть до самой гильотины, называя свои прогулки посещением «красной обедни»; известностью пользовался также Монфлабер,[72] маркиз и революционный присяжный, который требовал, чтобы его называли «Десятое августа».[73] Прохожие любовались на маршировавших по улицам учеников Военной школы, переименованных декретом Конвента в «воспитанников школы Марса», а народной молвой в «робеспьеровых пажей». Зачитывались прокламациями Фрерона,[74]разоблачавшего

заподозренных в негоциантизме, то есть в спекуляции. Мюскадены торчали у дверей мэрии, высмеивая церемонию гражданского брака, они улюлюканием встречали молодоженов и кричали им вслед: «Муниципальные супруги». В Доме инвалидов на статуи святых и королей нацепили фригийские колпаки. На каждом перекрестке картежники дулись в карты, но и в игральную колоду ворвался вихрь революции: королей заменили «гениями», дам – «свободами», валетов – «равенствами», а тузов – «законами». Перепахивали публичные парки: в Тюильри пустили плуг. При всем том, особенно у приверженцев побежденных партий, чувствовалось какое-то презрительное утомление жизнью. Фукье-Тенвиль,[75] получил от кого-то следующее письмо: «…Будьте любезны, освободите меня от бремени жизни. Адрес свой при сем прилагаю». Шансене был арестован за то, что крикнул на весь Пале-Рояль: «А когда начнется революция в Порте? Хорошо бы республику турнуть в Турцию!» И повсюду газеты. Пока подмастерья цирюльника на глазах зрителей завивали дамские парики, хозяин читал им вслух «Монитер», а рядом, разбившись на кучки, люди слушали и, взволнованно размахивая руками, комментировали статьи из газеты «Согласие», издаваемой Дюбуа-Крансэ[76] или из «Трубача дядюшки Бельроза». Нередко цирюльники совмещали свое ремесло с торговлей колбасами, и рядом с манекенами в золотых локонах в окне выставлялись окорока и связки сосисок. Торговцы предлагали на площадях «эмигрантские вина»; один даже хвалился в объявлении, что у него имеются вина «пятидесяти двух марок»; другие пускали в продажу часы в форме лиры и кушетки «а ля дюшесе»; один брадобрей намалевал на своей вывеске: «Брею духовенство, стригу дворянство, прихорашиваю третье сословие». Охотно посещали гадальщика Мартена, проживавшего в доме No 173 по улице Анжу, бывшей Дофиновой. Хлеба нехватало, угля нехватало, мыла нехватало; по улицам гнали целые гурты молочных коров, закупленных в провинции. В Балле фунт баранины стоил пятнадцать франков. Объявление Коммуны гласило, что каждый едок получает на декаду фунт мяса. У лавок выстраивались очереди; одна из них прославилась своей невиданной протяженностью – начиналась она у дверей бакалейщика на улице Пти-Карро и тянулась до середины улицы Монторгейль. Стоять в очереди называлось тогда «держать веревочку», так как каждый, стоя в затылок переднему, держался правой рукой за длинную веревку. Женщины среди этих бед и лишений вели себя мужественно и кротко. Целые ночи дежурили они у булочной, дожидаясь своей очереди войти в лавку. Крайние меры удавались революции; она стремилась вытащить страну из нищеты двумя рискованными средствами: с помощью ассигнатов и максимума; ассигнаты служили рычагом, а максимум – точкой опоры. Этот здравый подход и спас Францию. Враг – враг из Кобленца, в той же мере, что и враг из Лондона, устраивал ажиотаж с ассигнатами. Развязные девицы, бродя по улицам, для вида предлагали прохожим лавандовую воду, подвязки и фальшивые косы, а на самом деле вели из-под полы финансовые операции; торговали ассигнатами и темные личности с улицы Вивьен в стоптанных башмаках, прикрывавшие свои сальные космы меховыми шапками, увенчанными лисьим хвостом, а также и менялы с улицы Валуа, щеголявшие в начищенных до блеска сапогах, с зубочисткой в зубах, в плюшевых шляпах, видимо близкие приятели уличных девиц, ибо те обращались к ним на «ты». Народ преследовал их, как и воров, которых роялисты ехидно называли «сверхактивными гражданами». Впрочем, воровство стало явлением редким. Среди жесточайших лишений царила стоическая честность. Оборванцы, живые скелеты, проходили, сурово потупив глаза, мимо сверкающих витрин ювелиров в Пале-Эгалитэ. Во время обыска у Бомарше, проводившегося секцией Антуан, какая-то женщина сорвала в саду цветок; ей надавали пощечин. Вязанка дров стоила четыреста франков серебром, и нередко можно было видеть на улице, как какой-нибудь гражданин распиливал на топливо собственную кровать; зимой все фонтаны замерзли; за два ведра воды просили двадцать су; все парижане стали водоносами. Луидор стоил три тысячи девятьсот пятьдесят франков. Поездка на фиакре обходилась в шестьсот франков за один конец. Нередко седок, нанимавший экипаж на целый день, к вечеру спрашивал кучера: «Сколько с меня?» – «Шесть тысяч ливров». Торговка-зеленщица выручала за день двадцать тысяч франков. Нищий, протягивая руку за милостыней, канючил: «Подайте,

люди добрые, совсем обносился, двести тридцать ливров нехватает, чтобы башмаки купить!» У мостов высились вырезанные из дерева колоссы, разрисованные Давидом,[77] которых Мерсье[78] презрительно именовал: «Деревянные петрушки». Фигуры эти долженствовали изображать поверженные в прах Федерализм и Коалицию. Ни малейших признаков упадка духа в народе. И угрюмая радость от того, что раз навсегда свергнуты троны. Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица выставляла батальон. Над головой проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз. На знамени округа Капуцинов значилось: «Нас голыми руками не возьмешь!» На другом: «Благородным должно быть лишь сердце!» На всех стенах афиши и объявления – большие, маленькие, белые, желтые, зеленые, красные, отпечатанные в типографии и написанные от руки – провозглашали: «Да здравствует Республика!» Крохотные ребятишки лепетали: « a ira».

В этих ребятишках жило неизмеримо огромное будущее.

Позже на смену трагическому городу пришел город циничный: парижские улицы в годы революции являли собой два совершенно различных облика: один – до, другой – после 9 термидора; Париж Сен-Жюста;[79] сменился Парижем Тальена[80] такова извечная антитеза Творца: Синай и вслед за ним – Золотой телец.

Повальное безумие не такая уж редкость. Нечто подобное было еще за восемьдесят лет до описываемых событий. После Людовика XIV, как и после Робеспьера, захотелось вздохнуть полной грудью; вот почему век начался Регентством.[81] и закончился Директорией[82] Тогда и теперь – террор, сменившийся разгулом. Когда Франция вырвалась на волю из пуританского затворничества, как прежде из затворничества монархии, ею овладела радость спасшейся от гибели нации.

После 9 термидора Париж веселился, но каким-то исступленным весельем. Его охватило тлетворное ликование. Готовность отдать свою жизнь сменилась бешеной жаждой жить любой ценой, и величье померкло. В Париже появился свой Тримальхион.[83] в лице Гримо де ла Реньера; увидел свет «Альманах гурманов». Вошли в моду обеды на антресолях Пале-Рояля под бравурные звуки оркестра, где женщины-музыканты били в барабаны и трубили в трубы; смычок скрипача управлял движением толпы; в ресторации Мео ужинали «по-восточному» среди курильниц с благовониями. Живописец Боз написал двух своих шестнадцатилетних дочек – двух невинных, чарующих красоток – в «гильотинном» уборе, то есть в красных рубашечках с обнаженными шейками. Миновало время неистовых плясок в разоренных церквах; на смену им пришли балы у Руджиери, Люке, Венцеля, Модюи и госпожи Монтанзье; на смену гражданкам, степенно щипавшим корпию, пришли маскарадные султанши, дикарки, нимфы; на смену солдатам с босыми ногами, покрытыми кровью, грязью и пылью, пришли красотки с голыми ножками, покрытыми бриллиантами; одновременно с распутством вернулось бесчестье всякого рода: наверху орудовали поставщики, а внизу – мелкие воришки. Париж наводнили жулики всех рангов, и рекомендовалось зорко следить за своим бумажником; любимым развлечением парижан было ходить на заседания окружного суда – смотреть воровок, которых сажали на высокие табуреты, связав им из соображений скромности юбки; выходившим из театров «гражданам» и «гражданкам» мальчишки предлагали занять места в кабриолете «на двоих»; газетчики уже не выкрикивали «Старый Кордельер»[84] и «Друг народа», а бойко торговали «Письмами Полишинеля» и «Петицией сорванцов»; в секции Пик на Вандомской площади председательствовал маркиз де Сад. Реакция веселилась и свирепствовала; «Драгуны свободы» 92 года возродились под кличкой «Рыцари кинжала». На подмостках появился простофиля – Жокрис[85] «Несравненные» и «ослепительные» щеголяли последними модами. Вместо «честного слова» говорили: «даю суово жегтвы», или клялись в непристойных выражениях. От Мирабо.[86] сползли к Бобешу[87] Таков Париж, вся жизнь его – приливы и отливы; он гигантский маятник цивилизации, который касается то одного полюса, то другого, – и широта его размаха от Фермопил[88] до Гоморры. После 93 года революция прошла через какое-то странное затмение; казалось, век забыл завершить то, что начал. Оргия

вмешалась в его ход и вылезла на передний план, оттеснив апокалиптические ужасы, заслонив гигантскую панораму минувших лет, и, натерпевшись страха, хохотала напропалую; трагедия превратилась в пародию, и лик Медузы, еще видневшийся на горизонте, затянуло дымом карнавальных факелов.

Но в описываемое нами время, в 93 году, парижские улицы хранили величественный и суровый облик начальной поры. У парижан были свои уличные ораторы, как, например, Варле,[89]который разъезжал по всему городу в фургоне и держал оттуда речи перед толпой; были свои герои, одного из которых прозвали «капитаном молодцов с железным посохом»; были свои любимцы, как, например, Гюффруа,[90] автор памфлета «Рюжиф». Одни из этих знаменитостей сеяли зло, другие очищали души. И среди них был некто, проживший роковую и поистине славную жизнь, – Симурдэн.

II. Симурдэн

Симурдэн был совестью, совестью ничем не запятнанной, но суровой. В нем обрело себя абсолютное. Он был священником, а это никогда не проходит даром. Душа человека, подобно небу, может стать безоблачно мрачной, для этого достаточно соприкосновения с тьмой. Иерейство погрузило во мрак сердце Симурдэна. Тот, кто был священником, останется им до конца своих дней.

Душа, пройдя через ночь, хранит след не только мрака, но и след Млечного Пути. Симурдэн был полон добродетелей и достоинств, но сверкали они во тьме.

Историю его жизни можно рассказать в двух словах. Он был священником в безвестном селении и наставником в знатной семье; потом подоспело небольшое наследство, и он стал свободным человеком.

Прежде всего он был упрямец. Он пользовался мыслью, как другой пользуется тисками; уж если какая-нибудь мысль западала ему в голову, он считал своим долгом всесторонне обдумать ее и лишь после этого отбрасывал прочь; он мыслил даже с каким-то ожесточением. Он владел всеми европейскими языками и знал еще два-три языка. Он учился беспрестанно и день и ночь, что помогало ему нести бремя целомудрия; но постоянное обуздание чувств таит в себе огромную опасность.

Будучи священником, он из гордыни ли, в силу ли стечения обстоятельств, или из благородства души ни разу не нарушил данных обетов; но веру сохранить не сумел. Знания подточили веру, и догмы рухнули сами собой. Тогда, строгим оком заглянув в свою душу, он почувствовал себя нравственным калекой и решил, что, раз уж невозможно убить в себе священника, нужно возродить в себе человека; но средства для этого он избрал самые суровые; его лишили семьи – он сделал своей семьей родину, ему отказано было в супруге – он отдал свою любовь человечеству. Но под такой всеобъемлющей оболочкой зияет иной раз всепоглощающая пустота.

Его родители, простые крестьяне, отдав сына в духовную семинарию, мечтали отторгнуть его от народа, – он возвратился в народные недра.

И, возвратившись, отдал народу всю силу своей страстной души. Он взирал на людские страдания с каким-то грозным сочувствием. Священник стал философом, а философ – могучим борцом. Еще при жизни Людовика XV Симурдэн уже был республиканцем. Какая республика грезилась ему? Быть может, республика Платона,[91] а быть может, республика Дракона.

Раз ему запретили любить, он стал ненавидеть. Он ненавидел всяческую ложь, ненавидел самодержавие, власть церкви, свое священническое облачение, ненавидел настоящее и громко призывал будущее; он предчувствовал грозное завтра, провидел его, угадывал его ужасный и великолепный облик; он понимал, что конец прискорбной драме человеческих бедствий положит некий мститель, который явится в то же время и освободителем. Уже сегодня он возлюбил грядущую катастрофу.

В 1789 году катастрофа, наконец, пришла, и он встретил ее в полной готовности. Симурдэн отдался высокому делу обновления человечества со всей присущей ему логикой, что у человека такой закалки означает: со всей неумолимостью. Логика не знает жалости. Он прожил великие годы революции, всем существом отзываясь на каждое ее дуновение: восемьдесят девятый год – взятие Бастилии, конец мукам народным; девяностый год, 19 июня, – конец феодализма; девяносто первый – Варенн, конец монархии; девяносто второй – установление Республики. Он видел, как поднималась революция; но не таким он был человеком, чтобы испугаться пробудившегося гиганта, – напротив, сила его сказочного могущества и роста влила в жилы Симурдэна новую жизнь; и он, почти старик, – в ту пору ему минуло пятьдесят лет, а священник старится вдвое быстрее, чем прочие люди, – он тоже начал расти. На его глазах год от года все выше вздымалась волна событий, и он сам как бы становился выше. Вначале он опасался, что революция потерпит поражение; он зорко наблюдал за ней: на ее стороне был разум и право, а он требовал, чтобы на ее стороне был и успех; чем грознее становилась ее поступь, тем спокойнее становилось у него на душе. Он хотел, чтобы эта Минерва, в венце из звезд грядущего, обратилась в Палладу и вооружилась щитом с головой Медузы. Он хотел, чтобы божественное ее око сжигало демонов адским пламенем, хотел воздать им террором за террор.

Так настал 93 год.

93 год – это война Европы против Франции, и война Франции против Парижа. Чем же была революция? Победой Франции над Европой и победой Парижа над Францией. Именно в этом весь необъятный смысл грозной минуты – 93 года, затмившего своим величием все прочие годы столетия.

Что может быть трагичнее, – Европа, обрушившаяся на Францию, и Франция, обрушившаяся на Париж? Драма поистине эпического размаха.

93 год – год неслыханной напряженности, схожий с грозою своим гневом и своим величием. Симурдэн дышал полной грудью. Эта дикая, исступленная и великолепная стихия соответствовала его масштабам. Он был подобен морскому орлу, – глубочайшее внутреннее спокойствие и жажда опасностей. Иные окрыленные существа, суровые и невозмутимые, как бы созданы для могучих порывов ветра. Да, да, бывают такие грозовые души.

От природы Симурдэн был жалостлив, но только к обездоленным. Самое отталкивающее страдание находило в нем самоотверженного целителя. И тут уж ничто не вызывало в нем омерзения. Такова была отличительная черта его доброты. Как врачевателя, его боготворили, но отворачивались от него с брезгливостью. Он искал язвы, чтобы лобызать их. Труднее всего даются прекрасные поступки, вызывающие в зрителях дрожь отвращения; он предпочитал именно такие. Однажды в больнице для бедных умирал человек, – его душила опухоль в горле, зловонный и страшный с виду нарыв. Болезнь была, по всей видимости, заразной; требовалось удалить гной немедленно. Симурдэн, оказавшийся при больном, прижал губы к опухоли, рот его наполнился гноем, который он высасывал, пока не очистилась рана, – человек был спасен. Так как он в ту пору еще не расстался со священнической рясой, кто-то сказал: «Если бы вы решились сделать это для короля, – быть бы вам епископом». – «Я не сделал бы этого для короля», – ответил Симурдэн. Этот поступок и эти слова прославили Симурдэна в мрачных кварталах парижской бедноты.

С тех пор все страждущие, все обездоленные, все недовольные беспрекословно выполняли его волю. В дни народного гнева против спекулянтов, вспышки которого нередко приводили к прискорбным ошибкам, не кто иной, как Симурдэн, одним-единственным словом остановил у пристани Сен-Никола людей, расхищавших груз мыла с прибывшего судна, и он же рассеял разъяренную толпу, задерживавшую возы у заставы Сен-Лазар.

И он же, через полторы недели после 10 августа, повел народ сбрасывать статуи королей. Падая с пьедестала, они убивали. Так на Вандомской площади некая Рэн Виоле, накинув на

шею Людовику XIV веревку, яростно тащила его вниз и погибла под тяжестью рухнувшего монумента. Кстати, этот памятник простоял ровно сто лет; его воздвигли 12 августа 1692 года, а сбросили 12 августа 1792 года; на площади Согласия у подножья статуи Людовика XV толпа растерзала некоего Генгерло, обозвавшего «сволочью» тех, кто дерзновенно поднял руку на короля. Статую эту разбили на куски. Позднее из нее начеканили мелкую монету. Уцелела лишь одна рука, правая, – та, которую Людовик XV простирал вперед жестом римского императора. По ходатайству Симурдэна, народная депутация торжественно вручила эту руку Латюду, томившемуся целых тридцать семь лет в Бастилии. Когда Латюд с железным ошейником вокруг шеи, с цепью, врезавшейся ему в бока, заживо гнил в подземном каземате по приказу короля, чья статуя горделиво возвышалась надо всем Парижем, мог ли он даже в мечтах представить себе, что стены его темницы падут, что падет статуя, а сам он выйдет из склепа, куда будет ввергнута монархия, и что он, жалкий узник, получит в собственность бронзовую руку, подписавшую приказ о его заточении, а от этого деспота останется лишь эта рука.

Симурдэн принадлежал к числу тех людей, в чьей душе немолчно звучит некий голос, к которому они прислушиваются. Такие люди, на первый взгляд, могут показаться рассеянными, – ничуть не бывало, они, напротив того, сосредоточенны.

Симурдэн познал все и не знал ничего. Он познал все науки и не знал жизни. Отсюда и его непреклонность. Он, словно гомеровская Фемида, носил на глазах повязку. Он устремлялся вперед со слепой уверенностью стрелы, которая видит лишь цель и летит только к цели. В революции нет ничего опаснее слишком прямых линий. Так неотвратимо влекся вперед и Симурдэн.

Симурдэн верил, что при рождении нового социального строя, только крайности – надежная опора, заблуждение, увы, свойственное тому, кто подменяет разум чистой логикой. Он не удовольствовался Конвентом, он не удовольствовался Коммуной, он вступил в члены Епископата.[92]

Собрания этого общества, происходившие в одной из зал бывшего епископского дворца, откуда и пошло само название, меньше всего напоминали обычные собрания политических клубов, это было пестрое сборище людей. Так же как и на собраниях Коммуны, здесь присутствовали те безмолвные, но весьма внушительные личности, у которых, по меткому выражению Тара, «в каждом кармане было по пистолету».

Странную смесь являли сборища в Епископате: смесь парижского с всемирным, что, впрочем, и понятно, ибо в Париже билось тогда сердце всех народов мира. Здесь добела накалялись страсти плебеев. По сравнению с Епископатом Конвент казался холодным, а Коммуна чуть теплой. Епископат принадлежал к числу тех революционных образований, что подобны образованиям вулканическим; в нем было всего понемногу – невежества, глупости, честности, героизма, гнева – и полицейских. Герцог Брауншвейгский,[93] держал там своих агентов. Там собирались люди, достойные украсить собою Спарту[94] и люди, достойные украсить собой каторжные галеры. Но большинство составляли честные безумцы. Жиронда,[95] устами Инара,[96] тогдашнего председателя Конвента, бросила страшное пророчество: «Берегитесь, парижане. От вашего города не останется камня на камне, и тщетно наши потомки будут искать то место, где стоял некогда Париж». В ответ на эти слова и возник Епископат. Люди, и как мы только что сказали, люди всех национальностей, ощутили потребность плотнее сплотиться вокруг Парижа. Симурдэн примкнул к их числу.

Группа эта боролась с реакционерами. Ее породила та общественная потребность в насилии, которая является одной из самых грозных и самых загадочных сторон революций. Сильный этой силой, Епископат сразу же занял вполне определенное место. В годину потрясений, колебавших почву Парижа, из пушек стреляла Коммуна, а в набат били люди Епископата.

Симурдэн верил со всем своим безжалостным простодушием, что все, совершающееся во имя торжества истины, есть благо; в силу этого он очень подходил для роли вожака крайних партий. Мошенники видели, что он честен, и радовались этому. Любому преступлению лестно, когда его направляет рука добродетели. Хоть и стеснительно, да приятно. Архитектор Паллуа, тот самый, что нажился на разрушении Бастилии, продавая в свою пользу камни из ее стен, а будучи уполномочен окрасить стены узилища Людовика XVI, переусердствовал, покрыв их изображениями решеток, цепей и наручников; Гоншон,[97] подозрительный оратор Сент-Антуанского предместья, денежные расписки которого были впоследствии обнаружены; Фурнье,[98] – американец, который 17 июля стрелял в Лафайета из пистолета, купленного, по слухам, на деньги самого Лафайета; Анрио[99] – питомец Бисетра, который побывал и лакеем и уличным гаером, воришкой и шпионом, прежде чем стать генералом и обратить пушки против Конвента; Ларейни[100] бывший викарий Шартрского собора, сменивший требник на «Отца Дюшена», – всех этих людей Симурдэн держал в узде; в иные минуты, когда слабые душонки готовы были предать, их останавливало зрелище грозной и непоколебимой чистоты. Так, при виде Сен-Жюста замирал в ужасе Шнейдер.[101] Однако большинство Епископата составляли бедняки – горячие головы и добрые сердца, которые свято верили Симурдэну и шли за ним. В качестве викария, или, если угодно, в качестве адъютанта, при Симурдэне состоял тоже священник-республиканец Данжу,[102] которого в народе любили за огромный рост и прозвали «Аббат-Шестифут». За Симурдэном пошел бы в огонь и в воду бесстрашный вожак, по прозвищу «Генерал-Пика», и отважный Никола Трюшон, по кличке «Верзила»; этот Верзила задумал спасти госпожу де Ламбаль и уже перевел ее было через гору трупов, но затея эта не увенчалась успехом из-за жестокой шутки цирюльника Шарле.

Коммуна следила за Конвентом. Епископат следил за Коммуной. Прямодушный Симурдэн, ненавидевший всяческие интриги, не однажды разрушал козни, которые исподтишка плел Паш, прозванный Бернонвилем.[103] «черный человек». В Епископате Симурдэн был со всеми на равной ноге. Он выслушивал советы Добсана и Моморо[104] Он говорил по-испански с Гусманом,[105]по-итальянски с Пио, по-английски с Артуром, по-голландски с Перейра, по-немецки с австрийцем Проли, побочным сыном какого-то принца. Его стараниями разноголосица превращалась в согласие. Поэтому положение его было не то что очень высоким, но прочным. Сам Эбер[106] побаивался Симурдэна.

Симурдэн обладал властью, которая в те дни и в той трагической по духу среде давалась именно неумолимым. Он был праведник и сам считал себя непогрешимым. Никто ни разу не видел, чтобы глаза его увлажнили слезы. Вершина добродетели, недоступная и леденящая. Он был справедлив и страшен в своей справедливости.

Для священника в революции нет середины. Превратности революции могут привлечь к себе священника лишь из самых низких либо из самых высоких побуждений; он или гнусен, или велик. Симурдэн был велик, но это величие замкнулось в себе, ютилось на недосягаемых кручах, в негостеприимно мертвенных сферах: величие, окруженное безднами. Так зловеще чисты бывают иные горные вершины.

Внешность у Симурдэна была самая заурядная. Одевался он небрежно, даже бедно. В молодости ему выбрили тонзуру, к старости тонзуру сменила плешь. Редкие волосы поседели. На высоком его челе внимательный взор прозрел бы особую мету. Говорил Симурдэн отрывисто, торжественно и страстно, непререкаемым тоном; в углах его рта лежала горькая, печальная складка, взгляд был светлый и пронзительный, а лицо поражало своим гневным выражением.

Таков был Симурдэн.

Ныне никто не помнит его имени. Сколько безвестных и грозных героев погребла в своих недрах история!

III. То, чего не смыли воды Стикса

Да был ли этот человек человеком? Мог ли этот верный служитель всего человеческого рода иметь какие-нибудь привязанности? И быть может, эта открытая всем душа не оставляла места сердцу? Способны ли объятия, готовые принять всех и вся, заключить одного? Мог ли Симурдэн любить? Ответим на этот вопрос утвердительно. Да, мог.

В дни молодости он жил в одном весьма аристократическом семействе в качестве воспитателя; воспитанник его был у родителей единственным сыном и наследником. Симурдэн любил этого мальчика. Но ведь так легко любить ребенка. Чего только не простишь дитяти? Ему прощается даже то, что он аристократ, что он принц, что он король. Невинность юного отпрыска заставляет забывать все преступления его рода; хрупкое крошечное существо заставляет забывать все крайности привилегий, даруемые его рангом. Оно так мало, что ему прощают самое высокое положение. Раб прощает ему, что он его господин. Старик негр боготворит белого мальчугана. Симурдэн страстно привязался к своему ученику. Детство уж потому так неизъяснимо прекрасно, что на него можно излить все силы любви. Весь запас любви, жившей в его душе, Симурдэн обрушил, если так можно выразиться, на этого ребенка; беззащитное существо стало, пожалуй, даже добычей для этого сердца, обреченного на одиночество. Симурдэн любил мальчика со всей, какая только существует, нежностью, любил его, как отец, как брат, как друг, как творец. Это был его сын; сын не по плоти, а по духу. Симурдэн не был его отцом, не он родил его; но он был подлинным художником, и мальчик стал лучшим его творением. Из маленького аристократа он сделал человека. И кто знает, быть может, даже великого человека. Ибо об этом он мечтал. Не ставя в известность родных (да и требуется ли разрешение тому, кто решил выковать ум, волю и прямодушие?), Симурдэн передал юному виконту, своему воспитаннику, все лучшее, что жило в нем самом; он привил ребенку грозный недуг добродетели; он влил в его жилы свою веру, свою совесть, свой идеал; в эту аристократическую голову он вложил душу народа.

Дух питает человека, к разуму можно припасть, как к материнским сосцам. Между кормилицей, вскармливающей младенца своим молоком, и наставником, вскармливающим его своей мыслью, несомненно, существует сходство. Иной раз воспитатель – больше отец, чем родной отец, подобно тому, как кормилица нередко больше мать, чем сама мать, родившая ребенка.

Глубокое духовное отцовство привязало Симурдэна к его ученику. При виде этого ребенка он всякий раз умилялся душой.

Добавим еще: заменить отца было тем легче, что ребенок рос сиротой, его отец скончался, скончалась и мать; мальчик остался на попечении старой слепой бабки и двоюродного деда, который не появлялся на сцене. Бабка умерла, дед, глава семьи, прирожденный военный, знатный вельможа, призываемый службой ко двору, покинул родные пенаты, поселился в Версале, участвовал в походах и оставил сиротку одного в огромном опустевшем замке. Таким образом, учитель стал воспитателем в полном значении этого слова.

Добавим к тому же: ученик Симурдэна родился у него на глазах. В младенчестве сиротка тяжело заболел. Смерть витала над его изголовьем, и Симурдэн бодрствовал возле ребенка день и ночь; пусть от болезни лечит врач, но выхаживает больного сиделка. Симурдэн выходил дитя. Ученик был обязан своему учителю не только воспитанием, образованием, обширными знаниями; он был обязан ему также выздоровлением и здоровьем; он был обязан ему не только способностью мыслить; он был обязан ему жизнью. Мы боготворим тех, кто всем обязан нам; и Симурдэн боготворил этого ребенка.

Но жизнь, как то нередко бывает, развела их в разные стороны. Воспитание было закончено, и Симурдэну пришлось расстаться со своим учеником, теперь уже взрослым юношей. Сколько холодной и бессознательной жестокости скрыто в подобных разлуках! С каким равнодушием рассчитывают родители человека, отдавшего их ребенку сокровища своей мысли, и кормилицу, передавшую ему частицу своей жизненной силы. Симурдэну заплатили сполна все причитающиеся ему деньги и вежливо выпроводили прочь; так он покинул верхи

общества и возвратился в низы; дверца между великими мира сего и сирыми захлопнулась; молодой виконт, записанный с детства в полк и получивший чин капитана, уехал в отдаленный гарнизон; безвестный воспитатель, в тайниках души уже восстававший против своего сана, спустился в полутемную прихожую католической церкви, именуемую низшим духовенством, и потерял из виду воспитанника.

Тут началась революция; воспоминания о том, кого он сделал человеком, попрежнему жили в тайниках души Симурдэна, – их не мог развеять даже вихрь великих событий.

Прекрасно изваять статую и вдохнуть в нее жизнь, – но куда прекраснее вылепить сознание и вдохнуть в него истину. Симурдэн был Пигмалионом, создавшим человеческую душу.

Дух тоже может родить чадо.

Итак, этот ученик, этот ребенок, этот сирота был единственным на земле существом, которого любил Симурдэн.

Но, любя так нежно, стал ли он уязвим в своей привязанности?

Это будет видно из дальнейшего.

Книга вторая

Кабачок на Павлиньей улице

I. Минос, Эак и Радамант

Был на Павлиньей улице кабачок, который почему-то называли кафе. Имевшееся при кафе заднее помещение давно стало исторической достопримечательностью. Здесь время от времени встречались, почти тайком от всех, люди, наделенные таким могуществом власти, являвшиеся предметом такого тщательного надзора, что беседовать друг с другом публично они не решались. Здесь 23 октября 1792 года Гора[107] и Жиронда обменялись знаменитым поцелуем. Сюда Тара, хотя он и оспаривает этот факт в своих «Мемуарах», явился за сведениями в ту зловещую ночь, когда, отвезя Клавьера в безопасное место на улицу Бон, он остановил карету на Королевском мосту, прислушиваясь к тревожному гулу набата.

28 июня 1793 года в этой знаменитой комнате вокруг стола сидели три человека. Они занимали три стороны стола, таким образом четвертая сторона пустовала. Было около восьми часов вечера; на улице еще не стемнело, но в комнате стоял полумрак, так как свисавший с потолка кенкет – роскошь по тем временам – освещал только стол.

Первый из трех сидящих был бледен, молод, важен, губы у него были тонкие, а взгляд холодный. Щеку подергивал нервный тик, и улыбка поэтому получалась кривой. Он был в пудреных волосах, тщательно причесан, приглажен, застегнут на все пуговицы, в свежих перчатках. Светлоголубой кафтан сидел на нем как влитой. Он носил нанковые панталоны, белые чулки, высокий галстук, плиссированное жабо, туфли с серебряными пряжками. Второй, сидевший за столом, был почти гигант, а третий – почти карлик. На высоком был небрежно надет яркокрасный суконный кафтан; развязавшийся галстук, с повисшими ниже жабо концами, открывал голую шею, на расстегнутом камзоле нехватало половины пуговиц, обут он был в высокие сапоги с отворотами, а волосы торчали во все стороны, хотя, видимо, их недавно расчесали и даже напомадили; гребень не брал эту львиную гриву. Лицо его было в рябинах, между бровями залегла гневная складка, но морщина в углу толстогубого рта с крупными зубами говорила о доброте, он сжимал огромные, как у грузчика, кулаки, и глаза его блестели. Третий, низкорослый желтолицый человек, в сидячем положении казался горбуном; голову с низким лбом он держал закинутой назад, вращая налитыми кровью глазами; лицо его безобразили синеватые пятна, жирные прямые волосы он повязал носовым платком, огромный рот был страшен в своем оскале. Он носил длинные панталоны со штрипками, большие, не по мерке, башмаки, жилет некогда белого атласа, поверх жилета какую-то кацавейку, под складками которой вырисовывались резкие и прямые очертания кинжала.

Имя первого из сидящих было Робеспьер, второго – Дантон,[108] третьего – Марат.

Кроме них, в комнате никого не было. Перед Дантоном стояли запыленная бутылка вина и стакан, похожий на знаменитую кружку Лютера,[109] перед Маратом – чашка кофе, перед Робеспьером лежали бумаги.

Рядом с бумагами виднелась тяжелая круглая свинцовая чернильница с волнистыми краями, вроде тех, какими еще на нашей памяти пользовались школьники. Возле валялось брошенное перо. Бумаги были придавлены большой медной печаткой, представлявшей собою точную копию Бастилии, сбоку была выгравирована надпись «Palloy fecit».[110] Середину стола занимала разостланная карта Франции.

За дверью дежурил известный Лоран Басс – сторожевой пес Марата, – рассыльный из дома No 18 по улице Кордельер; именно ему 13 июля, приблизительно через две недели после описанного дня, суждено было оглушить ударом стула девицу, именовавшуюся Шарлотта Корде,[111] которая в этот летний вечер находилась еще в Кане и лишь вынашивала свои замыслы. Тот же Лоран Басс разносил корректурные листы «Друга народа». Нынче вечером, проводив своего хозяина в кафе на Павлинью улицу, он получил строгий приказ охранять двери комнаты, где находились Марат, Дантон и Робеспьер, и не пропускать никого, за исключением некоторых членов Комитета общественного спасения, Коммуны или Епископата.

Робеспьер не желал закрывать дверей от Сен-Жюста, Дантон не желал закрывать дверей от Паша, Марат не желал закрывать дверей от Гусмана.

Совещание началось уже давно. Предметом обсуждения являлись лежавшие на столе бумаги, которые Робеспьер прочитал вслух. Голоса начали звучать громче. В них слышались теперь гневные ноты. Временами какое-нибудь восклицание доносилось даже на улицу. В ту пору все так привыкли слушать речи, произносимые с публичной трибуны, что каждый считал себя вправе прислушиваться к тому, что говорят. Ведь не случайно секретарь суда Фабриций Пари подглядывал в замочную скважину за тем, что делалось в Комитете общественного спасения. Заметим кстати, что это занятие оказалось небесполезным, ибо тот же Пари предупредил Дантона в ночь с 30 на 31 марта 1794 года. Лоран Басс приник ухом к двери комнаты, где сидели Дантон, Марат и Робеспьер. Басс честно служил Марату, но сам принадлежал к членам Епископата.

II. Magna testantur voce per umbras[112]

Дантон вскочил с места, резко отодвинув стул.

– Послушайте меня, – закричал он. – Важно лишь одно – Республика в опасности. Перед нами одна задача – освободить Францию от врага. Для этого все средства хороши. Все, все и все! Когда я сталкиваюсь со смертельной опасностью, я прибегаю к любому средству, когда я боюсь всего, я иду на все. Моя мысль разъярена, как львица. Никаких полумер, революция не белоручка. Немезида не жеманница. Будем сеять спасительный страх. Разве слон смотрит, куда ступает? Раздавим врага.

Робеспьер ответил кротким голосом:

– И я хочу того же.

И добавил:

– Только надо узнать, где враг.

– Он за пределами Франции, и я изгнал его, – сказал Дантон.

– Он в пределах Франции, и я слежу за ним, – сказал Робеспьер.

– Я и его изгоню, – воскликнул Дантон.

– Внутреннего врага не изгонишь.

– Что же с ним делать?

– Уничтожить.

– Согласен, – сказал Дантон.

И добавил:

– Повторяю, Робеспьер, враг за пределами страны.

– Повторяю, Дантон, враг внутри страны.

– Он на границе, Робеспьер.

– Он в Вандее, Дантон.

– Успокойтесь, – раздался вдруг третий голос, – враг повсюду, и вы погибли.

Это заговорил Марат.

Робеспьер взглянул на Марата и спокойно добавил:

– Общие места! Повторяю еще раз. Факты перед вами.

– Педант, – проворчал Марат.

Робеспьер положил руку на разбросанные по столу бумаги и продолжал:

– Я только что прочитал вам депешу, присланную Приером из Марны. Я только что сообщил вам сведения, доставленные Желамбром. Дантон, послушайте меня, война с чужеземными государствами – ничто, гражданская война – все. Война с чужеземными государствами – пустяковая царапина на локте, гражданская война – язва, разъедающая внутренности. Из всего, что я вам прочел, следует одно: силы Вандеи, до сего дня раздробленные под властью десятка вожаков, сейчас объединяются. Отныне у нее будет единый командир…

– Единый разбойник, – буркнул Дантон.

– Этот человек, – продолжал Робеспьер, – высадился второго июня возле Понторсона. Из моих слов вы знаете, каков он. Заметьте, что высадка этого человека совпадает с арестом в Байэ наших представителей: Приера из Кот д'Ор и Ромма.[113] Оба арестованы в один и тот же день – второго июня. Предательский округ Кальвадос.

– И перевезли их в Канский замок, – вставил Дантон.

– Итак, что же следует из депеши, – продолжал Робеспьер. – Лесная война готовится с широким размахом. Одновременно ожидается и высадка англичан. Вандейцы и англичане – это уже Бретань плюс Британия. Финистерские дикари говорят на одном языке с корнуэльским сбродом. Я вам показывал перехваченное письмо Пюизэ,[114] где черным по белому написано: «Распределите двадцать тысяч человек в красных мундирах среди инсургентов, и завтра подымется сто тысяч человек». Когда крестьянское восстание охватит всю Вандею, состоится высадка англичан. Вот их замысел. А теперь потрудитесь взглянуть на карту.

Водя пальцем по карте, Робеспьер продолжал:

– У англичан богатый выбор мест для высадки от Канкаля до Пэмполя. По слухам, Крэг склоняется к бухте Сен-Бриек, Корнваллис – к бухте Сен-Каст. Но это не столь существенно. Левый берег Луары удерживает армия вандейских мятежников, а что касается открытой местности от Ансениса до Понторсона, протяжением в двадцать восемь лье, то в случае надобности сорок нормандских приходов обещали свою помощь. Высадка состоится в трех пунктах: в Плерене, Ифиньяке и Пленефе; из Плерена они направятся на Сен-Бриек, а из Пленефа на Ламбаль; на второй же день они достигнут Динана, где содержится девятьсот пленных англичан, в то же время они захватят Сен-Жуан и Сен-Мэен и разместят там свою кавалерию; на третий день две колонны пойдут – одна из Жуана на Бодэ, вторая из Динана на Бешерель; Бешерель, как известно, – естественная цитадель, и там неприятель установит две батареи; на четвертый день он будет уже в Ренне. А Ренн – это ключ ко всей Бретани. В чьих руках Ренн, у того победа. Если будет взят Ренн, падут Шатонеф[115] и Сен-Мало. В Ренне у нас миллион патронов и пятьдесят полевых орудий.

– Которые они и зацапают, – пробурчал Дантон.

Робеспьер продолжал:

– Разрешите кончить. Из Ренна одна колонна пойдет на Фужер, вторая – на Витре и третья – на Редон. Мосты повсюду разрушены, но, как видно из этого донесения, неприятель сможет навести понтонные мосты и сбить плоты, кроме того, проводники укажут кавалерийским частям подходящее место для переправы вброд. Из Фужера они направятся на Авранш, из Редона – на Ансенис, из Витре – на Лаваль. Нант сдастся, Брест сдастся. Из Редона открывается дорога по всему течению Вилены, из Фужера на Нормандию, из Витре на Париж. Через две недели в рядах разбойничьей армии будет триста тысяч человек, и вся Бретань окажется в руках французского короля.

– То есть английского, – уточнил Дантон.

– Нет, французского.

И Робеспьер добавил:

– Французский король хуже английского. Прогнать иноземцев можно в две недели, а чтобы подорвать монархию, понадобилось восемнадцать столетий.

Дантон тем временем уселся, положил локти на стол и, подперев подбородок кулаком, задумался.

– Вы сами теперь видите, как велика опасность, – проговорил Робеспьер. – Из Витре англичанам открыта дорога на Париж.

Дантон поднял голову и хватил огромными кулаками по карте, словно по наковальне.

– Скажите, Робеспьер, а разве из Вердена пруссакам не открывалась дорога на Париж?

– Ну и что с того?

– Как ну и что? Прогнали пруссаков, прогоним и англичан.

И Дантон вскочил со стула.

Робеспьер положил холодную ладонь на пылавшую, как в лихорадке, руку Дантона.

– Поймите, Дантон, Шампань не стояла за пруссаков, а Бретань стоит за англичан. Отбить Верден – значит вести обычную войну; взять Витре – значит начать войну гражданскую.

Понизив голос, Робеспьер сказал холодно и многозначительно:

– Разница огромная.

И тут же добавил:

– Сядьте, Дантон, и поглядите лучше на карту, совершенно незачем молотить по ней кулаками.

Но Дантон даже не слушал.

– Это уж чересчур! – воскликнул он. – Ждать катастрофы с запада, когда она грозит с востока! Я согласен с вами, Робеспьер, Англия может подняться из-за океана, но ведь из-за Пиренеев подымается Испания, но ведь из-за Альп подымается Италия, но ведь из-за Рейна подымается Германия. А там вдали – могучий русский медведь. Робеспьер, опасность охватывает нас кольцом. Вне страны – коалиция, внутри – измена. На юге Серван пытается открыть врата Франции испанскому королю, на севере Дюмурье.[116] переходит на сторону врага. Впрочем, он всегда угрожал не столько Голландии, сколько Парижу. Нервинд[117] зачеркивает Жемап и Вальми. Философ Рабо Сент-Этьен[118] – изменник, да и чего еще ждать от протестанта. Он переписывается с царедворцем Монтескью[119] Ряды армии редеют. В любом батальоне сейчас насчитывается не более четырехсот человек; от доблестного Депонского полка осталось всего-навсего пятьсот человек; Памарский лагерь сдан; в Живэ имеется лишь пятьсот мешков муки; мы отступаем на Ландау; Вюрмсер,[120] теснит Клебера; Майнц пал, но защищался он доблестно, а Конде подло сдался, равно как и Валансьен. Однакож это не помешало Шанселю, защитнику Валансьена, и старику Феро[121] защитнику Конде, прослыть героями наравне с Менье[122] – защитником Майнца. Но

все прочие просто изменники. Дарвиль[123] изменяет в Экс-ла-Шапель, Мутон[124] изменяет в Брюсселе, Валанс изменяет в Бреда, Нейи[125] изменяет в Лимбурге, Миранда изменяет в Мейстрихте; Стенжель[126] – изменник, Лану[127] – изменник, Лигонье[128] – изменник, Мену[129] – изменник, Диллон[130] – изменник; все они паршивые овцы, расплодившиеся с легкой руки Дюмурье. Не угодно ли еще примеров? Мне подозрительны манеры Кюстина, я считаю, что Кюстин предпочитает взять, выгоды ради, Франкфурт, нежели, ради пользы дела, Кобленц. Франкфурт, видите ли, может выложить четыре миллиона контрибуции. Но ведь это же ничто по сравнению с той пользой, которую принесет разгром эмигрантского гнезда, Утверждаю – это измена. Менье умер тринадцатого июня. Клебер, таким образом, остался один. А пока что герцог Брауншвейгский накапливает силы, переходит в наступление и водружает немецкий флаг во всех взятых им французских городах. Маркграф Бранденбургский ныне вершит делами во всей Европе, он прикарманивает наши провинции; вот посмотрите, он еще приберет к рукам Бельгию, похоже, что мы стараемся для Берлина. Если так будет продолжаться и впредь, если мы немедленно же не наведем порядок, французская революция пойдет на пользу Потсдаму, ибо единственным ее результатом будет то, что Фридрих Второй[131] округлит свои скромные владения, и получится, что мы убили французского короля ради чего… ради выгоды короля прусского.

И Дантон, грозный Дантон, расхохотался.

Марат улыбнулся, услышав смех Дантона.

– У каждого из вас свой конек, у вас, Дантон, – Пруссия, у вас, Робеспьер – Вандея. Разрешите же и мне высказаться. Вы оба не видите подлинной опасности, а она здесь, в этих кафе и в этих притонах. Кафе Шуазель – сборище якобинцев, кафе Патэн – сборище роялистов, в кафе Свиданий нападают на национальную гвардию, а в кафе Порт-Сен-Мартен,[132] ее защищают, кафе Регентство против Бриссо[133] кафе Корацца – за него; в кафе Прокоп клянутся Дидро,[134] в кафе Французского театра клянутся Вольтером, в кафе Ротонда рвут на клочья ассигнаты, в кафе Сен-Марсо негодуют по этому поводу, кафе Манури раздувает вопрос о муке, в кафе Фуа идут драки и кутежи, в кафе Перрон слетаются трутни, то бишь господа финансисты. Вот это серьезная опасность.

Дантон больше не смеялся. Зато Марат продолжал улыбаться. Улыбка карлика страшнее смеха великана.

– Вы что же это насмехаетесь, Марат? – проворчал Дантон.

По ляжке Марата прошла нервическая дрожь – его знаменитая судорога. Улыбка сбежала с его губ.

– Узнаю вас, гражданин Дантон. Ведь, если не ошибаюсь, именно вы назвали меня перед всем Конвентом «субъект, именуемый Маратом». Так слушайте же. Я прощаю вас. Мы переживаем сейчас нелепейший момент. Так, по-вашему, я насмехаюсь! Еще бы, кто я такой? Это я обличил Шазо,[135] я обличил Петиона,[136] я обличил Керсэна,[137] я обличил Мортона,[138] я обличил Дюфриш-Валазе,[139] я обличил Лигонье, я обличил Мену, я обличил Банвиля,[140] я обличил Жансоннэ,[141] я обличил Бирона, я обличил Лидона.[142] и Шамбона[143] Прав я был или нет? Я издали чую в изменнике измену, и, на мой взгляд, куда полезнее изобличить преступника, пока он еще не совершил преступления. Я имею привычку говорить накануне то, что вы все скажете еще только завтра. Не угодно ли вспомнить, что уже совершено мною? Не кто иной, как я, предложил Собранию подробно разработанный проект уголовного законодательства. Что я сделал до сих пор? Я потребовал, чтобы секции были достаточно просвещены и тем самым лучше служили революции, я велел снять печати с тридцати двух папок тайных документов, я приказал изъять хранившиеся у Ролана[144] бриллианты, я доказал, что бриссотинцы выдавали Комитету общественной безопасности пустые бланки на аресты, я первый указал на пробелы в докладе Лендэ[145] о преступлениях Капета, я голосовал за казнь тирана и потребовал исполнения приговора в

двадцать четыре часа, я защищал батальон Моконсейль и батальон Республики, я воспрепятствовал оглашению письма Нарбонна[146] и Малуэ; я первый заговорил о помощи раненым солдатам, я добился упразднения Комиссии Шести; я первый почувствовал в поражении под Монсом измену Дюмурье; я потребовал, чтобы взяли сто тысяч родственников эмигрантов в качестве заложников за наших комиссаров, выданных врагу; я предложил объявить изменником каждого представителя, который осмелится выйти за заставу, я увидел руку Ролана в марсельских беспорядках, я настоял, чтобы назначили награду за голову сына принца Эгалитэ; я защищал Бушотта, я потребовал открытого голосования, дабы сбросить Инара с председательского кресла; благодаря мне было объявлено о выдающихся заслугах парижан перед отечеством. И вот поэтому-то Лувье обозвал меня паяцем, департамент Финистер требует, чтобы меня исключили из состава депутатов, город Луден желает, чтобы меня изгнали из Франции, город Амьен хочет, чтобы мне заткнули рот. Кобур г мечтает, чтобы меня арестовали, а Лекуант-Пюираво[147] предлагает Конвенту объявить меня сумасшедшим. А вы, гражданин Дантон, разве вы не за тем позвали меня на ваше тайное свидание, чтобы выслушать мое мнение? Разве я напрашивался? Отнюдь нет! У меня нет ни малейшей охоты беседовать по душам с контрреволюционерами, я имею в виду Робеспьера и вас. Как и следовало ожидать, ни вы, ни Робеспьер меня не поняли. Где же здесь государственные мужи? Вам еще надо зубрить да зубрить азбуку революции, вам надо все разжевывать и в рот класть. Короче, я вот что хочу сказать: вы оба ошибаетесь. Опасность не в Лондоне, как полагает Робеспьер, и не в Берлине, как полагает Дантон; опасность в самом Париже. И опасность эта в отсутствии единства, в том, что каждый, начиная с вас двоих, оставляет за собой право тянуть в свою сторону, опасность в разброде умов и в анархии воли…

– Анархии? – прервал его Дантон. – А откуда идет анархия, как не от вас?

Марат даже не взглянул на него.

– Робеспьер, Дантон, опасность в другом – в этих расплодившихся без счета кафе, игорных домах, клубах. Судите сами – клуб Черных, клуб Федераций, Дамский клуб, клуб Беспристрастных, который обязан своим возникновением Клермон-Тоннеру,[148] и который в тысяча семьсот девяностом году был просто-напросто клубом монархистов… Затем «Социальный кружок» – изобретение попа Клода Фоше[149] клуб «Шерстяных Колпаков», основанный газетчиком Прюдомом,[150] et caetera,[151] не говоря уже о вашем Якобинском клубе, Робеспьер, и о вашем клубе Кордельеров, Дантон. Опасность в голоде, из-за которого грузчик Блэн вздернул на фонаре около ратуши булочника Франсуа Дени, торговавшего на рынке Палю, и опасность в нашем правосудии, которое повесило грузчика Блэна за то, что он повесил булочника Дени. Опасность в бумажных деньгах, которые обесцениваются с каждым днем. На улице Тампль кто-то обронил ассигнацию в сто франков, и прохожий, человек из народа, сказал: «За ней и нагибаться не стоит». Спекуляция и скупка ассигнатов – вот где опасность. На ратуше вы водрузили черный флаг – ну и что из того? Вы арестовали барона де Тренка[152] да разве этого достаточно? Нет, вы сверните шею этому старому тюремному интригану. Вы воображаете, что все сложные вопросы решены, раз председатель Конвента увенчал венком за гражданские доблести чело Лабертеша, получившего под Жемапом сорок один сабельный удар, а теперь с этим Лабертешем носится Шенье.[153] Все это комедия и фиглярство! Да, вы не видите Парижа! Вы ищете опасность где-то далеко, а она тут, совсем рядом. Ну скажите, Робеспьер, на что годна ваша полиция? Ведь я знаю, у вас имеются свои шпионы: Пайан[154] – в Коммуне, Кофингаль[155] – в Революционном трибунале, Давид – в Комитете общественной безопасности, Кутон[156] – в Комитете общественного спасения. Как видите, я достаточно хорошо осведомлен. Так вот запомните, опасность повсюду – над вашей головой и под вашими ногами, кругом заговоры, заговоры, заговоры! Прохожие читают на улицах вслух газеты и многозначительно покачивают головой. Шесть тысяч человек, не имеющих свидетельства о благонадежности, возвратившиеся эмигранты, мюскадены и шпионы укрылись в погребах, на чердаках и в галереях Пале-Рояля; у булочных – очереди; у каждого

порога бедные женщины молитвенно складывают руки и спрашивают: «Когда же нам дадут покой?» И зря вы запираетесь в залах Исполнительного совета в надежде, что вас никто не услышит, – каждое ваше слово известно всем. И вот доказательство – не далее как вчера, вы, Робеспьер, сказали Сен-Жюсту: "Барбару[157] отрастил себе брюшко, а при побеге оно обременительно". Да, опасность повсюду, и в первую очередь она здесь – в сердце страны, в самом Париже. Бывшие люди затевают заговоры, добрые патриоты ходят босиком, аристократы, арестованные девятого марта, уже разгуливают на свободе; великолепные лошади, которых давно пора перегнать к границе и запрячь в пушки, обрызгивают нас на парижских улицах грязью; четырехфунтовый каравай хлеба стоит три франка двенадцать су; в театрах играют похабные пьесы… И скоро Робеспьер пошлет Дантона на гильотину.

– Как бы не так! – сказал Дантон.

Робеспьер внимательно разглядывал разостланную на столе карту.

– Спасение только в одном, – вдруг воскликнул Марат, – спасение в диктаторе. Вы знаете, Робеспьер, что я требую диктатора.

Робеспьер поднял голову.

– Знаю, Марат, им должен быть вы или я.

– Я или вы, – сказал Марат.

А Дантон буркнул сквозь зубы:

– Диктатура? Только попробуйте!

Марат заметил, как гневно насупились брови Дантона.

– Что ж, – сказал он. – Попытаемся в последний раз. Может быть, удастся прийти к соглашению. Положение таково, что стоит постараться. Ведь удалось же нам достичь согласия тридцать первого мая.[158] А теперь речь идет о главном вопросе, который куда серьезнее, чем жирондизм, являющийся по сути дела вопросом частным. В том, что вы говорите, есть доля истины; но вся истина, настоящая, подлинная истина, в моих словах. На юге – федерализм, на западе – роялизм, в Париже-поединок между Конвентом и Коммуной; на границах – отступление Кюстина и измена Дюмурье. Что все это означает? Разлад. А что нам требуется? Единство. Ибо спасение в нем одном. Но надо спешить. Необходимо иметь в Париже революционное правительство. Ежели мы упустим хотя бы один час, вандейцы завтра же войдут в Орлеан, а пруссаки – в Париж. Я согласен в этом с вами, Дантон, я присоединяюсь к вашему мнению, Робеспьер. Будь по-вашему. Итак, единственный выход – диктатура. Значит – пусть будет диктатура. Мы трое представляем революцию. Мы подобны трем головам Цербера. Одна говорит, – это вы, Робеспьер; другая рычит, – это вы, Дантон…

– А третья кусается, – прервал Дантон, – и это вы, Марат.

– Все три кусаются, – уточнил Робеспьер.

Воцарилось молчание. Потом снова началась беседа, полная грозных подземных толчков.

– Послушайте, Марат, прежде чем вступить в брачный союз, нареченным не мешает поближе познакомиться. Откуда вы узнали, что я вчера говорил Сен-Жюсту?

– Это уж мое дело, Робеспьер.

– Марат!

– Моя обязанность все знать, а как я получаю сведения – это уж никого не касается.

– Марат!

– Я люблю все знать.

– Марат!

– Да, Робеспьер, я знаю то, что вы сказали Сен-Жюсту, знаю также, что Дантон говорил Лакруа,[159] я знаю, что творится на набережной Театэн, в особняке де Лабрифа, в притоне, где встречаются сирены эмиграции; я знаю также, что происходит в доме Тилле, в доме,

принадлежавшем Вальмеранжу, бывшему начальнику почт, – там раньше бывали Мори,[160] и Казалес[161]затем Сийес,[162] и Верньо[163] а нынче раз в неделю туда заглядывает еще кое-кто.

При слове «кое-кто» Марат взглянул на Дантона.

– Будь у меня власти хоть на два гроша, я бы показал! – воскликнул Дантон.

– Я знаю, – продолжал Марат, – что сказали вы, Робеспьер, так же, как я знаю, что происходило в тюрьме Тампль, знаю, как там откармливали, словно на убой, Людовика Шестнадцатого, знаю, что за один сентябрь месяц волк, волчица и волчата сожрали восемьдесят шесть корзин персиков, а народ тем временем голодал. Я знаю также, что Ролан прятался в укромном флигеле на заднем дворе по улице Ла-Гарп; я знаю также, что шестьсот пик, пущенных в дело четырнадцатого июля, были изготовлены Фором, слесарем герцога Орлеанского; я знаю также, что происходит у госпожи Сент-Илер, любовницы Силлери;[164] в дни балов старик Силлери сам натирает паркет в желтом салоне на улице Нев-де-Матюрен; Бюзо,[165] и Керсэн там обедали. Двадцать седьмого августа там обедал Саладэн[166] и с кем же? С вашим другом Ласурсом[167] Робеспьер!

– Вздор, – пробормотал Робеспьер, – Ласурс мни вовсе не друг.

И задумчиво добавил:

– А пока что в Лондоне восемнадцать фабрик выпускают фальшивые ассигнаты.

Марат продолжал все также спокойно, но с легкой дрожью в голосе, от которой кровь застывала в жилах.

– Все привилегированные связаны круговой порукой, и вы тоже. Да, я знаю все, знаю и то, что Сен-Жюст именует государственной тайной.

Последние слова Марат произнес с расстановкой и, кинув на Робеспьера быстрый взгляд, продолжал:

– Я знаю все, что говорится за вашим столом в те дни, когда Леба.[168] приглашает Давида отведать пирогов, которые печет Элизабет Дюпле, ваша будущая свояченица, Робеспьер. Я око народа и вижу все из своего подвала. Да, я вижу, да, я слышу, да, я знаю. Вы довольствуетесь малым. Вы восхищаетесь сами собой и друг другом. Робеспьер щеголяет перед своей мадам де Шалабр, дочерью того самого маркиза де Шалабра, который играл в вист с Людовиком Пятнадцатым в день казни Дамьена[169] О, вы научились задирать голову. Сен-Жюста из-за галстука и не видно. Лежандр[170] всегда одет с иголочки – новый сюртук, белый жилет, а жабо-то, жабо! Молодчик из кожи лезет вон, чтобы забыли те времена, когда он разгуливал в фартуке. Робеспьер воображает, что история отметит оливковый камзол, в котором его видело Учредительное собрание, и небесно-голубой фрак, которым он пленяет Конвент. Да у него по всей спальне развешаны его собственные портреты…

– Зато ваши портреты, Марат, валяются во всех сточных канавах, – сказал Робеспьер, и голос его звучал еще спокойнее и ровнее, чем голос Марата.

Их беседа со стороны могла показаться безобидным пререканием, если бы не медлительность речей, подчеркивавшая ярость реплик, намеков и окрашивавшая иронией взаимные угрозы.

– Если не ошибаюсь, Робеспьер, вы, кажется, называли тех, кто хотел свергнуть монархию, «дон Кихотами рода человеческого».

– А вы, Марат, после четвертого августа[171] в номере пятьсот пятьдесят девятом вашего «Друга народа», – да, да, представьте, я запомнил номер, всегда может пригодиться, – так вот вы требовали, чтобы дворянам вернули титулы. Помните, вы тогда заявляли: «Герцог всегда останется герцогом».

– А вы, Робеспьер, на заседании седьмого декабря защищали госпожу Ролан против Виара.

– Точно так же, как вас, Марат, защищал мой родной брат, когда на вас обрушились в клубе Якобинцев, Что это доказывает? Ровно ничего.

– Робеспьер, известно даже, в каком из кабинетов Тюильри вы сказали Гара:[172] «Я устал от революции».

– А вы, Марат, здесь, в этом самом кафе, двадцать девятого октября облобызали Барбару.

– А вы, Робеспьер, сказали Бюзо: «Республика? Что это такое?»

– А вы, Марат, в этом самом кабачке угощали завтраком марсельцев, по три человека от каждой роты.

– А вы, Робеспьер, взяли себе в телохранители рыночного силача, вооруженного дубиной.

– А вы, Марат, накануне десятого августа умоляли Бюзо помочь вам бежать в Марсель и даже собирались для этого случая нарядиться жокеем.

– Во время сентябрьских событий[173] вы просто спрятались, Робеспьер.

– А вы, Марат, слишком уж старались быть на виду.

– Робеспьер, вы швырнули на пол красный колпак.

– Швырнул, когда его надел изменник. То, что украшает Дюмурье, марает Робеспьера.

– Робеспьер, вы запретили накрыть покрывалом голову Людовика Шестнадцатого, когда мимо проходили солдаты Шатовье.

– Зато я сделал нечто более важное, я ее отрубил.

Дантон счел нужным вмешаться в разговор, но только подлил масла в огонь.

– Робеспьер, Марат, – сказал он, – да успокойтесь вы!

Марат не терпел, когда его имя произносилось вторым. Он резко повернулся к Дантону.

– При чем тут Дантон? – спросил он.

Дантон вскочил со стула.

– При чем? Вот при чем. При том, что не должно быть братоубийства, не должно быть борьбы между двумя людьми, которые оба служат народу. Довольно с нас войны с иностранными державами, довольно с нас гражданской войны, недостает нам еще домашних войн. Я делал революцию и не позволю с нею разделаться. Вот почему я вмешиваюсь.

Марат ответил ему, даже не повысив голоса:

– Представьте лучше отчеты о своих действиях, тогда и вмешивайтесь.

– Отчеты? – завопил Дантон. – Идите спрашивайте их у Аргонских ущелий, у освобожденной Шампани, у покоренной Бельгии, у армий, где я четырежды подставлял грудь под пули, идите спрашивайте их у площади Революции, у эшафота, воздвигнутого двадцать первого января,[174] у повергнутого трона, у гильотины, у этой вдовы…

Марат прервал Дантона:

– Гильотина не вдова, а девица; на нее ложатся, но ее не оплодотворяют.

– Вам-то откуда знать? – отрезал Дантон. – Я вот ее оплодотворю.

– Что ж, посмотрим, – ответил Марат.

И улыбнулся.

Дантон заметил эту улыбку.

– Марат, – вскричал он, – вы человек подвалов, а я живу под открытым небом и при свете дня. Ненавижу гадючью жизнь. Быть мокрицей – покорно благодарю! Вы живете в подвале. Я живу на улице. Вы не общаетесь ни с кем, а меня видит любой, и любой может обратиться ко мне.

– Еще бы!.. «Мальчик, пойдем?..» – буркнул Марат. И, стерев с лица следы улыбки, он заговорил властным тоном:-Дантон, потрудитесь дать отчет в истраченной вами сумме в

тридцать три тысячи экю звонкой монетой, каковую вам вручил Монморен[175] от имени короля якобы за то, что вы исполняли в Шатле должность прокурора.

– За меня отчитывается четырнадцатое июля, – высокомерно ответил Дантон.

– А дворцовые кладовые? А бриллианты короны?

– За меня отчитывается шестое октября.[176]

– А хищения в Бельгии вашего неразлучного Лакруа?

– За меня отчитывается двадцатое июня.[177]

– А ссуды, выданные вами госпоже Монтанзье?

– Я подымал народ в день возвращения короля из Варенна.

– А не на ваши ли средства построен зал в Опере?

– Я вооружил парижские секции.

– А сто тысяч ливров из секретных фондов министерства юстиции?

– Я осуществил десятое августа.

– А два миллиона, негласно израсходованные Собранием, из которых вы присвоили себе четверть?

– Я остановил наступление врага и преградил путь коалиции королей.

– Продажная тварь! – бросил Марат.

Дантон вскочил со стула, он был страшен.

– Да, – закричал он, – я публичная девка, я продавался, но я спас мир.

Робеспьер молча грыз ногти. Он не умел хохотать, не умел улыбаться. Он не знал ни смеха, которым, как громом, разил Дантон, ни улыбки, которой жалил Марат.

А Дантон продолжал греметь:

– Я подобен океану, и у меня тоже есть свои приливы и отливы. Когда море отступает, всем видно дно моей души, а в час прибоя валами вздымаются мои деяния.

– Вернее, пеной, – сказал Марат.

– Нет, штормом, – сказал Дантон.

Но и Марат теперь поднялся со стула. Он тоже вспылил. Уж внезапно превратился в дракона.

– Эй! – закричал он. – Эй, Робеспьер, эй, Дантон! Вы не хотите меня слушать! Так смею заверить вас – оба вы пропали. Ваша политика зашла в тупик, перед ней нет пути, у вас обоих нет выхода, и своими собственными действиями вы захлопываете перед собой все двери, кроме дверей склепа.

– В этом-то наше величие, – ответил Дантон.

И он презрительно пожал плечами.

А Марат продолжал:

– Берегись, Дантон. У Верньо тоже был огромный губастый рот, и в гневе он тоже хмурил чело. Верньо тоже был рябой, как ты и Мирабо, однако тридцать первое мая совершилось. Не пожимай плечами, Дантон, как бы голова не отвалилась. Твой громовой голос, твой небрежно повязанный галстук, твои мягкие сапожки, твои слишком тонкие ужины и слишком широкие карманы – все это прямой дорогой ведет к Луизетте.

Луизеттой Марат в приливе нежности прозвал гильотину.

– А ты, Робеспьер, – продолжал он, – ты хоть и умеренный, но это тебя не спасет. Что ж, пудрись, взбивай букли, счищай пылинки, щеголяй, меняй каждый день сорочки, тешься, франти, рядись – все равно тебе не миновать Гревской площади; прочти-ка декларацию: в

глазах герцога Брауншвейгского ты – второй Дамьен и цареубийца; одевайся с иголочки, все равно тебе отрубят голову топором.

– Эхо Кобленца, – процедил сквозь зубы Робеспьер.

– Нет, Робеспьер, я не эхо, я голос народа. Вы оба еще молоды. Сколько тебе лет, Дантон? Тридцать четыре? Сколько тебе лет, Робеспьер? Тридцать три? Ну, а я жил вечно, я – извечное страдание человеческое, мне шесть тысяч лет.

– Верно сказано, – подхватил Дантон, – шесть тысяч лет Каин, нетленный в своей злобе, просидел жив и невредим, как жаба под камнем, и вдруг разверзлась земля, Каин выскочил на свет божий и Каин этот – Марат.

– Дантон! – крикнул Марат. И в его глазах зажглось тусклое пламя.

– Что прикажете? – ответил Дантон.

Так беседовали три великих и грозных человека. Так в небесах сшибаются грозовые тучи.

III. Содрогаются тайные струны

Разговор умолк; каждый из трех титанов погрузился в свои думы.

Львы отступают перед змеей. Робеспьер побледнел, а Дантон весь побагровел. Оба задрожали. Злобный блеск вдруг погас в зрачках Марата; спокойствие, властное спокойствие сковало лицо этого человека, грозного даже для грозных.

Дантон почувствовал, что потерпел поражение, но не желал сдаваться. Он первым нарушил молчание.

– Марат весьма громогласно вещает о диктатуре и единстве, но силен лишь в одном искусстве – всех разъединять.

Нехотя разжав тонкие губы, Робеспьер добавил:

– Я лично придерживаюсь мнения Анахарсиса Клотца[178] и повторю вслед за ним: ни Ролан, ни Марат.

– А я, – ответил Марат, – повторяю: ни Дантон, ни Робеспьер.

И, пристально поглядев на обоих своих собеседников, произнес:

– Разрешите дать вам один совет, Дантон. Вы влюблены, вы намереваетесь сочетаться законным браком, так не вмешивайтесь же в политику, храните благоразумие.

Сделав два шага к двери, он поклонился и зловеще сказал:

– Прощайте, господа.

Дантон и Робеспьер вздрогнули.

Вдруг чей-то голос прозвучал из глубины комнаты:

– Ты неправ, Марат.

Все трое оглянулись. Во время гневной вспышки Марата кто-то незаметно проник в комнату через заднюю дверь.

– А, это ты, гражданин Симурдэн, – сказал Марат. – Ну, здравствуй.

Действительно, вошедший оказался Симурдэном.

– Я говорю, что ты неправ, Марат, – повторил он.

Марат позеленел. В тех случаях, когда другие бледнеют, он зеленел.

А Симурдэн продолжал:

– Ты принес много пользы, но и без Робеспьера и Дантона тоже не обойтись. Зачем же им грозить? Единение, единение, народ требует единения.

Приход Симурдэна произвел на присутствующих действие холодного душа, и, подобно тому как присутствие постороннего лица кладет конец семейной ссоры, распря утихла если не в подспудных своих глубинах, то во всяком случае на поверхности.

Симурдэн подошел к столу.

Дантон и Робеспьер тоже знали его в лицо. Они не раз замечали в Конвенте на скамьях для публики рослого незнакомца, которого приветствовал народ. Однако законник Робеспьер не удержался и спросил:

– Каким образом, гражданин, вы сюда попали?

– Он из Епископата, – ответил Марат, и голос его прозвучал даже как-то робко.

Марат бросал вызов Конвенту, вел за собой Коммуну и боялся Епископата.

Это своего рода закон.

На определенной глубине Мирабо начинает чувствовать, как колеблет почву подымающийся Робеспьер, – Робеспьер так же чувствует подымающегося Марата, Марат чувствует подымающегося Эбера, Эбер – Бабефа.[179] Пока подземные пласты находятся в состоянии покоя, политический деятель может шагать смело; но самый отважный революционер знает, что под ним существует подпочва, и даже наиболее храбрые останавливаются в тревоге, когда чувствуют под своими ногами движение, которое они сами родили себе на погибель.

Уметь отличать подспудное движение, порожденное личными притязаниями, от движения, порожденного силою принципов, – сломить одно и помочь другому – в этом гений и добродетель великих революционеров.

От Дантона не укрылось смущение Марата.

– Гражданин Симурдэн здесь отнюдь не лишний, – сказал он. И добавил: – Давайте же, чорт побери, объясним суть дела гражданину Симурдэну. Он пришел как нельзя более кстати. Я представляю Гору, Робеспьер представляет Комитет общественного спасения, Марат представляет Коммуну, а Симурдэн представляет Епископат. Пусть он нас и рассудит.

– Что ж, – просто и серьезно ответил Симурдэн. – О чем шла речь?

– О Вандее, – ответил Робеспьер.

– О Вандее? – повторил Симурдэн. И тут же сказал: – Это серьезная угроза. Если революция погибнет, то погибнет она по вине Вандеи. Вандея страшнее, чем десять Германий. Для того чтобы осталась жива Франция, нужно убить Вандею.

Этими немногими словами Симурдэн завоевал сердце Робеспьера.

Тем не менее Робеспьер осведомился:

– Вы, если не ошибаюсь, бывший священник?

Робеспьер безошибочно определял по внешнему виду людей, носивших духовный сан. Он замечал в других то, что было скрыто в нем самом.

– Да, гражданин, – ответил Симурдэн.

– Ну и что тут такого? – вскричал Дантон. – Если священник хорош, так уж хорош по-настоящему, не в пример прочим. В годину революции священники, так сказать, переплавляются в граждан, подобно тому, как колокола переплавляют в монету и в пушки. Данжу – священник, Дону,[180] – священник, Тома Лендэ[181] – эврский епископ. Да вы сами, Робеспьер, сидите в Конвенте рядом с Масье[182] епископом из Бове. Главный викарий Вожуа,[183] десятого августа состоял в комитете, руководившем восстанием. Шабо[184] – монах-капуцин. Не кто иной, как преподобный отец Жерль[185] приводил к присяге в Зале для игры в мяч;[186] не кто иной, как аббат Одран,[187] потребовал, чтобы власть Национального собрания поставили выше власти короля, не кто иной, как аббат Гутт,[188] настоял в Законодательном собрании, чтобы с кресел Людовика Шестнадцатого сняли балдахин; не кто иной, как аббат Грегуар,[189] поднял вопрос об упразднении королевской власти.

– При поддержке этого шута горохового Колло д'Эрбуа,[190] – ядовито заметил Марат, – они трудились сообща: священник опрокинул трон, а лицедей столкнул с него короля.

– Вернемся к вопросу о Вандее, – предложил Робеспьер.

– В чем же дело? – спросил Симурдэн. – Что там такое случилось? Что она натворила, эта Вандея?

На этот вопрос ответил Робеспьер:

– Дело вот в чем: отныне в Вандее есть вождь. И она становится грозной силой.

– Что же это за вождь, гражданин Робеспьер?

– Это бывший маркиз де Лантенак, который именует себя принцем бретонским.

Симурдэн сделал невольное движение.

– Я знаю Лантенака, – сказал он. – Я был священником в его приходе.

Он подумал с минуту и добавил:

– Прежде чем стать служителем Марса, он был поклонником Венеры.

– Как и Бирон, который не уступал Лозену, – бросил Дантон.

Симурдэн раздумчиво произнес:

– Да, этот Лантенак пожил в свое удовольствие. Сейчас он, должно быть, просто страшен.

– Скажите: ужасен, – подхватил Робеспьер. – Он жжет деревни, приканчивает раненых, убивает пленных, расстреливает женщин.

– Женщин?

– Да, представьте. Вместе со всеми прочими он приказал расстрелять одну женщину – мать троих детей. Что сталось с детьми – неизвестно. Кроме того, он военный. И умеет воевать.

– Умеет, – согласился Симурдэн. – В ганноверскую кампанию солдаты даже сложили поговорку: «Ришелье предполагает, а Лантенак располагает». Лантенак и был тогда настоящим командиром. Спросите-ка о нем у вашего коллеги Дюссо.[191]

Робеспьер, погруженный в свои думы, не ответил, потом снова обратился к Симурдэну:

– Так вот, гражданин Симурдэн, этот человек находится сейчас в Вандее.

– И давно?

– Уже три недели.

– Надо объявить его вне закона.

– Объявлен.

– Надо оценить его голову.

– Оценена.

– Надо пообещать за его поимку много денег.

– Обещано.

– И не в ассигнатах.

– Сделано.

– В золоте.

– Сделано.

– Надо его гильотинировать.

– Гильотинируем!

– А кто же?

– Вы!

– Я?

– Да, вы. Комитет общественного спасения направляет вас туда с самыми широкими полномочиями.

– Согласен, – ответил Симурдэн.

Робеспьер был скор в выборе людей, – еще одно ценное качество для государственного деятеля. Он вытащил из папки, лежавшей на столе, листок чистой бумаги с отпечатанным вверху штампом: «Французская республика, единая и неделимая. Комитет общественного спасения».

Симурдэн продолжал:

– Да, я согласен. Устрашение против устрашения. Лантенак жесток, что ж, и я буду жестоким. Объявим этому человеку войну не на жизнь, а на смерть. Я освобожу от него Республику, если на то будет воля божья.

Он помолчал, затем заговорил снова:

– Я – священник, и я верю в бога.

– Бог нынче устарел, – заявил Дантон.

– Я верю в бога, – невозмутимо повторил Симурдэн.

Робеспьер мрачно и одобрительно кивнул головой.

– А к кому меня решено прикомандировать?

– К командиру экспедиционного отряда, направленного против Лантенака, – ответил Робеспьер. – Только предупреждаю вас, он аристократ.

– Ну и что такого? – воскликнул Дантон. – Подумаешь, беда какая. То, что мы сейчас говорили о священниках, применимо и к аристократам. Когда аристократ хорош, то уж лучше и не надо. Преклонение перед дворянством – предрассудок, так же как предрассудок и уничтожение его, я против и того и другого. Робеспьер, да разве ваш Сен-Жюст не аристократ? Слава богу, Флорель де Сен-Жюст! Анахарсис Клотц – барон. Наш друг Карл Гесс,[192] который не пропускает ни одного заседания в клубе Кордельеров, – принц и брат ныне правящего ландграфа Гессен-Ротенбургского. Монто,[193] ближайший друг Марата, на самом деле маркиз де Монто. Наконец, в числе присяжных Революционного трибунала имеется священник Вилат[194] и аристократ Леруа, маркиз де Монфлабер. И оба люди вполне надежные.

– Вы забыли, – добавил Робеспьер, – еще председателя Революционного трибунала.

– Антоннеля?[195]

– Да, маркиза Антоннеля, – уточнил Робеспьер.

Дантон снова заговорил:

– Аристократ также и Дампьер, который недавно при Конде пал за республику смертью храбрых, и аристократ также Борепэр,[196] который предпочел пустить себе пулю в лоб, но не открыл пруссакам ворота Вердена.

– Однакож, – проворчал Марат, – однакож, когда Кондорсе[197] сказал: "Гракхи[198] были аристократами", это не помешало тому же Дантону крикнуть с места: «Все аристократы – изменники, начиная с Мирабо и кончая тобой».

Раздался спокойный и важный голос Симурдэна:

– Гражданин Дантон, гражданин Робеспьер, может быть, вы оба и правы, доверяя аристократам, но народ им не доверяет и хорошо делает, что не доверяет. Когда священнику поручают следить за аристократом, то на плечи священника ложится двойная ответственность, и священник должен быть непреклонен.

– Совершенно справедливо, – подтвердил Робеспьер.

А Симурдэн добавил:

– И неумолим.

– Прекрасно сказано, гражданин Симурдэн, – подхватил Робеспьер. – Вам придется иметь дело с молодым человеком. Будучи старше его вдвое, вы можете оказать на него благотворное влияние. Его надо направлять, но надо его и щадить. Повидимому, он талантливый военачальник, во всяком случае все донесения свидетельствуют об этом. Его отряд входит в

корпус, который выделили из Рейнской армии и перебросили в Вандею. Он прибыл с границы, где отличился и умом и отвагой. Он умело командует экспедиционным отрядом. Вот уже две недели он не дает передышки старому маркизу де Лантенаку. Теснит и гонит его. В конце концов он окончательно оттеснит маркиза и сбросит его в море. Лантенак обладает хитростью старого вояки, а он отвагой молодого полководца. У этого молодого человека уже есть враги и завистники. В частности, ему завидует и с ним соперничает генерал Лешель.[199]

– Уж этот мне Лешель, – прервал Дантон, – вбил себе в голову, что должен быть генерал-аншефом. Недаром про него сложили каламбур: «Il faut L chelle pour monter sur Charette».[200] А пока что Шаретт его бьет.

– И Лешель желает, – продолжал Робеспьер, – чтобы честь победы над Лантенаком выпала только ему и никому другому. Все беды Вандейской войны в этом соперничестве. Если угодно знать, наши солдаты – герои, но сражаются они под началом скверных командиров. Простой гусарский капитан Шамбон подходит к Сомюру под звуки фанфар и пение « a ira» и берет Сомюр; он мог бы развить операцию и взять Шоле, но, не получая ниоткуда приказов, не двигается с места. В Вандее необходимо сменить всех офицеров. Там зря дробят войска, зря распыляют силы, а ведь рассредоточенная армия – это армия парализованная; была крепкая глыба, а ее превратили в пыль. В Парамейском лагере остались пустые палатки. Между Трегье и Динаном без всякой пользы для дела разбросаны сто мелких постов, а их следовало бы объединить в дивизион и прикрыть все побережье. Лешель, с благословения Парена, обнажил северное побережье под тем предлогом, что необходимо-де защищать южное, и таким образом открыл англичанам путь вглубь страны. План Лантенака сводится к следующему: полмиллиона восставших крестьян плюс высадка англичан на французскую землю. А наш молодой командир экспедиционного отряда гонится по пятам за Лантенаком, настигает и бьет его, не дожидаясь разрешения Лешеля, начальника Лешеля, вот Лешель и доносит на своего подчиненного. Относительно этого молодого человека мнения разделились. Лешель хочет его расстрелять. А Приер из Марны хочет произвести его в генерал-адъютанты.

– Поскольку могу судить, – сказал Симурдэн, – этот молодой человек обладает незаурядными достоинствами.

– Однако у него есть недостаток!

Это замечание сделал Марат.

– Какой же? – осведомился Симурдэн.

– Мягкосердечие, – произнес Марат.

И продолжал:

– В бою мы, видите ли, тверды, а вне его – слабы. Милуем, прощаем, щадим, берем под покровительство благочестивых монахинь, спасаем жен и дочерей аристократов, освобождаем пленных, выпускаем на свободу священников.

– Серьезная ошибка, – пробормотал Симурдэн.

– Нет, преступление, – сказал Марат.

– Иной раз – да, – сказал Дантон.

– Часто, – сказал Робеспьер.

– Почти всегда, – заметил Марат.

– Если имеешь дело с врагами родины – всегда, – сказал Симурдэн.

Марат повернулся к Симурдэну:

– А что ты сделаешь с республиканским вождем, который выпустит на свободу вожака монархистов?

– В данном случае я придерживаюсь мнения Лешеля, я бы его расстрелял.

– Или гильотинировал, – сказал Марат.

– То или другое на выбор, – подтвердил Симурдэн.

Дантон расхохотался.

– По мне и то и другое хорошо, – сказал он.

– Не беспокойся, тебе уготовано не одно, так другое, – буркнул Марат.

И, отведя взгляд от Дантона, он обратился к Симурдэну:

– Значит, гражданин Симурдэн, если республиканский вождь совершит ошибку, ты велишь отрубить ему голову?

– В двадцать четыре часа.

– Что ж, – продолжал Марат, – я согласен с Робеспьером, пошлем гражданина Симурдэна в качестве комиссара Комитета общественного спасения при командующем экспедиционным отрядом береговой армии. А как он зовется, этот командир?

Робеспьер ответил:

– Он из бывших, аристократ.

И стал рыться в бумагах.

– Пошлем священника следить за аристократом, – воскликнул Дантон. – Я лично не очень-то доверяю священнику, действующему в одиночку, так же как и аристократу в подобных обстоятельствах, но когда они действуют совместно, – я спокоен: один следит за другим, и все идет прекрасно.

Гневная складка, залегшая между бровями Симурдэна, стала еще резче, но, очевидно, он счел замечание справедливым, ибо даже не оглянулся в сторону Дантона, и только суровый его голос прозвучал громче обычного:

– Если республиканский командир, который доверен моему наблюдению, сделает ложный шаг, его ждет смертная казнь.

Робеспьер, не поднимая глаз от бумаг, произнес:

– Нашел, гражданин Симурдэн… Командир, в отношении которого вы облечены всей полнотой власти, – бывший виконт. Зовут его Говэн.

Симурдэн побледнел.

– Говэн! – воскликнул он.

От взора Марата не укрылась бледность Симурдэна.

– Виконт Говэн! – повторил Симурдэн.

– Да, – подтвердил Робеспьер.

– Итак? – спросил Марат, не спуская с Симурдэна глаз.

Наступило молчание. Марат заговорил первым:

– Гражданин Симурдэн, вы согласились на условиях, которые только что указали сами, принять должность комиссара при командире Говэне. Решено?

– Решено, – ответил Симурдэн.

Он побледнел еще больше.

Робеспьер взял перо, лежавшее рядом с бумагами, не спеша вывел четким почерком четыре строчки на бланке, в углу которого значилось: «Комитет общественного спасения», поставил свою подпись и протянул листок Дантону; Дантон подмахнул бумагу, и Марат, не спускавший глаз с мертвенно-бледного лица Симурдэна, подписался ниже подписи Дантона.

Робеспьер снова взял листок, поставил число и протянул бумагу Симурдэну, который прочел следующее:

"II год Республики.

Сим даются неограниченные полномочия гражданину Симурдэну, специальному комиссару Комитета общественного спасения, прикомандированному к гражданину Говэну, командиру экспедиционного отряда береговой армии.

Робеспьер. – Дантон. – Марат".

И ниже подписей дата:

"28 июня 1793 года ".

Революционный календарь, именуемый также гражданским календарем, не получил еще в ту пору официального распространения и был принят Конвентом по предложению Ромма лишь 5 октября 1793 года.

Пока Симурдэн перечитывал бумагу, Марат пристально глядел на него.

Потом он заговорил вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:

– Необходимо принять соответствующий декрет в Конвенте или решение в Комитете общественного спасения. Кое-что придется добавить и уточнить.

– Гражданин Симурдэн, – спросил Робеспьер, – а где вы живете?

– На Торговом дворе.

– Значит, соседи, – сказал Дантон, – я тоже там живу.

– Нельзя терять ни минуты, – продолжал Робеспьер. – Завтра вы получите приказ о вашем назначении за подписью всех членов Комитета общественного спасения. Это и будет официальным подтверждением ваших полномочий для наших представителей: Филиппо,[201] Приера из Марны, Лекуантра, Алькье[202] и других. Мы вас знаем. Вам даются неограниченные полномочия. В вашей власти сделать Говэна генералом или послать его на плаху. Приказ будет у вас завтра в три часа. Когда вы намереваетесь выехать?

– В четыре часа, – ответил Симурдэн.

Собеседники разошлись по домам.

Вернувшись к себе, Марат предупредил Симонну Эврар,[203] что завтра он идет в Конвент.

Книга третья

Конвент

I. Конвент

Мы приближаемся к высочайшей из вершин.

Перед нами Конвент.

Такая вершина невольно приковывает взор.

Еще впервые поднялась подобная громада на горизонте, доступном обозрению человека.

Есть Конвент, как есть Гималаи.

Быть может, Конвент – кульминационный пункт истории.

При жизни Конвента, – ибо собрание людей это нечто живое, – не отдавали себе отчета в его значении. От современников ускользнуло самое главное – величие Конвента; как ни было оно блистательно, страх затуманивал взоры. Все, что слишком высоко, вызывает священный ужас. Восхищаться посредственностью и невысокими пригорками – по плечу любому; но то, что слишком высоко, – будь то человеческий гений или утес, собрание людей или совершеннейшее произведение искусства, – всегда внушает страх, особенно на близком расстоянии. Любая вершина кажется тут неестественно огромной. А восхождение утомительно. Задыхаешься на крутых подъемах, скользишь на спусках, сбиваешь ноги о выступы утесов, а ведь в них и есть красота; водопад, ревущий в дымке пены, предвещает разверзшуюся пропасть, облака окутывают острые пики вершин; подъем пугает не менее, чем падение. Поэтому-то страх пересиливает восторги. И невольно проникаешься нелепым чувством – отвращением к великому. Видишь бездны, но не замечаешь великолепия; видишь ужасы, но

не замечаешь чудесного. Именно так судили поначалу о Конвенте. Конвент впору было созерцать орлам, а его мерили своей меркой близорукие люди.

Ныне он виден нам в перспективе десятилетий, и на фоне бескрайних небес, в безоблачно-чистой и трагической дали вырисовывается гигантский очерк французской революции.

II

14 июля – освобождение.

10 августа – гроза.

21 сентября – заложение основ.[204]

21 сентября – равноденствие, равновесие. Libra[205] – Весы. По меткому замечанию Ромма, французская революция была провозглашена под знаком Равенства и Правосудия. Ее пришествие было возвещено самим созвездием.

Конвент – первоплощение народа. С Конвентом была открыта новая великая страница, с него началась летопись будущего.

Каждая идея нуждается во внешнем выражении, каждому принципу нужна зримая оболочка; церковь не что иное, как идея бога, заключенная в четырех стенах: каждый догмат требует храмины. Когда на свет появился Конвент, необходимо было прежде всего разрешить важнейшую задачу, найти Конвенту подходящее помещение.

Сначала заняли здание Манежа, потом дворец Тюильри. Там, в Тюильри, установили раму, декорацию, огромную гризайль работы Давида, расположили симметрично скамьи, воздвигли квадратную трибуну, наставили в два ряда пилястры с цоколями, похожими на чурбаны, нагородили прямоугольных тесных клетушек и назвали их трибунами для публики, натянули матерчатый навес, как у римлян, повесили греческие драпировки и среди этих прямых углов, среди этих прямых линий поместила Конвент; в геометрическую фигуру втиснули ураган. Фригийский колпак на трибуне выкрасили в серый цвет. Роялисты поначалу насмехались над этим серым, то бишь красным колпаком, над этими театральными декорациями, над монументами из папье-маше, над этим картонным святилищем, над этим пантеоном в грязи и плевках. Нет, всей этой роскоши долго не продержаться! Колонны понаделали из бочарной клепки, своды из дранок, барельефы из глины, карнизы из еловых досок, статуи из гипса, стены из холста, а мрамор просто нарисовали, но в этой недолговечной оболочке Франция творила вечное.

Все стены зала Манежа, когда там заседал Конвент, были увешаны афишами, которые красовались по всему Парижу в дни возвращения короля из Варенна. Одна из них гласила: «Король возвращается! Бейте дубинками того, кто ему рукоплещет, вешайте тех, кто его оскорбляет». Другая: «Смирно. Шапок не снимать. Сейчас он предстанет перед судьями». Еще одна: «Король долгое время держал на мушке всю французскую нацию. Слишком долго держал. Теперь пришел черед нации взяться за оружье». И еще следующая: «Закон! Закон!» В этих стенах Конвент судил Людовика XVI.

С 10 мая 1793 года Конвент стал заседать в Тюильри, который называли тогда Национальным дворцом; зал заседаний занимал все пространство между бывшим павильоном Часов, переименованным в павильон Единства, и павильоном Марсан, переименованным в павильон Свободы. Павильон Флоры назвали павильоном Равенства. Сюда, в зал заседаний, подымались по главной лестнице работы Жана Бюллана. Весь второй этаж был занят Конвентом, а в первом этаже во всю длину дворца в огромных залах устроили караульное помещение, – здесь стояли ружья в козлах, походные койки и толпились солдаты всех родов оружия, оберегавшие Конвент. Собрание охранялось специальным почетным караулом, носившим название «гренадеров Конвента».

От сада, где свободно расхаживал народ, дворец отделяла лишь трехцветная лента.

III

Что еще сказать о зале заседаний Конвента? Все в этом грозном месте заслуживает нашего внимания.

Первое, что бросалось в глаза каждому входящему, – это большая статуя Свободы, помещавшаяся в простенке между двух высоких окон.

Сорок два метра в длину, десять метров в ширину и одиннадцать метров в высоту – таковы были размеры бывшего королевского театра, который стал театром революции. Изящная и пышная зала, построенная Вигарани для придворных развлечений, совсем исчезла под уродливым помостом, который в девяносто третьем году выносил на себе огромную тяжесть – народные толпы. Любопытно отметить, что этот помост, где устроили трибуны для публики, имел в качестве опоры всего один-единственный столб. Столб этот вытесали из дерева, имевшего в обхвате десять метров. Не всякая кариатида могла потягаться с таким столбом; в течение нескольких лет он с честью выдерживал неистовый натиск революции. Он вынес все – крики восторга, ликование, проклятия, шум, ропот, невообразимую бурю гнева и возмущения. И не погнулся. Вслед за Конвентом он видел Совет старейшин.[206] 18 брюмера[207] его убрали.

Персье[208] тогда заменил деревянный столб мраморными колоннами, но и они просуществовали недолго.

Подчас идеал, к которому стремится зодчий, весьма своеобразен; зодчий, прокладывавший улицу Риволи, бесспорно взял себе за образец траекторию полета пушечного ядра; строитель Карлсруэ в качестве образца избрал развернутый веер; гигантский ящик комода – вот каков, повидимому, был идеал зодчего, построившего залу, где начал заседать Конвент 10 мая 1793 года, – это было нечто продолговатое, высокое и скучное. Одна из длинных сторон этого ящика примыкала к обширному полукругу; здесь для представителей народа стояли амфитеатром скамьи, – ни столов, ни пюпитров не полагалось; Гаран-Кулон,[209] любитель записывать речи ораторов, клал бумагу на собственное колено; напротив скамей – трибуна, перед трибуной бюст Лепеллетье Сен-Фаржо;[210] за трибуной кресло председателя.

Мраморная голова Лепеллетье слегка выдавалась над краем трибуны; по этой причине бюст позже убрали.

Амфитеатр состоял из девятнадцати рядов скамей, идущих полукругом один над другим; по обоим краям амфитеатра стояли еще скамьи покороче.

Внизу амфитеатра, образующего как бы подкову, у подножия трибуны, стояли приставы.

По одну сторону трибуны висела в черной деревянной раме доска вышиной в девять футов, разделенная посередине скипетром, и на ней в две колонки была начертана «Декларация прав человека»;[211] по другую сторону на стене было пустое пространство, которое позже заняли такой же рамой с текстом Конституции II года, две колонки ее были разделены мечом. Над трибуной, а следовательно и над головой оратора, реяли почти горизонтально три огромных трехцветных знамени, которые выходили из глубокой и разгороженной на два отделения ложи, где вечно теснился народ; древки знамен опирались на алтарь с надписью «Закон». Позади этого алтаря возвышался – на страже свободного слова – ликторский пучок,[212] длиной с колонну. Гигантские статуи, вытянувшиеся вдоль стены, стояли как раз напротив мест, отведенных для представителей народа. Справа от председательского места красовался Ликург[213] слева Солон,[214] над скамьями Горы была статуя Платона.

Пьедесталом статуй служили простые каменные постаменты, и расставлены они были на длинной балюстраде, опоясывающей всю залу и отделяющей публику от членов Конвента. Зрители обычно опирались на эту балюстраду.

Черная деревянная рама, окаймлявшая «Декларацию прав человека», доходила до балюстрады, перерезая рисунки на стене и нарушая прямоту линий, чем был весьма недоволен Шабо. «Ну и уродство», – жаловался он Вадье.[215]

Чело статуй украшали венки из дубовых листьев и из лавра.

От балюстрады спускалась длинными прямыми складками зеленая ткань, на которой зеленым же, но только более густого оттенка, были нарисованы такие же венки; эта драпировка огибала весь низ залы, отведенной для членов Конвента, а над нею холодно поблескивала пустая белая стена. Пробитые в этой толстой стене, шли в два яруса, без всяких архитектурных украшений, трибуны для публики: внизу – квадратные, а в верхнем ярусе – полукруглые. В те времена Витрувий еще царил в умах, и согласно его правилам архивольты должны были соответствовать архитравам. С каждой длинной стороны залы шли в ряд десять трибун, а в конце каждого ряда помещались по две огромных ложи – всего, следовательно, двадцать четыре трибуны. В ложах всегда теснился народ.

Зрители трибун нижнего яруса, не помещаясь на отведенных им местах, взлезали на все выступы, жались на карнизах, пользуясь любой возможностью, предоставленной архитектурой залы. Вдоль верхнего яруса трибун вместо несуществующих перил шел длинный и толстый железный брус, предохранявший зрителей от падения, если задние напирали уж чересчур сильно. Какой-то зритель все же ухитрился свалиться вниз; он рухнул прямо на Масье, бывшего епископа из Бове, и, к счастью, не убившись, воскликнул: «Смотри-ка, и поп на что-нибудь годится».

Зала Конвента могла вместить две тысячи человек, а в дни народных волнений и три тысячи.

В Конвенте происходило по два заседания в день – утреннее и вечернее.

Спинка председательского кресла была полукруглая, с золочеными гвоздиками. Стол поддерживали четыре крылатые одноногие чудовища; они будто сошли со страниц Апокалипсиса, дабы стать свидетелями революции. Казалось, их выпрягли из колесницы Езекииля, чтобы запрячь в повозку Сансона.

На председательском столе стоял большой колокольчик, вернее колокол, огромная медная чернильница и переплетенный в кожу фолиант для протоколов.

Случалось, что этот стол окропляла кровь, стекавшая с отрубленных голов, которые поддевали на пики и приносили в Конвент.

На трибуну подымались по лестнице в девять ступеней. Ступени были высокие, крутые, и взбираться по ним было нелегко; однажды Жансоннэ, направлявшийся к трибуне, споткнулся. «Да это же настоящая лестница на эшафот!» – проворчал он. «Что ж! Попрактикуйся пока!» – крикнул ему с места Каррье.[216]

Там, где стены выглядели слишком голыми, зодчий, желая украсить их, поставил в углах ликторские пучки с торчавшей из них секирой.

Справа и слева от трибуны возвышались на цоколях два канделябра, в двенадцать футов вышиной, несущие по четыре пары кенкетов. В ложах были такие же канделябры. Цоколи под канделябрами скульптор украсил венчиками, которые в народе называли «гильотинные ожерелья».

Скамьи для членов Конвента подымались в амфитеатре почти к самым трибунам для публики; депутаты и народ могли обмениваться репликами.

Из трибун попадали в путаный лабиринт коридоров, где временами стоял неистовый шум.

Распространившись по всему дворцу, Конвент переплеснулся и в соседние особняки, в отель Лонгвиль, в отель Куаньи. Именно в отель Куаньи после 10 августа, если верить письму лорда Бредфорда, перенесли всю обстановку из королевских покоев. Потребовалось целых два месяца, чтобы очистить от нее Тюильри.

Комитеты были расположены поблизости от залы заседания: в павильоне Равенства – законодательный, земледельческий и торговли; в павильоне Свободы – морской, колоний, финансов, ассигнатов, а также Комитет общественного спасения; в павильоне Единства – военный комитет.

Комитет общественной безопасности сообщался с Комитетом общественного спасения темным длинным коридором, где днем и ночью горел фонарь и где толклись шпионы всех партий. Говорили там полушепотом.

Барьер в Конвенте несколько раз переносили с места на место. Обычно он помещался справа от председателя.

Переборки, которые закрывали справа и слева полукружье амфитеатра, оставляли между скамьями и стеной два тесных, похожих на ущелье коридорчика, упиравшихся в две низенькие дверцы самого мрачного вида. Здесь был вход и выход для публики.

Депутаты попадали прямо в зал через дверь, выходящую на террасу Фельянов.

В этой зале, которую почти не освещали днем подслеповатые окна и плохо освещали в сумерках тусклые кенкеты, было что-то от царства ночи. Полумрак сливался с вечерней мглой, и заседания, проходившие при свете ламп, производили зловещее впечатление. Сосед не различал соседа; с одного конца залы до другого, слева направо, проступала неясная вереница голов, неслись в темноте оскорбительные выкрики. Даже сталкиваясь нос к носу, люди не узнавали друг друга. Однажды Леньело,[217] взбегая на трибуну, толкнул какого-то человека, спускавшегося вниз… «Прости, Робеспьер», – сказал Леньело. «За кого это ты меня принимаешь?» – раздался хриплый голос. «Прости, Марат!» – поправился Леньело.

Внизу, слева и справа от председательского места, две ближние трибуны запрещалось занимать, ибо, как ни странно, но и в Конвенте имелись привилегированные зрители. Только эти две трибуны были украшены драпировками. Посреди архитрава драпировка подхватывалась витым шнуром с золотыми кистями. Трибуны для народа никаких украшений не имели. Все тут было исполнено ярости, дикарства и симметрии. Строгость и неистовство – в этом, пожалуй, вся революция. Зал Конвента являл собой наиболее яркий образчик того стиля, который позже в среде художников стал именоваться «мессидорская архитектура». Все было одновременно и массивным и хрупким. Тогдашние строители основой прекрасного считали симметрию. Последнее слово в духе Возрождения было сказано в царствование Людовика XV, а затем началась реакция. Чрезмерная забота о благородстве и чистоте линий привела к пресному и сухому стилю, нагонявшему зевоту. И зодчество тоже подвержено недугу ложной стыдливости. После великолепных пиршеств формы и разгула красок, отметивших восемнадцатый век, искусство вдруг село на диету и разрешало себе лишь прямые линии. Но подобный прогресс приводит к уродству. Искусство превращается в скелет, таков парадокс. И такова же оборотная сторона благоразумной сдержанности, – до того пекутся о строгости стиля, что в конце концов он чахнет.

Не говоря уж о политических страстях, бушевавших в стенах этой залы, один ее вид, одна лишь ее архитектура приводила зрителя в невольный трепет. Еще вспоминали, как смутное видение, прежний театр: ложи, украшенные лепными гирляндами, плафон, расписанный лазурью и пурпуром, люстру с гранеными подвесками, жирандоли, отливавшие алмазным блеском, переливчатые, словно голубиная шейка, обои, изобилье амуров и нимф на занавесках и драпировках, – вспоминали идиллию самодержавия и галантного века, запечатленную в красках, в скульптуре, в позолоте, некогда щедро заливавшую своей улыбкой эту суровую ныне залу, где взгляд повсюду натыкался на строгие прямые углы, на холодные и жесткие, словно сталь, линии; представьте себе нечто вроде Буше, гильотинированного Давидом.

IV

Кто следил за ходом заседаний Конвента, забывал о внешнем виде залы. Кто следил за драмой, не думал о театре. Невиданная дотоле смесь самого возвышенного с самым

уродливым. Когорта героев, стадо трусов. Благородные хищники на вершине и пресмыкающиеся в болоте. Там кишели, толкались, подстрекали друг друга, грозили друг другу, сражались и жили борцы, ставшие ныне лишь тенями.

Нескончаемо-огромный список.

Справа Жиронда – легион мыслителей, слева Гора – отряд борцов. С одной стороны – Бриссо, которому были вручены ключи от Бастилии; Барбару, которого не решались ослушаться марсельцы; Кервелеган,[218] державший в боевой готовности Брестский батальон, расквартированный в предместье Сен-Марсо; Жансоннэ, который добился признания первенства депутатов перед военачальниками; роковой Гюадэ,[219] которому в Тюильри королева показала однажды ночью спящего дофина; Гюадэ поцеловал в лобик спящего ребенка, но потребовал, чтобы отрубили голову его отцу; Салль,[220] разоблачитель несуществующих заигрываний Горы с Австрией; Силлери, хромой калека с правых скамей, подобно тому как Кутон был безногим калекой – левых скамей; Лоз-Дюперре,[221] который, будучи оскорблен одним газетчиком, назвавшим его «негодяй», пригласил оскорбителя отобедать и заявил: "Я знаю, что «негодяй» означает просто «инакомыслящий»; Рабо-Сент-Этьен, открывший свой альманах 1790 года словами: «Революция окончена!»; Кинет,[222] один из тех, кто низложил Людовика XVI; янсенист Камюс,[223]составитель проекта гражданского устройства духовенства, человек, который свято верил в чудеса диакона Париса,[224] и все ночи напролет лежал, распростершись перед распятием саженной высоты, прибитым к стене его спальни; Фоше – священник, вместе с Камиллом Демуленом[225] руководивший восстанием 14 июля; Инар, который совершил преступление, сказав: «Париж будет разрушен», в тот самый момент, когда герцог Брауншвейгский заявил: «Париж будет сожжен»; Жакоб Дюпон[226] первым крикнувший: «Я атеист», на что Робеспьер ответил ему: «Атеизм – забава аристократов»; Ланжюинэ,[227] непреклонный, проницательный и доблестный бретонец; Дюкос;[228] – Эвриал при Буайе-Фонфреде[229] Ребекки,[230] – Пилад при Барбару, тот самый Ребекки, который сложил с себя депутатские полномочия, потому что еще не гильотинировали Робеспьера; Ришо[231] который боролся против несменяемости секций; Ласурс, автор злобного афоризма «Горе благодарным народам!», который у ступеней эшафота отверг свои же собственные слова, гордо бросив в лицо монтаньярам: «Мы умираем оттого, что народ спит, но вы умрете оттого, что народ проснется!»; Бирото,[232] который на свою беду добился отмены неприкосновенности личности депутатов, ибо таким образом отточил нож гильотины и воздвиг плаху для самого себя; Шарль Виллет, который для очистки совести время от времени возглашал: «Не желаю голосовать под угрозой ножа»; Луве,[233] автор «Фоблаза», в конце жизненного пути ставший книгопродавцем в Пале-Рояле, где за прилавком восседала Лодоиска; Мерсье, автор «Парижских картин», который писал: «Все короли на собственной шее почувствовали двадцать первое января»; Марек, который пекся об «охране бывших границ»; журналист Карра,[234] который, взойдя на эшафот, сказал палачу: «До чего же досадно умирать! Так хотелось бы досмотреть продолжение»; Виже,[235] который именовал себя «гренадером второго батальона Майенна и Луары» и который в ответ на угрозы публики крикнул: «Требую, чтобы при первом же ропоте трибун мы, депутаты, ушли отсюда все до одного и двинулись бы на Версаль с саблями наголо!»; Бюзо, которому суждено было умереть с голоду; Валазе, принявший смерть от собственной руки; Кондорсе, которому судьба уготовила кончину в Бург-ла-Рен, переименованном в Бург-Эгалитэ, причем убийственной уликой послужил обнаруженный в его кармане томик Горация;[236] Петион, который в девяносто втором году был кумиром толпы, а в девяносто четвертом погиб, растерзанный волчьими клыками; и еще двадцать человек, среди коих: Понтекулан,[237] Марбоз,[238] Лидон, Сен-Мартен, Дюссо, переводчик Ювенала, проделавший ганноверскую кампанию; Буало,[239] Бертран,[240] Лестер-Бове,[241] Лесаж,[242] Гомэр,[243] Гардьен,[244] Мэнвьель,[245] Дюплантье,[246]Лаказ,[247] Антибуль[248] и во главе их второй Барнав, который звался Верньо.

С другой стороны – Антуан-Луи-Леон Флорель де Сен-Жюст, бледный, двадцатитрехлетний юноша, с безупречным профилем, загадочным взором, с печатью глубокой грусти на челе; Мерлен,[249] из Тионвиля, которого немцы прозвали «Feuer-Teufel», «огненный дьявол»; Мерлен из Дуэ, преступный автор закона о подозрительных; Субрани[250] которого народ Парижа 1 прериаля потребовал назначить своим полководцем; бывший кюре Лебон,[251] чья рука, кропившая ранее прихожан святой водой, держала теперь саблю; Билло-Варенн,[252] который предвидел магистратуру будущего, где место судей займут посредники; Фабр д'Эглантин,[253] которого только однажды, подобно Руже де Лиллю,[254] создавшему марсельезу, осенило вдохновение, и он создал тогда республиканский календарь, но, – увы! – вторично муза не посетила ни того, ни другого; Манюэль,[255] прокурор Коммуны, который заявил: «Когда умирает король, это не значит, что стало одним человеком меньше»; Гужон,[256] который взял Трипштадт, Нейштадт и Шпейер и обратил в бегство пруссаков; Лакруа, из адвоката превратившийся в генерала и пожалованный орденом Святого Людовика за неделю до 10 августа; Фрерон-Терсит, сын Фрерона-Зоила; Рюль,[257] гроза банкирских железных сундуков, непреклонный республиканец, трагически покончивший с собой в день гибели республики; Фуше,[258] с душой демона и лицом трупа; друг отца Дюшена, Камбулас[259] который сказал Гильотену:[260] "Сам ты из клуба Фельянов,[261] а дочка твоя – из Якобинского клуба"; Жаго,[262] ответивший тому, кто жаловался, что узников держат полунагими: «Ничего, темница одела их камнем»; Жавог,[263] зловещий осквернитель гробниц в усыпальнице Сен-Дени; Осселэн,[264] изгонявший подозрительных и скрывавший у себя осужденную на изгнание госпожу Шарри; Бантаболь,[265] который, председательствуя на заседаниях Конвента, знаками показывал трибунам, рукоплескать им или улюлюкать; журналист Робер,[266] супруг мадмуазель Кералио,[267] писавшей: «Ни Робеспьер, ни Марат ко мне не ходят; Робеспьер может явиться в мой дом, когда захочет, а Марат – никогда»; Гаран-Кулон, который гордо сказал, когда Испания осмелилась вмешаться в ход процесса над Людовиком XVI, что Собрание не уронит себя чтением письма короля, предстательствующего за другого короля; Грегуар, по началу пастырь, достойный первых времен христианства, а при Империи добившийся титула графа Грегуар, дабы стереть даже воспоминание о Грегуаре-республиканце; Амар,[268] сказавший: «Весь шар земной осудил Людовика XVI. К кому же апеллировать? К небесным светилам?»; Руйе,[269] который 21 января протестовал против пушечной стрельбы с Нового Моста, ибо, как он заявил: «Голова короля при падении должна производить не больше шума, чем голова любого смертного»; Шенье,[270] брат Андре Шенье; Вадье, один из тех ораторов, что, произнося речь, клали перед собой заряженный пистолет; Танис,[271] который сказал Моморо: «Я хотел бы, чтобы Марат и Робеспьер дружески обнялись за моим столом». – «А где ты живешь?» – «В Шарантоне».[272] – «Оно и видно», – ответил Моморо; Лежандр, который стал мясником французской революции, подобно тому как Прайд,[273] был мясником революции английской; «Подойди сюда, я тебя пришибу», – закричал он Ланжюинэ, на что последний ответил: «Добейся сначала декрета, объявляющего меня быком»; Колло д'Эрбуа, зловещий лицедей, скрывший свое подлинное лицо под античной двуликой маской, одна половина которой говорила «да», а другая «нет», одна одобряла то, на что изрыгала хулу другая, бичевавший Каррье в Нанте и превозносивший Шалье[274] в Лионе, пославший Робеспьера на эшафот, а Марата в Пантеон; Женисье[275] который требовал смертной казни для всякого, на ком будет обнаружен образок с надписью: «Мученик Людовик XVI»; Леонар Бурдон,[276] школьный учитель, предложивший свой дом старцу Юрских гор; моряк Топсан,[277] адвокат Гупильо,[278] Лоран Лекуантр,[279] – купец, Дюгем[280] – врач, Сержан[281] – скульптор, Давид – художник, Жозеф Эгалитэ – принц крови. И еще – Лекуант-Пюираво, который требовал, чтобы Марата особым декретом объявили «находящимся в состоянии помешательства»; неугомонный Робер Ленде[282] родитель некоего спрута, головой которого был Комитет общественной безопасности, а бесчисленные щупальцы, охватившие всю Францию, именовались революционными комитетами; Лебеф,[283] которому Жире-Дюпре посвятил в своем «Пиршестве лжепатриотов» следующую строку: "Лебеф,[284] увидев раз

Лежандра, замычал". Томас Пэйн[285] американец и человек гуманный; Анахарсис Клотц, немец, барон, миллионер, безбожник, эбертист, существо весьма простодушное; неподкупный Леба, друг семьи Дюпле; Ровер,[286] яркий экземпляр любителя зла ради зла, ибо искусство для искусства существует гораздо чаще, чем принято думать; Шарлье,[287] требовавший, чтобы к аристократам непременно обращались на «вы»; Тальен,[288] чувствительный и свирепый, которого любовь к женщине сделала термидорианцем;[289] Камбасерес,[290]прокурор, ставший впоследствии принцем; Каррье, прокурор, ставший впоследствии тигром; Лапланш,[291] который в один прекрасный день воскликнул: «Я требую приоритета для пушки, дающей сигнал тревоги»; Тюрьо,[292] который предложил открытое голосование для судей Революционного трибунала; Бурдон из Уазы,[293] который вызвал на дуэль Шамбона, донес на Пэйна и сам был разоблачен Эбером; Фэйо,[294] который предлагал послать в Вандею «армию поджигателей»; Таво,[295] который 13 апреля был чем-то вроде посредника между Жирондой и Горой; Вернье,[296] который считал необходимым, чтобы вожди жирондистов, равно как и вожди монтаньяров, пошли в армию простыми солдатами; Ревбель,[297] который заперся в Майнце; Бурбот,[298]под которым при взятии Сомюра убили коня; Гимберто,[299] который командовал армией на Шербургском побережье; Жард-Панвилье,[300] который командовал армией на побережье Ларошель; Лекарпантье,[301] который командовал эскадрой в Канкале; Робержо,[302] которого подстерегала в Роштадте ловушка; Приер Марнский, надевавший при инспекторской поездке по войскам свои старые эполеты командира эскадрона; Левассер,[303] Сартский, который одним-единственным словом обрек на гибель Серрана, командира батальона в Сент-Амане; Ревершон[304] Мор,[305]Бернар де Сент,[306] Шарль Ришар,[307] Лекинио,[308] и во главе этой группы – новоявленный Мирабо, именуемый Дантоном.

Вне этих двух лагерей стоял человек, державший оба эти лагеря в узде, и человек этот звался Робеспьер.

V

Внизу стлался ужас, который может быть благородным, и страх, который всегда низок. Вверху шумели бури страстей, героизма, самопожертвования, ярости, а ниже притаилась суетливая толпа безликих. Дно этого собрания именовалось «Равниной». Сюда скатывалось все шаткое, все колеблющееся, все маловеры, все выжидатели, все медлители, все соглядатаи, и каждый кого-нибудь да боялся. Гора была местом избранных, Жиронда была местом избранных; Равнина была толпой. Дух Равнины был воплощен и сосредоточен в Сийесе.

Сийес был человеком глубокомысленным, чье глубокомыслие обернулось пустотой. Он застрял в третьем сословии и не сумел подняться до народа. Иные умы словно нарочно созданы для того, чтобы застревать на полпути. Сийес звал Робеспьера тигром, а тот величал его кротом. Этот метафизик пришел в конце концов не к разуму, а к благоразумию. Он был придворным революции, а не ее слугой. Он брал лопату и шел вместе с народом перекапывать Марсово поле, но шел в одной упряжке с Александром Богарне. На каждом шагу он проповедовал энергию, но не знал ее сам. Он говорил жирондистам: «Привлеките на вашу сторону пушки». Есть мыслители-ратоборцы; такие, подобно Кондорсе, шли за Верньо или, подобно Камиллу Демулену, шли за Дантоном. Но есть и такие мыслители, которые стремятся лишь к одному – выжить любой ценой; такие шли за Сийесом.

На дно бочки с самым добрым вином выпадает мутный осадок. Под «Равниной» помещалось «Болото».[309] Сквозь мерзкий отстой явственно просвечивало себялюбие. Здесь молча выжидали, щелкая от страха зубами, немотствующие трусы. Нет зрелища гаже. Готовность принять любой позор и ни капли стыда; затаенная злоба; недовольство, скрытое личиной раболепства. Все они были напуганы и циничны; всеми двигала отвага, исходящая из безудержной трусости; предпочитали в душе Жиронду, а присоединялись к Горе; от их слова зависела развязка; они держали руку того, кого ждал успех; они предали Людовика XVI – Верньо, Верньо – Дантону, Дантона – Робеспьеру, Робеспьера – Тальену. При жизни они клеймили Марата, после смерти обожествляли его. Они поддерживали все вплоть до того дня,

пока не опрокидывали все. Они чутьем угадывали, что зашаталось, и стремились нанести последний удар.

В их глазах, – ибо они брались служить любому, лишь бы тот сидел прочно, – пошатнуться – значило предать их. Они были числом, силой, страхом. Отсюда-то их смелость – смелость подлецов.

Отсюда 31 мая, 11 жерминаля, 9 термидора – трагедии, завязка которых была в руках гигантов, а развязка в руках пигмеев.

VI

Бок о бок с людьми, одержимыми страстью, сидели люди, одержимые мечтой. Утопия была представлена здесь во всех своих разветвлениях: утопия воинствующая, признающая эшафот, и утопия наивная, отвергающая смертную казнь; грозный призрак для тронов и добрый гений для народа. В противовес умам ратоборствующим здесь имелись умы созидающие. Одни думали только о войне, другие думали только о мире; в мозгу Карно родилась вся организация четырнадцати армий, в мозгу Жана Дебри,[310] родилась мечта о всемирной демократической Федерации. Среди неукротимого красноречия, среди воя и рокота голосов таилось плодотворное молчание. Лаканаль[311] молчал, но обдумывал проект народного просвещения; Лантенас[312] молчал и создавал начальные школы; молчал и Ревельер-Лепо[313] но в мечтах старался придать философии значение религии. Прочие занимались второстепенными вопросами, пеклись о мелких, но существенных делах. Гюитон-Морво,[314] занимался вопросом улучшения больниц. Мэр хлопотал об уничтожении крепостных податей. Жан-Бон-Сент-Андре[315] добивался отмены ареста за долги и упразднения долговых тюрем. Ромм отстаивал предложение Шаппа[316] Дюбоэ,[317] наводил порядок в архивах, Коран-Фюстье[318] создал анатомический кабинет и музей естествознания, Гюйомар[319] разработал план речного судоходства и постройки плотины на Шельде. Искусство также имело своих фанатиков и своих одержимых; 21 января, в тот самый час, когда на площади Революции скатилась голова монархии, Безар[320] депутат Уазы, пошел смотреть обнаруженную где-то на чердаке в доме по улице Сен-Лазар картину Рубенса.[321] Художники, ораторы, пророки, люди-колоссы, как Дантон, и люди-дети, как Анахарсис Клотц, ратоборцы и философы – все шли к единой цели, к прогрессу. Никогда они не опускали рук. В том-то и величье Конвента – он находил зерно реального там, где люди видят только неосуществимое. На одном полюсе был Робеспьер, видевший лишь «право», на другом – Кондорсе, видевший лишь «долг».

Кондорсе был человеком мечты и света; Робеспьер был человеком свершений; а иногда в периоды агонии одряхлевшего общества свершение равносильно искоренению. У революции, как и у горы, есть свои подъемы и спуски, и на разных уровнях ее склонов можно видеть все разнообразие природы, от вечных льдов до весеннего цветка. Каждая зона творит людей себе на потребу, и таких, что живы солнцем, и таких, что живы громами.

VII

Посетители Конвента указывали друг другу на один из поворотов левого коридора, где Робеспьер шепнул Гара, приятелю Клавьера, грозные слова: «У Клавьера что разговор, то заговор». В том же углу, как будто нарочно созданном для сторонних бесед и заглушаемого гнева, Фабр д'Эглантин пенял Ромму, упрекая его за то, что тот посмел переименовать «фервидор» в «термидор» и тем испортил его календарь. Показывали угол залы, где сидели бок о бок семь представителей Верхней Гаронны, которым первым пришлось выносить приговор Людовику XVI и которые провозгласили один за другим – Майль:[322] «Смерть», Дельмас: «Смерть», Прожан: «Смерть», Калес: «Смерть», Эйраль: «Смерть», Жюльен: «Смерть», Дезаси: «Смерть». Извечная перекличка, ибо, с тех пор как существует человеческое правосудие, под сводами судилища гулко отдается эхо гробниц. В волнующемся море голов указывали на тех, чьи голоса слились в нестройный и трагический хор приговора; вот они: Паганель,[323] сказавший: «Смерть. Король полезен только одним – своей смертью»;

Мийо,[324] сказавший: «Если бы смерти не существовало, ныне ее нужно было бы изобрести»; старик Рафрон дю Труйе,[325] сказавший; «Смерть, и немедля!»; Гупильо, который закричал: «Скорее на эшафот. Промедление усиливает эхо смерти!»; Сийес, который с мрачной краткостью произнес: «Смерть!»; Тюрьо, который отверг предложение Бюзо, советовавшего воззвать к народу: «Как! еще народные собрания? Как! еще сорок четыре тысячи трибуналов? Процесс никогда не окончится. Да голова Людовика XVI успеет поседеть, прежде чем скатится с плеч!»; Огюстен-Бон Робеспьер,[326] который воскликнул вслед за братом: «Я не признаю человечности, которая уничтожает народы и мирволит деспотам. Смерть! Требовать отсрочки – значит взывать не к народу, а к тиранам!»; Фусседуар,[327] заместитель Бернардена де Сен-Пьера,[328] сказавший: «Мне отвратительно пролитие человеческой крови, но кровь короля – это не человеческая кровь. Смерть!»; Жан-Бон-Сент-Андре, который заявил: «Народ не может быть свободен, пока жив тиран»; Лавиконтри,[329] который провозгласил как аксиому: «Пока дышит тиран, задыхается свобода. Смерть!»; Шатонеф-Рандон,[330] который крикнул: «Смерть Людовику последнему!»; Гийярден,[331] который высказал следующее пожелание: «Пусть казнят, раз барьер опрокинут», намекая на барьер вокруг трона; Телье, который сказал: «Пускай отольют пушку калибром с голову Людовика XVI и стреляют из нее по врагу». Указывали и на тех, что проявили милосердие. Среди них был Жантиль,[332] сказавший: "Я голосую за пожизненное заключение. Вслед за Карлом I,[333] следует Кромвель[334]"; Банкаль[335] который заявил: «Изгнание. Я хочу, чтобы впервые в мире король занялся каким-нибудь ремеслом и зарабатывал в поте лица хлеб свой»; Альбуис,[336] который сказал: «Каторга. Пускай живой его призрак бродит вокруг тронов»; Занджиакоми[337] сказал: «Лишение свободы. Сохраним Капета в качестве пугала»; Шайон[338] сказал: «Пусть живет. Зачем нам мертвец, которого Рим превратит в святого?» Пока все эти слова срывались с суровых уст и одно за другим исчезали в далях истории, на трибунах разряженные, декольтированные дамы подсчитывали голоса, отмечая булавкой на листе каждый поданный голос.

Там, где побывала трагедия, там надолго остаются ужас и сострадание.

Видеть Конвент в любой час его властвования, значило видеть суд над последним Капетом; легенда 21 января примешивалась ко всем деяниям Конвента; от этого грозного Собрания неизменно подымался роковой вихрь, который, коснувшись древнего факела монархии, зажженного восемнадцать веков тому назад, потушил его; окончательный, не подлежащий обжалованию, приговор над всеми королями в лице одного стал как бы отправной точкой, откуда Конвент повел великую войну с прошлым; какому бы вопросу ни было посвящено заседание Конвента, в глубине незримо подымалась тень, отбрасываемая эшафотом Людовика XVI. Зрители рассказывали друг другу об отставке Керсэна, об отставке Ролана, о Дюшателе,[339] депутате от Де-Севра, который, прикованный к постели недугом, велел принести себя в Конвент и, умирая, проголосовал за сохранение жизни, чем вызвал смех Марата; зрители искали взглядом депутата (история не сохранила его имени), который, утомившись заседанием, длившимся тридцать семь часов подряд, заснул на скамье, и, когда пристав разбудил его для подачи голоса, он с трудом приоткрыл глаза, крикнул: «Смерть!» – и снова уснул.

Когда Конвент выносил смертный приговор Людовику XVI, Робеспьеру оставалось жить восемнадцать месяцев, Дантону – пятнадцать месяцев, Верньо – девять месяцев, Марату – пять месяцев и три недели, Лепеллетье Сен-Фаршо – один день. Как коротко и страшно дыхание человеческих уст.

VIII

Народ глядел на Конвент через свое собственное открытое окно – трибуны для публики, но когда это окно оказывалось слишком узким, он распахивал дверь, и в зал вливалась улица. Такие вторжения толпы в сенат – одна из самых примечательных минут истории. Обычно народ врывался в Конвент с дружелюбными намерениями. Курульное кресло братилось с уличным

перекрестком. Но дружелюбие народа, который в один прекрасный день в течение трех часов захватил: сорок тысяч карабинов и пушки, стоявшие у Дома инвалидов, – дружелюбие такого народа чревато угрозами. Каждую минуту какое-нибудь шествие прерывало ход заседания – являлись делегации с петициями, подношениями, адресами. То женщины Сент-Антуанского предместья подносили членам Конвента почетную пику. То англичане предлагали двадцать тысяч пар сапог, чтобы обуть наших босых солдат. «Гражданин Арну, – писала газета „Монитер", – обиньянский кюре, командир Дромского батальона, просит отправить его на границу, а также сохранить за ним его приход». То врывались делегаты секций и приносили на носилках церковную утварь: блюда, чаши, дискосы, ковчежцы, золото и серебро – дар родине от толпы оборванцев, – и в награду просили только одного – разрешения сплясать карманьолу перед Конвентом. Шенар,[340] Нарбонн и Вальер приходили сюда спеть свои куплеты в честь Горы. Секция Монблан торжественно вручала Конвенту бюст Лепеллетье; какая-то женщина надела красный колпак на голову председателя, который тут же расцеловал дарительницу; «гражданки секции Майль» забрасывали «законодателей» цветами; «воспитанницы родины» с оркестром во главе приходили поблагодарить Конвент за то, что он «подготовил благоденствие века»; женщины из секции Французской гвардии подносили депутатам розы; женщины из секции Елисейских полей подносили депутатам венки из дубовых листьев; женщины из секции Тампль давали клятву в том, что «каждая из них свяжет свою судьбу лишь с истинным республиканцем»; секция Мольера подарила Конвенту медаль с изображением Франклина, которую особым декретом решено было подвесить к венцу, украшавшему чело статуи Свободы; подкидыши, отныне именовавшиеся «детьми республики», дефилировали перед Конвентом в национальных мундирчиках; заглядывали в Конвент и молодые девушки из секции «Девяносто второго года», все в длинных белых одеяниях, и на следующий день «Монитер» в таких тонах описывал это событие: «Председатель получил букет из невинных ручек юной красавицы». Ораторы приветствовали толпу, а иногда и льстили ей; они говорили народу: «Ты безупречен, ты непогрешим, ты божество», а народ, как ребенок, любит сладкое. Иногда сам мятеж врывался в двери Конвента и выходил оттуда умиротворенный, – так Рона вливает свои илистые воды в Женевское озеро и выливается оттуда лазурью.

Впрочем, иной раз не все обходилось так мирно, и Анрио в таких случаях приказывал ставить у входа в Тюильрийский дворец жаровни, на которых накаливали пушечные ядра.

IX

Очищая революцию, Конвент одновременно выковывал цивилизацию. Да, очистительное горнило, но также и горн. В том самом котле, где кипел террор, сгущалось также бродило прогресса. Сквозь хаос мрака, сквозь стремительный бег туч пробивались мощные лучи света, равные силой извечным законам природы. Лучи, и поныне освещающие горизонт, сияли и будут сиять во веки веков на небосводе народов, и один такой луч зовется справедливостью, а другие – терпимостью, добром, разумом, истиной, любовью. Конвент провозгласил аксиому: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого»; в одной этой фразе заключены все условия совместного существования людей. Конвент объявил священной бедность; священным он объявил убожество, взяв на попечение государства слепца и глухонемого; он освятил материнство, поддерживая и утешая девушку-мать; он освятил детство, усыновляя сирот и дав им в матери родину; он освятил справедливость, оправдывая по суду и вознаграждая оклеветанного. Он бичевал торговлю неграми; он упразднил рабство. Он провозгласил гражданскую солидарность. Он декретировал бесплатное обучение. Он упорядочил национальное образование, учредив в Париже Нормальную школу, центральные школы в крупных провинциальных городах и начальные школы в сельских общинах. Он открывал консерватории и музеи. Он издал декрет, которым устанавливалось единство кодекса законов для всей страны, единство мер и весов и единое исчисление по десятичной системе. Он навел порядок в финансах государства, и на смену долгого банкротства монархии пришел

общественный кредит. Он дал населению телеграфную связь, неимущей старости – бесплатные богадельни, недужным – больницы, очистив их от вековой заразы, учащимся – Политехническую школу, науке – Бюро долгот, человеческому разуму – Академию. Не теряя своих национальных черт, он в то же время был межнационален. Из одиннадцати тысяч двухсот десяти декретов, изданных Конвентом, лишь одна треть касалась непосредственно вопросов политики, а две трети – вопросов общего блага. Он провозгласил всеобщие правила нравственности основой общества и голос совести – основой закона. И освобождая раба, провозглашая братство, поощряя человечность, врачуя искалеченное человеческое сознание, превращая тяжкий закон о труде в благодетельное право на труд, упрочивая национальное богатство, опекая и просвещая детство, развивая искусства и науки, неся свет на все вершины, помогая во всех бедах, распространяя свои принципы, предпринимая все эти труды, Конвент действовал, терзаемый изнутри страшной гидрой – Вандеей и слыша над своим ухом грозное рычание тигров – коалиции монархов.

X

Необозримое поле действия. Представители всех пород: человеческой, нечеловеческой и сверхчеловеческой. Невиданное в истории скопище противоположностей: Гильотен, сторонившийся Давида, Базир,[341] оскорбляющий Шабо, Гюадэ, высмеивающий Сен-Жюста, Верньо, презирающий Дантона, Луве, нападающий на Робеспьера, Бюзо, разоблачающий Филиппа Эгалитэ, Шамбон, бичующий Паша, и все они ненавидели Марата. А сколько еще имен мы не назвали, хотя и следовало бы их назвать. Армонвиль,[342] по прозвищу «Красный Колпак», ибо на каждом заседании он появлялся в фригийском колпаке, друг Робеспьера, требовавший, чтобы равновесия ради «вслед за Людовиком XVI гильотинировали Робеспьера»; Масье, приятель и двойник добряка Ламуретта,[343] епископа, который прославил свое имя лишь тем, что оно так мило сердцу влюбленных; Легарди,[344] из Морбигана, клеймивший бретонских священников; Барер[345] сторонник любого большинства, председательствовавший в день суда над Людовиком XVI и ставший для Памелы тем, чем был Луве для Лодоиски; Дону, член Оратории,[346] заявивший: «Главное – выиграть время»; Дюбуа-Крансэ, доверенный Марата; маркиз де Шатонеф, Лакло,[347] Эро де Сешель,[348] отступивший перед Анрио, когда тот скомандовал: «Канониры, к пушкам»; Жюльен, сравнивавший Гору с Фермопилами; Гамон,[349] который требовал, чтобы для женщин выделили особую трибуну; Лалуа,[350] предложивший на заседании Конвента почтить епископа Гобеля, который, явившись в Конвент, скинул митру и надел красный колпак; Леконт,[351] воскликнувший: «А ну, попы, торопитесь в расстриги»; Феро, перед отрубленной головой коего склонился Буасси д'Англа[352] и тем задал историкам неразрешимый вопрос: склонился ли он, Буасси д'Англа, перед головой, то есть перед жертвой, или же перед пикой, то есть перед убийцами? Два брата Дюпра[353] – один монтаньяр, другой жирондист, ненавидевшие друг друга столь же яростно, как братья Шенье.

С этой трибуны произносились кружившие голову бурные речи, и иной раз в них без ведома самого оратора звучал вещий глас революций, и не успевал он еще отзвучать, как вдруг события проникались людским недовольством и людскими страстями, будто их слух был оскорблен этими речами; все, что происходило, являлось как бы гневным откликом на то, что говорилось, и, точно их подстегнуло слово человека, разражались одна за другой страшные катастрофы. Так иной раз крик путника вызывает в горах обвал. Одно неосторожное слово может привести к бедствию. Если бы слово это не было произнесено, ничего бы не произошло. Кажется подчас, что можно рассердить события.

Именно так, из-за случайно оброненного оратором и не понятого другими слова, скатилась на плахе голова принцессы Елизаветы.

Невоздержанность на язык была в обычае Конвента.

Во время жарких споров угрозы носились в воздухе, словно горящие головни на пожаре. *Петион:* «Робеспьер, ближе к делу». *Робеспьер:* «…Все дело в вас, Петион. Не

беспокойтесь, я перейду к делу, и тогда вам несдобровать». *Чей-то голос:* «Смерть Марату!» *Марат:* «В тот день, когда умрет Марат, не станет более Парижа, а когда погибнет Париж, погибнет и Республика». *Билло-Варенн* (подымается с места): «Мы желаем…» *Барер* (прерывая его): «Уж слишком ты по-королевски заговорил…» Как-то на заседании *Филиппо* сказал: «…Один из депутатов обнажил против меня шпагу». *Одуэн:*[354] «Председатель, призовите к порядку убийцу». *Председатель:* «Все в свое время». *Панис:*[355] «Тогда, председатель, я призываю к порядку вас». Нередко стены Конвента сотрясал громовый смех. *Лекуантр:* «Кюре из Шан-де-Бу приносит жалобу на своего епископа Фоше, что тот запрещает ему жениться». *Чей-то голос:* «Никак не пойму, почему Фоше, у которого двадцать любовниц, не желает, чтобы у другого была одна-единственная жена». *Второй голос:* «Ничего, поп, не робей, бери себе жену». Публика с трибун вмешивалась во все споры и разговоры. Она обращалась к членам Собрания без чинов, на «ты». Как-то депутат Рюан[356] выходит на трибуну. А славился он тем, что одна ягодица у него была заметно пухлее другой. Кто-то из публики крикнул: «Эй, повернись-ка толстой стороной к правым скамьям, потому что твоя, извините за выражение, „щека“ совсем в духе Давида». Такие вольности усвоил народ в отношении Конвента. Впрочем, как-то во время чересчур бурного заседания 11 апреля 1793 года председатель велел арестовать одного из нарушителей порядка.

Однажды, по свидетельству старика Буонаротти,[357] Робеспьер взял слово и говорил два часа подряд, не отрывая глаз от Дантона, – он то смотрел пристально, что не предвещало ничего доброго, то скользил по нему рассеянным взглядом, что было еще хуже. Наконец, он начал громить Дантона и закончил свою речь негодующими, зловещими словами: «Мы знаем, где интриганы, мы знаем, где взяточники и развратники, мы знаем, где изменники. Они здесь, на этом собрании. Они слышат нас, мы видим их, мы не спускаем с них глаз. Пусть поглядят они наверх, – над их головой висит меч закона. Пусть заглянут они в свою душу, – в их душе гнездится подлость. Так пусть же они поберегутся!» Когда Робеспьер кончил, Дантон, который сидел в небрежной позе, запрокинув голову, глядя в потолок полузакрытыми глазами и охватив рукой спинку скамьи, затянул вдруг песенку:

Сносить Русселя речь нет мочи!

И самая короткая должна бы быть короче.

На оскорбления отвечали оскорблениями: «Заговорщик! – Убийца! – Мошенник! – Мятежник! – Умеренный!» Слова взаимного обличения произносились под бюстом Брута. Поток восклицаний, проклятий, бранных слов. Дуэль гневных взглядов. Рука сжималась в кулак, грозила пистолетом, выхватывала из ножен кинжал. Пламя страстей перекидывалось на трибуны. Иные говорили так, будто над ними уже навис нож гильотины. В полумраке обозначалась волнообразная линия голов, испуганных и страшных. Монтаньяры, жирондисты, фельяны,[358] модерантисты,[359] террористы,[360] якобинцы, кордельеры и восемнадцать иереев-цареубийц.

Таковы были эти люди! Словно клубы дыма, которыми играет ветер.

XI

Пусть эти умы были добычей ветра.

Но то был ветер-чудодей.

Быть членом Конвента значило быть волною океана. И это было верно даже в отношении самых великих. Первый толчок давался сверху. В Конвенте жила воля, которая была волей всех и не была ничьей волей в частности. Этой волей была идея, идея неукротимая и необъятно огромная, которая, как дуновение с небес, проносилась в этом мраке. Мы зовем ее Революцией. Когда эта идея вскипала подобно волне, она сшибала одних и возносила других; вот этого уносит вглубь моря пенящийся вал, вот того разбивает о подводные камни. Идея эта знала

выбранный ею путь, она сама прозревала свои бездны. Приписывать революцию человеческой воле все равно, что приписывать прибой силе волн.

Революция есть дело Неведомого. Можете называть это дело прекрасным или плохим, в зависимости от того, чаете ли вы грядущего, или влечетесь к прошлому, но не отторгайте ее от ее творца. На первый взгляд может показаться, что она – совместное творение великих событий и великих умов, на деле же она лишь равнодействующая событий. События транжирят, а расплачиваются люди. События диктуют, а люди лишь скрепляют написанное своей подписью. 14 июля скрепил своей подписью Камилл Демулен, 10 августа скрепил своей подписью Дантон, 2 сентября скрепил своей подписью Марат, 21 сентября скрепил своей подписью Грегуар, 21 января скрепил своей подписью Робеспьер; но Демулен, Дантон, Марат, Грегуар и Робеспьер лишь писцы Истории. Могущественный и зловещий сочинитель этих незабываемых строк имеет имя, и имя это бог, а личина его Рок. Робеспьер верил в бога, что и не удивительно.

Революция есть по сути дела одна из форм того имманентного явления, которое теснит нас со всех сторон и которое мы зовем Необходимостью.

И перед лицом этого загадочного переплетения благодеяний и мук История настойчиво задает вопрос: *Почему?*

Потому – ответит тот, кто ничего не знает, и таков же ответ того, кто знает все.

Наблюдая эти стихийные катастрофы, которые разрушают и обновляют цивилизацию, не следует слишком опрометчиво судить о делах второстепенных. Хулить или превозносить людей за результат их действий – это все равно, что хулить или превозносить слагаемые за то, что получилась та или иная сумма. То, чему положено свершиться, – свершится, то, что должно разразиться, – разразится. Но извечно безоблачная синева тверди не страшится таких ураганов. Над революциями, как звездное небо над грозами, сияют Истина и Справедливость.

XII

Таков был этот Конвент, к которому приложима своя особая мера, этот воинский стан человечества, атакуемый всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, великий бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны. Ничто в истории несравнимо с этим собранием людей: оно – сенат и чернь, конклав и улица, ареопаг и площадь, верховный суд и подсудимый.

Конвент склонялся под ветром, но ветер этот исходил от тысячеустого дыхания народа и был дыханием божьим.

И ныне, после восьмидесяти лет, всякий раз, когда перед человеком, – историк ли он, или философ, – встанет вдруг образ Конвента, человек этот бросает все и застывает в раздумье. Нельзя взирать рассеянным оком на великое шествие теней.

XIII. Марат за кулисами

На следующий день, после свидания на Павлиньей улице, Марат, как он и объявил накануне Симонне Эврар, отправился в Конвент.

Среди членов Конвента имелся некий маркиз Луи де Монто, страстный приверженец Марата; именно он поднес Собранию десятичные часы, увенчанные бюстом своего кумира.

В ту самую минуту, когда Марат входил в здание Конвента, Шабо подошел к Монто.

– Эй, бывший, – начал он.

Монто поднял глаза.

– Почему ты величаешь меня *бывшим*?

– Потому что ты бывший.

– Я бывший?

– Да, ты, ты ведь был маркизом.

– Никогда не был.

– Рассказывай!

– Мой отец был простой солдат, а дед был ткачом.

– Ну, завел шарманку, Монто!

– Меня вовсе и не зовут Монто.

– А как же тебя зовут?

– Меня зовут Марибон.

– Хотя бы и Марибон, – сказал Шабо, – мне-то что за дело?

И прошипел сквозь зубы:

– Куда только все маркизы подевались?

Марат остановился в левом коридоре и молча смотрел на Монто и Шабо.

Всякий раз, когда Марат появлялся в Конвенте, по залу проходил шопот, но шопот отдаленный. Вокруг него все молчало. Марат даже не замечал этого. Он презирал «квакуш из болота».

Скамьи, стоявшие внизу, скрадывал полумрак, и сидевшие там в ряд Компе из Уазы, Прюнель,[361] Виллар,[362] епископ, впоследствии ставший членом Французской академии, Бутру,[363]Пти, Плэшар, Боне, Тибодо,[364] Вальдрюш бесцеремонно показывали на Марата пальцем.

– Смотрите-ка – Марат!

– Разве он не болен?

– Как видно, болен, – явился в халате.

– Как так в халате?

– Да в халате же, говорю.

– Слишком уж много себе разрешает.

– Смеет в таком виде являться в Конвент!

– Что ж удивительного, ведь приходил он сюда в лавровом венке, почему бы не прийти в халате?

– Медный лоб, да и зубы словно покрыты окисью меди.

– А халат-то, глядите, новый.

– Из какой материи?

– Из репса.

– В полоску.

– Посмотрите лучше, какие отвороты!

– Из меха.

– Тигрового?

– Нет, горностаевого.

– Ну, горностай-то поддельный.

– Да на нем чулки!

– Странно, как это он в чулках!

– И туфли с пряжками.

– Серебряными.

– Ого, что-то скажут на это деревянные сабо нашего Камбуласа!

На других скамьях делали вид, что вообще не замечают Марата. Говорили о посторонних предметах. Сантона подошел к Дюссо.

– Дюссо, вы знаете?

– Кого знаю?

– Бывшего графа де Бриенн.

– Которого посадили в тюрьму Форс вместе с бывшим герцогом Вильруа?

– Да.

– Обоих знавал в свое время. А что?

– Они до того перетрусили, что за версту раскланивались, завидя красный колпак тюремного надзирателя, а как-то даже отказались играть в пикет, потому что им подали карты с королями и дамами.

– Ну и что?

– Вчера гильотинировали.

– Обоих?

– Обоих.

– А как они держались в тюрьме?

– Как трусы.

– А на эшафоте?

– Как храбрецы.

И Дюссо добавил:

– Да, умирать, видно, легче, чем жить.

Барер между тем зачитывал донесение, касающееся положения дел в Вандее. Девятьсот человек выступили из Морбигана, имея полевые орудия, и отправились на выручку Нанта. Редон под угрозой сдачи – крестьяне наседают. Пэмбеф атакован. Перед Мендрэном крейсировала эскадра, чтобы помешать высадке. Весь левый берег Луары от Энгранда до Мора ощетинился роялистскими батареями. Три тысячи крестьян овладели Порником. Они кричали: «Да здравствуют англичане!» Письмо Сантерра, адресованное Конвенту, которое оглашал Барер, кончалось словами: «Семь тысяч крестьян атаковали Ванн. Мы отбросили их и захватили четыре пушки…»

– А сколько пленных? – прервал Барера чей-то голос.

Барер продолжал:

– Тут имеется приписка: «Пленных нет, так как пленных мы теперь не берем».[365]

Марат сидел не шевелясь и, казалось, ничего не слышал, – он весь был поглощен суровыми заботами.

Он вертел в пальцах бумажку, и тот, кто развернул бы ее, прочел бы несколько строк, написанных почерком Моморо и, очевидно, служивших ответом на какой-то вопрос Марата.

"Мы бессильны против всемогущества уполномоченных комиссаров, особенно против уполномоченных Комитета общественного спасения. И хотя Женисье заявил на заседании 6 мая: «Любой комиссар стал сильнее короля», – ничего не переменилось. Они карают и милуют. Массад в Анжере, Трюллар в Сент-Амане, Нион при генерале Марсе, Паррен при Сабльской армии, Мильер[366]при Ниорской армии, – все они поистине всемогущи. Клуб якобинцев дошел до того, что назначил Паррена бригадным генералом. Обстоятельства оправдывают все. Делегат Комитета общественного спасения держит в руках любого генерал-аншефа".

Марат попрежнему теребил бумажку, затем сунул ее в карман и не спеша подошел к Монто и Шабо, которые продолжали разговаривать, ничего не замечая вокруг.

– Как там тебя, Марибон или Монто, – говорил Шабо, – знай, я только что был в Комитете общественного спасения.

– Ну и что ж там делается?

– Поручили одному попу следить за дворянином.

– А!

– За дворянином вроде тебя.

– Я не дворянин, – возразил Монто.

– Священнику…

– Вроде тебя.

– Я не священник, – воскликнул Шабо.

И оба расхохотались.

– А ну-ка расскажи подробнее.

– Вот как обстоит дело. Некий поп, по имени Симурдэн, делегирован с чрезвычайными полномочиями к некоему виконту, по имени Говэн; этот виконт командует экспедиционным отрядом береговой армии. Следовательно, надо помешать дворянину вести двойную игру, а попу изменять.

– Все это очень просто, – сказал Монто. – Придется вывести на сцену третье действующее лицо – Смерть.

– Это я возьму на себя, – сказал Марат.

Собеседники оглянулись.

– Здравствуй, Марат, – сказал Шабо, – что-то ты редко стал посещать заседания.

– Врач не пускает, прописал мне ванны, – ответил Марат.

– Бойся ванн, – изрек Шабо, – Сенека[367] умер в ванне.

Марат улыбнулся.

– Здесь, Шабо, нет Неронов.

– Зато есть ты, – произнес чей-то рыкающий голос.

Это бросил на ходу Дантон, пробираясь к своей скамье. Марат даже не оглянулся.

Наклонившись к Монто и Шабо, он сказал шопотом:

– Слушайте меня оба. Я пришел сюда по важному делу. Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих предложил Конвенту проект декрета.

– Только не я, – живо отказался Монто, – меня не слушают, я ведь маркиз.

– И не я, – подхватил Шабо, – меня не слушают, я ведь капуцин.

– И меня тоже, – сказал Марат, – я ведь Марат.

Воцарилось молчание.

Когда Марат задумывался, обращаться к нему с вопросами было небезопасно. Однако Монто рискнул:

– А какой декрет ты хочешь предложить?

– Декрет, который карает смертью любого военачальника, выпустившего на свободу пленного мятежника.

– Такой декрет уже существует, – прервал Марата Шабо. – Его приняли еще в конце апреля.

– Принять-то приняли, но на деле он не существует, – ответил Марат. – Повсюду в Вандее участились побеги пленных, а пособники беглецов не несут никакой кары.

– Значит, Марат, декрет вышел из употребления.

– Значит, Шабо, надо вновь ввести его в силу.

– Само собой разумеется.

– Об этом-то и требуется заявить в Конвенте.

– Совершенно необязательно привлекать к этому делу весь Конвент, достаточно Комитета общественного спасения.

– Мы вполне достигнем цели, – добавил Монто, – если Комитет общественного спасения прикажет вывесить декрет во всех коммунах Вандеи и накажет для острастки двух-трех виновных.

– И при том не мелкую сошку, – подхватил Шабо, – а генералов.

– Пожалуй, этого хватит, – произнес вполголоса Марат.

– Марат, – снова заговорил Шабо, – а ты сам скажи об этом в Комитете общественного спасения.

Марат посмотрел на него таким взглядом, что даже Шабо поежился.

– Шабо, – сказал он, – Комитет общественного спасения – это Робеспьер. А я не хожу к Робеспьеру.

– Тогда пойду я, – предложил Монто.

– Хорошо, – ответил Марат.

На следующий же день соответствующий декрет Комитета общественного спасения был разослан повсюду; властям вменялось в обязанность расклеить его по всем городам и селам Вандеи и выполнять неукоснительно, то есть предавать смертной казни всякого, кто причастен к побегу разбойников и пленных мятежников.

Декрет этот был лишь первым шагом. Конвенту пришлось сделать и второй шаг. Через несколько месяцев, 11 брюмера II года (ноябрь 1793 года), после того как город Лаваль открыл свои ворота вандейским беглецам, Конвент издал новый декрет, согласно которому каждый город, предоставивший убежище мятежникам, должен был быть разрушен до основания.

Со своей стороны европейские монархи объявили, что каждый француз, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян на месте, и если хоть один волос упадет с головы короля, Париж будет снесен с лица земли; все это излагалось в манифесте за подписью герцога Брауншвейгского, подсказан этот манифест был эмигрантами, а составлен маркизом де Линноном, управляющим герцога Орлеанского. Так жестокость мерялась с варварством.

Часть третья

В Вандее

Книга первая

Вандея

I. Леса

В ту пору в Бретани насчитывалось семь грозных лесов. Вандея – это мятеж духовенства. И пособником мятежа был лес. Тьма помогала тьме.

В число семи прославленных бретонских лесов входили: Фужерский лес, который преграждал путь между Долем и Авраншем; Пренсейский лес, имевший восемь лье в окружности; Пэмпонский лес, весь изрытый оврагами и руслами ручьев, почти непроходимый со стороны Бэньона и весьма удобный для отступления на Конкорне – гнездо роялистов; Реннский лес, по чащам которого гулко разносился набат республиканских приходов (обычно республиканцы тяготели к городам), здесь Пюизэ наголову разбил Фокара;[368] Машкульский лес, где, словно волк, устроил свое логово Шаретт; Гарнашский лес, принадлежавший семействам Тремуйлей, Говэнов и Роганов, и Бросельяндский лес, принадлежавший только феям.

Один из дворян Бретани именовался «Хозяином Семилесья». Этот почетный титул носил виконт де Фонтенэ, принц бретонский.

Ибо помимо французского принца существует принц бретонский. Так, Роганы были бретонскими принцами. Гарнье де Сент в своем донесении Конвенту от 15 нивоза II года окрестил принца Тальмона «Капетом разбойников, владыкой Мэна и всея Нормандии».

История бретонских лесов в период между 1792 и 1800 годами могла бы стать темой специального исследования: но она на правах легенды вошла в обширную летопись Вандеи.

У истории своя правда, а у легенд – своя. Правда легенд по самой своей природе совсем иная, нежели правда историческая. Правда легенд – это вымысел, стремящийся подвести итог явлениям действительности. Впрочем, и легенда и история обе идут к одной и той же цели – в образе преходящего человека представить вечночеловеческое.

Нельзя полностью понять Вандею, если не дополнить историю легендой; история помогает увидеть всю картину в целом, а легенда – подробности.

Признаемся же, что Вандея стоит такого труда. Ибо Вандея своего рода чудо.

Война темных людей, война нелепая и величественная, отвратительная и великолепная, подкосила Францию, но и стала ее гордостью. Вандея – рана, но есть раны, приносящие славу.

В иные свои часы человеческое общество ставит историю перед загадкой, и для мудреца разгадка ее – свет, а для невежды – мрак, насилье и варварство. Философ поостережется вынести обвинительный приговор. Он не сбросит со счета трудности, которые затемняют общую картину. Трудности подобны проплывающим тучам – и те и другие на миг погружают землю в полумрак.

Если вы хотите понять вандейское восстание, представьте себе отчетливо двух антагонистов – с одной стороны французскую революцию, с другой – бретонского крестьянина. Стремительно развертываются великие, небывалые события; благодетельные перемены, хлынувшие все разом бурным потоком, оборачиваются угрозой, цивилизация движется вперед гневными рывками, неистовый, неукротимый натиск прогресса несет с собой неслыханные и непонятные улучшения, и на все это с невозмутимой важностью взирает дикарь, странный светлоглазый, длинноволосый человек, вся пища которого – молоко да каштаны, весь горизонт – стены его хижины, живая изгородь да межа его поля; он знает наизусть голос каждого колокола на любой колокольне в окрестных приходах, воду он употребляет лишь для питья, не расстается с кожаной курткой, расшитой шелковым узором, словно татуировкой покрывающим всю одежду, как предок его, кельт, покрывал татуировкой все лицо; почитает в своем палаче своего господина; говорит он на мертвом языке, тем самым замуровывая свою мысль в склепе прошлого, и умеет делать лишь одно – запрячь волов, наточить косу, выполоть ржаное поле, замесить гречневые лепешки; чтит прежде всего свою соху, а потом уж свою бабку; верит и в святую деву Марию и в Белую даму, молитвенно преклоняет колена перед святым алтарем и перед таинственным высоким камнем, торчащим в пустынных ландах; в долине он хлебопашец, на берегу реки – рыбак, в лесной чаще – браконьер; он любит своих королей, своих сеньоров, своих попов и своих вшей; он несколько часов подряд может не шелохнувшись простоять на плоском пустынном берегу, угрюмый слушатель моря.

И теперь судите сами, способен ли был такой слепец принять благословенный свет?

II. Люди

У нашего крестьянина два надежных друга: поле, которое его кормит, и лес, который его укрывает.

Трудно даже представить в наши дни тогдашние бретонские леса, – это были настоящие города. Глухо, пустынно и дико; не продерешься через сплетение колючих ветвей, кустов, зеленых зарослей, и на первый взгляд в этих непролазных чащах не найдешь ни одной живой души; безмолвие, какого нет и в могиле, подлинное пристанище мертвых; но если бы вдруг одним взмахом, как порывом бури, можно бы было снести все эти деревья, то стало бы видно, как под густой их сенью копошится людской муравейник.

Узкие круглые колодцы, скрытые под завалами из камней и сучьев, колодцы, которые идут сначала вертикально, а потом дают ответвления в сторону под прямым углом, расширяются наподобие воронки и выводят в полумрак пещер, – вот какое подземное царство обнаружил Камбиз[369] в Египте, а Вестерман обнаружил в Бретани: там – пустыня, здесь – леса; в пещерах Египта лежали мертвецы, а в пещерах Бретани ютились живые люди. Одна из самых заброшенных просек Мидонского леса, сплошь изрезанная подземными галереями и пещерами, где сновали невидимые люди, так и звалась «Большой город». Другая просека, столь же пустынная на поверхности и столь же заселенная в глубине, была известна под названием «Королевская площадь».

Эта подземная жизнь началась в Бретани с незапамятных времен. Человеку здесь всегда приходилось убегать от человека. Потому-то и возникали тайники, укрытые, как змеиные норы под корнями деревьев. Так повелось еще со времен друидов,[370] и некоторые из этих склепов ровесники дольменам. И злые духи легенд и чудовища истории – все они прошли по этой черной земле: Тевтат,[371] Цезарь,[372] Гоэль, Неомен, Готфрид Английский, Алэн Железная Перчатка, Пьер Моклерк,[373] французский род Блуа,[374] и английский род Монфоров[375] короли и герцоги, девять бретонских баронов, судьи Великих Дней, графы Нантские, враждовавшие с графами Рейнскими, бродяги, разбойники, купцы, Рене II, виконт де Роган,[376] наместники короля, «добрый герцог Шонский», вешавший крестьян на деревьях под окнами госпожи де Севинье;[377] в XV веке – резня сеньоров, в XVI–XVII веках – религиозные войны, в XVIII веке – тридцать тысяч псов, натасканных на охоту за людьми; заслышав издали этот грозный топот, народ спешил скрыться, исчезнуть. Итак, троглодиты,[378] спасающиеся от кельтов, кельты,[379] спасающиеся от римлян, бретонцы, спасающиеся от нормандцев, гугеноты[380] – от католиков, контрабандисты – от таможенников, – все они поочередно искали убежища сначала в лесах, а потом и под землей. Самозащита зверя. Вот до чего тирания доводит народы. В течение двух тысячелетий деспотизм во всех своих проявлениях – завоевания, феодализм, фанатизм, поборы – травил несчастную загнанную Бретань, и любая безжалостная облава кончалась лишь затем, чтобы вновь начаться на новый лад. И люди уходили под землю.

Ужас, который сродни гневу, уже гнездился в душах, уже гнездились в подземных логовах люди, как вдруг во Франции вспыхнула революция. И Бретань поднялась против нее – насильственное освобождение показалось ей новым гнетом. Извечная ошибка раба.

III. Сообщничество людей и лесов

Трагические леса Бретани теперь, как и встарь, стали пособниками и прислужниками нового мятежа.

Земля в таком лесу напоминала разветвленную веточку звездчатого коралла, – во всех направлениях шла целая система неведомых врагу сообщений и ходов, пещерок и галерей. В каждой такой глухой пещерке жило пять-шесть человек. Недостаток воздуха – вот в чем заключалась главная трудность. Несколько цифр дадут представление о могущественной организации этого неслыханного по размерам крестьянского мятежа. В Иль-э-Вилэн, в Пертрском лесу, где укрывался принц Тальмон, не слышно было дыхания человека, не видно было следа его ноги, и тем не менее там ютилось шесть тысяч человек во главе с Фокаром; в Морбигане, в Мелакском лесу, прохожий не встретил бы ни души, а там укрывалось восемь тысяч человек. А ведь эти два леса – Пертрский и Мелакский – еще не самые крупные в семье бретонских лесных великанов. Страшно было углубиться в их чащу. Эти обманчивые дебри, где в подземных лабиринтах теснились бойцы, напоминали огромные, недоступные человеческому глазу губки, из которых под тяжелой пятой гиганта, под пятой революции, вырывался фонтан гражданской войны.

Незримые батальоны подстерегали врага. Тайные армии змеей проползали под ногами республиканских армий, вдруг появлялись, вдруг снова уходили под землю; вездесущие и невидимые, они обрушивались лавиной и рассыпались, они были подобны колоссу,

наделенному способностью превращения в карлика: колоссы – в бою, карлики – в норе. Ягуары, ведущие жизнь кротов.

Кроме огромных прославленных лесов, в Бретани имелось еще множество перелесков и рощ. Подобно тому как города переходят в села, вековой бор переходил в заросли кустарника. Леса были связаны между собой целой сетью густолиственных зеленых лабиринтов. Старинные замки, они же крепости, поселки, они же лагери; фермы, превращенные в ловушки и западни, мызы, обнесенные рвами и обсаженные деревьями, – из этих бесчисленных петель плелась огромная сеть, в которой запутывались республиканские войска.

Все это вместе взятое носило название «Дубрава».

В нее входил Мидонский лес с озером в центре, – лес этот служил штаб-квартирой Жану Шуану, лес Жэнн – штаб-квартира Тайефера;[381] Гюиссерийский лес – штаб-квартира Гуж-ле-Брюана;[382] лес Шарни – штаб-квартира Куртилье,[383] Батарда, прозванного Апостолом Павлом, начальника укрепленного лагеря «Черная Корова»; Бюргольский лес – штаб-квартира таинственного господина Жака[384] которому судьба судила умереть загадочной смертью в подземельях Жювардейля; был там также лес Шарро, где Пимусс и Пти-Прэнс, во время стычки с гарнизоном Шатонефа, хватали в охапку гренадеров и утаскивали их в плен; лес Эрэзри– свидетель поражения гарнизона Лонг-Фэ; Онский лес – весьма удобный для наблюдения за дорогой из Ренна в Лаваль; Гравельский лес, который принц де ла Тремуйль некогда получил в собственность после удачной партии в мяч; Лоржский лес, расположенный в департаменте Кот-де-Нор, где после Бернара де Вильнев;[385] хозяйничал Шарль де Буагарди[386] Баньярский лес близ Фонтенэ, где Лескюр напал на Шальбоса[387] и тот принял бой, хотя враг превосходил его численностью в пять раз; лес Дюронде, который некогда оспаривали друг у друга Алэн де Редрю и Эрипу, сын Карла Лысого; лес Кроклу, к самой опушке которого подходили ланды, где Кокро приканчивал пленных; лес Круа-Батайль, под сенью которого Серебряная Нога изрыгал подлинно гомеровскую хулу на голову Морьера, а Морьер отвечал тем же Серебряной Ноге; Содрейский лес, чащи которого, как мы уже видели, обшаривал один из парижских батальонов. И еще много других.

В большинстве этих лесов и рощ имелись не только подземные жилища, расположенные вокруг пещеры вождя; были там и настоящие поселения с низенькими хибарками, укрытыми древесной листвой, и подчас их насчитывалось такое множество, что они заполняли буквально все уголки леса. Часто их местоположение выдавал только дым. Два таких лесных поселка в Мидонском лесу завоевали громкую славу: один – Лоррьер близ Летана, и близ Сент-Уэн-ле-Туа – десяток хижин, известных под названием Рю-де-Бо.

Женщины жили в хижинах, мужчины – под землей, в склепах. Для военных целей они пользовались «гротами фей» и древними ходами, вырытыми еще кельтами. Жены и дочери носили пищу ушедшим под землю мужьям и отцам. А бывало и так – забудут о человеке, и он погибает в своем убежище с голода. Впрочем, такая участь постигала лишь тех, кто по неловкости или неумению не мог поднять крышку, закрывавшую выходной колодец. Обычно крышку подземного тайника маскировали мхом и ветвями и так искусно, что ее почти невозможно было обнаружить среди густой травы, но зато очень легко было открывать и закрывать изнутри. Тайники эти рыли с большими предосторожностями, вынутую землю потихоньку уносили и бросали в соседний пруд. Стенки и пол подземелья устилали мхом и папоротником. Именовалось такое подземное убежище «конуркой». Жить там было можно, если можно жить без света, без огня, без хлеба и свежего воздуха.

Было неосторожно не во-время выглянуть на свет божий, покинуть подземное жилье в недобрый час. Того гляди неожиданно очутишься под ногами марширующего республиканского отряда. Грозные леса: что ни лес – двойной капкан. Синие не решались войти в лес, белые не решались выйти из леса.

IV. Их жизнь под землей

Люди, забившиеся в звериные норы, томились от скуки. Иной раз ночью, махнув рукой на все опасности, они вылезали наружу и отправлялись в ланды поплясать немного. Иные молились, надеясь скоротать долгие часы. «С утра до ночи, – вспоминает Бурдуазо, – Жан Шуан заставлял нас перебирать четки».

Немалых трудов стоило удержать под землей жителей Нижнего Мэна, когда в их краю наступал праздник Жатвы. Некоторым приходили в голову самые невероятные фантазии. Так Дени, иначе Пробей-Гора, переодевшись в женское платье, пробирался в Лаваль посмотреть спектакль, потом снова заползал в свою «конурку».

В один прекрасный день они уходили на смертный бой, сменив мрак звериной норы на мрак могилы.

Иногда, приподняв крышку тайника, они жадно прислушивались, не началась ли схватка, настороженно следили за ходом сражения. Республиканцы стреляли равномерно, залп за залпом, роялисты вели беспорядочный огонь, и это помогало разбираться в боевой обстановке. Если повзводная стрельба вдруг прекращалась, значит роялистов одолели, если одиночные выстрелы еще долго слышались вдали, значит побеждали белые. Белые всякий раз преследовали неприятеля, а синие – никогда, так как Вандея была против них.

Подземное воинство прекрасно знало, что творится на поверхности земли. Вести передавались по лесу со сказочной быстротой и неведомыми путями. Вандейцы разрушили все мосты, сняли колеса со всех повозок и телег и тем не менее находили способ передавать друг другу необходимые сведения и осведомлять друг друга обо всем, что происходило окрест. Сеть дозорных постов, расставленных повсюду, передавала сведения из леса в лес, из деревни в деревню, от мызы к мызе, от куста к кусту.

Какой-нибудь безобидный мужлан, глуповато улыбаясь, брел по дороге, но в выдолбленной палке он нес депешу.

Бывший член Учредительного собрания Боэтиду[388] снабжал мятежников республиканскими пропусками нового образца, позволявшими беспрепятственно передвигаться из одного конца Бретани в другой. На таком пропуске оставалось лишь поставить свое имя, а изменник выкрал не одну сотню пропусков. И невозможно было изловить ни одного вандейца. «Тайны, в которые были посвящены более четырехсот тысяч человек, сохранялись свято», – пишет Пюизэ.[389]

Казалось, что этот огромный четырехугольник, образованный на юге линией Сабль-Туар, на востоке линией Туар-Сомюр, а также рекой Туэ, на севере водами Луары и на западе берегом океана, наделен единой нервной системой, и толчок в любой его точке сотрясал одновременно весь организм. В мгновение ока новость из Нуармутье долетала до Люсона, и в лагере Луэ знали в подробностях то, что делается в лагере Круа-Морино. Словно птицы помогали переносить вести. Седьмого мессидора III года Гош писал: «Можно подумать, что у них есть телеграф».

В этом крае были свои кланы, подобные шотландским кланам. Каждый приход имел своего военачальника. В этой войне участвовал мой родной отец, и я вправе говорить о ней.

V. Их жизнь на войне

Многие из них были вооружены только пиками. Однако имелись в изобилии и добрые охотничьи карабины. Браконьеры Дубравы и контрабандисты Лору – непревзойденные стрелки. Странное это было воинство – ужасное и отважное. Когда прошел слух о наборе по декрету трехсоттысячного ополчения, во всех приходах Вандеи забили в набат, всполошив шестьсот деревень. Пожар мятежа запылал со всех концов сразу. Пуату и Анжу выступили в один и тот же день. Добавим, что первые раскаты грозы послышались в ландах Кербадер еще 8 июля 1792 года, за месяц до 10 августа. Предшественником Ларошжаклена и Жана Шуана был ныне забытый Алэн Ределер.[390] Под страхом смертной казни роялисты забирали в свои отряды всех мужчин, способных носить оружие, реквизировали повозки, съестные припасы. В

мгновение ока Сапино,[391] сформировал отряд в три тысячи солдат, Катлино набрал десять тысяч человек, Стоффле – двадцать тысяч, а Шаретт стал хозяином Нуармутье. Виконт де Сепо[392] поднял мятеж в Верхнем Анжу, шевалье де Дьези – в Антр-Вилэн-э-Луар, Тристан-Отшельник[393] – в Нижнем Мэне, цирюльник Гастон – в городе Геменэ, а аббат Бернье[394] – по всему остальному краю. Впрочем, расшевелить эту массу не составляло особого труда. В дарохранительницу какого-нибудь присягнувшего республике священника, по местному выражению «попа-клятвенника», сажали черного кота, который внезапно выскакивал в самый разгар обедни. «Дьявол! Дьявол!» – кричали крестьяне, и вся округа подымалась, как один человек. В исповедальнях тлело пламя мятежа. Бретонское воинство было вооружено палками длиной в пятнадцать футов, так называемыми «жердинами», и это орудие, равно пригодное в бою и при отступлении, служило для неожиданных атак на синих и помогало в головоломных прыжках через рвы. В разгар самых жарких схваток, когда бретонские крестьяне с ожесточением рвались на республиканские каре, стоило им заметить поблизости часовенку или распятие, как они тут же, на поле боя, преклоняли колена и под свист картечи читали молитву; закончив молиться, оставшиеся в живых вскакивали на ноги и устремлялись на врага. Они славились умением заряжать на ходу ружья. Их можно было уверить в чем угодно; священники показывали им своего собрата по ремеслу, которому предварительно веревкой стягивали докрасна шею, и объявляли собравшимся: «Смотрите, вот он воскрес после гильотинирования!» Им не был чужд дух рыцарства: так, они с воинскими почестями похоронили Феска, республиканского знаменосца, который был изрублен саблями, но не выпустил из рук полкового стяга. Они были остры на язык, про республиканских священников, вступивших в брак, они язвительно говорили: «Сначала скуфью скинул, а потом и штаны». Поначалу они боялись пушек, а потом бросались на орудия с палками и захватывали их. Так они забрали великолепную бронзовую пушку и назвали ее «Миссионер»; вслед за «Миссионером» захватили старинное орудие, помнившее еще религиозные войны, – на нем были отлиты герб Ришелье и лик девы Марии; эту пушку они прозвали «Мари-Жанна». Когда их выбили из Фонтенэ, они потеряли и «Мари-Жанну», при защите которой не дрогнув полегли шестьсот крестьян. Потом они снова захватили Фонтенэ, именно с целью отбить свою «Мари-Жанну», и торжественно провезли ее по селениям, покрыв знаменами с королевскими лилиями и цветочными гирляндами, причем заставляли всех встречных женщин лобзать пушку. Но двух пушек было маловато. «Мари-Жанну» взял себе Стоффле; тогда снедаемый завистью Катлино выступил из Пэн-ан-Мож, атаковал Жаллэ[395] и захватил третье орудие; Форэ[396] атаковал Сен-Флорэн и взял четвертое. Два других вожака, Шуп[397] и Сен-Поль, поступили проще: дубовые бревна обрядили под стволы пушек, понаделали чучел, долженствующих изображать орудийную прислугу, и с этой-то артиллерией, над которой весело потешались сами, обратили в бегство синих под Марейлем. То была их лучшая пора. Позднее, когда Шальбо разбил наголову Ламарсоньера, крестьянские батальоны позорно бежали, оставив на поле боя тридцать два английских орудия. В те времена Англия выплачивала французским принцам субсидию и посылала "определенное содержание его высочеству, – как писал 10 мая 1794 года некий Нансиа[398] – ибо господина Питта уверили, что этого требуют приличия". Мелине.[399] в донесении от 31 марта сообщает: "Мятежники идут в бой с криком: «Да здравствуют англичане!» Крестьяне задерживались там, где могли пограбить. Святоши превратились в воров. И дикарь не без порока. Играя именно на этой его слабой струнке, его приобщают к цивилизации. Пюизэ пишет во II томе на странице 187: «Я несколько раз спасал Плелан от грабежа». И дальше, на странице 434, он объясняет, почему обошел стороной Монфор: «Я нарочно пошел в обход, чтобы не допустить разграбления якобинских жилищ». Мятежники обобрали Шолле; они обчистили Шаллан. Так как им не удалось поживиться в Гранвиле, они обрушились на Виль-Дье. Крестьян, примкнувших к синим, они обзывали «якобинским отребьем» и уничтожали их в первую очередь. Они любили бой, как солдаты, и обожали убийство, как разбойники. Они с удовольствием расстреливали буржуа, этих, по их выражению, «брюхачей»; «разговелись мы», – говорили они в таких случаях. В Фонтенэ один

из священников, кюре Барботэн, зарубил саблей старика. В Сен-Жермен-сюр-Илль[400] какой-то вандейский командир, дворянин по происхождению, застрелил из ружья прокурора Коммуны и взял себе его часы. В Машкуле республиканцев уничтожали систематически по тридцати человек в день – избиение продолжалось целых пять недель; каждая партия из тридцати человек называлась «цепочкой». Такую цепочку ставили у края вырытой могилы – спиной к яме – и расстреливали; нередко республиканцы падали в яму еще живыми, но их засыпали землей. Впрочем, мы сами еще недавно наблюдали подобные нравы. Жуберу, главе округа, отпилили кисти обеих рук. На синих, попавших в плен, надевали наручники, впивавшиеся в тело и выкованные нарочно для такой цели. Убивали республиканцев на площади при всем народе и под звуки охотничьих рогов. Шаретт, который подписывался: «Братство; Кавалер Шаретт» – и повязывал голову, наподобие Марата, носовым платком, делая узел спереди, над бровями, сжег город Порник со всеми жителями, заперев их в домах. Правда, и Каррье не миловал вандейцев. На террор отвечали террором. Бретонский мятежник обликом своим напоминал греческого повстанца: короткая куртка, ружье на перевязи, гетры, широкие штаны; бретонский «молодец» походил на клефта. Анри де Ларошжаклен, имея от роду двадцать один год, отправился на войну с палкой в руке и парой пистолетов за поясом. Вандейская армия насчитывала сто пятьдесят четыре дивизии. Они проводили регулярные осады городов, в течение трех дней они держали в осаде Брессюир. Десять тысяч крестьян в страстную пятницу бомбардировали город Сабль раскаленными ядрами. Как-то раз они ухитрились за один день разгромить четырнадцать республиканских лагерей между Монтинье и Курбвейлем. В Тюаре можно было слышать следующий блистательный диалог между Ларошжакленом и каким-то парнем – оба стояли под стенами города: «Шарль!» – «Здесь». – «Подставь плечи, я попробую взобраться». – «Подставил». – «Дай твое ружье». – «Дал». Ларошжаклен взобрался на стену, спрыгнул вниз, и мятежники овладели без помощи осадных лестниц башнями, которые безуспешно осаждал сам Дюгесклен[401] Пуля им была дороже червонца. Они плакали горючими слезами, когда вдали скрывалась колокольня родного села. Бегство от неприятеля считалось самым обыденным делом; в таких случаях их вожак командовал: «Башмаки долой, ружья не бросать!» Когда нехватало зарядов, они, прочитав молитву, отправлялись добывать порох из запасов республиканских армий; позднее д'Эльбе обращался за порохом и пулями к англичанам. Когда синие наседали, вандейцы перетаскивали своих раненых в высокую рожь или в заросли папоротника и по окончании схватки уносили с собой. Военной формы у них не имелось. Одежда постепенно приходила в ветхость. Мужики и дворяне носили первое попавшееся тряпье, – так Роже Мулинье,[402] щеголял в тюрбане и доломане, которые он прихватил из театральной костюмерной в городе Флеш; шевалье де Бовилье[403] накидывал на плечи прокурорскую мантию, а поверх шерстяного колпака надевал дамскую шляпку. Зато каждый носил белую перевязь и белый пояс; чины различались по цвету бантов, Стоффле ходил с красным бантом, Ларошжаклен с черным; Вимпфен[404] наполовину жирондист, впрочем ни разу не покидавший пределов Нормандии, разгуливал с нарукавной повязкой. В рядах вандейцев были и женщины – например, госпожа де Лескюр, позже ставшая госпожой де Ларошжаклен; Тереза де Мольен, любовница де Ларуари, которая сожгла список главарей приходов; юная красавица госпожа де Ларошфуко, которая, выхватив из ножен саблю, вместе с крестьянами пошла на штурм башни замка Пюи-Руссо, и, наконец, знаменитая Антуанетта Адамс, прозванная «Кавалер Адамс», столь прославившаяся своей отвагой, что, когда она попалась в руки синим, ее расстреляли, из уважения к ее воинской доблести, стоя. Эти легендарные времена не знали снисхождения. Иные люди превращались в бесноватых. Та же госпожа Лескюр нарочно пускала в галоп своего коня по телам республиканцев, павших в бою; *по мертвецам* – утверждает она; возможно, и по живым, по раненым – скажем мы. Мужчины, случалось, изменяли общему делу, женщины – никогда. Мадмуазель Флери из Французского театра перешла от Ларуари к Марату, но перешла послушная велению сердца. Военачальники иной раз были такими же грамотеями, как и их солдаты, – например, господин Сапино, не особенно ладивший с орфографией, писал: «На нашей стороне имеитца…»

Вандейские вожаки ненавидели друг друга; орудовавшие в болотистых низинах орали: «Долой разбойников из горных мест!» Кавалерия у вандейцев была малочисленная, да и сформировать кавалерийские части стоило немалого труда; Пюизэ пишет: «Крестьянин с легкой душой отдает мне двух сыновей, но, попроси я у него одну лошаденку, он сразу помрачнеет». Вилы, косы, старые и новые ружья, браконьерские ножи, вертела, дубинки обыкновенные и дубинки с шипом на конце – вот их вооружение; кое-кто носил крест, сделанный из двух перекрещенных человеческих костей. На врага они бросались с громкими криками, возникали сразу отовсюду, выбегали из чащи леса, из-за холма, из-за кучи хвороста, из-за дорожного откоса, рассыпались полукругом, убивали, истребляли, разили и исчезали. Проходя через республиканский город, они срубали дерево Свободы, сжигали его и плясали вокруг костра. У них были повадки ночных хищников. Правило вандейца – нападать внезапно. Они проделывали по пятнадцати лье без малейшего шума, даже не примяв на пути травинки. Вечером предводители, сойдясь на военный совет, определяли место завтрашнего нападения на республиканские посты; вандейцы тут же заряжали карабины, потом, пробормотав молитву, снимали деревянные сабо и длинной вереницей шли через лес, шагая босыми ногами по вереску и мху, и из-под шатра сплетенных ветвей не доносилось ни звука, ни слова, ни вздоха. Так в темноте осторожно крадется кошка.

VI. Душа земли вселяется в человека

Мятежная Вандея насчитывала (по самому скромному счету) пятьсот тысяч человек – мужчин, женщин и детей. Полмиллиона бойцов – такую цифру называет Тюффен де Ларуари.

Федералисты[405] помогали ей; сообщницей Вандеи была Жиронда. Ла Лозер[406] направил в Дубраву тридцать тысяч человек. Для совместных действий объединились восемь департаментов – пять в Бретани и три в Нормандии. Город Эвре, побратавшийся с Каном, был представлен в лагере мятежников Шомоном – своим мэром и Гардемба – своим нотаблем. Бюзо, Горса[407] и Барбару – в Кане, Бриссо – в Мулене, Шассан – в Лионе, Рабо-Сент-Этьен – в Ниме, Мейян[408] и Дюшатель[409] – в Бретани, все они дружно раздували пламя мятежа.

Было две Вандеи: большая Вандея, которая вела лесную войну, и Вандея малая, которая воевала по кустарникам; именно этот оттенок и отличает Шаретта от Жана Шуана. Малая Вандея действовала в простоте душевной, большая прогнила насквозь; малая все же была лучше. Шаретт получил титул маркиза, чин генерал-лейтенанта королевских войск и большой крест Святого Людовика, а Жан Шуан как был, так и остался Жаном Шуаном. Шаретт сродни бандиту, Жан Шуан – рыцарю.

А такие вожаки, как Боншан, Лескюр, Ларошжаклен – люди большой души, – просто-напросто заблуждались. Создание «великой католической армии» оказалось нелепостью; она была обречена на неудачу. Можно ли представить себе мятежный крестьянский шквал в качестве силы, атакующей Париж, коалицию деревенщины, осаждающую Пантеон, гнусавый хор рождественских псалмов и песнопений, заглушающий звуки марсельезы, гвардию разума, растоптанную ордой деревянных башмаков. Под Мансом и Савенэ это безумие получило по заслугам. Вандея запнулась о Луару. Она могла все, но не могла перешагнуть через эту преграду. В гражданской войне завоевания опасны. Переход через Рейн довершает славу Цезаря и множит триумфы Наполеона, переход через Луару убивает Ларошжаклена.

Истинная Вандея – это Вандея в пределах своего дома; здесь она неуязвима, более того – неуловима. Вандеец у себя в Вандее – контрабандист, землепашец, солдат, погонщик волов, пастух, браконьер, франтирер, гуртоправ, звонарь, крестьянин, шпион, убийца, пономарь, лесной зверь…

Ларошжаклен только Ахилл, Жан Шуан – Протей.

Вандея потерпела неудачу. Многие восстания увенчивались успехом, примером тому может служить Швейцария. Но между мятежником-горцем, каким являлся швейцарец, и лесным мятежником-вандейцем есть существенная разница: подчиняясь роковому

воздействию природной среды, первый борется за идеалы, второй – за предрассудки. Один парит, другой ползает. Один сражается за всех людей, другой за свое безлюдье; один хочет жить свободно, другой – отгораживается от мира; один защищает человеческую общину, другой – свой приход. «Общины! Общины!» – кричали герои Мора. Один привык переходить через бездны, другой – через рытвины. Один – дитя горных пенящихся потоков, другой – стоячих болот, откуда крадется лихорадка; у одного над головой лазурь, у другого – сплетение ветвей; один царит на вершинах, другой хоронится в тени.

А вершина и низина по-разному воспитывают человека.

Гора – это цитадель, лес – это засада; гора вдохновляет на отважные подвиги, лес – на коварные поступки. Недаром древние греки поселили своих богов на вершины гор, а сатиров в лесную чащу. Сатир – это дикарь, получеловек, полузверь. В свободных странах есть Апеннины, Альпы, Пиренеи, Олимп. Парнас – это гора, гора Монблан была гигантским соратником Вильгельма Телля;[410] в поэмах Индии, пронизанных духом победоносной борьбы разума с темными силами, сквозь это борение проступает силуэт Гималаев. Символ Греции, Испании, Италии, Гельвеции – гора; символ Кимерии, Германии или Бретани – лес. А лес – он варвар.

Не раз характер местности подсказывал человеку многие его поступки. Природа чаще, чем полагают, бывает соучастницей наших деяний. Вглядываясь в хмурый пейзаж, хочется порой оправдать человека и обвинить природу, исподтишка подстрекающую здесь на все дурное; пустыня подчас может оказать пагубное воздействие на человеческую совесть, особенно совесть человека непросвещенного; совесть может быть гигантом, и тогда появляются Сократ[411] и Иисус; она может быть карликом – тогда появляются Атрей и Иуда. Совесть-карлик легко превращается в пресмыкающееся; не дай ей бог попасть в мрачные дебри, в объятия колючек и терний, в болота, гниющие под навесом ветвей; здесь она открыта всем дурным и таинственным внушениям. Оптический обман, непонятные миражи, нечистое место, зловещий час суток, навевающий тревогу, – все это повергает человека в полумистический, полуживотный страх, из коего в мирные дни рождаются суеверия, а в грозную годину – зверская жестокость. Галлюцинация своим факелом освещает путь убийству. В разбое есть что-то хмельное. В чудесах природы скрыт двойной смысл – она восхищает взор истинно просвещенных людей и ослепляет душу дикаря. Для человека невежественного пустыня населена призраками, ночной мрак усиливает мрак ума, и в душе человека разверзаются бездны. Какая-нибудь скала, какой-нибудь овраг, какая-нибудь лесная поросль, игра света и тени между деревьев – все это может толкнуть на дикий и жестокий поступок. Словно в самом деле существуют в природе зловещие места.

Сколько трагедий перевидал на своем веку мрачный холм, поднимающийся между Бэньоном и Плеланом!

Широкие горизонты внушают душе человека широкие общие идеи; горизонты ограниченные порождают лишь узкие, частные идеи; и порой человек большой души всю жизнь живет в кругу своих узких мыслей, свидетельством тому – Жан Шуан.

Общие идеи ненавистны идеям частным; отсюда-то и начало борьбы против прогресса.

Родной край и отечество – в этих двух словах заключена вся сущность вандейской войны; вражда идеи местной с идеей всеобщей. Крестьянин против патриота.

VII. Вандея прикончила Бретань

Бретань – завзятая мятежница. Но всякий раз, когда в течение двух тысяч лет она подымалась, правда была на ее стороне; но на сей раз она впервые оказалась неправа. И, однако, боролась ли она против революции, или против монархии, против делегатов Конвента или против своих хозяев – герцогов и пэров, против выпуска ассигнатов или против соляного налога, бралась ли она за оружие под водительством Никола Рапэна,[412] Франсуа де Лану,[413] капитана Плювио или госпожи де Ла Гарнаш, Стоффле, Кокеро или Лешанделье де

Пьервиль, шла ли она за Роганом против короля или с Ларошжакленом за короля, – Бретань всегда вела одну и ту же войну, противопоставляла себя центральной власти.

Старинные бретонские провинции можно уподобить пруду: стоячие воды не желали течь; дыхание ветра не освежало, а лишь будоражило их поверхность. Для бретонцев Финистером кончалась Франция, им замыкался мир, отведенный человеку, тут прекращался разбег поколений. «Стой!» – кричал океан земле, а варварство – цивилизации. Каждый раз, как из центра, из Парижа шел толчок, – исходил ли он от монархии, или от республики, был ли он на руку деспотизму, или свободе, – все равно это оказывалось новшеством, и вся Бретань злобно ощетинивалась. Оставьте нас в покое! Что вам от нас нужно? И жители равнины брались за вилы, а жители Дубравы – за карабин. Все наши начинания, наши первые шаги в законодательстве и просвещении, наши энциклопедии, наши философы, наши гении, наша слава разлетались в прах, натолкнувшись у подступов к Бретани на Гуру; набат в Базуже возвещает угрозу французской революции; забытая богом пустошь Гау подымается против наших шумливых площадей, а колокол в О-де-Пре объявляет войну башням Лувра.

Трагическая глухота.

Вандейский мятеж был зловещим недоразумением.

Стычка колоссов, свара титанов, неслыханный по своим масштабам мятеж, коему суждено было оставить в истории лишь одно имя: Вандея – знаменитое, но черное имя; Вандея готова была кончить самоубийством ради того, что уже кончилось. Вандея – приносившая себя в жертву ради заядлых эгоистов, отдававшая свою беззаветную отвагу ради трусов, не имевшая в войне ни стратегии, ни тактики, ни плана, ни цели, ни вождя, ни ответственности. Вандея, показавшая, в какой мере воля может стать бессилием; рыцарственная и дикая, нелепая в своем разнузданном зверстве, воздвигавшая против света преграду тьмы; невежество, целые годы оказывающее глупое и спесивое сопротивление истине, справедливости, праву, разуму, свободе; пугало, страшившее страну целых восемь лет; опустошение четырнадцати провинций; вытоптанные нивы, сожженные села, разрушенные, разграбленные города и жилища, убийство женщин и детей; горящий факел, сунутый в солому; меч, вонзенный в сердце, угроза цивилизации, вся надежда господина Питта – вот какова была эта война, это бессознательное покушение на отцеубийство.

В итоге же Вандея послужила делу прогресса, ибо доказала, что необходимо рассеять древний бретонский мрак, пронизать эти джунгли всеми стрелами света. Катастрофы имеют странное свойство – делать на свой зловещий лад добро.

Книга вторая

Трое детей

I. Plus quam civilia bella[414]

Лето 1792 года выдалось на редкость дождливое, а лето 1793 года – на редкость жаркое. Гражданская война в Бретани уничтожила все существовавшие дороги. Однако люди разъезжали по всему краю, пользуясь прекрасной погодой. Сухая земля лучше любой дороги.

К концу ясного июльского дня, приблизительно через час после захода солнца, какой-то человек, направлявшийся из Авранша, подскакал к маленькой харчевне под названием «Круа-Браншар», что стояла у входа в Понторсон, и осадил коня перед вывеской, какие еще совсем недавно можно было видеть в тех местах: «Потчуем холодным сидром прямо из бочонка». Весь день стояла жара, но к ночи поднялся ветер.

Путешественник был закутан в широкий плащ, покрывавший своими складками круп лошади. На голове его красовалась широкополая шляпа с трехцветной кокардой, что свидетельствовало об отваге путника, ибо в этом краю, где каждая изгородь стала засадой, трехцветная кокарда считалась прекрасной мишенью. Широкий плащ, застегнутый у горла и расходившийся спереди, не стеснял движений и не скрывал трехцветного пояса, из-за которого торчали рукоятки двух пистолетов. Полу плаща сзади приподымала сабля.

Когда всадник осадил коня, дверь харчевни отворилась и на пороге показался хозяин с фонарем в руке. Было то неопределенное время дня, когда на дворе еще светло, а в комнатах уже сгущается тьма.

Хозяин взглянул на трехцветную кокарду.

– Гражданин, – спросил он, – вы у нас остановитесь?

– Нет.

– Куда изволите путь держать?

– В Доль.

– Тогда послушайтесь меня, возвращайтесь лучше обратно в Авранш, а то заночуйте в Понторсоне.

– Почему?

– Потому что в Доле идет сражение.

– Ах, так, – произнес всадник и добавил: – Засыпьте-ка моему коню овса.

Хозяин притащил колоду, высыпал в нее мешок овса и разнуздал лошадь; та, шумно фыркнув, принялась за еду.

Разговор между тем продолжался.

– Гражданин, конь у вас реквизированный?

– Нет.

– Значит, ваш собственный?

– Да, мой. Я его купил и заплатил наличными.

– А сами откуда будете?

– Из Парижа.

– Так прямо из Парижа и едете?

– Нет.

– Куда там прямо, все дороги перекрыты. А вот почта пока еще ходит.

– Только до Алансона. Поэтому я из Алансона еду верхом.

– Скоро по всей Франции почта не будет ходить. Лошади перевелись. Коню красная цена триста франков, а за него просят шестьсот, к овсу лучше и не подступайся. Сам почтовых лошадей держал, а теперь, видите, держу харчевню. Нас, начальников почты, было тысяча триста тринадцать человек, да двести уже подали в отставку. А с вас, гражданин, по новому тарифу брали?

– Да, с первого мая.

– Значит, платили по двадцать су с мили за место в карете, двенадцать су – за место в кабриолете и пять су – за место в повозке. Лошадку-то в Алансоне приобрели?

– Да.

– Целый день нынче ехали?

– Да, с самого рассвета.

– А вчера?

– И вчера и позавчера так же.

– Сразу видно. Вы через Донфорон и Мортэн ехали?

– И через Авранш.

– Послушайте меня, гражданин, остановитесь у нас, отдохните. И вы устали, и лошадка притомилась.

– Лошадь имеет право устать, человек – нет.

При этих словах хозяин внимательно посмотрел на приезжего и увидел строгое, суровое, спокойное лицо в рамке седых волос. Оглянувшись на пустынную дорогу, он спросил:

– Так одни и путешествуете?

– Нет, с охраной.

– Какая же охрана?

– Сабля и пистолеты.

Трактирщик притащил ведро воды и поднес лошади; пока лошадь пила, он не спускал глаз с приезжего и думал: «Хоть десяток сабель прицепи, все равно попа узнаешь».

– Так вы говорите, что в Доле сражаются? – начал приезжий.

– Да. Должно быть, сейчас там битва в самом разгаре.

– А кто же сражается?

– Бывший с бывшим.

– Как? Как вы сказали?

– Один бывший перешел на сторону республиканцев и сражается против другого бывшего, – тот, как был, так и остался за короля.

– Но короля-то уже нет.

– А малолетний? И потеха какая – оба эти бывшие родня между собой.

Путник внимательно слушал слова хозяина.

А тот продолжал:

– Один – молодой, а другой – старик. Внучатный племянник на своего двоюродного деда поднял руку. Дед – роялист, а внук – патриот. Дед командует белыми, а внук – синими. Ну, от этих пощады не жди. Оба ведут войну не на живот, а на смерть.

– На смерть?

– Да, гражданин, на смерть. Вот полюбуйтесь, какими они обмениваются любезностями. Прочтите-ка объявление, – старик ухитрился такие объявления развесить повсюду, на всех домах, во всех деревнях, даже мне на дверь нацепили.

Он приблизил фонарь к квадратному куску бумаги, приклеенному к створке входной двери, и путник, пригнувшись с седла, разобрал написанный крупными литерами текст:

«Маркиз де Лантенак имеет честь известить своего внучатного племянника виконта де Говэна, что, ежели маркизу по счастливой случайности попадется в руки вышеупомянутый виконт, маркиз с превеликим удовольствием подвергнет его расстрелу».

– А вот поглядите и ответ, – добавил хозяин.

Он повернулся и осветил другое объявление, приклеенное к левой створке двери. Всадник прочел:

«Говэн предупреждает Лантенака, что, если этот последний попадется в плен, он будет расстрелян».

– Вчера, – пояснил хозяин, – старик повесил объявление, а сегодня, глядите, и внук за ним. Недолго ответа ждали.

Путешественник вполголоса, словно говоря с самим собой, произнес несколько слов, которые хозяин хоть и расслышал, но не понял.

– Да, это уже больше, чем междоусобная война, – это война семейная. Что ж, пусть так, это к лучшему. Великое обновление народов покупается лишь такой ценой.

И, не отрывая глаз от второго объявления, всадник поднес руку к шляпе и почтительно отдал честь клочку бумаги.

А хозяин тем временем продолжал:

– Сами видите, гражданин, что получается. Города и крупные селения – за революцию, а деревни – против; иначе сказать, города – французские, а деревни – бретонские. Значит, войну ведут горожанин с крестьянином. Нас они зовут «брюхачами», ну, а мы их величаем «сиволапыми». А дворяне и попы все на их стороне.

– Ну, положим, не все, – заметил путник.

– Конечно, гражданин, не все, раз, вон видите, виконт против маркиза пошел.

И добавил про себя:

«Да и сам ты, гражданин, видать, поп».

– А кто из них двоих одерживает верх?

– Пока что виконт. Но ему трудно приходится. Старик упорный. Оба они из рода Говэнов – здешние дворяне. Их род разделился на две ветви: у старшей ветви глава маркиз де Лантенак, ну а глава младшей – виконт де Говэн. А нынче обе ветви сшиблись. У деревьев такого не бывает, а вот у людей случается. Маркиз де Лантенак – глава всей Бретани. Мужики его иначе как принцем не называют. Только он высадился, к нему сразу пришло восемь тысяч человек; за одну неделю поднялись триста приходов. Если бы ему удалось захватить хоть полоску побережья, англичане сразу бы высадились. К счастью, здесь оказался Говэн, его внук. Чудеса, да и только! Он командует республиканскими войсками и уже образумил деда. Потом случилось так, что Лантенак сразу же по приезде приказал уничтожить всех пленных, среди них попались две женщины, а у одной было трое ребятишек, которых решил усыновить парижский батальон. Теперь этот батальон спуску белым не дает. Зовется он «Красный Колпак». Парижан, правда, в нем осталось немного, зато каждый за пятерых дерется. Вот они все и влились в отряд Говэна. Белых так и метут. Хотят отомстить за тех женщин и отобрать ребятишек. Что с маленькими сталось, куда их старик запрятал – никто не знает. Парижские гренадеры совсем разъярились. Не случись здесь этих ребятишек, может быть, и война по-другому повернулась бы. А виконт – славный и храбрый молодой человек. Зато старик маркиз – сущий людоед. Крестьяне говорят, что это, мол, Михаил-архангел сражается с Вельзевулом. Вы, может быть, не слыхали, Михаил-архангел – здешний покровитель. Даже одна гора его именем называется – та, что посреди залива. Здешние жители верят, что архангел Михаил укокошил дьявола и похоронил его под другой горой и зовется та гора Томбелен.

– Да, – пробормотал путник, – Tumba Belini, могила Беленуса, Белюса, Бела, Белиала, Вельзевула.

– Вы, как я погляжу, человек сведущий.

И хозяин снова шепнул про себя:

«Ну, понятно, священник, – вон как по-латыни говорит!»

А вслух сказал:

– Так вот, гражданин, по крестьянскому представлению выходит, что снова началась старая война. Если их послушать, то получается, что Михаил-архангел – это генерал-роялист, а Вельзевул – это республиканский командир. Но уж если есть на свете дьявол, так это наверняка Лантенак, а если имеются божьи ангелы – так это как раз Говэн. Перекусить, гражданин, не желаете?

– Нет, у меня с собою фляга с вином и краюха хлеба. А вы мне так и не сказали, что делается в Доле.

– Сейчас расскажу. Говэн командует береговым экспедиционным отрядом. А Лантенак решил поднять Нижнюю Бретань и Нижнюю Нормандию, открыть двери Питту и усилить вандейскую армию – влить в нее двадцать тысяч англичан и двести тысяч крестьян. А Говэн взял и разрушил этот план. Он держит в своих руках все побережье, теснит Лантенака вглубь страны, а англичан – к морю. Еще недавно здесь был Лантенак, а Говэн его отогнал, отобрал у него Понт-о-Бо, выбил его из Авранша, выбил его из Вильдье, преградил ему путь на

Гранвиль. А теперь предпринял такой маневр, чтобы загнать Лантенака в Фужерский лес и там окружить. Все шло хорошо. Вчера еще здесь был Говэн со своим отрядом. Вдруг тревога. Старик – стреляный воробей, взял да и пошел в обход, – говорят, пошел на Доль. Если он овладеет Долем да установит на Мон-Доль хоть одну батарею, – а пушки у него есть, – значит, здесь, на нашем участке побережья, смогут высадиться англичане, и тогда пиши пропало. Вот поэтому-то и нельзя мешкать. Говэн, упрямая голова, не спросил ни у кого совета, никаких распоряжений не стал ждать, скомандовал: «По коням!», велел двинуть артиллерию, собрал свое войско, выхватил саблю и двинулся в путь. Лантенак бросился на Доль, а Говэн на Лантенака. Вот в этом самом Доле и сшибутся два бретонских лба. Сильный получится удар! Теперь они уже в Доле.

– А сколько отсюда до Доля?

– Отряд с повозками часа за три доберется. Но они уже дошли.

Всадник прислушался и сказал:

– И в самом деле, будто слышна канонада.

Хозяин тоже прислушался.

– Верно, гражданин. И из ружей тоже палят. Слышите, словно полотно рвут. Заночуйте-ка здесь. Сейчас туда не стоит спешить.

– Нет, я не могу задерживаться. Мне пора.

– Напрасно, гражданин. Конечно, я ваших дел не знаю, да уж очень велик риск, если, конечно, речь не идет о самом дорогом для вас на свете…

– Именно об этом и идет речь, – ответил всадник.

– Ну, скажем, о вашем сыне…

– Почти о сыне, – сказал всадник.

Хозяин, задрав голову, посмотрел на него и прошептал про себя:

«Вот поди ж ты, а я-то считал, что он поп».

Но, подумав, решил:

«Что ж, и у попов бывают дети».

– Взнуздайте моего коня, – сказал путник. – Сколько я вам должен?

И он расплатился.

Хозяин оттащил колоду и ведро к стене и подошел к всаднику.

– Раз уж вы решили ехать, послушайтесь моего совета. Вы в Сен-Мало направляетесь? Ну так незачем вам забираться в Доль. Туда есть два пути – один на Доль, другой по берегу моря. Что тут ехать, что там – разница невелика. Берегом моря дорога идет на Сен-Жорж-де-Бреэнь, на Шерье и на Гирель-ле-Вивье. Значит, Доль останется у вас с юга, а Канкаль с севера. В конце нашей улицы, гражданин, увидите две дороги: левая пойдет в Доль, а правая – в Сен-Жорж. Послушайте меня, зачем вам в Доль ездить, попадете прямо в самое пекло. Поэтому налево не сворачивайте, а берите направо.

– Спасибо, – сказал путник.

И он дал шпоры коню.

Стало уже совсем темно, всадник мгновенно исчез во мраке.

Трактирщик сразу же потерял его из вида.

Когда всадник доскакал до перекрестка, до него донесся еле слышный возглас трактирщика:

– Направо берите!

Он взял налево.

II. Доль

Доль, «испанский город Франции в Бретани», как значится в старинных грамотах, вовсе не город, а одна-единственная улица. По ее обе стороны стоят в беспорядке дома с деревянными колоннами, и поэтому широкая средневековая улица образует десятки узких закоулков и неожиданных поворотов. Остальная часть города представляет лабиринт уличек, отходящих от главной улицы или вливающихся в нее, как ручейки в речку. Доль не обнесен крепостной стеной, не имеет крепостных ворот, он открыт со всех четырех сторон и расположен у подножья горы Мон-Доль; город, само собой разумеется, не может выдержать осады; зато осаду может выдержать его главная улица. Выступающие вперед фасады домов – такие можно было видеть еще полвека тому назад – и галереи, образованные колоннами, были вполне пригодны для длительного сопротивления. Что ни здание, то крепость, и неприятелю пришлось бы брать с бою каждый дом. Рынок находился почти в середине городка.

Трактирщик из Круа-Браншар не солгал, – пока он вел беседу с приезжим, в Доле шла неистовая схватка. Между белыми, пришедшими сюда поутру, и подоспевшими к вечеру синими внезапно завязался ночной поединок. Силы были неравны: белых насчитывалось шесть тысяч человек, а синих всего полторы тысячи, зато противники были равны яростью. Достойно упоминания то обстоятельство, что нападение вели именно синие.

С одной стороны – беспорядочная толпа, с другой – железный строй. С одной стороны – шесть тысяч крестьян, в кожаных куртках с вышитым на груди Иисусовым сердцем, с белыми лентами на круглых шляпах, с евангельскими изречениями на нарукавных повязках и с четками за поясом; у большинства вилы, а меньшинство с саблями или с карабинами без штыков; они волочили за собою на веревках пушки, были плохо обмундированы, плохо дисциплинированы, плохо вооружены, но сущие дьяволы в бою. С другой стороны – полторы тысячи солдат в треуголках, с трехцветной кокардой, в длиннополых мундирах с широкими отворотами, в портупеях, перекрещивающихся на груди, вооруженные тесаками с медной рукоятью и ружьями с длинным штыком; хорошо обученные, хорошо держащие строй, послушные солдаты и неустрашимые бойцы, строго повинующиеся командиру и при случае сами способные командовать, тоже все добровольцы, но добровольцы, защищающие родину, все в лохмотьях и без сапог; за монархию – мужики-рыцари, за революцию – босоногие герои; оба отряда, столкнувшиеся в Доле, воодушевляли их командиры: роялистов – старец, а республиканцев – человек в расцвете молодости. С одной стороны Лантенак, с другой – Говэн.

Два образа героев являла революция: молодые гиганты, какими были Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер, и молодые солдаты идеала, подобные Гошу и Марсо. Говэн принадлежал к числу последних.

Говэну исполнилось тридцать лет; стан у него был, как у Геркулеса, взор строгий, как у пророка, а смех, как у ребенка. Он не курил, не пил, не сквернословил. Даже в походах он не расставался с дорожным несессером, заботливо отделывал ногти, каждый день чистил зубы, тщательно причесывал свои роскошные каштановые кудри; на привале сам аккуратно вытряхивал свой капитанский мундир, пробитый пулями и побелевший от пыли. Он, как одержимый, врывался в самую сечу, но ни разу не был ранен. В его голосе, обычно мягком, порой слышались властные раскаты. Он первый подавал пример своим людям, спал прямо на земле, завернувшись в плащ и положив красивую голову на камень, не обращая внимания на ветер, на дождь и снег. Героическая и невинная душа. Взяв саблю в руку, он весь преображался. Наружность у него была немного женственная, что на поле битвы внушает особый ужас.

И вместе с тем это был мыслитель, философ, молодой мудрец. «Алкивиад», – говорили, увидев его; «Сократ», – говорили, услышав его речи.

В той великой импровизации, которая именуется французской революцией, молодой воин сразу же вырос в полководца.

Он сам сформировал отряд, который, по образцу римского легиона, являлся маленькой армией, имевшей все виды оружия; в отряд входили пехота и кавалерия, а также разведчики, саперы, понтонеры; и подобно тому, как римский легион имел свои катапульты, в отряде были свои пушки. Три орудия в конной упряжке усиливали отряд, не сковывая притом его подвижности.

Лантенак тоже был полководцем, пожалуй, даже еще более грозным. Он превосходил внука в обдуманности и дерзости ударов. Убеленные сединами вояки куда хладнокровнее юных героев, ибо для них уже давно угасла утренняя заря, и куда смелее, ибо смерть их уже близка. Что им терять? Ничего или так мало! Поэтому-то действия Лантенака отличались не только дерзостью, но и мудростью. Однако почти всегда в этом упорном единоборстве старости и молодости Говэн одерживал верх. Объяснялось это, пожалуй, больше всего удачей. Все виды человеческого счастья, даже грозное боевое счастье, – удел молодости. Победа все-таки женщина.

Лантенак возненавидел Говэна прежде всего потому, что Говэн побеждал, и потому, что Говэн приходился ему родственником. Как это ему взбрело в голову стать якобинцем? Нет, подумайте только – Говэн стал якобинцем! Сорванец Говэн! Прямой наследник Лантенака, ибо у маркиза детей не было, его внучатный племянник, почти внук! «Ах, – говорил этот любящий дедушка, – попадись он мне в руки, я его убью, как собаку».

Впрочем, республика совершенно справедливо опасалась Лантенака. Едва только он ступил на французский берег, как все пришло в трепет. Имя его, словно огонь по пороховому шнуру, пробежало по всей Вандее, и он сразу же стал средоточием восстания. В таких мятежах, где столь сильно взаимное соперничество и где каждый укрывается в своих кустах или в своем овраге, человек, посланный «из высших сфер», обычно объединяет разрозненные действия равноправных главарей. Почти все лесные вожаки, и ближние и далекие, присоединились к Лантенаку и признали его главой.

Лишь один человек покинул Лантенака и как раз тот, кто первым присоединился к нему, – а именно Гавар. Почему? Да потому, что Гавар до сих пор был первым доверенным лицом у вандейцев. Он был в курсе всех их тайных замыслов и признавал старые приемы гражданской войны, которые Лантенак явился отвергнуть и заменить новыми. Доверенное лицо не передается по наследству; башмак де Ларуари явно не пришелся по ноге Лантенаку. И Гавар ушел к Боншану.

Лантенак в военном искусстве принадлежал к школе Фридриха II; он старался сочетать большую войну с малой. Он и слышать не желал о том «пестром сброде», которым являлась «Великая католическая и роялистская армия» – вернее, толпа, обреченная на гибель; но он не признавал и мелких стычек малочисленными отрядами, рассыпавшимися по чащам и перелескам, годными лишь для того, чтобы беспокоить врага, но не способными уничтожить его. Нерегулярные войны не приводят ни к чему, а если и приводят, то к худшему; поначалу грозят сразить республику, а кончают грабежом на больших дорогах; Лантенак не признавал ни этой бретонской войны, ни приемов Ларошжаклена, сражавшегося только в открытом поле, ни способов «лесной войны» Жана Шуана; он не хотел воевать ни по-вандейски, ни по-шуански; он намеревался вести настоящую войну – пользоваться мужиками, но опираться на солдат. Для стратегии ему требовались банды, а для тактики полки. По его мнению, это мужицкое воинство было незаменимо для внезапных атак, засад и тому подобных сюрпризов; никто не мог сравняться с ними в умении мгновенно собрать свои силы в кулак и тут же рассыпаться по кустам, но он понимал, что главная их беда – текучесть, они, словно вода, уходили сквозь его пальцы; он стремился создать внутри этой чересчур подвижной и рассеянной по всей округе армии прочное ядро; он хотел укрепить это дикое лесное воинство регулярными частями, которые явились бы стержнем операций. Мысль верная и чреватая страшными последствиями; удайся Лантенаку его план, Вандея стала бы непобедимой.

Но где взять эти регулярные войска? Где взять солдат? Где взять полки? Где взять готовую армию? В Англии. Вот почему Лантенак бредил высадкой англичан. Так сторонники той или иной партии теряют совесть: за белой кокардой Лантенак уже не видел красных мундиров. Лантенак мечтал лишь об одном – овладеть хоть малой полоской берега и расчистить путь Питту. Вот поэтому-то, узнав, что в Доле нет республиканских войск, он бросился туда в расчете захватить город и гору Мон-Доль, а затем и побережье.

Место было выбрано удачно. Артиллерия, установленная на горе Мон-Доль, снесла бы с лица земли Френуа, лежащий направо, и Сен-Брелад, лежащий налево; держала бы на почтительном расстоянии канкальскую эскадру и очистила бы для английского десанта все побережье от Ра-Сюр-Куэнон до Сен-Мелуар-дез-Онд.

Чтобы обеспечить успех этой решающей вылазки, Лантенак повел за собой более шести тысяч человек – все, что было самого надежного в руководимых им бандах, а также всю свою артиллерию – десять шестнадцатифунтовых кулеврин, одну восьмифунтовую пушку и одно полевое четырехфунтовое орудие. Он рассчитывал установить на Мон-Доле сильную батарею, исходя из того, что тысяча выстрелов из десяти орудий оказывает больше действия, нежели полторы тысячи выстрелов из пяти орудий.

Успех казался несомненным. В распоряжении Лантенака имелось шесть тысяч человек. Опасность грозила лишь со стороны Авранша, где стоял Говэн со своим отрядом в полторы тысячи человек, и со стороны Динана, где стоял Лешель. Правда, у Лешеля было двадцать пять тысяч человек, но зато он находился на расстоянии двадцати лье. Поэтому Лантенак ничего не опасался, – пусть у Лешеля больше сил, зато он далеко, а Говэн хоть и близко, но отряд его невелик. Добавим, что Лешель был бестолковый человек и позднее погубил весь свой двадцатипятитысячный отряд, уничтоженный неприятелем в ландах Круа-Батайль, – за это поражение он заплатил самоубийством.

Лантенак, таким образом, был более чем уверен в успехе. Доль он захватил внезапно и без боя. Имя маркиза де Лантенака окружала мрачная слава, окрестные жители знали, что от него нечего ждать пощады. Поэтому никто даже не пытался сопротивляться. Перепуганные горожане попрятались в домах, закрыв ставни и двери. Шесть тысяч вандейцев расположились на бивуаке в чисто деревенском беспорядке, словно пришли на ярмарку; фуражиров не назначили, о расквартировании никто не позаботился; разместились где попало, варили обед прямо под открытым небом, разбрелись по церквам, сменив ружья на четки. Сам Лантенак, с группой артиллерийских офицеров, спешно направился осматривать гору Мон-Доль, поручив командование Гуж-ле-Брюану, которого маркиз называл своим полевым адъютантом.

Гуж-ле-Брюан оставил по себе в истории лишь смутный след. Он был известен под двумя кличками: «Синебой» – за его расправы над патриотами, или «Иманус», ибо во всем его обличье было нечто невыразимо ужасное. Слово «иманус» происходит от древнего нижненормандского «иманис», и означает оно нечеловеческое и чуть ли не божественно-грозное и уродливое существо – вроде демона, сатира, людоеда. В одной старинной рукописи говорится: «d'mes daeux iers j'vis l'im nus».[415] Сейчас даже старики в Дубраве уже не помнят Гуж-ле-Брюана, не понимают значения слова «Синебой», но смутно представляют себе «Имануса». Образ Имануса вошел в местные легенды и суеверия. В Треморели и Плюмога еще и в наши дни говорят об Иманусе, так как в этих двух селениях Гуж-ле-Брюан оставил кровавый отпечаток своей пяты. Вандейцы были дикари, а Гуж-ле-Брюан был среди них варваром. Он напоминал касика, весь с ног до головы в сложном узоре татуировки, где переплетались кресты и королевские лилии; на лице его с отвратительными, почти неестественно безобразными чертами запечатлелась гнусная душа, мало чем похожая на человеческую душу. В бою он превосходил отвагой и самого сатану, а после боя становился по-сатанински жесток. Сердце его было вместилищем всех крайностей, оно млело в собачьей преданности и пылало лютой яростью. Думал ли он, мог ли он размышлять? Да, он размышлял, но ход его мысли был подобен спиральному извиву змеи. Он начинал с героизма, а кончал как убийца. Невозможно

было угадать, откуда берутся у него решения, подчас даже величественные именно в силу своей чудовищности. Он был способен на самые страшные и притом неожиданные поступки. И он был легендарно свиреп.

Отсюда и это страшное прозвище «Иманус».

Маркиз де Лантенак полагался на его жестокость.

И верно, в жестокости Иманус не знал соперников; но в области стратегии и тактики он был куда слабее, и, возможно, маркиз совершил ошибку, назначив его своим помощником. Как бы то ни было, маркиз поручил Иманусу замещать его и вести за лагерем наблюдение.

Гуж-ле-Брюан, скорее вояка, нежели воин, был скорее способен вырезать целое племя, чем охранять город. Все же он расставил кругом сильные посты.

Вечером, когда маркиз де Лантенак, осмотрев предполагаемое местоположение батареи, возвращался в Доль, он вдруг услышал пушечный выстрел. Он огляделся. Над главной улицей поднялось багровое зарево. Случилась беда, нежданное вторжение неприятеля, штурм; в городе шел бой.

И хотя Лантенака трудно было удивить, он остолбенел. Он не мог ожидать ничего подобного. Что это такое? Одно ясно – это не Говэн. Никто не рискнет пойти в атаку, когда на стороне врага столь явное численное превосходство – четыре против одного. Значит, это Лешель? Но как же он успел подтянуть свои войска? Нет, появление Лешеля невероятно, а появление Говэна – невозможно.

Лантенак дал шпоры коню; навстречу ему тянулись по дороге беглецы из Доля; он обратился с вопросом к одному, другому, но обезумевшие от страха люди вопили только: «Синие! Синие!» Когда Лантенак подскакал к Долю, положение было серьезное.

Вот что там произошло.

III. Малые армии и большие битвы

По прибытии в Доль крестьянское воинство, как мы уже говорили, разбрелось по всему городку, решив воспользоваться ночным досугом сообразно своим вкусам и наклонностям, что неизбежно, когда боец, по выражению вандейцев, повинуется начальнику лишь *по дружбе*. Такое своеобразное повиновение способно породить героев, но оно отнюдь не воспитывает солдат. Все орудия вместе с войсковым имуществом вандейцы завели под своды старого рынка, а сами, изрядно выпив, сытно поужинав и перебрав на ночь четки, легли спать вповалку, прямо на улице, перегородив ее грудой своих тел и не думая об охране. Спускалась ночь, и добрая половина вандейцев сладко храпела, подложив под голову мешок; рядом с некоторыми спали их жены, так как нередко бретонские крестьянки сопровождали мужей в походе; бывало и так, что какая-нибудь беременная крестьянка несла обязанности лазутчицы. Стояла теплая июльская ночь, в темной бездонной синеве небес сверкали созвездия. Весь бивуак спал, напоминая остановившийся на ночлег караван, а не военный лагерь. Вдруг те, что лежали еще с открытыми глазами, различили в ночном мраке силуэты трех орудий, загородивших верхний конец улицы.

Это был Говэн. Он снял часовых, вошел в городок и занял со своим отрядом начало улицы.

Какой-то вандеец вскочил с криком: «Кто идет?» – и выстрелил из ружья; ему ответил пушечный выстрел. Тотчас заговорили ружья. Погруженная в сон орда сразу же поднялась. Жестокая встряска. Заснуть под звездами, а проснуться под картечью.

Первый миг пробуждения был ужасен. Нет зрелища страшнее, чем кишение толпы, заметавшейся под пушечными ядрами. Вандейцы схватились за оружие. Люди вопили во всю глотку, куда-то бежали, многие падали. В растерянности иные, не помня себя, стреляли по своим. Из домов выскакивали испуганные горожане, устремлялись обратно, снова выбегали на улицу и, ошалев, сновали в самой гуще свалки. Родители звали детей, мужья искали жен. Зловещий бой, бой, в который втянуты женщины и дети. Пули, летавшие во всех направлениях,

со свистом рассекали ночной мрак. Стреляли в темноте из каждого угла. Везде дым и сумятица. В беспорядке сбились повозки и фургоны. Перепуганные кони ржали и брыкались. Никто не разбирал дороги, люди шагали по раненым, и от земли поднимались дикие вопли. Одни метались в страхе, другие оцепенели. Бойцы искали своих командиров, а командиры скликали бойцов. И бок о бок с этим ужасом – угрюмое равнодушие. Вот возле дома сидит женщина и кормит грудью младенца, тут же рядом к стене прислонился ее муж; из перебитой ноги ручьем течет кровь, а он хладнокровно заряжает свой карабин и посылает куда-то в ночную мглу несущие смерть пули. А вот другой, забравшись под телегу, палит из-за колеса. Временами человеческие крики сливались в протяжный вой. Но все перекрывал рокочущий бас пушек. Страшная картина.

Казалось, здесь валят лес и, подрубленные под корень, падают друг на друга деревья. Отряд Говэна из-за укрытия стрелял наверняка и поэтому понес лишь незначительные потери.

Однако крестьянское воинство, отважное даже в минуты растерянности, оправилось и перешло к обороне; вандейцы стянулись к рынку, просторному мрачному помещению, крышу которого поддерживал целый лес каменных столбов. Очутившись под прикрытием, повстанцы совсем ободрились; все, что хотя бы отдаленно напоминало лес, вселяло в них уверенность. Иманус старался, как умел, заменить отсутствующего Лантенака. У вандейцев были орудия, но, к великому удивлению Говэна, они молчали; объяснялось это тем, что офицеры-артиллеристы отправились вместе с маркизом на рекогносцировку к Мон-Долю, а крестьяне не знали, как подступиться к кулевринам и пушкам; зато они осыпали синих градом пуль в ответ на их пушечные ядра. На картечь крестьяне отвечали бешеной ружейной пальбой. Теперь в укрытии оказались вандейцы. Они натаскали отовсюду дроги, повозки, телеги, прикатили с рынка бочки и соорудили высокую баррикаду с бойницами для карабинов. Из этих бойниц они и открыли убийственный огонь. Все было сделано молниеносно. Через четверть часа рынок стал неприступной крепостью.

Положение Говэна осложнилось. Слишком неожиданно превратился мирный рынок в надежную цитадель. Вандейцы крепко засели в ней всей своей массой. Говэн сумел внезапно атаковать, но не сумел разгромить неприятеля. Он спрыгнул с коня и стоял на батарее, освещенный горевшим факелом; скрестив на груди руки, он зорко вглядывался в темноту. В полосе света его высокая фигура была отчетливо видна защитникам баррикады. Но он даже не думал, что служит прекрасной мишенью, не замечал, что пули, летевшие из бойниц, жужжат вокруг него.

Он размышлял. Против вандейских карабинов у него есть пушки. А перевес всегда останется за картечью. У кого орудия, у того победа. Батарея в руках умелых пушкарей обеспечивала превосходство.

Вдруг словно молния вырвалась из темной громады рынка, затем прорычал гром, и ядро пробило фасад дома над головой Говэна.

На пушечный выстрел баррикада ответила пушечным выстрелом.

Как же так? Значит, что-то произошло. Артиллерия теперь имеется у обеих сторон.

Вслед за первым ядром вылетело второе и разворотило стену рядом с Говэном. При третьем выстреле с него сорвало шляпу.

Все ядра были крупного калибра. Били из шестнадцатифунтового орудия.

– В вас целятся, командир, – закричали пушкари.

И они потушили факел. Говэн неторопливо нагнулся и поднял с земли шляпу. Пушкари не ошиблись – в Говэна кто-то целился, в него целился Лантенак.

Маркиз только что подъехал к рынку с противоположной стороны.

Иманус бросился к нему.

– Ваша светлость, на нас напали.

– Кто?

– Не знаю.

– Дорога на Динан свободна?

– По-моему, свободна.

– Пора начинать отступление.

– Уже началось. Многие бежали.

– Я сказал – отступление, а не бегство. Почему у вас бездействует артиллерия?

– Мы тут сначала голову потеряли, да и офицеров не было.

– Я сам пойду на батарею.

– Ваша светлость, я отправил на Фужер все, что можно: ненужный груз, женщин, все лишнее. А как прикажете поступить с тремя пленными детишками?

– С теми?

– Да.

– Они наши заложники. Отправьте их в Тург.

Отдав распоряжения, маркиз зашагал к баррикаде. С появлением командира все преобразилось. Баррикада была не приспособлена для артиллерийского огня, там могло поместиться только две пушки; маркиз велел поставить рядом два шестнадцатифунтовых орудия, для которых тут же устроили амбразуру. Маркиз пригнулся к пушке, стараясь разглядеть вражескую батарею, и вдруг заметил Говэна.

– Это он! – воскликнул маркиз.

И, не торопясь, он взял банник, сам забил снаряд, навел пушку и выстрелил.

Трижды целился он в Говэна и все три раза промахнулся. Последним выстрелом ему удалось сбить с Говэна шляпу.

– Какая досада, – буркнул он. – Возьми я чуть ниже, ему снесло бы голову.

Вдруг факел на вражеской батарее потух, и маркиз уже не мог ничего разглядеть в сгустившемся мраке.

– Ну, погоди! – проворчал он.

И, обернувшись к своим пушкарям-крестьянам, скомандовал:

– Картечь!

Говэн в свою очередь тоже был озабочен. Положение осложнилось. Бой вступил в новую стадию. Теперь баррикада бьет из орудий. Кто знает, не перейдет ли враг от обороны к наступлению? Против него, за вычетом убитых и бежавших с поля битвы, было не меньше пяти тысяч человек, а в его распоряжении осталось всего тысяча двести солдат. Что станется с республиканцами, если враг заметит, как ничтожно их число? Тогда роли могут перемениться. Из атакующего республиканский отряд превратится в атакуемого. Если вандейцы предпримут вылазку, тогда всему конец.

Что же делать? Нечего и думать штурмовать баррикаду в лоб; идти на приступ было химерой – тысяча двести человек не могут выбить из укрепления пять тысяч. Штурм – бессмыслица, промедление – гибель. Необходимо принять решение. Но какое?

Говэн был уроженцем Бретани и не раз заглядывал в Доль. Он знал, что к старому рынку, где засели вандейцы, примыкает целый лабиринт узеньких кривых уличек.

Он обернулся к своему помощнику, доблестному капитану Гешану, который впоследствии прославился тем, что очистил от мятежников Консизский лес, где родился Жан Шуан, преградил вандейцам дорогу к Шэнскому озеру и тем самым спас от падения Бурнеф.

– Гешан, передаю вам командование боем, – сказал он. – Ведите все время огонь. Разбейте баррикаду пушечными выстрелами, отвлеките всю эту банду.

– Понимаю, – ответил Гешан.

– Весь отряд собрать, ружья зарядить, подготовиться к атаке.

И, пригнувшись к уху Гешана, он шепнул ему несколько слов.

– Решено, – ответил Гешан.

Говэн продолжал:

– Все наши барабанщики живы?

– Все.

– У нас их девять человек. Оставьте себе двоих, а семеро пойдут со мной.

Семеро барабанщиков молча подошли и выстроились перед Говэном.

Тогда Говэн прокричал громовым голосом:

– Батальон Красный Колпак, за мной!

Одиннадцать человек под началом сержанта выступили из рядов.

– Я вызывал весь батальон, – сказал Говэн.

– Батальон в полном составе, – ответил сержант.

– Как! Вас всего двенадцать человек?

– Осталось двенадцать.

– Пусть будет так, – сказал Говэн.

Сержант, выступивший вперед, был славный и храбрый вояка Радуб, тот самый Радуб, который от имени батальона усыновил троих ребятишек, найденных в Содрейском лесу.

Добрая половина батальона, если читатель помнит, была перебита на ферме «Соломинка», но Радуб по счастливой случайности уцелел.

Неподалеку стояла телега с фуражом. Говэн указал на нее сержанту.

– Пусть ваши люди наделают соломенных жгутов, велите обмотать ружья, чтобы ни одно не звякнуло на ходу.

Через минуту приказ был выполнен в полном молчании и в полной темноте.

– Готово, – доложил сержант.

– Солдаты, сапоги снять, – скомандовал Говэн.

– Нет у нас сапог, – ответил сержант.

Вместе с семью барабанщиками составился отряд из девятнадцати человек. Говэн был двадцатым.

– В колонну по одному стройсь! – скомандовал он. – За мной! Барабанщики, вперед, весь батальон за ними. Сержант, командование поручаю вам.

Он пошел в голове колонны, и, пока орудия били с обеих сторон, двадцать человек, скользя как тени, углубились в пустынные улички.

Некоторое время они шли, держась у стен. Городок, казалось, вымер; жители забились в погреба. Все двери на запоре, на всех окнах – ставни. Нигде ни огонька.

Вокруг была тишина и тем сильнее доносился грохот с главной улицы; орудийный бой продолжался, батарея республиканцев и баррикада роялистов яростно осыпали друг друга картечью.

Минут двадцать Говэн уверенно вел свой отряд в темноте по кривым переходам и, наконец, вышел на главную улицу, позади рынка.

Позицию вандейцев обошли. По ту сторону рынка не было никаких укреплений; вследствие неисправимой беспечности строителей баррикад рынок с тыла оставался открытым и незащищенным, поэтому не составляло труда войти под каменные своды, куда свезли

несколько повозок с войсковым имуществом и в полной упряжке. Теперь Говэну и его двенадцати бойцам противостояло пять тысяч вандейцев, но с тыла.

Говэн шопотом отдал сержанту приказ; солдаты размотали солому, накрученную вокруг ружей; двенадцать гренадеров построились за углом улички в полном боевом порядке, и семь барабанщиков, подняв палочки, ждали только команды.

Орудийные выстрелы следовали один за другим через известные промежутки. Воспользовавшись минутой затишья между двумя залпами, Говэн вдруг выхватил шпагу и голосом, прозвучавшим в тишине как пронзительный призыв трубы, прокричал:

– Двести человек вправо, двести влево, остальные вперед!

Грянул залп из двенадцати ружей, семь барабанщиков забили «в атаку».

А Говэн бросил грозный клич синих:

– В штыки! За мной!

Началось нечто неслыханное.

Вандейское воинство вообразило, что его обошли и что с тыла подступают целые полчища врага. В ту же самую минуту, услышав барабанный бой, республиканский отряд под командованием Гешана, занимавший верхнюю часть улицы, двинулся вперед, – оставшиеся при нем барабанщики тоже забили «в атаку», – и быстрым шагом приблизился к баррикаде; вандейцы очутились между двух огней; паника склонна все преувеличивать: в момент паники ружейный выстрел кажется орудийным залпом, крик – загробным гласом, лай собаки – львиным рыком. Добавим, что страх вообще охватывает крестьян с такой же быстротой, как пламя – стог соломы, и с такой же быстротой, с какою от горящего стога пламя перекидывается на ближайшие предметы, крестьянин в страхе кидается в бегство. Бегство вандейцев было поистине паническим.

Через несколько минут рынок опустел, крестьяне словно испарились в воздухе, оставив офицеров в растерянности. Хотя Иманус и убил двух или трех беглецов, ничто не помогало, – вандейцы с криком: «Спасайся, кто может!» – растеклись по городу, будто вода сквозь сито, и исчезли в полях стремительно, как тучи, подхваченные ураганным ветром. Одни бежали по направлению к Шатонефу, другие – к Плерге, третьи – к Антрэну.

Маркиз де Лантенак молча следил за разбегавшимися воинами. Он собственноручно заклепал орудия и, уходя последним спокойной, размеренной поступью, холодно бросил: «Нет, на крестьянина надежда плоха. Без англичан нам не обойтись».

IV. Во второй раз

Республиканцы одержали полную победу.

Говэн повернулся к гренадерам батальона Красный Колпак и сказал:

– Вас всего двенадцать, а стоите вы тысячи!

Для солдата тех времен похвала командира была почетной наградой.

Гешан, по приказу Говэна, преследовал беглецов за пределами Доля и взял много пленных.

Солдаты зажгли факелы и стали осматривать город.

Не успевшие убежать вандейцы сдались на милость победителя. Главную улицу осветили плошками. Ее усеивали вперемежку убитые и раненые. Как и обычно в конце каждого сражения, кучки самых отчаянных смельчаков, окруженные неприятелем, еще отбивались, но и им пришлось сложить оружие.

В беспорядочном потоке беглецов внимание Говэна привлек один храбрец; ловкий и проворный, как фавн, он прикрывал бегство товарищей, а сам и не собирался бежать. Этот крестьянин, мастерски владея карабином, то стрелял, то глушил врага прикладом и действовал с такой силой, что приклад, наконец, сломался; тогда вандеец вооружился пистолетом, а

другой рукой схватил саблю. Никто не решался подступиться к нему. Вдруг Говэн заметил, что вандеец пошатнулся и оперся спиной о столб. Должно быть, его ранило. Но он все еще орудовал саблей и пистолетом. Взяв шпагу подмышку, Говэн подошел к нему.

– Сдавайся, – сказал он.

Вандеец пристально взглянул на говорившего. Кровь, бежавшая из раны, пропитала куртку и лужей расплывалась у его ног.

– Ты мой пленник, – повторил Говэн.

Вандеец молчал.

– Как тебя звать?

– Звать «Пляши в тени».

– Ты храбрый малый, – сказал Говэн.

И протянул вандейцу руку.

Но тот воскликнул:

– Да здравствует король!

Собрав последние силы, он быстро вскинул обе руки, нажал курок, намереваясь всадить Говэну в сердце пулю, и одновременно взмахнул над его головой саблей.

Он действовал с проворством тигра, но кто-то оказался еще проворнее. То был всадник, подскакавший к полю битвы всего несколько секунд тому назад и никем не замеченный. Видя, что вандеец поднял пистолет и занес саблю, незнакомец бросился между ним и Говэном. Не подоспей он, лежать бы Говэну в могиле. Пуля попала в лошадь, а удар сабли пришелся по всаднику, и лошадь и всадник рухнули наземь. Все это произошло с молниеносной быстротой.

Вандеец тоже свалился на землю.

Удар сабли рассек лицо незнакомца, упавшего без чувств. Лошадь была убита наповал.

Говэн подошел к лежащему.

– Кто этот человек? – спросил он.

Он нагнулся и посмотрел на незнакомца. Кровь, струившаяся из раны, залила все лицо и застыла красной маской. Видны были лишь седые волосы.

– Этот человек спас мне жизнь, – продолжал Говэн. – Кто-нибудь знает его? Откуда он явился?

– Командир, – ответил один из солдат. – Он только что въехал в город, я сам видел. А прискакал он по дороге из Понторсона.

Полковой хирург со своей сумкой поспешил на помощь. Раненый попрежнему лежал без сознания. Хирург осмотрел его и заключил:

– Пустяки. Опасности нет. Зашьем рану, и через неделю он будет на ногах. Великолепный сабельный удар.

На раненом был плащ, трехцветный пояс, пара пистолетов и сабля. Его положили на носилки. Раздели. Кто-то принес ведро свежей воды, и хирург промыл рану: из-под кровавой маски показалось лицо. Говэн присматривался к незнакомцу с глубоким вниманием.

– Есть при нем бумаги? – спросил он.

Хирург нащупал в боковом кармане раненого бумажник, вытащил его и протянул Говэну.

Меж тем от холодной примочки раненый пришел в себя. Его веки слабо дрогнули.

Говэн перебирал бумаги незнакомца; вдруг он обнаружил листок, сложенный вчетверо, развернул его и прочел:

«Комитет общественного спасения. Гражданин Симурдэн…»

Он закричал:

– Симурдэн!

Этот крик достиг слуха раненого, и он открыл глаза.

Говэн задыхался от волнения.

– Симурдэн! Это вы! Во второй раз вы спасаете мне жизнь.

Симурдэн посмотрел на Говэна. Непередаваемая радость озарила его окровавленное лицо.

Говэн упал на колени возле раненого и воскликнул:

– Мой учитель!

– Твой отец, – промолвил Симурдэн.

V. Капля холодной воды

Они не виделись много лет, но сердца их не разлучались ни на минуту; они признали друг друга, будто расстались только вчера.

В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Симурдэна уложили в маленькой комнатке, примыкавшей к просторному залу, где разместили раненых солдат. Хирург зашил рану и пресек взаимные излияния друзей, заявив, что больному необходим покой. Впрочем, и самого Говэна требовали десятки неотложных дел, которые составляют долг и заботу победителя. Симурдэн остался один, но не мог уснуть; его мучила лихорадка, он дрожал от озноба и от радостного волнения.

Он не спал, но ему казалось, что он грезит. Неужели это явь? Свершилась его мечта. Симурдэн, по самому складу характера, не верил в свою счастливую звезду, и вот она взошла. Он нашел своего Говэна. Он оставил ребенка, а увидел взрослого мужчину, грозного, отважного воина. Увидел его в минуту победы и победы, одержанной во имя народа. Говэн являл собой в Вандее опору революции, и это он, Симурдэн, своими собственными руками, создал этот столп республики. Этот победитель – его, Симурдэна, ученик. Он видел, как молодое лицо, быть может предназначенное украсить собой Пантеон Революции, озарялось отблеском мысли, и это также была его, симурдэнова, мысль; его ученик, детище его духа, уже и сейчас вправе называться героем, и, кто знает, в скором времени он, быть может, прославит свою отчизну; Симурдэну казалось, что он узнает свою собственную душу в оболочке гения. Он только что любовался Говэном в бою, как Хирон Ахиллесом. Между священником и кентавром существует таинственное сходство, ибо и священник – человек только наполовину.

Недавнее ранение и бессонница – следствие сабельного удара – наполняли душу Симурдэна каким-то блаженным опьянением. Он видел, как, блистательный и великолепный, растет молодой герой, и радость была еще полнее от сознания своей власти над его судьбою; еще одна такая победа, и тогда Симурдэну достаточно будет сказать слово, чтобы республика поручила Говэну командование целой армией. Когда все чаяния человека сбываются, он как бы слепнет на миг от изумления. В ту пору каждый бредил воинской славой, каждый желал создать своего полководца: Дантон выдвинул Вестермана, Марат – Россиньоля, Эбер – Ронсана, а Робеспьер желал со всеми ними разделаться. «Почему бы и не Говэн?» – думалось Симурдэну, и он погружался в мечты. Ничто их не стесняло, Симурдэн переходил от одной грезы к другой; сами собой рушились все помехи; стоит только начать грезить, и уже трудно остановиться на полпути, впереди бесконечно высокая лестница, – и, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, восходишь к звездам. Великий генерал руководит лишь в сфере военной; великий полководец руководит также и в сфере идей. Симурдэн мечтал о Говэне-полководце. Он уже видел, – ведь мечта быстрокрыла, – как Говэн разбивает на море англичан, как на Рейне он карает северных монархов, как в Пиренеях теснит испанцев, в Альпах призывает Рим к восстанию. В Симурдэне жило два человека – один с нежной душой, а другой – суровый, и оба были ныне равно удовлетворены, ибо, подчиняясь своему идеалу непреклонности, он рисовал себе будущность Говэна столь же великолепной, сколь и грозной. Симурдэн думал обо

всем, что придется разрушить, прежде чем строить новое, и говорил про себя: «Сейчас не время миндальничать». Говэн, как тогда говорили, «достигнет высот». И Симурдэну представлялся Говэн в светозарных латах, со сверкающей на челе звездою; попирая мрак, возносится он на мощных крыльях идеала – справедливости, разума и прогресса, а в руке сжимает обнаженный меч; он ангел, но ангел с карающей десницей.

Когда Симурдэн, размечтавшись, дошел почти до экстаза, он вдруг услышал через полуоткрытую дверь разговор в зале, превращенной в лазарет и примыкавшей к его комнатке; он сразу же узнал голос Говэна; все долгие годы разлуки этот голос звучал в ушах Симурдэна, и теперь в мужественных его раскатах ему чудился мальчишеский голосок. Симурдэн прислушался. Раздались шаги, затем заговорили наперебой солдаты:

– Вот, командир, тот самый человек, который в вас стрелял. Он спрятался в погреб. Но мы его отыскали. А ну-ка, покажись.

И Симурдэн услышал следующий диалог между Говэном и покушавшимся на его жизнь вандейцем:

– Ты ранен?

– У меня достаточно сил для того, чтобы пойти на расстрел.

– Уложите этого человека в постель. Перевяжите его раны, ухаживайте за ним, вылечите его.

– Я хочу умереть.

– Ты будешь жить. Ты хотел убить меня во славу короля, я дарую тебе жизнь во славу республики.

Тень омрачила чело Симурдэна. Он словно внезапно очнулся от сна и уныло пробормотал:

– Стало быть, он и вправду милосерден.

VI. Зажившая рана и кровоточащее сердце

Сабельный удар заживает быстро; но еще не зажили раны более глубокие, чем у Симурдэна. Мы говорим о расстрелянной женщине, которую на ферме «Соломинка» подобрал в луже крови старый нищий Тельмарш.

Тельмарш и не подозревал, что состояние Мишели Флешар куда серьезнее, чем ему показалось вначале. Пуля пробила ей грудь и вышла через лопатку, вторая пуля раздробила ключицу, а третья – плечевую кость; но поскольку легкое не было задето, оставалась надежда на выздоровление. Недаром крестьяне называли Тельмарша «философом», подразумевая под этим словом: немножко лекарь, немножко костоправ и немножко колдун. Он перенес раненую в свою нору, ухаживал за ней, уступил ей свое ложе из сухих водорослей, пользовал ее таинственными средствами, именуемыми обычно «простонародными», и благодаря ему она выжила.

Ключица срослась, раны в груди и на плече затянулись, и через несколько недель Мишель стала выздоравливать.

Как-то утром она, с помощью Тельмарша, выбралась из «пещерки» и присела на солнышке под деревом. Тельмарш мало что знал о своей гостье; при ранении в грудь предписывается полное молчание, да и сама раненая, бывшая почти при смерти, едва произносила несколько слов. А когда она пыталась заговорить с хозяином «пещерки», он всякий раз приказывал ей замолчать; но от старика не ускользнуло, что его гостья находится во власти каких-то неотвязных дум, и подмечал порой, как в глазах ее загорались и таяли мучительные воспоминания. В это утро она чувствовала себя лучше: она могла даже пройти несколько шагов без посторонней помощи; целитель – это почти отец, и Тельмарш с радостью глядел на свое детище. Добрый старик улыбнулся ей и завел разговор:

– Ну вот, мы и поправились. Теперь у нас все зажило.

– Только сердце не зажило, – ответила Мишель.

И добавила:

– Значит, вы совсем не знаете, где они?

– Кто они? – удивился Тельмарш.

– Мои дети.

Это «значит» заключало в себе целый мир мыслей; оно выражало: «Раз вы со мной о них не говорите, раз вы просидели у моего изголовья столько дней и даже ни разу не заикнулись о них, раз вы велите мне молчать, когда я пытаюсь расспросить вас, раз вы боитесь, что я о них спрошу, значит вам нечего мне ответить». Нередко в часы бреда, лихорадки, болезненного полузабытья она звала своих детей, и она заметила, – ибо в бреду человек по-своему наблюдателен, – что старик не отвечает на ее вопросы.

Но Тельмарш и в самом деле не мог ничего ей сказать. Не так-то легко говорить с матерью о ее пропавших детях. Да и что он знал? Ничего. Знал только, что какую-то женщину расстреляли, он сам нашел ее распростертою на земле, подобрал почти бездыханной, знал также, что она мать троих детей и что маркиз де Лантенак, приказав расстрелять мать, увел с собою детей. Этим и исчерпывались все его сведения. Что сталось с детьми? Живы они или нет? Узнал он из расспросов и то, что увели двух мальчиков и девочку, недавно отнятую от груди. И ничего больше. Он сам ломал голову над судьбой злосчастных малюток и терялся в догадках. В ответ на все его расспросы крестьяне молча покачивали головой. Не такой был человек господин де Лантенак, чтобы зря судачить о нем.

Да, в округе неохотно говорили о Лантенаке и так же неохотно говорили и с Тельмаршем. Крестьяне – народ подозрительный. Они не любили Тельмарша. Тельмарш-Нищеброд внушал им какую-то тревогу. С чего это он вечно смотрит на небо? Что он делает, о чем думает, когда полдня торчит в лесу, как пень, и не шелохнется? Ясно – все это неспроста. В здешнем краю, охваченном войной, смутой и огнем пожарищ, где у каждого была одна забота – уничтожать и одно занятие – резать, где все наперегонки старались поджечь дом, перебить семью, заколоть вражеский караул, разграбить поселок, где каждый думал лишь о том, как бы устроить другому засаду, завлечь в ловушку и убить недруга, пока он тебя не убил, – этот отшельник, этот созерцатель природы, сливавшийся душой с необъятным покоем всего сущего, этот собиратель трав и кореньев, этот друг цветка, птицы и звезды был, само собой разумеется, человеком весьма опасным. Сразу видно, что он не в своем уме: не выслеживает врага, притаившись за кустом, ни в кого не стреляет… Немудрено, что он внушал крестьянам страх.

– Умом повредился, – говорили прохожие.

Тельмарш жил на положении человека не только одинокого среди людей, но избегаемого людьми.

К нему не обращались с вопросами, и на его вопросы не отвечали. Так что при всем желании он не мог бы много разузнать. Война ушла из их округи в соседние, теперь люди бились где-то далеко, маркиз де Лантенак исчез с горизонта, а такой человек, как Тельмарш, замечает войну лишь тогда, когда она придавит его своей пятою.

Услышав слова «мои дети», Тельмарш перестал улыбаться, а мать углубилась в свои думы. Что происходило в ее душе? Она словно пребывала на дне пропасти. Вдруг она подняла на Тельмарша взор и снова воскликнула – на этот раз почти гневно:

– Мои дети!

Тельмарш опустил голову, точно виноватый.

Он думал о маркизе де Лантенаке, который, конечно, не думал о нем и, вероятно, даже забыл о его существовании. Тельмарш понимал это и твердил про себя: «Когда господа в опасности, они вас отлично знают; когда опасность миновала, они с вами и не знакомы».

Он спрашивал себя: «Зачем же в таком случае я спас маркиза?»

И отвечал себе: «Потому что он человек».

Он думал и думал, и снова перед ним возникал вопрос: «Да полно, человек ли он?»

И вновь он повторял про себя горькие слова: «Если бы я только знал!»

Случившееся угнетало его, ибо все, что он совершил тогда, стало для него самого неразрешимой загадкой. Он мучительно думал. Значит, добрый поступок может оказаться дурным поступком. Кто спасает волка, – убивает ягнят. Кто выхаживает коршуна с подбитым крылом, тот сам оттачивает его когти.

Он почувствовал себя и впрямь виноватым. Эта мать, в своем неразумном гневе, права.

Однако он спас ей жизнь, и это в какой-то мере извиняло его в том, что он спас жизнь маркиза.

А дети?

Мать тоже задумалась. И хотя оба молчали, мысли их текли в одном направлении, и, быть может, им суждено было встретиться где-то там, в глубине их общего тяжелого раздумья.

Но вот она снова подняла на Тельмарша темный, как ночь, взгляд.

– Что же это такое делается? – воскликнула она.

– Тс! – сказал Тельмарш, приложив палец к губам.

Но она продолжала:

– Напрасно вы меня спасли, я на вас в обиде. Лучше бы мне умереть, тогда бы я хоть оттуда видела их. Я знала бы, где они. Они бы меня не видели, но я бы все время была с ними. Мертвая, я бы им стала заступницей.

Тельмарш взял ее за руку и пощупал пульс.

– Успокойтесь, не то снова лихорадка начнется.

Она спросила его почти сурово:

– Когда я могу уйти?

– Уйти?

– Ну да. Прочь уйти.

– Никогда, если не будете вести себя благоразумно. А если будете умницей – завтра же.

– А что значит быть умницей?

– Во всем полагаться на бога.

– На бога! А куда он дел моих детей?

Она была словно в бреду. И заговорила тихим голосом:

– Поймите, не могу я оставаться здесь. У вас нет детей, а у меня были. А это разница. Нельзя судить о том, чего сам не испытал. Ведь нет у вас детей, нет?

– Нет, – ответил Тельмарш.

– А у меня только и было что дети. Что я такое без детей? Да объясните мне хоть кто-нибудь, почему нет моих детей? Чувствую, что-то случилось, а понять не могу. Мужа моего убили, меня расстреляли, – и все-таки я ничего не пойму.

– Ну вот, опять лихорадка началась, – сказал Тельмарш. – Вам вредно так много говорить.

Она взглянула на него и замолчала.

С этого дня она вообще перестала говорить.

Тельмарш уже не рад был, что велел ей молчать. Целые часы она в оцепенении сидела, скорчившись, у старого дуба. Она думала о чем-то и молчала. Молчание – прибежище простых душ, вступивших в зловещие недра скорби. Казалось, она не желает ничего понимать. Дойдя до известной глубины отчаянья, отчаявшийся уже не сознает этой глубины.

Тельмарш с волнением следил за ней. Перед лицом такого страдания душе старика открылась душа матери. «Да, – думал он, – уста ее безмолвны, но глаза говорят: я понимаю,

какая мысль неотвязно мучит ее. Быть матерью и перестать быть ею! Кормить младенца и перестать кормить! Нет, не может она смириться. Она думает о малютке, которую еще так недавно отняла от груди. О ней она думает, о ней, о ней. И в самом деле, как должно быть сладостно чувствовать у своей груди крохотные розовые губки и с радостью отдавать вместе с материнским молоком всю себя, отдавать свою жизнь, чтобы младенцу жить и крепнуть».

И Тельмарш тоже молчал, он понял, как бессильны перед такой смертельной тоской все людские слова. Одержимый страшен своей молчаливостью. И можно ли заставить одержимую горем мать прислушаться к голосу рассудка? Материнство замкнуто в самом себе; с ним нельзя спорить. Мать чем-то близка к животному, и потому она так возвышенно прекрасна. Материнский инстинкт есть инстинкт в самом божественном смысле этого слова. Мать уже не женщина, мать – это самка.

Дети – это детеныши.

Потому-то в каждой матери есть нечто, что ниже рассудка и в то же время выше его. Мать наделена особым чутьем. В ней живет могучая и неосознанная воля к созиданию, и эта воля ведет ее. В слепоте матери есть что-то от ясновиденья.

Теперь уже сам Тельмарш старался вызвать бедняжку на разговор; но все его попытки были тщетны. Однажды он сказал:

– К несчастью, я старик и не могу много ходить. Я устаю, когда и уставать-то не от чего. Иной раз походишь с четверть часа, и ноги уже не слушаются; хочешь не хочешь, приходится присесть отдохнуть, а то я бы непременно пошел с вами. Впрочем, может быть, моя немощь и к лучшему. От меня вам, пожалуй, будет больше вреда, чем пользы; здесь ко мне притерпелись; но синие относятся ко мне с подозрением – мужик, мол, а крестьяне считают колдуном.

Он ждал ответа. Но она даже не взглянула в его сторону.

Навязчивая мысль приводит или к безумию, или к героизму. Но какой героический поступок способна совершить крестьянка? Увы, никакой. Она может быть лишь матерью, и только матерью. С каждым днем она все больше уходила в себя. А Тельмарш наблюдал за ней.

Он пытался развлечь ее; он принес ей ниток, иголку, наперсток, и, желая доставить удовольствие бедному старику, она взялась за шитье; она попрежнему была погружена в свои мысли, но работала – верный признак выздоровления; силы мало-помалу возвращались к ней; она перештопала свое белье, зачинила платье и башмаки, но глаза ее глядели стеклянным, невидящим взглядом. Иногда за работой она потихоньку напевала какие-то песенки, бормотала какие-то имена, должно быть имена своих детей, но Тельмарш ничего не мог разобрать. Временами она бросала шить и прислушивалась к пению птиц, словно надеясь, что они прощебечут ей долгожданную весть. Она смотрела на небо, не идут ли тучи, не будет ли непогоды. Губы ее беззвучно шевелились. Она о чем-то тихонько говорила сама с собой. Она сшила мешок и доверху набила его каштанами. Однажды утром Тельмарш увидел, что она тронулась в путь, глядя неподвижным взором в лесную чащу.

– Куда вы? – крикнул он.

– Иду за ними, – ответила она.

Он не пытался ее удержать.

VII. Два полюса истины

По прошествии нескольких недель, полных превратностей гражданской войны, во всем Фужерском краю только и было разговоров о том, как два человека, разные во всем, творили одно и то же дело, иначе сказать бились бок о бок в великой революционной битве.

Еще длился кровавый вандейский поединок, но под ногами вандейцев уже горела земля. В Иль-э-Вилэне после победы молодого полководца, столь умело противопоставившего в городке Доль отваге шести тысяч роялистов отвагу полутора тысяч патриотов, восстание если

не совсем утихло, то во всяком случае действовало на сузившемся и ограниченном пространстве. Вслед за дольским ударом воспоследовали другие военные удачи, и благодаря этому сложилась новая ситуация.

Обстановка резко изменилась, но одновременно возникло и своеобразное осложнение.

Во всей этой части Вандеи республика взяла верх – в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но какая республика? В свете близкой уже победы обрисовывались две формы республики: республика террора и республика милосердия, одна стремилась победить суровостью, а другая кротостью. Какая же возобладает? Обе эти формы – примирение и беспощадность – были представлены двумя людьми, причем каждый пользовался и влиянием и авторитетом: один – военачальник, второй – гражданский делегат; какому из двух суждено было восторжествовать? Один из них – делегат, имел могучую и страшную поддержку; он привез грозный наказ Коммуны Парижа батальонам Сантерра: «Ни пощады, ни снисхождения!» Для вящего авторитета ему был дан декрет Конвента, гласивший: «Смертная казнь каждому, кто отпустит на свободу или будет способствовать бегству одного из пленных вождей мятежников»; он был облечен полномочиями Комитета общественного спасения и приказом за тремя подписями: Робеспьер, Дантон, Марат. На стороне другого была лишь сила милосердия.

За него были только его рука, разящая врагов, и сердце, милующее их. Победитель, он считал себя вправе щадить побежденного.

Так начался скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Оба они парили каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж, и каждый карал его своим мечом – один победоносно на поле боя, другой – террором.

По всей Дубраве только и говорили о них; и устремленные отовсюду взоры следили за их действиями с тем большей тревогой, что два эти человека, столь различные во всем, были в то же время связаны неразрывными узами. Эти два противника были и двумя друзьями. Никогда чувство, более возвышенное и глубокое, не соединяло двух сердец; беспощадный спас жизнь милосердному и поплатился за это рубцом на лице. Эти два человека воплощали: один – смерть, второй – жизнь; один олицетворял принцип устрашения, второй – принцип примирения, и оба любили друг друга. Странное противоречие! Вообразите себе милосердного Ореста и беспощадного Пилада. Вообразите Аримана родным братом Ормузда.

Добавим, что тот, кого именовали «жестоким», был также и самым мягкосердечным из людей; он собственноручно перевязывал раненых, выхаживал недужных, сутками не выходил из походных госпиталей и лазаретов; не мог без слез видеть какого-нибудь босоногого мальчонку и ничего не имел, так как раздавал бедным все, что у него было. Когда начиналась битва, он первым бросался в бой, он шел впереди солдат, кидался в самую гущу схватки, вооруженный двумя пистолетами и саблей и в то же время безоружный, ибо никто ни разу не видел, чтобы он вытащил саблю из ножен или выстрелил из пистолета. Он смело встречал удары, но не возвращал их. Ходил слух, что он был священником.

Один из них был Говэн, другой – Симурдэн.

Дружба царила меж этими двумя людьми, но меж двумя принципами не унималась вражда, как если бы единую душу рассекли надвое и разъединили навеки; и действительно, Симурдэн словно отдал Говэну половину души – ту, что являла собой кротость. Светлый ее луч почил на Говэне, а черный луч, если только бывают черные лучи, Симурдэн оставил себе. Отсюда глубокий разлад. Эта тайная война рано или поздно должна была стать явной. И в одно прекрасное утро битва началась.

Симурдэн спросил:

– Каково положение дел?

Говэн ответил:

– Вы знаете это не хуже меня. Я рассеял шайки Лантенака. При нем теперь всего горстка людей. Мы загнали их в Фужерский лес. И через неделю окружим.

– А через две недели?

– Возьмем его в плен.

– А потом?

– Вы читали мое объявление?

– Читал. Ну и что же?

– Он будет расстрелян.

– Опять милосердие! Лантенак должен быть гильотинирован.

– Я за воинскую казнь, – возразил Говэн.

– А я, – возразил Симурдэн, – за казнь революционную.

Он взглянул в глаза Говэну и добавил:

– Почему ты отпустил на свободу монахинь из обители Сен-Мар-ле-Блан?

– Я не воюю с женщинами, – ответил Говэн.

– Однакож эти женщины ненавидят народ. А в ненависти женщина стоит двадцати мужчин. Почему ты отказался отправить в Революционный трибунал всю эту свору – старых фанатиков попов, захваченных при Лувинье?

– Я не воюю со стариками.

– Старый священник хуже молодого. Мятежи еще опаснее, когда к ним призывают седовласые старцы. Седины внушают доверие. Остерегайся ложного милосердия, Говэн. Цареубийцы суть освободители. Зорко следи за башней тюрьмы Тампль.

– Следи! Будь моя воля – я выпустил бы дофина на свободу. Я не воюю с детьми.

Взгляд Симурдэна стал суровым.

– Знай, Говэн, надо воевать с женщиной, когда она зовется Мария-Антуанетта, со старцем, когда он зовется папа Пий Шестой, и с ребенком, когда он зовется Луи Капет.

– Учитель, я человек далекий от политики.

– Смотри, как бы ты не стал человеком опасным для нас. Почему при штурме Коссе, когда мятежник Жан Третон, окруженный, чуя гибель, бросился с саблей наголо один против всего твоего отряда, почему ты закричал солдатам: «Ряды разомкни. Пропустить его».

– Потому что не ведут в бой полторы тысячи человек, чтобы убить одного.

– А почему в Кайэтри д'Астилле, когда ты увидел, что твои солдаты собираются добить раненого вандейца Жозефа Безье, уже упавшего на землю, почему ты тогда крикнул: «Вперед! Я сам займусь им!» – и выстрелил в воздух.

– Потому что не убивают лежачего.

– Ты неправ. Оба пощаженные тобой стали главарями банд: Жозеф Безье зовется теперь «Усач», а Жан Третон – «Серебряная Нога». Ты спас двух человек, а дал республике двух врагов.

– Я хотел приобрести для нее друзей, а не давать ей врагов.

– Почему после победы под Ландеаном ты не приказал расстрелять триста пленных крестьян?

– Потому что Боншан пощадил пленных республиканцев, и мне хотелось, чтобы повсюду говорили: республика щадит пленных роялистов.

– Значит, если ты захватишь Лантенака, ты пощадишь его?

– Нет.

– Почему же нет? Ведь пощадил же ты триста крестьян.

– Крестьяне не ведают, что творят, а Лантенак знает.

– Но Лантенак тебе сродни.

– Франция – наш великий родич.

– Лантенак – старик.

– Лантенак не имеет возраста. Лантенак – чужой. Лантенак призывает англичан. Лантенак – это иноземное вторжение. Лантенак – враг родины. Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью.

– Запомни, Говэн, эти слова.

– Ведь это мои слова.

Последовало молчание; они смотрели друг на друга.

Говэн заговорил первым:

– Кровавой датой войдет в историю нынешний, девяносто третий год.

– Берегись, – воскликнул Симурдэн. – Да, существует страшный долг. Не обвиняй того, на ком не может быть вины. С каких это пор врач стал виновником болезни? Да, ты прав, этот великий год войдет в историю, как год, не знающий милосердия. Почему? Да потому, что это великая революционная година. Нынешний год олицетворяет революцию. У революции есть враг – старый мир, и она не знает милосердия в отношении его, точно так же как для хирурга гангрена – враг, и он не знает милосердия в отношении ее. Революция искореняет монархию в лице короля, аристократию в лице дворянина, деспотизм в лице солдата, суеверие в лице попа, варварство в лице судьи – словом, искореняет всю и всяческую тиранию в лице всех и всяческих тиранов. Операция страшная, но революция совершает ее твердой рукой. Ну, а если при том прихвачено немного и здорового мяса, спроси-ка на сей счет мнение нашего Бергава. Разве удаление злокачественной опухоли обходится без потери крови? Разве не тушат пожара огнем? Кровь и огонь – необходимые и грозные предпосылки успеха. Хирург походит на мясника, целитель может иной раз показаться палачом. Революция свято выполняет свой роковой долг. Пусть она калечит, зато она спасает. А вы, вы просите у нее милосердия для вредоносных бацилл. Вы хотите, чтобы она щадила заразу? Она не склонит к вам слух. Прошлое в ее руках. Она добьет его. Она делает глубокий надрез на теле цивилизации, чтобы открыть путь будущему здоровому человечеству. Вам больно? Ничего не поделаешь. Сколько времени это продлится? Столько, сколько продлится операция. Зато вы останетесь в живых. Революция отсекает старый мир. И отсюда кровь, отсюда девяносто третий год.

– Хирург не теряет хладнокровия, – возразил Говэн, – а вокруг нас все ожесточились.

– Труженики революции должны быть беспощадны, – ответил Симурдэн. – Она отталкивает руку, охваченную дрожью. Она верит лишь непоколебимым. Дантон – страшен, Робеспьер – непреклонен, Сен-Жюст – непримирим, Марат – неумолим. Берегись, Говэн! Не пренебрегай этими именами. Для нас они стоят целых армий. Они сумеют устрашить Европу.

– А может быть, и будущее, – заметил Говэн.

Помолчав, он заговорил:

– Впрочем, вы заблуждаетесь, учитель. Я никого не обвиняю. По моему мнению, с точки зрения революции правильнее всего говорить о безответственности. Нет невиновных, нет виноватых. Людовик Шестнадцатый – баран, попавший в стаю львов. Он хочет убежать, хочет спастись, он пытается защищаться; будь у него зубы, он укусил бы. Но не всякому дано быть львом. Такое поползновение было зачтено ему в вину. Как, баран в гневе посмел ощерить зубы! «Изменник!» – кричат львы. И они пожирают его. А затем грызутся между собой.

– Баран – животное.

– А львы, по-вашему, кто?

Симурдэн задумался. Потом вскинул голову и сказал:

– Львы – это совесть, львы – это идеи, львы – это принципы.

– А действуют они с помощью террора.

– Придет время, когда в революции увидят оправдание террора.

– Смотрите, как бы террор не стал позором революции.

И Говэн добавил:

– Свобода, Равенство, Братство – догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же превращать их в какие-то чудища? Чего мы хотим? Приобщить народы к всемирной республике. Так зачем же отпугивать их? К чему устрашать? Народы, как и птиц, не приманишь пугалом. Не надо творить зла, чтобы творить добро. Низвергают трон не для того, чтобы воздвигнуть на его месте эшафот. Смерть королям, и да живут народы. Снесем короны и пощадим головы. Революция – это согласие, а не ужас. Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово «прощение» для меня самое прекрасное из всех человеческих слов. Я могу проливать чужую кровь лишь при том условии, что может пролиться и моя. Впрочем, я умею только воевать, я всего лишь солдат. Но если нельзя прощать, то и побеждать не стоит. Будем же в час битвы врагами наших врагов и братьями их после победы.

– Берегись, – повторил Симурдэн в третий раз. – Ты, Говэн, мне дороже, чем родной сын. Берегись!

И он задумчиво добавил:

– В такие времена, как наши, милосердие может стать одним из обликов измены.

Если бы кто-нибудь услышал этот спор, он сравнил бы его с диалогом топора и шпаги.

VIII. Dolorosa[416]

А тем временем мать искала своих малюток.

Она шла куда глаза глядят. Чем только была она жива? Трудно сказать. Она и сама бы не ответила на этот вопрос. Она шла дни и ночи; она просила подаяние, ела дикие травы, спала прямо на земле, под открытым небом, забившись под куст; иной раз над нею мерцали звезды, иной раз – ее мочил дождь и пробирал до костей холодный ветер.

Она брела от деревни к деревне, от фермы к ферме, расспрашивая о судьбе своих детей. Она робко останавливалась на пороге. Платье ее превратилось в лохмотья. Иногда ей давали приют, иногда ее гнали прочь. Когда ее не пускали в дом, она шла в лес.

В здешние края она попала впервые, да и вообще-то не знала ничего, кроме своего Сискуаньяра и прихода Азэ, никто не указывал ей дороги, она шла, потом возвращалась обратно, снова начинала тот же путь, делая ненужные крюки. То шла она по мощеной мостовой, то по проселочным колеям, то по тропке, вьющейся среди кустарника. От бродячей жизни вся ее одежда пришла в окончательную ветхость. Сначала она шла в башмаках, затем босая и под конец едва ступала израненными ногами.

Она шла сквозь войну, сквозь ружейные залпы, ничего не слыша, ничего не видя, не думая об опасности, – она искала своих детей. Весь край был взбудоражен, не стало больше ни сельских стражников, ни мэров, ни властей. Ей попадались только случайные прохожие.

Она обращалась к ним. Она спрашивала:

– Не видели ли вы троих маленьких детей?

Прохожий оборачивался на голос.

– Двух мальчиков и девочку, – поясняла она.

И продолжала:

– Рене-Жана, Гро-Алэна, Жоржетту? Не встречали?

И добавляла:

– Старшему четыре с половиной, маленькой год восемь месяцев.

Она допытывалась:

– Вы не знаете, где они? Их у меня отняли.

Прохожий глядел на нее, не отвечая.

Видя, что ее не понимают, она пускалась в объяснения:

– Это мои дети. Вот я и спрашиваю про них.

Люди шли своей дорогой. Тогда она останавливалась и, молча, раздирала ногтями себе грудь.

Как-то раз один крестьянин терпеливо выслушал ее. Добряк старался что-то припомнить.

– Подождите-ка, – сказал он. – Трое ребятишек?

– Да.

– Двое мальчиков?

– И девочка.

– Вы их ищете?

– Да.

– Слыхал я, как говорили, что какой-то сеньор забрал троих ребятишек и держит их при себе.

– Где этот человек? – воскликнула она. – Где мои дети?

Крестьянин ответил:

– Идите в Ла Тург.

– Значит, там я найду своих детей?

– Может, и найдете.

– Как вы сказали?..

– Ла Тург.

– А что это – Ла Тург?

– Место такое.

– Это село? Замок? Ферма?

– Никогда там не бывал.

– А это далеко?

– Не близко.

– А где?

– В сторону Фужера.

– Как туда попасть?

– Сейчас мы с вами в Ванторте, – пояснил крестьянин, – идите на Лоршан, так, чтобы у вас по левую руку оставался Эрне, а по правую – Коксель, а там пройдете через Леру.

И крестьянин указал рукой куда-то на запад.

– Так и идите все прямо и прямо, вон туда, где солнце садится.

Не успел крестьянин опустить руку, как мать уже отправилась в путь.

Крестьянин крикнул ей вслед:

– Смотрите, будьте осторожнее. Там сражаются.

Она не ответила на его слова, даже не обернулась, и продолжала идти на запад.

IX. Провинциальная Бастилия

1. Ла Тург

Еще лет сорок тому назад путник, проникший в Фужерский лес со стороны Леньеле и направляющийся к Паринье, невольно остановился бы на опушке бора, пораженный мрачным зрелищем. Там, где кончались заросли, перед ним внезапно возникал замок Ла Тург.

Но не живой Тург, а лишь прах Турга. Тург полуразрушенный, весь в трещинах, в пробоинах, в рубцах. Здание и его руины – это то же, что человек и его призрак. Тург вставал перед путником пугающим видением. Первой бросалась в глаза высокая круглая башня, стоявшая одиноко на опушке леса, словно ночной тать. Башня, возведенная на самом краю обрывистой скалы, напоминала основательностью и строгостью линий творения римской архитектуры, да и вся эта громада воплощала в себе идею величия в такой же мере, как и идею упадка. Впрочем, не случайно она походила на римские башни, ибо была башней романской. Заложили ее в девятом веке, а достроили в двенадцатом, после третьего крестового похода. Импосты оконных проемов свидетельствовали об ее возрасте. Путник подходил ближе, подымался по крутому откосу, замечал пролом и, если у него хватало духу проникнуть внутрь, входил и, войдя, убеждался, что башня пуста. Она напоминала гигантскую каменную трубу, поставленную горнистом прямо на землю. Сверху донизу ни одного перекрытия, ни крыши, ни потолка, ни пола, только остатки сводов и очагов, бойницы и амбразуры для лебедок на различной высоте, гранитные выступы и несколько поперечных балок, обозначавших прежнее деление на этажи и побелевших от помета ночных птиц; могучие стены пятнадцати футов толщиной в нижней части и двенадцати в верхней, кое-где провалы и дыры, бывшие двери, через которые виднелись темные лестницы, высеченные в толще стен. А вечером путник услышал бы уханье сов, крик цапли, кваканье жаб, писк летучих мышей, разглядел бы под ногами среди колючих растений и камней гадов, а над головой звездное небо, как бы заключенное в черный каменный круг, словно в устье огромного колодца.

По местному обычаю, на верхних этажах башни имелись потайные двери, вроде тех, что встречаются в гробницах иудейских царей: огромный камень поворачивается вокруг своей оси, открывает проход, затем закрывается – и снова перед вашим взором сплошная стена; эта архитектурная традиция была занесена во Францию крестоносцами вместе с восточной огивой. Двери эти нельзя было обнаружить – так плотно прилегали они к камням стены. И в наши дни можно еще видеть такие двери в таинственных селениях Антиливана, уцелевших от землетрясения, которое уничтожило в царствование Тиберия двенадцать городов.

2. Пролом

Пролом, через который попадали внутрь башни, образовался вследствие подкопа и взрыва мины. Человек, знакомый с трудами Эррара, Сарди и Пагана, признал бы, что мина в свое время была подведена с величайшим искусством. Пороховая камера конической формы по своим размерам вполне соответствовала массивности башни, которую предстояло взорвать. В эту камеру входило по меньшей мере два квинтала пороха. Туда вел змеевидный ход, который намного практичнее, нежели прямой; после взрыва мины в толще треснувшего камня стал ясно виден этот ход, диаметром в куриное яйцо. Башне была нанесена глубокая рана, и через этот пролом осаждающие, должно быть, и проникли внутрь. По видимости, башня эта выдержала в различные эпохи не одну регулярную осаду; всю ее иссекло ядрами; и следы их относились к разному времени; каждое ядро клеймит на свой лад, каждое ядро оставило на крепостной стене свой шрам – от каменных ядер четырнадцатого века до чугунных восемнадцатого столетия.

Через этот пролом можно было попасть туда, где раньше, надо полагать, помещался нижний этаж. Напротив пролома прямо в стене открывалась дверца в склеп, который был высечен в скале и тянулся под полом залы нижнего этажа.

Этот склеп, на три четверти засыпанный землей, был расчищен в 1835 году стараниями бернейского антиквара господина Огюста Ле Прево.

3. Каземат

Склеп служил казематом. Такой каземат имелся в ту пору в каждой башне. Склеп, как и большинство подземных узилищ, был устроен в два этажа. Первый его этаж, куда попадали через узкую дверцу, представлял собой довольно обширное помещение со сводчатым потолком и находился на одном уровне с нижним этажом башни. На двух противоположных стенах склепа виднелись две параллельные полосы, которые шли вверх по потолку, и там их след был особенно четок, напоминая две глубокие колеи. Это и впрямь были колеи. И даже проложены они были колесами. В стародавние феодальные времена в этом помещении четвертовали людей по способу, менее шумному, чем казнь с помощью четырех лошадей. Для этой цели употреблялись два колеса, столь большие и массивные, что они касались одновременно и стен и свода. Преступника привязывали за руку и ногу к каждому колесу, потом колеса вращали в противоположном направлении, и человека разрывало на части. Эта операция требовала немалых усилий; поэтому-то в стене и остались две колеи, выщербленные там, где колеса соприкасались с каменной кладкой. Подобное помещение можно видеть еще и ныне в Виандене.

Под этой комнатой находилась другая. Это и был каземат в собственном смысле слова. Попадали в него не через дверь, а через отверстие в полу. Узника, раздетого донага, подвязывали подмышки веревкой и опускали в склеп через люк, проделанный среди каменных плит пола верхнего помещения. Если человек по случайности оставался жив, ему бросали через отверстие еду. Подобные отверстия можно видеть еще и ныне в Буйоне.

Через это отверстие поступал воздух. Помещение, вырытое под полом нижнего этажа башни, представляло собой скорее колодец, нежели комнату. В нее проникала вода, по ней разгуливал ледяной ветер. Ветер, приносивший верную смерть узнику нижнего каземата, нес жизнь заключенному на верхнем этаже. Иначе человек задохся бы. Тот, кто был заключен наверху и продвигался лишь ощупью по своей сводчатой темнице, мог дышать только благодаря этому отверстию. Впрочем, тот, кто попадал туда, на своих ли ногах, или сброшенным на веревке, уже не выходил отсюда живым. В этой кромешной тьме узнику приходилось все время быть начеку. Один неверный шаг – и узник верхнего каземата становился узником нижнего. Впрочем, выбор был за ним. Если он цеплялся за жизнь, он остерегался этого отверстия; если жизнь становилась ему невмоготу, искал в нем спасения. Верх был тюрьмой, низ – могилой. Так же примерно было устроено и тогдашнее общество.

Наши предки называли такие узилища «каменным мешком». Исчезли каменные мешки, и самое выражение утратило для нас первоначальный смысл. Благодаря революции мы можем произносить это слово с полным спокойствием.

Снаружи, над проломом, который сорок лет тому назад служил единственным входом в башню, виднелась амбразура более широкая, чем остальные бойницы; с нее свисала железная решетка, вывороченная из своего ложа и погнутая.

4. Замок на мосту

Со стороны, противоположной пролому, непосредственно к башне примыкал пощаженный временем каменный трехарочный мост. Раньше на этом мосту стояло здание, от коего остались лишь руины. Это здание, с явными следами пожара, представляло собой почерневший остов,

сквозной костяк, через который свободно проходил дневной свет; башня и замок стояли рядом, словно скелет рядом с призраком.

Ныне эти руины окончательно рассыпались, и от них не осталось ничего. То, что воздвигалось многими веками и многими монархами, пало от руки одного крестьянина и в один день.

Ла Тург на здешнем крестьянском языке, склонном сливать слова, означает Ла Тур Говэн, точно так же, как Жюпель означает Жюпельер, равно как имя одного из вожаков вандейских банд горбуна Пэнсон-Череп должно было значить Пэнсон-Черепаха.

Тург, сорок лет тому назад бывший руиною, а ныне ставший призраком, был в девяносто третьем году крепостью. Эта фортеция, принадлежавшая роду Говэнов, преграждала с запада подход к Фужерскому лесу, который в наши дни не заслуживает названия даже перелеска.

Цитадель возвели на одной из сланцевых скал, которых такое множество между Майенном и Динаном; они в беспорядке нагромождены среди зарослей кустарника и вереска, и кажется, что титаны в гневе швыряли эти глыбы друг в друга.

Вся крепость в сущности и состояла из одной башни; она возвышалась на скале, у подножья скалы протекал ручей, в январе – полноводный, как горный поток, и пересыхающий в июне.

Сведенная ныне к одной только башне, крепость была в средние века почти неприступна. Единственным уязвимым ее местом являлся мост. Средневековые Говэны построили крепость без моста. В нее попадали через висячие мостки, которые ничего не стоило разрушить одним ударом топора. Пока Говэны носили титул виконтов, такая крепость их вполне удовлетворяла, даже ласкала их взор; но, ставши маркизами и покинув свое гнездо ради королевского двора, они перекинули через поток трехарочный мост, чем открыли к себе путь из долины, а себе открыли путь к королю. Господа маркизы в семнадцатом веке и госпожи маркизы в восемнадцатом уже не дорожили неприступностью. Все подражали Версалю, как прежде примеру предков.

Напротив башни с западной ее стороны простиралось довольно высокое плоскогорье, которое постепенно переходило в равнину; оно почти достигало подножья башни и отделялось от нее лишь крутым оврагом, по дну которого протекала речка, приток Куэнона. Мост, единственное связующее звено между крепостью и плоскогорьем, покоился на высоких устоях; на них-то и стояло, как в Шенонсо, здание в стиле Мансара, более пригодное для жилья, нежели башня. Но тогдашние нравы еще отличались суровостью; сеньоры предпочитали ютиться в каморках башни, похожих на тайники. Через все строение, стоявшее на мосту и представлявшее собой небольшой замок, шел длинный коридор, служивший одновременно прихожей и называвшийся кордегардией; над кордегардией помещалась библиотека, а над библиотекой чердак. Высокие узкие окна, богемские стекла в частом свинцовом переплете, пилястры в простенках, скульптурные медальоны по стенам; три этажа: в нижнем – алебарды и мушкетоны, в среднем – книги, в верхнем – мешки с овсом, – во всем облике замка было что-то варварское, но вместе с тем и благородное.

Стоявшая рядом башня казалась дикаркой.

Своей мрачной громадой она подавляла кокетливое строеньице. С ее плоской крыши ничего не стоило уничтожить мост.

Столь близкое соседство двух зданий – одного грубого, другого изящного – скорее коробило, чем радовало глаз гармонией. По стилю они не подходили друг к другу: хотя два полукружья, казалось бы, всегда одинаковы, тем не менее округлая романская арка ничем не похожа на классический архивольт. Башня, достойная сестра пустынных лесов, окружавших ее, была весьма неподходящей соседкой для моста, достойного украсить версальские сады. Представьте себе Алэна-Бородача под руку с Людовиком XIV. Страшный союз. И тут и там величие, но в сочетании – варварство.

С точки зрения военной, мост, повторяем, отнюдь не служил башне защитой. Он украшал ее и обезоруживал; выигрывая в красоте, крепость проигрывала в силе. Мост низводил ее на один уровень с плоскогорьем. Попрежнему неприступная со стороны леса, она стала уязвимой со стороны равнины. В былые времена башня господствовала над плоскогорьем, теперь плоскогорье господствовало над ней. Враг, овладевший плоскогорьем, быстро овладел бы и мостом. Библиотека и чердачное помещение становились пособниками осаждающих и обращались против крепости. Библиотека и чердак схожи в том отношении, что бумага и солома – горючий материал. Для осаждающего, который прибегает к помощи огня, безразлично: сжечь ли Гомера, или охапку сена – лишь бы хорошо горело, что французы и доказали немцам, спалив Гейдельбергскую библиотеку, а немцы доказали французам, спалив библиотеку Страсбургскую. Итак, этот мост, пристроенный к башне, был ошибкой с точки зрения стратегической; но в семнадцатом веке, при Кольбере и Лувуа, принцы Говэны, так же как и принцы Роганы или принцы Тремуйли, и думать забыли об осадах. Строители моста все же приняли кое-какие меры предосторожности. Прежде всего они предусмотрели возможность пожара; под окнами, обращенными в сторону рва, подвесили на крюках, которые можно было видеть еще полвека тому назад, надежную спасательную лестницу, доходившую до второго этажа и превосходившую высотой три обычных этажа; предусмотрели и возможность осады: мост отделили от башни посредством тяжелой низкой сводчатой двери, обитой железом; запиралась она огромным ключом, который хранился в тайнике, известном одному лишь хозяину; будучи на запоре, дверь эта не боялась никакого тарана и, пожалуй, устояла бы и перед пушечным ядром.

Чтобы добраться до двери, надо было пройти через мост, и надо было пройти через дверь, чтобы попасть в башню. Иного входа не имелось.

5. Железная дверь

Второй этаж замка, благодаря тому, что здание стояло на мосту, соответствовал третьему этажу башни; на этом-то уровне, для вящей безопасности, и пробили железную дверь.

Со стороны моста дверь выходила в библиотеку, а со стороны башни в большую залу, своды которой поддерживала посредине мощная колонна. Зала, как мы уже говорили, помещалась на третьем этаже башни. Она была круглая, как и сама башня; свет туда проникал сквозь узкие бойницы, из которых открывался вид на всю округу. Неоштукатуренные стены обнажали кладку, камни которой были пригнаны, впрочем, с большим искусством. В залу вела винтовая лестница, устроенная прямо в стене, что весьма легко сделать, когда толщина стен достигает пятнадцати футов. В средние века город брали улицу за улицей, улицу – дом за домом, а дом – комнату за комнатой. В крепости осаждали этаж за этажом. В этом отношении Тург был построен весьма умело; взять его представлялось делом сложным и нелегким. Из этажа в этаж подымались по спиральной лестнице, что затрудняло продвижение, а дверные проемы, расположенные наискось, были ниже человеческого роста, так что при входе приходилось наклонять голову, а, как известно, нагнувший голову подставляет ее под удар; за каждой дверью осаждающего поджидал осажденный.

Под круглой залой с колонной были расположены две такие же залы, составлявшие второй и первый этажи, а наверху шли друг над другом еще три такие же залы; эти шесть ярусов, занимавшие весь корпус башни, увенчивались каменной крышей – площадкой, куда попадали через сторожевую вышку.

Для того чтобы устроить железную дверь, пришлось пробить всю толщу пятнадцатифутовой стены; в середине образовавшегося прохода и навесили дверь; поэтому, чтобы добраться до двери со стороны моста или со стороны башни, нужно было углубиться в

проход на шесть-семь футов; когда дверь отпирали, оба прохода образовывали один длинный сводчатый коридор.

Со стороны моста в толще стены в коридоре имелась еще низенькая потайная дверца, через которую выходили на винтовую лестницу, выводящую в кордегардию, расположенную в нижнем этаже замка, прямо под библиотекой, что тоже затрудняло действия неприятеля. К плоскогорью замок был повернут глухой стеной, и здесь кончался мост. Подъемный мост, примыкавший к низкой двери, соединял замок с плоскогорьем, а поскольку плоскогорье лежало выше моста, то мост, будучи опущен, находился в наклонном положении; он вел прямо в длинный коридор, называвшийся кордегардией. Но, даже завладев этим помещением, неприятель не мог достичь железной двери, не взяв живой силой винтовую лестницу, соединявшую два этажа.

6. Библиотека

Библиотека, комната удлиненной формы, по размеру соответствовавшая ширине и длине моста, имела единственный выход – все ту же железную дверь. Потайная дверь, обитая зеленым сукном и поддававшаяся простому толчку, маскировала сводчатый проход, который приводил к железной двери. Стены библиотеки до самого потолка были заставлены застекленными шкафами, представлявшими собой прекрасный образец искусства резьбы по дереву семнадцатого века. Свет проникал сюда через шесть широких окон, пробитых над арками – по три с каждой стороны. Внутренность библиотеки была видна с плоскогорья. В простенках между окнами на резных дубовых консолях стояли шесть мраморных бюстов – Ермолая Византийского, навкратического грамматика Афинея, Свиды, Казабона, французского короля Хлодвига и его канцлера Анахалуса, который, заметим в скобках, был такой же канцлер, как Хлодвиг король.

В шкафах библиотеки хранилось изрядное количество книг. Один из увражей был известен во всем христианском мире. Мы имеем в виду древний фолиант in quarto с эстампами, на чьем заглавном листе крупными буквами значилось «Святой Варфоломей», а ниже: «От святого Варфоломея евангелие, коему предпослан трактат христианского философа Пантения, разъясняющий вопрос, следует ли почитать сие евангелие апокрифическим и есть ли основания признавать тождество святого Варфоломея с Нафанаилом». Эта книга, признанная единственным сохранившимся экземпляром, лежала на отдельном пюпитре посреди библиотеки. Еще в минувшем веке посмотреть ее съезжались любопытствующие.

7. Чердак

Чердак, построенный по образцу библиотеки, то есть вытянутый, следуя форме моста, в сущности был образован двумя скатами крыши. Это обширное помещение было завалено сеном и соломой и освещалось шестью окошками. Единственным его украшением являлась высеченная на двери фигура святого Варнавы и ниже надпись:

«Barnabus sanctus falcem jubet ire per herbam».[417]

Итак, высокая, просторная шестиэтажная башня с пробитыми там и сям бойницами – единственным своим входом и выходом – имела железную дверь, сообщавшуюся с замком, стоявшим на мосту, который в свою очередь заканчивался подъемным мостом; позади башни лес; перед ней плоскогорье, покрытое вереском, край которого возвышался над мостом, но был ниже самой башни; под мостом между башней и плоскогорьем глубокий, узкий, густо поросший кустарником овраг, зимой – грозный поток, весной – просто ручеек, каменистый ров – летом, – вот каким был Тур-Говэн, в просторечии Тург.

X. Заложники

Миновал июль, шел август месяц, по всей Франции пронеслось героическое и грозное дыхание, две тени промелькнули на горизонте – Марат с кинжалом в боку и обезглавленная Шарлотта Корде; гроза все нарастала. А Вандея, проигравшая большую войну, исподтишка вела малую, еще более опасную, как мы уже говорили; теперь война превратилась в непрерывное сражение, раздробленное на мелкие лесные стычки; великая, читай роялистская и католическая, армия начала терпеть поражение за поражением; вся майнцская армия особым декретом была переброшена в Вандею; восемь тысяч вандейцев погибли под Ансени; вандейцев оттеснили от Нанта, выбили из Монтэгю, вышвырнули из Туара, прогнали из Нуармутье, опрокинули под Шолле, у Мортани и Сомюра, они очистили Партенэ, оставили Клиссон, отошли от Шатийона, потеряли знамя в бою при Сент-Илере; они были разбиты наголову под Порником, Саблем, Фонтенэ, Дуэ, Шато-д'О, Пон-де-Сэ; они потерпели поражение под Люсоном, отступили от Шатеньерэ, в беспорядке отхлынули от Рош-сюр-Ион; однако они угрожали Ла Рошели, а в водах Гернсея бросил якорь под командованием Крэга английский флот, экипаж которого, состоявший из отборных морских офицеров-французов и многочисленных английских полков, ожидал для высадки лишь сигнала от маркиза де Лантенака. Высадка могла вновь принести победу роялистским мятежникам. Питт был злоумышленником у кормила власти; предательство является частью политики, как кинжал – частью рыцарского вооружения. Питт поражал кинжалом нашу страну и предавал свою; позорить свое отечество – значит предавать его; при нем и под его руководством Англия вела пуническую войну. Она шпионила, мошенничала, лгала. Браконьерство, подлог – она не брезговала ничем. Она опускалась до самых низких проявлений ненависти. Она скупала во Франции сало, дошедшее до пяти франков за фунт. В Лилле у одного англичанина нашли письмо от Приджера, агента Питта в Вандее, гласившее: «В деньгах можете не стесняться. Надеемся, что убийства будут совершаться с осторожностью. Старайтесь привлечь для этой цели переодетых священников и женщин. Перешлите шестьдесят тысяч ливров в Руан и пятьдесят тысяч в Кан». Письмо это Барер первого августа огласил в Конвенте. В ответ на эти коварные действия воспоследовали кровавые расправы Паррена, а затем жестокие меры Каррье. Республиканцы Меца и республиканцы Юга просили, чтобы их отправили на усмирение мятежа. Особым декретом было сформировано двадцать четыре саперные полка, получившие приказ жечь изгороди и плетни по всей лесной Бретани. Напряжение достигло предела. Война прекращалась в одном пункте, чтобы тут же возгореться в другом. «Никого не миловать! Пленных не брать!» – таков был наказ с обеих сторон. История полнилась ужасным мраком.

Этим августом замок Тург был осажден.

Однажды вечером, когда замерцали первые звезды, в тишине летних сумерек, не нарушаемой ни шорохом листвы, ни шелестом трав, внезапно раздался пронзительный звук трубы. Он шел с вышки башни.

Трубе ответил рожок, звук которого шел снизу, с равнины.

На вышке стоял вооруженный человек; внизу, под сенью леса, расположился целый лагерь.

В сумерках можно было еще различить, как вокруг Тур-Говэна движутся какие-то черные тени. Это кишел бивуак. В лесу под деревьями и среди вереска на плоскогорье там и сям загорались огоньки, и эти беспорядочно разбросанные сверкающие точки прорезали темноту, словно земля, не желая уступить небу, решила одновременно с ним засиять звездами. Зловещие звезды войны! Бивуак со стороны плоскогорья спускался до самой равнины, а со стороны леса уходил вглубь чащи. Тург был окружен со всех сторон.

Самые размеры бивуака свидетельствовали о многочисленности осаждающих.

Лагерь тесно опоясал крепость и со стороны башни подходил вплотную к скале, а со стороны моста – вплотную к оврагу.

Во второй раз послышалась труба, а за ней вторично – рожок.

Труба спрашивала, рожок отвечал.

Голосом трубы башня обращалась к лагерю: «Можно ли с вами говорить?», и лагерь голосом рожка отвечал: «Да».

В те времена Конвент не рассматривал вандейских мятежников как воюющую сторону, и специальным декретом было запрещено обмениваться с лагерем «разбойников» парламентариями; поэтому при переговорах с противником, допускаемых в обычной войне и запрещенных в войне гражданской, обеим сторонам приходилось всячески изощряться. По этой причине и начался диалог между трубой-деревенщиной и военным рожком. Первый сигнал явился как бы вступлением к дальнейшим переговорам, второй в упор ставил вопрос: «Хотите нас слушать?» Если бы на второй зов трубы рожок промолчал, это означало бы отказ; если рожок ответил, следовательно он соглашался. Это означало: начинается краткое перемирие.

Рожок ответил на второй зов трубы; человек, стоявший на вышке башни, заговорил:

– Люди, вы, что слушаете меня сейчас, я Гуж-ле-Брюан, по прозвищу «Синебой», ибо я уложил немало ваших, прозванный также «Иманусом», ибо я еще убью их вдесятеро больше, чем убил до сего дня; во время атаки Гранвиля вы ударом сабли отрубили мне указательный палец, лежавший на курке, в Лавале вы гильотинировали моего отца, мать и мою сестру Жаклину, а ей было всего восемнадцать лет от роду. Вот кто я таков.

Я говорю с вами от имени маркиза Говэна де Лантенака, виконта де Фонтенэ, бретонского принца, хозяина Семилесья и моего господина.

Так знайте же, что прежде чем запереться в этой башне, которую вы осадили, маркиз возложил военное командование на шестерых вождей, своих помощников: Дельеру он доверил всю округу между Брестской и Эрнейской дорогой; Третону – местность между Роэ и Лавалем; Жакэ, именуемому «Железной Пятой», – опушку Верхне-Мэнского леса; Голье, по прозвищу «Большой Пьер», – Шато-Гонтье; Леконту – Краон; Фужерский лес – господину Дюбуа-Ги; и Майенн – господину Рошамбо; так что можете взять эту крепость, ничего вы этим не выиграете. Если даже нашему маркизу суждено погибнуть, Вандея – господа нашего и короля – не погибнет.

Говорю я все это, чтобы вас предупредить. Маркиз де Лантенак находится здесь, рядом со мной. Я лишь уста, передающие его речь. Люди, осаждающие нас, не шумите.

Слушайте и разумейте.

Помните, что война, которую вы ведете против нас, неправая война. Мы – здешние жители, и мы деремся честно, мы – люди простые и чистые сердцем, и воля божья для нас, что божья роса для травинки. Это вы, это республика напала на нас; она пришла сюда мутить наши села, жечь наши дома и наши нивы, разбивать картечью наши фермы; это из-за вас наши жены и дети вынуждены были босые бежать в леса, когда еще пела зимняя малиновка.

Вы, люди, пришедшие сюда и слушающие мои слова, вы преследовали нас в лесу; вы осадили нас в этой башне; вы перебили или рассеяли наших союзников; у вас есть пушки; вы пополнили свой отряд гарнизонами Мортэна, Барантона, Тейеля, Ландиви, Эврана, Тэнтениака и Витре, а это значит, что вас, нападающих, четыре тысячи пятьсот человек, нас же, защищающихся, всего девятнадцать.

Но у нас достаточно пуль и пороха и хватит продовольствия. Вам удалось подвести мину и взорвать часть нашей скалы и часть стены.

Внизу башни образовалась брешь, и вы можете даже ворваться через нее, хотя башня все еще стоит крепко и сводом своим надежно прикрывает брешь.

Теперь вы готовитесь к штурму.

А мы, и первый среди нас – его светлость маркиз, бретонский принц и светский приор аббатства Лантенакской божьей матери, где ежедневно служат обедню, как установлено было еще королевой Жанной, а затем и все остальные защитники башни, в числе их господин аббат Тюрмо, именуемый в войске Гран-Франкер; мой соратник Гинуазо – командир Зеленого лагеря, мой соратник Зяблик – командир Овсяного лагеря, мой соратник Мюзетт – начальник Муравьиного лагеря, и я, простой мужик, уроженец местечка Дан, где протекает ручей Мориандр, – мы желаем объявить вам следующее.

Люди, стоящие под башней, слушайте меня.

В наших руках находятся трое пленников, иначе говоря трое детей. Детей этих усыновил один из ваших батальонов, и потому они ваши. Мы предлагаем выдать вам этих детей.

Но вот на каких условиях.

Дайте нам выйти из башни.

Если вы ответите отказом, – слушайте меня хорошенько, вам остается одно из двух: напасть на нас либо со стороны леса через брешь, либо через мост со стороны плоскогорья. В замке, стоящем на мосту, три этажа: в нижнем этаже я, Иманус, тот, кто говорит с вами, самолично припас шесть бочек смолы и сто снопов сухого вереска, в третьем этаже сложена солома, в среднем имеются книги и бумаги; железная дверь, которая соединяет замок с башней, заперта, и ключ от нее находится у его светлости маркиза де Лантенака; я собственноручно пробил под дверью дыру и протянул через нее шнур, пропитанный серой, один конец которого опущен в бочку со смолой, а другой – здесь с этой стороны двери, то есть в башне; от меня зависит подджечь его в любую минуту. Если вы откажетесь выпустить нас на волю, мы поместим троих детей во втором этаже замка между тем этажом, куда проходит пропитанный серой шнур и стоят бочки со смолой, и чердаком, где сложена солома, а железную дверь я запру своими руками. Если вы пойдете штурмом со стороны моста – вы сами подожжете замок; если вы нападете на нас со стороны леса – подожжем замок мы; если вы нападете на нас сразу и через мост и через пролом – значит, подожжем мы с вами одновременно. И дети в любом случае погибнут.

А теперь решайте: согласны вы на наши условия или нет.

Если согласны – мы уйдем.

Если отказываетесь – дети умрут.

Я кончил.

Человек, говоривший с вышки, замолк.

Чей-то голос крикнул снизу:

– Мы не согласны.

Голос прозвучал сурово и резко. Другой голос, менее суровый, но столь же твердый, добавил:

– Даю вам двадцать четыре часа на размышление, – сдавайтесь без всяких условий.

Воцарилось молчание, затем тот же голос произнес:

– Завтра, в этот же час, если вы не сдадитесь, мы начнем штурм.

А первый голос добавил:

– Но уж тогда никакой пощады!

На этот устрашающий возглас ответили с башни. При ярком сиянии звезд стоящие внизу увидели, как между двух бойниц склонилась чья-то фигура, и все узнали грозного маркиза де Лантенака, а маркиз пристально рассматривал бивуак, как бы ища кого-то взором, и вдруг воскликнул:

– Ага, да это ты, иерей!

– Да, это я, злодей! – ответил снизу суровый голос.

XI. По-древнему грозный

Суровый голос действительно принадлежал Симурдэну; голос более юный и не столь властный принадлежал Говэну.

Маркиз де Лантенак не ошибся, окликнув Симурдэна.

В короткий срок в этом краю, залитом кровью гражданской войны, имя Симурдэна, как мы говорили, приобрело грозную славу; пожалуй, редко, на чью долю выпадает столь страшная известность; о нем говорили: «В Париже Марат, в Лионе Шалье, в Вандее Симурдэн». Всеобщее уважение, которым пользовался раньше Симурдэн, обернулось теперь всеобщим порицанием; таково неизбежное следствие снятия с себя духовного сана. Симурдэн внушал ужас. Люди мрачные – обычно несчастливцы; их осуждают за их поступки, но если кто-нибудь заглянул бы им в душу, то, быть может, и отпустил такому человеку все его грехи. Непонятый Ликург покажется Тиберием. Так или иначе, два человека – маркиз де Лантенак и аббат Симурдэн – весили одинаково на весах ненависти; проклятия, которые обрушивали роялисты на голову Симурдэна, являлись как бы противовесом той брани, которой республиканцы осыпали Лантенака. Каждого из них в противостоящем лагере почитали чудовищем; именно в силу этого и произошел знаменательнейший факт – в то время как Приер Марнский оценивал в Гранвиле голову Лантенака, Шаретт в Нуармутье оценивал голову Симурдэна.

Признаемся, что эти два человека – маркиз и священник – были в каком-то отношении как бы одним существом. Бронзовая маска гражданской войны двулика – одной своей стороной она обращена к прошлому, другой – к будущему, но оба лика ее в равной степени трагичны. Лантенак был первым, а Симурдэн – вторым ликом; но горькая усмешка Лантенака была скрыта ночной мглой, а на роковом челе Симурдэна лежал отблеск встающей зари.

Тем временем осажденные в Турге получили отсрочку.

Благодаря вмешательству Говэна условились о передышке на двадцать четыре часа.

Впрочем, Иманус и впрямь был хорошо осведомлен; благодаря настойчивым требованиям Симурдэна Говэн имел под ружьем четыре с половиной тысячи человек: частично солдат национальной гвардии, частично из линейных полков; с этим отрядом он окружил Лантенака в Турге и мог выставить против него двенадцать орудий: шесть со стороны башни, на опушке леса, и шесть на плоскогорье, против замка. Кроме того, осаждавшие подвели мину, и в нижней части башни образовалась после взрыва брешь.

Итак, с окончанием суточной передышки штурм должен был начаться в описываемой ниже обстановке.

На плоскогорье и в лесу имелось четыре тысячи пятьсот человек.

В башне – девятнадцать.

Имена этих девятнадцати осажденных история сохранила в списках лиц, объявленных вне закона. Нам, возможно, придется еще встретиться с ними.

Когда Говэна поставили во главе четырех с половиной тысяч человек – почти целой армии, – Симурдэн решил добиться для своего питомца чина генерал-адъютанта. Но Говэн отказался; он заявил: «Сначала захватим Лантенака, а там посмотрим. Пока же у меня еще нет достаточно заслуг».

Впрочем, руководство крупными воинскими соединениями при небольших чинах было вполне в духе республиканских нравов. Позже Бонапарт был одновременно командиром артиллерийского эскадрона и генерал-аншефом Итальянской армии.

Странная судьба выпала на долю Тур-Говэна; один Говэн шел на нее штурмом, другой Говэн ее защищал. Поэтому нападающие действовали с известной осторожностью, чего нельзя было сказать об осажденных, так как не в натуре господина де Лантенака было щадить кого-либо и что-либо; кроме того, прожив всю жизнь в Версале, он не питал никакого пристрастия к Тургу, да и вряд ли помнил свое родное гнездо. Он укрылся в Турге просто потому, что

поблизости не оказалось более подходящего убежища, но не моргнув глазом он мог бы разрушить его до основания. Говэн же относился к родным местам с большей почтительностью.

Наиболее уязвимым местом крепости был мост; но в библиотеке, которая помещалась в замке, хранились все семейные архивы; если начать штурм со стороны моста, неизбежен пожар, а Говэну казалось, что сжечь семейные архивы все равно, что убить своих предков. Тург был фамильным замком Говэнов; из этой башни управлялись все их бретонские лены, точно так же как все лены Франции управлялись из Луврской башни; все семейные воспоминания Говэна связывались с Тургом, да и сам он родился тут; хитросплетения судеб привели Говэна к взрастившей его башне, и теперь ему, взрослому, предстояло штурмовать эти чтимые стены, под сенью которых он играл ребенком. Неужели он святотатственно подымет на нее руку, предаст огню? Может быть, там, в углу чердака или библиотеки, еще стоит его колыбелька. Порой размышления – те же чувства. Видя перед собой старинное семейное гнездо, Говэн испытывал волнение. Поэтому-то он решил пощадить мост. Он ограничился тем, что приказал зорко охранять все входы и выходы, дабы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным, а также держать мост под угрозой обстрела; для штурма же он избрал противоположную сторону. По его приказу под основание башни и подвели мину.

Симурдэн не препятствовал действиям Говэна, но упрекал себя за слабость, ибо его суровое сердце не испытывало ни малейшего умиления перед стариной, и он был так же не склонен щадить здания, как и людей. Пощадить замок – это уже начало милосердия. А милосердие было слабой стороной Говэна; Симурдэн не спускал глаз со своего питомца и старался удержать Говэна на этом пагубном, по мнению Симурдэна, пути. Но и сам он не мог глядеть на Тург без какого-то внутреннего трепета, хотя гневно корил себя; сердце его невольно смягчалось при виде библиотеки, где еще хранились книги, которые по его указанию прочел маленький Говэн; он был священником в соседнем селении Паринье; сам он, Симурдэн, жил на верхнем этаже замка; в этих комнатах, поставив между колен крошку Говэна, слушал он, как тот складывает слога; здесь, меж этих древних стен, у него на глазах его возлюбленный ученик, чадо его души, становился взрослым человеком, здесь зрел его разум. Неужели же придется разрушить и сжечь эту библиотеку, этот замок, эти стены, видевшие не раз, как он благословлял отрока Говэна? И он пощадил их. Пощадил скрепя сердце.

Он не возражал против плана Говэна – повести штурм со стороны леса. Тург как бы делился на две части: варварскую – башню и цивилизованную – библиотеку. И Симурдэн согласился с тем, что Говэн нанесет удар лишь по этой варварской части.

Итак, осажденная одним Говэном и защищаемая другим Говэном, старинная крепость в самый разгар французской революции возвращалась к своим феодальным привычкам. Вся история средних веков повествует о войнах между родичами; Этеоклы и Полиники не только греки, но также и готы, а Гамлет в Эльсиноре совершил то же, что совершил Орест в Аргосе.

XII. Надежда па спасение

Всю ночь обе стороны неутомимо готовились к бою.

Как только окончились зловещие переговоры, Говэн первым делом позвал своего лейтенанта.

Надо сказать, что Гешан, человек заурядный, но честный и мужественный, был как бы создан для вторых ролей, – образцовый солдат, однако посредственный военачальник, смышленый, впрочем лишь до того предела, за которым долг повелевает ничего не видеть и не слышать, ни разу в жизни ничему не умилившийся, ни разу не поддавшийся позорной слабости, в чем бы таковая ни проявлялась, в подкупе ли, совращающем совесть человека, в сострадании ли, совращающем человека со стези справедливости. Он как бы отгородил от жизни свою душу и сердце дисциплиной и повиновением и, подобно коню в шорах, шел, не глядя по сторонам. Его шаг был тверд, но дорога узка.

При всем том он был человек надежный, – непреклонный командир, исполнительный солдат.

Говэн обратился к подошедшему к нему лейтенанту:

– Гешан, нужна лестница.

– У нас нет лестницы, командир.

– Нужно достать.

– Для штурма?

– Нет, для спасения.

Гешан подумал и ответил:

– Понимаю. Но для этого требуется очень длинная лестница.

– На три этажа, не меньше.

– Да, короче не дойдет.

– Нужно даже чуть подлиннее, чтоб не было неудачи.

– Безусловно.

– Как же могло случиться, что у нас нет лестницы?

– Но ведь, командир, вы сами рассудили, что удобнее штурмовать Тург не с плоскогорья, и решили обложить его только с этой стороны; вы хотели штурмовать не мост, а башню. Поэтому все сейчас заняты подкопом и отказались от мысли взять замок приступом. Вот почему у нас нет лестницы.

– Прикажите сколотить лестницу на месте.

– Лестницу, чтобы хватило на три этажа, так сразу не сколотишь.

– Прикажите составить несколько коротких лестниц.

– Для этого нужно иметь короткие лестницы.

– Разыщите их.

– Где же тут разыскать? Крестьяне во всей округе порубили лестницы, точно так же как разобрали все повозки и разрушили все мосты.

– Это верно, они хотят связать действия республики.

– Они хотят, чтобы мы ни на повозках не ездили, ни через реку не перебрались, ни через стену не перелезли.

– Однако мне нужна лестница.

– Я вот что думаю, командир. В Жавенэ, неподалеку от Фужера, есть большая плотничья мастерская. Там можно раздобыть лестницу.

– Нельзя терять ни минуты.

– А когда вам нужна лестница?

– Завтра в этот же час – самое позднее.

– Сейчас я пошлю в Жавенэ верхового. Дам приказ, чтобы там срочно изготовили лестницу. В Жавенэ расквартирован кавалерийский пост, они и доставят нам лестницу под охраной. Значит, мы будем иметь ее здесь завтра еще до захода солнца.

– Прекрасно, – сказал Говэн. – Идите. Поскорее отдайте распоряжения.

Через десять минут Гешан подошел к Говэну и доложил:

– Командир, нарочный отправлен в Жавенэ.

Говэн поднялся на плоскогорье, он долго и пристально глядел на замок, отделенный рвом. По ту сторону крутого обрыва возвышалась глухая стена замка, от крыши до фундамента в ней не было ни окон, ни дверей, если не считать низенькой дверцы, прикрытой сейчас подъемным мостом. Чтобы добраться с плоскогорья до подножья мостовых устоев, надо было спуститься

вниз по крутому склону обрыва, что, впрочем, не представляло трудностей, так как густой кустарник облегчал спуск. Но, оказавшись на дне обрыва, нападающий становился мишенью для ядер, которые можно было метать из всех трех этажей замка. Говэн лишний раз убедился, что при подобном положении вещей штурм разумнее всего вести лишь через пролом в башне.

Он принял все меры, чтобы предотвратить любую попытку к бегству: еще ближе подтянул к башне свои войска, обложившие Тург, еще теснее сжал сеть своих батальонов, чтобы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным. Говэн и Симурдэн поделили между собой командование предстоящим штурмом – Говэн взял на себя действия со стороны леса и предоставил Симурдэну плоскогорье. Было условлено, что пока Говэн с Гешаном атакуют башню через пролом, Симурдэн будет держать под наблюдением мост и ров, имея под рукой заряженные и готовые к залпу орудия.

XIII. Что делает маркиз

В то время как снаружи шли приготовления к штурму, внутри башни шли приготовления к обороне.

Неспроста башню сравнивают с бочкой; между ними существует то сходство, что иной раз башню можно пробить с помощью мины, как бочку с помощью пробойника. Из стены словно вынимают втулку. Как раз это и произошло в Турге.

Мощный удар пробойника, иначе говоря взрыв двух-трех квинталов пороха, продырявил стену в нескольких местах. У подножья башни в самой толще стены образовалась сквозная брешь, и это отверстие в нижнем этаже напоминало неправильную арку. Осаждающие пустили в пролом несколько ядер с целью расширить его и сделать проходимым.

Весь нижний этаж башни, куда вел пролом, был занят огромной залой, совершенно пустой, с мощной колонной, поддерживающей свод. Эта зала, самое просторное помещение во всем Турге, насчитывала по меньшей мере сорок футов в диаметре. В каждом этаже башни имелись такие же круглые залы, суживающиеся по мере удаления от фундамента, с бойницами и амбразурами. В самой нижней зале не имелось ни амбразур, ни отдушин, ни окон; света и воздуха в ней было не больше, чем в могиле.

Именно из этой залы вела в подземную темницу дверь, окованная железом. Другая дверь выводила на лестницу, по которой можно было попасть на верхние этажи. Все лестницы в башне были высечены в толще ее стен.

Осаждающие могли пробраться в залу через пролом. Овладев залой, они должны были еще овладеть всей башней.

В этой зале с низко нависшими сводами всегда спирало дыхание. Провести в ней сутки – значило задохнуться. Теперь же благодаря пролому там стало легче дышать.

Вот потому-то осажденные и решили не закрывать бреши.

Да и к чему бы это привело? Все равно ядро разрушило бы любой заслон.

Осажденные вбили в стену железную скобу, вставили в нее факел и таким образом осветили помещение.

Но как выдержать атаку?

Заложить пролом не составило бы труда, но и не принесло бы пользы. Куда разумнее устроить редюит с входящим углом, что позволит открыть по неприятелю сосредоточенный огонь и, оставив брешь снаружи открытой, прикрыть ее таким образом изнутри. Материалов для постройки редюита хватало, и редюит возвели, оставив отверстия для ружейных дул. Угол редюита упирался в колонну, стоявшую посреди зала; оба его крыла доходили до двух противоположных стен. Теперь предстояло только заложить фугасы в наиболее подходящих местах.

Всеми работами руководил сам маркиз. Вдохновитель, начальник, глава и вождь, Лантенак был страшен!

Лантенак принадлежал к той породе военачальников восемнадцатого века, которые и восьмидесятилетними стариками отстаивали от врагов города. Он напоминал графа Альберта, который чуть ли не столетним старцем отбросил от стен Риги польского короля.

– Мужайтесь, друзья, – говорил маркиз, – в начале нашего века, в тысяча семьсот тринадцатом году, шведский король Карл Двенадцатый засел в Бендерах в одном из домов и, имея в своем распоряжении всего триста солдат, выдержал осаду против двадцати тысяч турок.

Быстро забаррикадировали два нижних этажа, укрепили комнаты, устроили в нишах бойницы, заложили двери брусьями, вбив их в пол деревянным молотком, так что получился как бы ряд контрфорсов; лишь подходы к винтовым лестницам, соединяющим все ярусы башни, пришлось оставить свободными, так как надо было передвигаться; закрыть этот проход от нападающих означало закрыть его от самих осажденных. У каждой осажденной крепости имеется своя уязвимая сторона.

Лантенак, неутомимый, крепкий, как юноша, сам таскал балки, подносил камни; он показывал пример прочим, брался за любое дело, давал распоряжения, помогал и, снисходя до этой свирепой шайки, обращался к ней с шуткой, сам смеялся вместе с прочими и все же оставался сеньором – высокородным, простым, изящным, жестоким.

Избави бог ослушаться его. Он говорил: «Если половина из вас осмелится не повиноваться мне, я прикажу другой половине расстрелять бунтовщиков и буду защищать крепость с горсткой оставшихся людей». Такие слова лишь усугубляют обожание вождя.

XIV. Что делает Иманус

В то время как маркиз занимался проломом и башней, Иманус занимался замком, стоявшим на мосту. С начала осады спасательная лестница, висящая вдоль стены под окнами второго этажа, была по приказанию маркиза убрана, и Иманус втащил ее в библиотеку. Повидимому, Говэн хотел заменить именно эту лестницу. Окна нижнего этажа, иначе говоря помещения для кордегардии, были забраны тройными рядами железных прутьев, вделанных в каменную стену, так что через них нельзя было ни выйти, ни войти.

Правда, в библиотеке на окнах не имелось решеток, зато расположены они были на значительной высоте.

Иманус взял с собой трех человек, таких же головорезов, как и он сам, и так же, как он, способных на все. Это были Уанар, иначе Золотая Ветка, и два брата, известные под кличкой Деревянные Копья. Иманус захватил потайной фонарь, отпер железную дверь и тщательнейшим образом осмотрел все три этажа замка. Уанар, с тех пор как у него убили брата, не уступал в жестокости самому Иманусу.

Сначала Иманус обошел верхний этаж, заваленный соломой и мешками с овсом, потом нижний и велел принести сюда несколько чугунных горшков, которые и поставил рядом с бочками смолы; затем он распорядился подтащить пучки вереска к бочкам и проверил, правильно ли лежит пропитанный серой шнур, один конец которого находился в замке, а другой в башне. Вокруг бочек он налил целую лужу смолы и окунул в нее конец шнура; потом по его приказу в библиотеку, находящуюся между нижним этажом, где стояли бочки со смолой, и чердаком, где лежала солома, принесли три колыбельки, в них спали крепким сном Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта. Колыбельки несли осторожно, чтобы не разбудить малюток.

Впрочем, это были и не колыбельки даже, а просто низенькие ясельцы на манер ивовых корзин, которые ставятся прямо на землю, так что ребенок может выбраться оттуда без посторонней помощи. Возле каждой такой кроватки Иманус велел поставить мисочку с супом и положить деревянную ложку. Спасательную лестницу, снятую с крючьев, поставили на ребро вдоль стены, а колыбельки разместили в противоположном конце, как раз напротив лестницы. Потом, решив, что в подобных случаях ветер – надежный пособник, Иманус распахнул все шесть огромных окон библиотеки. За окнами стояла ночь – летняя, теплая, светлая.

Иманус приказал братьям Деревянные Копья распахнуть все окна также и в нижнем и в верхнем этаже. Он заметил, что весь восточный фасад замка от земли до самой крыши обвит иссохшим и серым, как трут, плющом, ветки которого заглядывают в окна всех трех этажей. Иманус рассудил, что и плющ не помешает. Он бросил вокруг последний взгляд, затем все четверо покинули замок и вернулись в башню. Иманус запер тяжелую железную дверь на два поворота ключа, внимательно осмотрел огромный, страшный запор и еще раз, удовлетворенно кивнув головой, проверил шнур, который выходил через проделанное для него отверстие и служил отныне единственным связующим звеном между замком и башней. Начало этот шнур брал в круглой зале, проходил под железной дверью, шел вдоль сводчатого прохода, извивался вместе с поворотами винтовой лестницы, тянулся по полу нижнего этажа замка и заканчивался в луже смолы у кучи сухих пучков вереска. Иманус высчитал, что потребуется приблизительно четверть часа для того, чтобы огонь по шнуру, подожженному в башне, дошел до лужи смолы, разлитой под библиотекой. Закончив последние приготовления и оглядев все в последний раз, он вручил ключ от железной двери маркизу, который и положил его в карман.

Надо было зорко следить за каждым движением врага. Иманус, с пастушьей трубой за поясом, поднялся на сторожевой пост на вершину башни. Он положил в одну из амбразур пороховницу, холщовый мешочек с пулями и пачку старых газет и, не спуская глаз с леса и плоскогорья, стал ловко вертеть пыжи.

Когда взошло солнце, оно озарило три батальона, расположенные на опушке леса: солдаты, с саблями на боку, с патронташами через плечо, с примкнутыми штыками, уже были готовы к штурму; на плоскогорье стояла батарея, зарядные ящики, полные ядер, и зарядные картузы; лучи, проникшие в башню, осветили девятнадцать человек, заряжавших ружья, мушкеты, пистолеты и мушкетоны, а также три колыбельки, где спали трое малюток.

Книга третья

Казнь святого Варфоломея

I

Дети проснулись.

Первой проснулась крошка Жоржетта.

Когда просыпается ребенок, словно открывается венчик цветка; кажется, от весенне-свежей души исходит благоухание.

Жоржетта, девица года и восьми месяцев, самая младшая из троих ребятишек, которая еще в мае сосала материнскую грудь, подняла головку, уселась, взглянула на свои ножки и защебетала.

Солнечный луч скользнул по колыбельке: и казалось, даже розовая заря блекнет по сравнению с розовыми ножками Жоржетты.

Двое старших еще спали – мужчины тяжелы на подъем.

А Жоржетта весело и невозмутимо щебетала.

Рене-Жан был брюнет, Гро-Алэн – шатен, а Жоржетта – блондинка. Оттенок волос у детей может измениться по мере того, как идут годы. Рене-Жан казался настоящим Геркулесом в младенчестве; спал он ничком, уткнувшись лицом в сжатые кулачки. Гро-Алэн во сне свесил с постели ноги.

Все трое были в лохмотьях; батальон Красный Колпак обмундировал своих питомцев, но платьица и белье успели с тех пор превратиться в тряпье; рубашонки потеряли первоначальный вид, – мальчики были почти голые, а Жоржетта щеголяла в юбке, вернее, в какой-то тряпице, державшейся на одной шлейке. Кто заботился о малышах? Трудно ответить на этот вопрос, матери у них не было. Одичавшие вояки-крестьяне, таскавшие за собой ребятишек по всему Семилесью, честно делились с ними солдатской похлебкой. Вот и все. Так

малыши и жили – как могли. У них были сотни хозяев, но не было отца. Но от детских лохмотьев всегда исходит свет. Все трое были прелестны.

Жоржетта лепетала.

Птица – поет, ребенок – лепечет. И то и другое – гимн. Невнятный, нечленораздельный, проникновенный. Но только птице не сужден тот печальный человеческий удел, что ждет ребенка. Вот почему взрослые с грустью слушают то, о чем так радостно щебечет ребенок. Нет на земле возвышенней песни, чем неясное лепетание человеческой души, вещающей устами младенца. В этом сбивчивом шопоте мысли, даже не мысли еще, а изначального инстинкта, слышится неосознанный призыв к вечной справедливости; быть может, душа возмущается, не желая переступить порог жизни; смиренное и трогательное до слез возмущение; эта улыбка неведения, обращенная к бесконечности, словно обвиняет все сущее, обличает удел, уготованный слабому и беззащитному. Послать ему беды, значит злоупотребить его доверьем.

Лепет ребенка это и больше, чем слово, и меньше, чем слово; он не содержит музыкальных звуков, но он – песня; он не состоит из слогов, но он речь; лепет этот начался еще на небесах, и ему не будет конца на земле; он предшествовал рождению ребенка и звучит сейчас; это продолжение. В этой невнятице заключено то, что говорило дитя, будучи ангелом, и то, что скажет оно, став взрослым; колыбель имеет свое Вчера, как могильный склеп свое Завтра; это Вчера и это Завтра сливают в таинственном щебете свое двойное неведение; и ничто не доказывает столь бесспорно существование бога, вечности, закономерности, двойственности рока, как грозная тень грядущего, омрачающая розовую, словно заря, душу младенца.

Но, видно, Жоржетта лепетала о чем-то таком, что не омрачало души, так как все ее кроткое личико улыбалось. Улыбались губки, глаза, улыбались ямочки на щеках. И эта улыбка была приятием занимавшегося дня. Душа верит свету. Небо было безоблачно-сине, воздух теплый, погода прекрасная. И это хрупкое создание, ничего не знающее, ничего не ведающее, ничего не понимающее, баюкаемое мечтой, которая еще не стала мыслью, смело вверяло себя природе, благодатной сени дубрав, простодушной зелени, чистым и мирным долинам, хлопотливым птицам у гнезд, ручейку, мошкаре, листьям, всему, над чем сияло солнце во всей своей торжествующей непорочности.

Вслед за Жоржеттой проснулся старший – Рене-Жан, которому – не шутка – шел уже пятый год. Он встал во весь рост, храбро перешагнул через край корзины, заметил миску с супом и, ничуть не удивившись, уселся прямо на пол и принялся за еду.

Лепет Жоржетты не разбудил Гро-Алэна, но, услышав сквозь сон мерный стук ложки о миску, он открыл глаза. Гро-Алэну было три года. Он тоже увидел еду и, не долго раздумывая, нагнулся, схватил миску и, усевшись поудобнее, поставил ее на колени, в правую руку взял ложку и последовал примеру Рене-Жана.

Жоржетта ничего не слыхала, и переливы ее голоса, казалось, следовали ладу ее колыбельных грез. Ее широко раскрытые глаза были устремлены ввысь, взгляд их был божественно чист; даже когда над головой ребенка нависает низкий свод или потолок, в зрачках его отражается небо.

Рене-Жан кончил есть, поскреб ложкой по донышку миски, вздохнул и степенно заметил:

– Весь суп съел.

Эти слова вывели Жоржетту из задумчивости.

– Суп съей, – повторила она.

И, увидев, что Рене-Жан поел, а Гро-Алэн ест, она подтянула свою мисочку к кроватке и принялась за еду; не скроем, что при этом ложку она чаще подносила к уху, чем ко рту.

Подчас она отбрасывала прочь навыки цивилизации и запускала в миску всю пятерню.

Гро-Алэн в подражание Рене-Жану тоже поскреб ложкой по донышку миски, потом вскочил с постели и побежал вслед за старшим братом.

II

Вдруг откуда-то снизу, со стороны леса, донеслось пение рожка, – требовательный и властный зов. И на призыв рожка с вершины башни ответила труба.

На сей раз спрашивал рожок, а отвечала труба.

Вторично заиграл рожок, и вторично отозвалась труба.

Потом на опушке леса раздался приглушенный расстоянием голос, однако каждое слово звучало ясно:

– Эй, разбойники! Сдавайтесь. Если вы не сдадитесь на милость победителя до захода солнца, мы начнем штурм.

И с башенной вышки отозвался громовой голос:

– Штурмуйте!

Голос снизу продолжал:

– За полчаса до начала штурма мы выстрелим из пушки, и это будет наше последнее предупреждение.

Голос сверху повторил:

– Штурмуйте!

Дети не могли слышать этих голосов, но звуки рожка и трубы, более звонкие и сильные, проникли в библиотеку; Жоржетта при первом звуке рожка вытянула шею и перестала есть; когда рожку ответила труба, она отложила в сторону ложку; когда снова заиграл рожок, она подняла правую ручонку и стала медленно водить вверх и вниз указательным пальчиком, следуя ритму рожка, которому вторила труба; когда же рожок и труба замолкли, она, не опуская пальчика, задумчиво пролепетала:

– Музика!

Надо полагать, что она хотела сказать «музыка».

Двое старших, Рене-Жан и Гро-Алэн, не обратили внимания ни на рожок, ни на трубу; они были всецело захвачены другим: по полу ползла мокрица.

Гро-Алэн первый заметил ее и закричал:

– Зверь!

Рене-Жан подбежал к брату.

– Укусит! – предупредил Гро-Алэн.

– Не обижай его! – приказал Рене-Жан.

И оба стали рассматривать забредшую в библиотеку странницу.

Жоржетта тем временем покончила с супом; она обернулась, ища братьев. Рене-Жан и Гро-Алэн, забившись в проем окна, присели на корточки и с озабоченным видом рассматривали мокрицу; касаясь друг друга головой, смешав свои черные и каштановые локоны, они боялись громко дохнуть и с восхищением следили за зверем, который застыл на месте и не шевелился, отнюдь не польщенный таким вниманием.

Жоржетта заметила, что братья чем-то занялись, ей тоже захотелось посмотреть; хотя добраться до окна было делом нелегким, она все же решилась; предстоявшее ей путешествие было чревато опасностями; на полу валялись стулья, опрокинутые табуретки, кучи каких-то бумаг, какие-то пустые ящики, сундуки, груды хлама, и требовалось обогнуть весь этот архипелаг подводных рифов! Но Жоржетта все-таки рискнула. Первым делом она вылезла из кроватки; потом миновала первые рифы, проскользнула в пролив, оттолкнув по дороге табуретку, потом прошмыгнула между двух ящиков, взобралась на связку бумаг и съехала на

пол, с милой беззастенчивостью показав при этом свое голое розовое тельце, и, наконец, достигла того, что моряк назвал бы открытым морем, то есть довольно обширного пространства, ничем не заставленного, где уже ничто не грозило путнице; тут она снова пустилась в путь, быстро, как котенок, пересекла на четвереньках наискось почти всю библиотеку и достигла окна, где ее ждало новое грозное препятствие; длинная лестница, стоявшая на ребре вдоль стены, не только доходила до окна, но даже выдавалась за угол проема; таким образом, Жоржетту отделял от братьев мыс, и его нужно было обогнуть; Жоржетта остановилась и призадумалась; на минуту углубившись в себя, она, наконец, решилась: смело уцепилась розовыми пальчиками за перекладину лестницы, стоящей на боку, благодаря чему перекладины шли не в горизонтальном, а в вертикальном направлении, и попыталась подняться на ноги, но пошатнулась и села; она повторила свою попытку; два раза она шлепалась, и только в третий раз ей удалось встать во весь рост и выпрямиться; тогда, перехватывая ручонками ступеньку за ступенькой, она двинулась вдоль лестницы; но когда добралась до мыса, ступеньки кончились; тут, лишившись опоры, она зашаталась, однако успела во-время удержаться за огромное ребро лестницы, выпрямилась, обогнула мыс, взглянула на Рене-Жана и Гро-Алэна и засмеялась.

III

Как раз в эту минуту Рене-Жан, досыта налюбовавшийся мокрицей, поднял голову и заявил:

– Это самка.

Услышав смех Жоржетты, засмеялся и Рене-Жан, а услышав смех Рене-Жана, засмеялся и Гро-Алэн.

Жоржетта благополучно присоединилась к братьям, и все трое уселись в кружок прямо на полу.

Но мокрица исчезла.

Воспользовавшись весельем детей, она уползла в щель.

Зато вслед за мокрицей начались новые происшествия.

Сначала прилетели ласточки.

Должно быть, они свили себе гнездо над выступом стены. Встревоженные появлением детей, они летали под окном, описывая в воздухе широкие круги, и нежно, по-весеннему щебетали.

Дети повернулись к окну, и мокрица была забыта.

Жоржетта ткнула пальчиком в сторону ласточек и крикнула:

– Петусек!

Но Рене-Жан тут же осадил сестру:

– Эх ты, какой же это петушок, надо говорить: птички.

– Птицьки, – повторила Жоржетта.

И все трое начали следить за полетом ласточек.

Потом появилась пчела.

Пчелу с полным правом можно сравнить с душой человека. Подобно тому как душа перелетает со звезды на звезду, так и пчела перелетает с цветка на цветок и несет с собой мед, как душа приносит с собой свет.

Пчела появилась с шумом, она жужжала во весь голос и всем своим видом хотела сказать: «Вот и я! Я обжужжала все розы, а сейчас желаю посмотреть на детей. Что тут происходит?»

Пчела – рачительная хозяйка, и, даже напевая свою песенку, она не может не брюзжать.

Пока пчела летала по комнате, дети не спускали с нее глаз.

Пчела деловито обследовала всю библиотеку, заглянула в каждый уголок, словно находилась у себя дома, в собственном своем улье, и с мелодичным жужжанием, трепеща крылышками, медленно полетела вдоль всех шкафов, заглядывая через стекла на корешки книг, легкая, будто дух.

Закончив осмотр библиотеки, она удалилась.

– Домой пошла, – сказал Рене-Жан.

– Это зверь! – сказал Гро-Алэн.

– Нет, – возразил Рене-Жан, – это мушка.

– Муська, – повторила Жоржетта.

Тут Гро-Алэн обнаружил на полу веревку с узелком на конце и, крепко зажав другой конец между большим и указательным пальцем, стал ее вращать, с глубоким вниманием глядя на описываемые ею круги.

Жоржетта, снова предпочтя более надежный способ передвижения, на манер четвероногих, оползала во всех направлениях залу и обнаружила нечто достойное внимания – почтенное старое кресло, побитое молью, из-под обивки которого вылезал конский волос. Жоржетта остановилась возле кресла. Она раздирала пальчиком дыры и с озабоченным видом вытаскивала оттуда волос.

Вдруг она подняла пальчик, что означало: «Слушайте!»

Оба ее брата обернулись.

Снаружи доносился глухой и неясный шум: должно быть, готовясь к штурму, перестраивались части, расквартированные на опушке леса; ржали кони, слышалась дробь барабанов, с грохотом передвигались снарядные ящики, лязгали цепи, перекликались рожки трубачей, и все эти разрозненные грозные шумы казались издали даже гармоничными: дети слушали, как зачарованные.

– Это божемоинька гремит, – сказал Рене-Жан.

IV

Шум прекратился.

Рене-Жан вдруг загрустил.

Кто знает, почему и как в крохотном мозгу возникают и исчезают мысли. Какими таинственными путями идет работа памяти, столь еще шаткой и короткой? И в головке притихшего, задумавшегося ребенка смешались в одно: «божемоинька», молитва, сложенные руки, чье-то лицо, которое с нежной улыбкой склонялось над ним когда-то, а потом исчезло, и Рене-Жан тихо прошептал: «Мама».

– Мама, – повторил Гро-Алэн.

– Мам, – повторила Жоржетта.

И вдруг Рене-Жан запрыгал.

Увидев это, Гро-Алэн тоже запрыгал.

Гро-Алэн повторял все жесты и движения Рене-Жана. Жоржетта тоже повторяла, но не так свято. В три года нельзя не подражать четырехлетним, но в год восемь месяцев можно позволить себе большую самостоятельность.

Жоржетта осталась сидеть на полу, время от времени произнося какое-нибудь слово. Жоржетта не умела еще складывать фраз. Как истый мыслитель, она говорила афоризмами и при том односложными.

Однако немного погодя пример братьев заразил и ее, она присоединилась к их игре, и три пары босых детских ножонок заплясали, забегали, затопали по пыльному дубовому паркету, под строгим взглядом мраморных бюстов, на которые то и дело боязливо поглядывала Жоржетта, шепча себе под нос: «Дядядьки».

На языке Жоржетты слово «дядядька» обозначало все, что похоже на человека, но в то же время и не совсем человек. Живые существа смешаны в представлении ребенка с призраками.

Жоржетта следовала по залу за братьями, но она была не особенно тверда на ногах и посему предпочитала передвигаться на четвереньках.

Вдруг Рене-Жан, подойдя к окну, поднял голову, потом опустил ее на грудь и забился в угол. Он заметил, что кто-то на него смотрит. Это был «синий», солдат из лагеря, расположенного на плоскогорье; пользуясь перемирием, а, может быть, отчасти и нарушая его, он отважился добраться до крутого склона обрыва, откуда была видна внутренность библиотеки. Заметив, что Рене-Жан спрятался, Гро-Алэн спрятался тоже, забившись в угол рядом с братом, а Жоржетта спряталась за них обоих. Так они стояли, не двигаясь, не произнося ни слова, а Жоржетта даже приложила пальчик к губам. Немного спустя Рене-Жан осмелел и высунул голову: солдат попрежнему был тут. Рене-Жан быстро отпрянул от окна, и трое крошек не смели теперь даже дышать. Это длилось довольно долго. Наконец, Жоржетте наскучило бояться, она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушел. Ребятишки снова принялись резвиться и играть.

Хотя Гро-Алэн был подражателем и почитателем Рене-Жана, у него имелась своя специальность – находки. Брат и сестра вдруг заметили, что Гро-Алэн бодро гарцует по комнате, таща за собой маленькую четырехколесную тележку, которую он где-то откопал.

Эта кукольная тележка, забытая неизвестно кем и когда, десятки лет провалялась здесь в пыли по соседству с творениями гениев и мраморными бюстами. Быть может, этой тележкой играл в детстве Говэн.

Не долго думая, Гро-Алэн превратил свою бечевку в кнут и начал громко хлопать; он был очень доволен собою. Таковы уж изобретатели. За неимением Америки неплохо открыть маленькую тележку. Это ведь тоже не пустяк.

Но пришлось делиться своим открытием. Рене-Жан захотел превратиться в коня, а Жоржетта – в пассажира.

Не без труда она уселась в тележку. Рене-Жан впрягся в упряжку. Гро-Алэну досталась должность кучера.

Но оказалось, что кучер не особенно силен в своем деле, и коню пришлось обучать его кучерскому искусству.

Рене-Жан крикнул Гро-Алэну:

– Скажи – но-о!

– Но-о! – повторил Гро-Алэн.

Тележка опрокинулась. Жоржетта упала на пол. И ангелы тоже кричат. Жоржетта закричала.

Потом ей захотелось немножко поплакать.

– Мадмуазель, – сказал Рене-Жан, – вы уже взрослая.

– Взйосяя, – повторила Жоржетта.

И сознание, что она взрослая, смягчило боль падения.

Карнизы, проходившие под окнами, были очень широки; мало-помалу там скопился занесенный с верескового плоскогорья слой пыли, дожди превратили эту пыль в землю, ветер принес семена, и, уцепившись за жалкий клочок почвы, пробился первый росток ежевики. Ежевика оказалась из живучих, называемая в народе «лисьей». Сейчас, в августе, куст ежевики покрылся ягодами, а одна ветка вползла в окно библиотеки. Ветка свешивалась почти до самого пола.

Гро-Алэн, уже открывший бечевку, открывший затем тележку, открыл и ежевику. Он подошел к ветке.

Он сорвал ягодку и съел.

– Есть хочу, – сказал Рене-Жан.

Тут подоспела и Жоржетта, быстро продвигавшаяся с помощью колен и ладошек.

Втроем они обобрали и съели все ягоды. Дети опьянели от ежевики, измазались ее соком, и теперь три херувимчика, с яркокрасными пятнами на щеках и на подбородках, вдруг превратились в трех маленьких фавнов, что, несомненно, смутило бы Данте и восхитило Вергилия. Дети громко хохотали.

Иной раз колючки ежевики кололи им пальцы. Ничто не достается даром.

Жоржетта протянула Рене-Жану пальчик, на кончике которого алела капелька крови, и сказала, указывая на ежевику:

– Укусийа.

Гро-Алэн, тоже пострадавший от шипов, подозрительно взглянул на ветку и сказал:

– Это зверь!

– Нет, – возразил Рене-Жан, – это палка.

– Палки злые, – сказал Гро-Алэн. Жоржетте опять захотелось плакать, но она засмеялась.

V

Тем временем Рене-Жан, возможно позавидовав открытиям младшего брата Гро-Алэна, замыслил поистине грандиозное предприятие. Обрывая ягоды с опасностью для пальцев, он время от времени поглядывал на аналой, или, вернее, пюпитр, возвышавшийся посреди библиотеки одиноко, как монумент. На этом аналое лежал экземпляр знаменитого «Евангелия от Варфоломея».

Это было великолепное и редчайшее in quarto. «Евангелие от Варфоломея» вышло в 1682 году в Кельне в типографии славного Блева, по-латыни Цезиуса, издателя библии. «Варфоломей» появился на свет с помощью деревянных прессов и воловьих жил, отпечатали его не на голландской, а на чудесной арабской бумаге, которой так восхищался Эдризи и которая делается из шелка и хлопка и никогда не желтеет; переплели его в золоченую кожу и украсили серебряными застежками; заглавный лист и чистый лист в конце книги были из того пергамента, который парижские переплетчики поклялись покупать в зале Сен-Матюрена и «нигде более». В книге имелось множество гравюр на дереве и на меди, а также географические карты нескольких стран; в начале был помещен протест гильдии печатников, грамота от торговцев и типографщиков против эдикта 1635 года, обложившего налогом «кожи, пиво, морскую рыбу и бумагу», а на обороте фронтисписа можно было прочесть посвящение Грифам, которые в Лионе были тем же, чем Эльзевиры в Амстердаме. Словом, в силу всех этих обстоятельств «Евангелие от Варфоломея» являлось столь же знаменитым и почти столь же редкостным, как московский «Апостол».

Книга и впрямь была красивая; вот почему Рене-Жан поглядывал на нее, пожалуй, чересчур пристально. Том был раскрыт как раз на той странице, где помещался большой эстамп, изображавший святого Варфоломея, несущего в руках содранную с него собственную кожу. Снизу картинку тоже можно было рассмотреть. Когда вся ежевика была съедена, Рене-Жан уставился на книгу глазенками, исполненными погибельной любви, и Жоржетта, проследив направление его взгляда, тоже заметила гравюру и пролепетала: «Кайтинка!»

Это слово окончательно подвигло Рене-Жана. И к величайшему изумлению Гро-Алэна, он совершил нечто необыкновенное.

В углу библиотеки стоял тяжелый дубовый стул; Рене-Жан направился к стулу, схватил его и, толкая перед собой, дотащил до аналоя. Когда стул очутился возле самого аналоя, он вскарабкался на сидение и положил два крепких кулачка на открытую страницу.

Оказавшись на таких высотах, он почувствовал необходимость увековечить себя; он взял «кайтинку» за верхний угол и аккуратно разорвал; святой Варфоломей разодрался вкось, но Рене-Жан был в этом неповинен; в книге осталась вся левая часть гравюры с одним глазом старого апокрифического евангелиста и кусочком ореола над его головой; другую половину Варфоломея вместе с его святой кожей брат преподнес Жоржетте. Жоржетта взяла святого и шепнула: «Дядядька»,

– А мне? – вдруг завопил Гро-Алэн.

Первая вырванная страница подобна первой капле пролитой крови. Истребление уже неминуемо.

Рене-Жан перевернул страницу: за изображением святого следовал портрет его комментатора Пантениуса; Рене-Жан милостиво одарил Пантениусом Гро-Алэна.

Тем временем Жоржетта разорвала половинку святого на две половинки поменьше, потом обе маленькие половинки еще на четыре части; итак, историки с полным правом могут добавить, что со святого Варфоломея сначала содрали кожу в Армении, а затем его четвертовали в Бретани.

VI

Покончив с четвертованием, Жоржетта протянула к Рене-Жану ручонку и потребовала: «Еще!»

Вслед за святым и комментатором пошли богомерзкие портреты – портреты истолкователей. Первым по счету оказался Гавантус; Рене-Жан вырвал картинку и вручил Жоржетте Гавантуса.

За Гавантусом последовали все прочие истолкователи святого Варфоломея.

Одаривать – значит быть выше одариваемого. И Рене-Жан не оставил себе ничего. Гро-Алэн и Жоржетта смотрели на него снизу вверх; с него этого было достаточно; он удовольствовался восхищением зрителей.

Рене-Жан, великодушный и неутомимый даритель, дал Гро-Алэну Фабрицио Пиньятелли, а Жоржетте – преподобного отца Стилтинга; он протянул Гро-Алэну Альфонса Тоста, а Жоржетте Cornelius a Lapide; Гро-Алэн получил Анри Аммона, а Жоржетта – преподобного отца Роберти и впридачу город Дуэ, где в 1619 году Аммон увидел свет. Гро-Алэну достался протест бумаготорговцев, а Жоржетта стала обладательницей посвящения Грифам. Оставались еще географические карты. Рене-Жан раздал и их. Эфиопию он преподнес Гро-Алэну, а Ликаонию – Жоржетте. После чего он сбросил книгу на пол.

Страшная минута! Гро-Алэн и Жоржетта вдруг увидели, с восторгом и ужасом, как Рене-Жан, нахмурив брови, напружинился, сжал кулачонки и столкнул с аналоя огромный том. Трагическое зрелище являет собою великолепная старинная книга, сброшенная с высоты пьедестала. Тяжелый том, потеряв равновесие, повис на мгновение в воздухе, потом закачался, рухнул и распластался на полу – жалкий, разорванный, смятый, вывалившийся из переплета, с погнувшимися застежками. Счастье еще, что он не упал на ребятишек.

Они были ошеломлены, но невредимы. Не всегда подвиги завоевателей проходят столь гладко.

Такова судьба всякой славы – сначала много шуму, затем туча пыли.

Низвергнув книгу, Рене-Жан слез со стула.

Тут наступил миг ужаса и тишины; победа устрашает не только побежденного. Дети схватились за руки и стали поодаль, созерцая огромный растерзанный том.

Но после короткого раздумья Гро-Алэн решительно подошел и пнул книгу ногой.

Это было начало конца. Вкус к разрушению, несомненно, существует. Рене-Жан тоже пнул книгу ногой, Жоржетта тоже пнула, но от усилия не устояла на ногах и упала; вернее села на пол: она воспользовалась этим, чтобы накинуться на святого Варфоломея снизу; последние

остатки благоговения рассеялись; на книгу налетел Рене-Жан, на нее наскочил Гро-Алэн и, забыв все на свете, радостно смеясь, торжествующие, беспощадные, розовощекие ангелочки-разрушители, пустив в ход ноги, руки, ногти, зубы, втроем набросились на беззащитного святого, кромсая страницы, с мясом вырывая закладки, царапая переплет, отдирая золоченую кожу, выковыривая серебряные застежки, комкая пергамент, истребляя царственные письмена.

Они уничтожили Армению, Иудею, Беневент, где покоятся останки святого, уничтожили Нафанаила, который, может быть, тот же святой Варфоломей, папу Желаза, который объявил апокрифическим евангелие от Варфоломея, или Нафанаила, уничтожили все гравюры, все географические карты, и эта безжалостная расправа так увлекла их внимание, что они даже не заметили прошмыгнувшей мимо мышки.

Это было полное истребление.

Разодрать на части историю, легенду, науку, чудеса, подлинные и мнимые, церковную латынь, предрассудки, фанатизм, тайны, разорвать в клочья целую религию – такая работа под силу трем гигантам или даже троим детям; за этим занятием прошло несколько часов, но цель была достигнута: от апостола Варфоломея не осталось и следа.

Когда все было кончено, когда была вырвана последняя страница, когда последний эстамп валялся во прахе, когда от книги остались лишь обрывки листов и гравюр, прилепившиеся к скелету переплета, Рене-Жан выпрямился во весь рост, оглядел пол, засыпанный лоскутами бумаги, и забил в ладоши.

Гро-Алэн тоже забил в ладоши.

Жоржетта подобрала с полу страничку, встала на цыпочки, оперлась на подоконник, приходившийся на уровне ее подбородка, и принялась разрывать лист на мелкие кусочки и бросать их за окно.

Рене-Жан и Гро-Алэн поспешили последовать ее примеру. Они подбирали с полу и рвали, снова подбирали и снова рвали страницы, в подражание Жоржетте; и старинная книга, которую истерзали страница за страницей крохотные, неугомонные пальчики, была уничтожена и развеяна по ветру. Жоржетта задумчиво смотрела, как кружатся в воздухе и улетают подхваченные ветром рои маленьких белых бумажек, и сказала:

– Бабоцьки!

И казнь закончилась исчезновением в небесной лазури.

VII

Так вторично был предан смерти святой Варфоломей, который уже однажды принял мученическую кончину в 49 году по рождестве Христовом.

Под вечер жара стала невыносимой, самый воздух клонил ко сну, у Жоржетты начали слипаться глаза; Рене-Жан подошел к своей кроватке, вытащил набитый сеном мешок, заменявший матрасик, дотащил его по полу до окна, лег сам и сказал: «Ляжем».

Гро-Алэн положил голову на Рене-Жана, Жоржетта положила голову на Гро-Алэна, и трое святотатцев заснули.

В открытые окна вливалось теплое дуновение; аромат полевых цветов, доносившийся из оврагов и холмов, смешивался с дыханием вечера; мирные просторы звали к милосердию, все сияло, все умиротворяло, все любило, солнце посылало всему сущему свою ласку – свой свет; люди всеми фибрами души впивали гармонию, источаемую беспредельным благоволением природы; в бесконечности вещей было что-то материнское; окружающий мир есть извечно цветущее чудо, его огромность дополняется его же благостью; казалось, кто-то невидимый таинственными путями старается оградить слабые существа в их грозной борьбе с более сильными; в то же время все кругом было прекрасным; великодушие природы равнялось ее красоте. По дремавшим лугам и рекам роскошным атласом переливались свет и тени; дымка

плыла вверх, становясь облаком, подобно тому как мечты становятся видениями; над Тургом, разрезая воздух крыльями, носились стаи птиц; ласточки заглядывали в окна библиотеки, будто прилетели сюда убедиться, не нарушает ли что-нибудь мирный сон детей. А они – полуголые амурчики – спали, прижавшись друг к другу, застыв в прелестных позах; от них веяло чистотой и невинностью – всем троим не было и девяти лет; им грезились райские сны, губы сами собой складывались в еле заметную улыбку, может быть сам бог шептал им что-то на ушко: недаром на всех человеческих языках их зовут слабыми и благословенными созданиями и чтут их невинность; все кругом затихло, будто дыхание их нежных грудок было делом всей вселенной, и к нему прислушивалась сама природа; не трепетал лист, не шуршала былинка; казалось, безбрежный звездный мир замер, боясь смутить сон этих трех ангелочков; и возвышеннее всего было безмерное уважение самой природы к подобной малости.

Солнце заходило и уже почти коснулось линии горизонта. Вдруг этот покой нарушила вырвавшаяся из леса молния, за которой последовал страшный гром. Это выстрелили из пушки. Эхо подхватило грохот. Передаваясь от холма к холму, он превратился в грозные раскаты. И они разбудили Жоржетту.

Она присела, подняла пальчик, прислушалась и сказала:

– Бум!

Грохот стих, и снова воцарилась тишина. Жоржетта опустила головку на плечо Гро-Алэна и мирно заснула.

Книга четвертая

Мать

I. Смерть везут

Весь этот день брела куда-то по дорогам мать, даже не присев до самого вечера. Так проходили все ее дни, – она шла куда глаза глядят, не останавливаясь, не отдыхая. Ибо короткий сон, вернее забытье, в первом попавшемся углу не приносил отдыха, а те крохи, которые она проглатывала на ходу, наспех, как птица небесная, не утоляли голода. Она ела и спала лишь для того, чтобы не упасть замертво тут же на дороге.

Последнюю ночь она провела в заброшенном сарае; развалины – одна из примет гражданской войны; в пустынном поле она заметила четыре стены, за распахнутой настежь дверью кучу соломы, как раз в том углу, где еще сохранилась часть крыши. Она легла на эту солому, под этой крышей; она слышала, как под соломой возятся крысы, и видела, как между стропилами загораются звезды. Проспала она всего несколько часов, проснулась посреди ночи и снова пустилась в дорогу, чтобы успеть до жары пройти как можно больше. Тому, кто путешествует пешком в летнюю пору, полночь благоприятнее, чем полдень.

Она старалась не сбиться с маршрута, который указал ей крестьянин в Ванторте, то есть по возможности держалась запада. Если бы кто-нибудь дал себе труд прислушаться к ее неясному бормотанию, тот разобрал бы слово «Тург». Слово «Тург» да имена своих детей – больше она ничего теперь не помнила.

Бредя по дорогам, она размышляла. Думала о всех тех злоключениях, которые ей пришлось пережить; думала о тех муках, которыми ей пришлось перестрадать, о том, что пришлось безропотно перенести, о встречах, о подлости, об унижениях, о быстрой и бездумной сделке то ради ночлега, то ради куска хлеба, то просто ради того, чтобы указали дорогу. Бездомная женщина несчастнее бездомного мужчины хотя бы потому, что служит орудием наслаждения. Страшный путь и страшные блуждания! Впрочем, все ей было безразлично, лишь бы найти своих детей.

В тот день дорога вывела ее к какой-то деревеньке; заря только занималась; ночной мрак еще висел над домами; однако то там, то тут хлопала дверь, и из окон выглядывали

любопытные лица. Вся деревня волновалась, словно потревоженный улей. И причиной этого был приближающийся грохот колес и лязг металла.

На деревенской площади, возле церкви, стояла в остолбенении кучка людей; они пристально глядели на дорогу, круто спускающуюся с холма. Пять лошадей тащили на цепях вместо обычных постромков большую четырехколесную повозку. На повозке виднелась груда длинных балок, а посреди возвышалось что-то бесформенное, прикрытое сверху, словно саваном, куском парусины. Десять всадников ехали перед повозкой, десять других замыкали шествие. На всадниках были треуголки, и над плечом у каждого чуть поблескивало острие, по всей видимости, обнаженная сабля. Кортеж продвигался медленно, выделяясь на горизонте резким черным силуэтом. Черной казалась повозка, черными казались кони, черными казались всадники. А позади них чуть брезжила заря.

Процессия въехала в деревню и направилась к площади.

Тем временем уже рассвело, и можно было разглядеть спустившуюся с горы повозку и сопровождающих ее людей; кортеж напоминал шествие теней, ибо все молчало.

Всадники оказались жандармами. И за их плечами действительно торчали обнаженные сабли. Парусина была черная.

Несчастная скиталица-мать тоже вошла в деревню; она присоединилась к группе крестьян как раз тогда, когда на площадь вступили жандармы, охраняющие повозку. Люди шушукались, о чем-то спрашивали друг друга, шопотом отвечали на вопросы:

– Что же это такое?

– Гильотину везут.

– А откуда везут?

– Из Фужера.

– А куда везут?

– Не знаю. Говорят, в какой-то замок рядом с Паринье.

– Паринье?

– Пусть себе везут куда угодно, лишь бы тут не задерживались.

Большая повозка со своим грузом, укрытым саваном, упряжка, жандармы, лязг цепей, молчание толпы, предрассветный сумрак – все это казалось призрачным.

Процессия пересекла площадь и выехала за околицу; деревушка лежала в лощине меж двух склонов; через четверть часа крестьяне, застывшие на площади, как каменные изваяния, вновь увидели зловещую повозку на вершине западного склона. Колеса подпрыгивали в колеях, цепи упряжки, раскачиваемые ветром, лязгали, блестели сабли; солнце поднималось над горизонтом. Но дорога круто свернула в сторону, и видение исчезло.

Как раз в это самое время Жоржетта проснулась в библиотеке рядом со спящими братьями и пролепетала «доброе утро» своим розовым ножкам.

II. Смерть говорит

Мать видела, как мимо нее промелькнул и исчез этот черный силуэт, но она ничего не поняла и даже не пыталась понять, ибо перед мысленным ее взором вставало иное видение – ее дети, исчезнувшие во тьме.

Она тоже вышла из деревни, почти что вслед за проехавшей процессией, и пошла по той же дороге на некотором расстоянии от всадников, ехавших позади повозки. Вдруг она вспомнила, как кто-то сказал «гильотина»; «гильотина» – подумала она: дикарка Мишель Флешар не знала, что это такое, но внутреннее чутье подсказало ей истину; сама не понимая почему, она задрожала всем телом; ей показалось вдруг немыслимо страшным идти следом за *этим*, и она свернула влево, сошла с проселочной дороги и углубилась в чащу Фужерского заповедника.

Проблуждав некоторое время по лесу, она заметила на опушке колокольню, крыши деревни и направилась туда. Ее мучил голод.

В этой деревне, как и в ряде других, был расквартирован республиканский сторожевой отряд.

Она добралась до площади, где возвышалось здание мэрии.

И в этом селении тоже царила тревога и страх. Перед входом в мэрию, около каменного крыльца, толкался народ. На крыльце какой-то человек, под эскортом солдат, держал в руках огромный развернутый лист бумаги. Справа от этого человека стоял барабанщик, а слева расклейщик объявлений, с горшком клея и кистью.

На балкончик, расположенный над крыльцом, вышел мэр в трехцветном шарфе, повязанном поверх крестьянской одежды.

Человек с объявлением в руках был глашатай.

К его перевязи была прикреплена сумка, знак того, что ему вменяется в обязанность обходить село за селом с различными оповещениями.

В ту минуту, когда Мишель Флешар пробралась к крыльцу, глашатай развернул объявление и начал читать. Он громко провозгласил:

– «Французская республика единая и неделимая».

Тут барабанщик отбил дробь. По толпе прошло движение. Кто-то снял с головы колпак; кто-то еще глубже нахлобучил на лоб шляпу. В те времена и в тех краях не составляло особого труда определить политические взгляды человека по его головному убору: в шляпе – роялист, в колпаке – республиканец. Невнятный ропот толпы смолк, все прислушались, и глашатай стал читать дальше:

– «…В силу приказов и полномочий, данных нам, делегатам, Комитетом общественного спасения…»

Снова раздалась барабанная дробь. Глашатай продолжал:

– «…и во исполнение декрета, изданного Конвентом и объявляющего вне закона всех мятежников, захваченных с оружием в руках, и карающего высшею мерой всякого, кто укрывает мятежников или способствует их побегу…»

Какой-то крестьянин вполголоса спросил соседа:

– Что это такое: высшая мера?

И сосед ответил:

– Не знаю!

Глашатай взмахнул бумагой и продолжал:

– «…Согласно статье семнадцатой закона от тридцатого апреля, облекающего неограниченной властью делегатов и их помощников, борющихся с мятежниками, объявляются вне закона…»

Он выдержал паузу и продолжал:

– «…лица, имена и клички коих приводятся ниже…»

Все прислушались.

Голос глашатая гремел теперь как гром:

– «…Лантенак, разбойник».

– Да это наш сеньор, – прошептал кто-то из крестьян.

И по толпе прошел шопот:

– Наш сеньор!

Глашатай продолжал:

– «…Лантенак, бывший маркиз, разбойник. Иманус, разбойник».

Двое крестьян исподтишка переглянулись.

– Гуж-ле-Брюан.

– Да, это Синебой.

Глашатай читал дальше:

– «Гран-Франкер, разбойник…»

Снова раздался шопот:

– Священник.

– Да, господин аббат Тюрмо.

– Приход его тут недалеко, около Шапеля; он священник.

– И разбойник, – добавил какой-то человек в колпаке.

А глашатай читал:

– «Буануво, разбойник. Два брата Деревянные Копья, разбойники. Узар, разбойник…»

– Это господин де Келен, – пояснил какой-то крестьянин.

– «Панье, разбойник…»

– Это господин Сефер.

– «…Плас-Нетт, разбойник…»

– Это господин Жамуа.

Глашатай продолжал чтение, не обращая внимания на комментарии слушателей.

– «…Гинуазо, разбойник. Шатенэ, кличка Роби, разбойник…»

Какой-то крестьянин шепнул другому:

– Гинуазо – еще его зовут «Белобрысый», а Шатенэ из Сент-Уэна.

– «…Уанар, разбойник», – выкрикивал глашатай.

В толпе зашумели.

– Он из Рюйе.

– Правильно, это Золотая Ветка.

– У него еще брата убили при Понторсоне.

– Того звали Уанар-Малоньер.

– Хороший был парень, всего девятнадцать минуло.

– А ну, тише! – крикнул глашатай. – Скоро уж конец. «Бельвинь, разбойник. Ла Мюзет, разбойник. Круши-всех, разбойник. Любовинка, разбойник».

Какой-то парень подтолкнул девушку локтем под бок. Девушка улыбнулась.

Глашатай заканчивал список:

– «Зяблик, разбойник. Кот, разбойник…»

Крестьянин в толпе пояснил:

– Это Мулар.

– «…Табуз, разбойник…»

Другой добавил:

– А это Гоффр.

– Их, Гоффров, двое, – заметила женщина.

– Два сапога пара, – буркнул ей в ответ парень.

Глашатай тряхнул бумагой, а барабанщик пробил дробь.

Глашатай продолжал:

– «…Где бы ни были обнаружены все вышепоименованные, после установления их личности, они будут немедленно преданы смертной казни…»

По толпе снова прошло движение.

А глашатай дочитал последние строки:

– «…Всякий, кто предоставит им убежище или поможет их бегству, будет предан военнополевому суду и приговорен к смертной казни. Подписано…»

Толпа затаила дыхание.

– «…подписано: делегат Комитета общественного спасения Симурдэн».

– Священник, – сказал кто-то из крестьян.

– Бывший кюре из Паринье, – подтвердил другой.

А какой-то буржуа заметил:

– Вот вам, пожалуйста, Тюрмо и Симурдэн. Белый священник и синий священник.

– Оба черные, – сказал другой буржуа.

Мэр, стоявший на балкончике, приподнял шляпу и прокричал:

– Да здравствует республика!

Барабанная дробь известила слушателей, что чтение еще не окончено. И в самом деле, глашатай поднял руку.

– Внимание, – крикнул он. – Вот еще последние четыре строчки правительственного объявления. Подписаны они командиром экспедиционного отряда Северного побережья, то есть командиром Говэном.

– Слушайте! – пронеслось по толпе.

И глашатай прочел:

– «…Под страхом смертной казни…»

Толпа притихла.

– «…запрещается оказывать согласно вышеприведенному приказу содействие и помощь девятнадцати вышепоименованным мятежникам, которые в настоящее время захвачены и осаждены в башне Тург».

– Как? – раздался голос.

То был женский голос. Голос матери.

III. Крестьяне ропщут

Мишель Флешар смешалась с толпой. Она не слушала глашатая, но иногда и не слушая слышишь. Она услыхала слово: «Тург» – и встрепенулась.

– Как? – спросила она. – В Турге?

На нее оглянулись. Вид у нее был растерянный. Она была в рубище. Кто-то охнул:

– Вот уж и впрямь разбойница.

Какая-то крестьянка, державшая в руке корзину с лепешками из гречневой муки, подошла к Мишели и шепнула:

– Замолчите.

Мишель Флешар растерянно взглянула на крестьянку. Она опять ничего не поняла. Слово «Тург» молнией озарило ее сознание, и вновь все заволоклось мраком. Разве она не имеет права спросить? И почему все на нее так уставились?

Между тем барабанщик в последний раз отбил дробь, расклейщик приклеил к стене объявление, мэр удалился с балкончика, глашатай отправился в соседнее селение, и толпа разбрелась по домам.

Только несколько человек задержалось перед объявлением. Мишель Флешар присоединилась к ним.

Говорили о людях, чьи имена были в списке объявленных вне закона.

Перед объявлением стояли крестьяне и буржуа, иначе говоря – белые и синие.

Разглагольствовал какой-то крестьянин:

– Все равно всех не переловишь. Девятнадцать это и будет девятнадцать. Приу они не поймали, Бенжамена Мулена не поймали, Гупиля из прихода Андуйе не поймали.

– И Лориеля из Монжана не поймали, – подхватил другой.

Тут заговорили все разом:

– И Бриса Дени тоже.

– И Франсуа Дюдуэ.

– Да, он из Лаваля.

– И Гю из Лонэ-Вилье.

– И Грежи.

– И Пилона.

– И Фийеля.

– И Менисана.

– И Гегарре.

– И трех братьев Ложре.

– И господина Лешанделье из Пьервиля.

– Дурачье! – вдруг возмутился какой-то седовласый старик. – Поймали Лантенака, считай всех поймали.

– Да они и Лантенака-то пока не поймали, – пробормотал кто-то из парней.

Старик возразил:

– Возьмут Лантенака, значит саму душу взяли. Умрет Лантенак, всей Вандее конец.

– Кто это такой Лантенак? – спросил один из буржуа.

– Так, из бывших, – ответил другой.

А еще кто-то добавил:

– Из тех, кто женщин расстреливает.

Мишель Флешар услышала эти слова и сказала:

– Верно!

Все оглянулись в ее сторону.

А она добавила:

– Меня вот он расстрелял.

Это прозвучало странно; будто живая выдавала себя за мертвую. Все смотрели теперь на нее, но не слишком доброжелательно.

Действительно, вид ее внушал беспокойство; эта дрожь, трепет, звериный страх – она была так напугана, что вчуже вызывала испуг. В отчаянии женщины страшит именно ее беспомощность. Словно сама судьба толкает ее к краю бездны. Но крестьяне смотрят на все много проще. Кто-то в толпе буркнул:

– Уж не шпионка ли она?

– Да замолчите вы и уходите подобру-поздорову, – шепнула Мишели все та же крестьянка с корзинкой.

Мишель Флешар ответила:

– Я ведь ничего плохого не делаю. Я только своих детей ищу.

Добрая крестьянка оглядела тех, кто глядел на Мишель Флешар, показала пальцем на лоб и, подмигнув ближайшим соседям, сказала:

– Разве не видите – юродивая.

Потом она отвела Мишель Флешар в сторону и дала ей гречневую лепешку.

Мишель, не поблагодарив, жадно начала есть.

– И впрямь юродивая, – рассудили крестьяне. – Ест, что твой зверь.

И толпа разбрелась. Люди расходились поодиночке.

Когда Мишель Флешар расправилась с лепешкой, она сказала крестьянке:

– Вот и хорошо, теперь я сыта. А где Тург?

– Опять она за свое! – воскликнула крестьянка.

– Мне непременно надо в Тург. Скажите, как пройти в Тург?

– Ни за что не скажу, – ответила крестьянка. – Чтобы вас там убили, так, что ли? Да я и сама толком не знаю. А у вас и правда не все дома! Послушайте меня, бедняжка вы, вы ведь еле на ногах стоите. Пойдемте ко мне, хоть отдохнете, а?

– Я не отдыхаю, – ответила мать.

– Ноги-то все в кровь разбила, – прошептала крестьянка.

А Мишель Флешар продолжала:

– Я ведь вам говорю, что у меня украли детей. Девочку и двух мальчиков. Я из леса иду, из землянки. Справьтесь обо мне у бродяги Тельмарша-Нищеброда или у человека, которого я в поле встретила. Он меня и вылечил. У меня, говорят, кость какая-то сломалась. Все, что я сказала, правда, все так и было. А потом есть еще сержант Радуб. Можете у него спросить. Он скажет. Это он нас в лесу нашел. Троих. Я ведь вам говорю – трое детей. Старшенького зовут Рене-Жан. Я могу все доказать. Второго зовут Гро-Алэн, а младшую Жоржетта. Муж мой помер. Убили его. Он был батраком в Сискуаньяре. Вот я вижу, – вы добрая женщина. Покажите мне дорогу. Не сумасшедшая я, я мать. Я детей потеряла. Я ищу их. Вот и все. Откуда я иду – сама не знаю. Эту ночь в сарае спала, на соломе. А иду я в Тург – вот куда. Я не воровка. Сами видите, я правду говорю. Неужели же мне так никто и не поможет отыскать детей? Я не здешняя. Меня расстреляли, а где – я не знаю.

Крестьянка покачала головой и сказала:

– Послушайте меня, странница. Сейчас революция, времена такие, что не нужно зря болтать чего не понимаешь. А то, гляди, вас арестуют.

– Где Тург? – воскликнула мать. – Сударыня, ради младенца Христа и пресвятой райской девы, прошу вас, сударыня, умоляю вас, заклинаю всем святым, скажите мне: как пройти в Тург?

Крестьянка рассердилась.

– Да не знаю я! А если бы и знала, не сказала бы. Плохое там место. Нельзя туда ходить.

– А я пойду, – ответила мать.

И она зашагала по дороге.

Крестьянка посмотрела ей вслед и проворчала:

– Есть-то ей надо.

Она догнала Мишель Флешар и сунула ей в руку гречневую лепешку.

– Хоть вечером перекусите.

Мишель Флешар молча взяла лепешку и пошла вперед, даже не обернувшись.

Она вышла за околицу. У последних домов деревни она увидела трех босоногих, оборванных ребятишек. Она подбежала к ним.

– Две девочки и мальчик, – вздохнула она.

И, заметив, что ребятишки жадно смотрят на лепешку, она протянула ее им.

Дети взяли лепешку и бросились испуганно прочь.

Мишель Флешар углубилась в лес.

IV. Ошибка

В тот же самый день, еще до восхода солнца, в полумраке леса, на проселочной дороге, что ведет от Жавенэ в Лекусс, произошло следующее.

Как и все прочие дороги в Дубраве, дорога из Жавенэ в Лекусс идет меж двух высоких откосов, и так на всем своем протяжении. К тому же она извилистая: скорее овраг, нежели настоящая дорога. Она ведет из Витрэ, это ей выпала честь трясти на своих ухабах карету госпожи де Севиньи. По обеим сторонам стеной подымается живая изгородь. Нет лучшего места для засады.

Этим утром, за час до того, как Мишель Флешар появилась на опушке леса и мимо нее промелькнула, словно зловещее видение, повозка под охраной жандармов, там, где жавенэйский проселок ответвляется от моста через Куэнон, в лесной чаще копошились какие-то люди. Густой шатер ветвей укрывал их. Люди эти были крестьяне в широких пастушечьих плащах из грубой шерсти, в каковую облекались в шестом веке бретонские короли, а в восемнадцатом – бретонские крестьяне. Люди эти были вооружены – кто карабином, кто дрекольем. Дрекольщики натаскали на полянку груду хвороста и сухого кругляка, так что в секунду можно было развести огонь. Карабинщики залегли в ожидании по обеим сторонам дороги. Тот, кто заглянул бы под густую листву, увидел бы дула карабинов, которые торчали сквозь природные бойницы, образованные сеткой сплетшихся ветвей. Это была засада. Дула смотрели в сторону дороги, которая смутно белела в свете зари.

В предрассветной мгле перекликались грубые голоса:

– А точно ли ты знаешь?

– Да ведь говорят.

– Стало быть, именно здесь и провезут?

– Говорят, она где-то поблизости.

– Ничего, здесь и останется, дальше не уедет.

– Сжечь ее!

– А как же иначе, зря, что ли, нас три деревни собралось?

– А с охраной как быть?

– Охрану прикончим.

– Да этой ли дорогой она пойдет?

– Слыхать, этой.

– Стало быть, она из Витрэ идет?

– А почему бы и не из Витрэ?

– Ведь говорили из Фужера.

– Из Фужера ли, из Витрэ ли, все едино, – от самого дьявола она едет.

– Что верно, то верно.

– Пускай обратно к дьяволу и убирается.

– Верно.

– Значит, она в Паринье едет?

– Выходит, что так.

– Не доехать ей.

– Не доехать.

– Ни за что не доехать!

– Потише вы! Замолчите:

И действительно, пора было замолчать, ибо уже совсем рассвело.

Вдруг сидевшие в засаде крестьяне затаили дыхание: до их слуха донесся грохот колес и ржание лошадей. Осторожно раздвинув кусты, они увидели между высокими откосами дороги длинную повозку и вокруг нее конных стражников; на повозке лежало что-то громоздкое; весь отряд двигался прямо в лапы засаде.

– Она! – произнес какой-то крестьянин, по всей видимости начальник.

– Она самая! – подтвердил один из дозорных. – И верховые при ней.

– Сколько их?

– Двенадцать.

– А говорили, будто двадцать.

– Дюжина или два десятка – все равно всех убьем.

– Подождем, пока они поближе подъедут.

Вскоре из-за поворота показалась повозка, окруженная верховыми стражниками.

– Да здравствует король! – закричал вожак крестьянского отряда.

Раздался залп из сотни ружей.

Когда дым рассеялся, оказалось, что рассеялась и стража. Семь всадников лежали на земле, пять успели скрыться. Крестьяне бросились к повозке.

– Чорт! – крикнул вожак. – Да никакая это не гильотина. Обыкновенная лестница.

И в самом деле, на повозке лежала длинная лестница.

Обе лошади были ранены, возчик убит шальной пулей.

– Ну, да все равно, – продолжал вожак, – раз лестницу под такой охраной везут, значит тут что-то неспроста. И везли ее в сторону Паринье. Видно, для осады Турга.

– Сжечь лестницу! – завопили крестьяне.

И они сожгли лестницу.

А зловещая повозка, которую они поджидали здесь, проехала другой дорогой и находилась сейчас впереди в двух милях, в той самой деревушке, где при первых лучах солнца ее увидела Мишель Флешар.

V. Vox in deserto[418]

Отдав ребятишкам последний кусок хлеба, Мишель Флешар тронулась в путь, – она шла куда глаза глядят, прямо через лес.

Раз никто не желал показать ей дорогу, что ж – она сама ее отыщет! Временами Мишель садилась отдохнуть, потом с трудом подымалась, потом снова садилась. Ее охватывала та смертельная усталость, которая сначала гнездится в каждом мускуле тела, затем поражает кости – извечная усталость раба. Она и была рабой. Рабой своих пропавших детей. Их надо было отыскать во что бы то ни стало. Каждая упущенная минута могла грозить им гибелью; тот, на ком лежит подобная обязанность, не имеет никаких прав; даже перевести дыхание и то запрещено. Но мать слишком устала! Есть такая степень изнеможения, когда при каждом следующем шаге спрашиваешь себя: шагну, не шагну? Она шла с самой зари; теперь ей уже не попадались ни деревни, ни даже одинокие хижины. Сначала она направилась по верной дороге, потом сбилась с пути и в конце концов заплуталась среди зеленого лабиринта неотличимо схожих друг с другом кустов. Приближалась ли она к цели? Скоро ли конец крестному ее пути? Она шла тернистой тропой и ощущала нечеловеческую усталость, предвестницу конца странствований. Ужели она упадет прямо на землю и испустит дух? Вдруг

ей показалось, что она не сделает больше ни шага; солнце клонилось к закату, в лесу сгущались тени, тропинку поглотила густая трава, и мать остановилась в нерешительности. Только один у нее остался защитник – господь бог. Она крикнула, но никто не отозвался.

Она оглянулась вокруг, заметила среди ветвей просвет, направилась в ту сторону и вдруг очутилась на опушке леса.

Перед ней лежала узкая, как ров, теснина, на дне которой по каменистому ложу бежал прозрачный ручеек. Тут только она поняла, что ее мучит жажда. Она спустилась к ручейку, стала на колени и напилась.

А раз опустившись на колени, она уж заодно помолилась богу.

Поднявшись, она огляделась в надежде увидеть дорогу.

Она перебралась через ручей.

За тесниной, насколько хватал глаз, расстилалось поросшее мелким кустарником плоскогорье, которое отлого подымалось по ту сторону ручейка и загораживало весь горизонт. Лес был уединением, а плоскогорье это – пустыней. В лесу за каждым кустом можно встретить живое существо; на плоскогорье взгляд напрасно искал хоть каких-нибудь признаков жизни. Только птицы, словно вспугнутые, выпархивали из вересковых зарослей.

Тогда, со страхом озирая бескрайнюю пустынную даль, чувствуя, что у нее мутится рассудок и подгибаются колени, обезумевшая от горя мать крикнула, обращаясь к пустыне, и странен был ее крик:

– Есть здесь кто-нибудь?

Она ждала ответа.

И ей ответили.

Раздался глухой и утробный глас; он шел откуда-то издалека, его подхватило и донесло сюда эхо; будто внезапно ухнул гром, а может быть пушка, и, казалось, голос этот ответил на вопрос несчастной матери: «Да».

Потом снова воцарилось безмолвие.

Мать поднялась, она словно ожила, значит здесь есть живое существо; отныне она сможет обращаться к нему, говорить с ним; она напилась из ручья и помолилась; силы возвращались к ней, и теперь она стала взбираться вверх – туда, откуда раздался глухой, но могучий зов.

Вдруг в самой дальней точке горизонта возникла высокая башня. Только эта башня и возвышалась среди одичалых полей; закатный багровый луч осветил ее. До башни оставалось еще не менее одного лье. А позади нее в предвечерней дымке смутным зеленым пятном вставал Фужерский лес.

Башня стояла как раз в той стороне, откуда до слуха матери донесся голос, прозвучавший как зов. Не из башни ли шел этот гром?

Мишель Флешар добралась до вершины плоскогорья; теперь перед ней расстилалась равнина.

Мать зашагала по направлению к башне.

VI. Положение дел

Час настал.

Неумолимая сила держала в своих руках силу безжалостную.

Лантенак был в руках Симурдэна.

Старый роялист-мятежник попался в своем логове; он уже не мог ускользнуть; и Симурдэн решил, что маркиз будет казнен в своем же собственном замке, тут же на месте, на собственной своей земле и даже в своем собственном доме, дабы стены феодального жилища стали свидетелями того, как слетит с плеч голова феодала, и дабы урок этот запечатлелся бы в памяти людской.

Потому-то он и послал в Фужер за гильотиной. Мы только что видели ее в пути.

Убить Лантенака значило убить Вандею; убить Вандею значило спасти Францию. Симурдэн не колебался. Этот человек был в своей стихии, когда следовал жестоким велениям долга.

Маркиз обречен; на этот счет Симурдэн был спокоен, его тревожило другое. Его людей ждет, разумеется, кровавая схватка; ее возглавит Говэн и, чего доброго, бросится в самую ее гущу; в этом молодом полководце живет душа солдата; такие люди первыми кидаются врукопашную; а вдруг его убьют? Убьют Говэна, убьют его дитя! единственное, что любит он, Симурдэн, на этой земле. До сего дня Говэну сопутствовала удача, но удача своенравна. Симурдэн трепетал. Странный выпал ему удел – он находился меж двух Говэнов, он жаждал смерти для одного и жаждал жизни для другого.

Пушечный выстрел, разбудивший Жоржетту в ее колыбельке и призвавший мать из глубин ее одиночества, имел не только эти последствия. То ли по случайности, то ли по прихоти наводчика ядро, которое должно было лишь предупредить врага, ударило в железную решетку, прикрывавшую и маскировавшую бойницу во втором ярусе башни, исковеркало ее и вырвало из стены. Осажденные не успели заделать эту брешь.

Вандейцы зря хвалились – боевых припасов у них оставалось в обрез. Положение их, повторяем, было куда плачевнее, чем предполагали нападающие. Будь у осажденных достаточно пороха, они взорвали бы Тург, сами взлетели бы на воздух, но погубили бы и врага, – такова по крайней мере была их мечта; но все их запасы пришли к концу. На каждого стрелка приходилось патронов по тридцати, если не меньше. Ружей, мушкетонов и пистолетов имелось в избытке, зато пуль нехватало. Вандейцы зарядили все ружья, чтобы вести непрерывный огонь; но как долго придется его вести? Требовалось одновременно поддерживать огонь и помнить, что уже нечем его поддерживать. В этом-то и заключалась вся трудность. К счастью, – если только бывает гибельное счастье, – бой неминуемо перейдет в рукопашную; сабля и кинжал заменит ружье. Придется колоть, а не стрелять. Придется действовать холодным оружием; только на этом и покоились все их надежды.

Изнутри башня казалась неуязвимой. В нижней зале, куда вела брешь, устроили редюит, вернее баррикаду, возведением которой искусно руководил сам Лантенак; баррикада эта преграждала вход врагу. Позади редюита, на длинном столе, разложили заблаговременно заряженное оружие– пищали, мушкетоны, карабины, а также сабли, топоры и кинжалы.

Так как не представлялось возможным воспользоваться для взрыва башни подземной темницей, маркиз приказал загородить дверь, ведущую в подвал. На втором ярусе башни, прямо над нижней залой, была расположена огромная круглая комната, куда попадали по узенькой винтовой лестнице; и здесь, как и в зале, стоял стол, весь заваленный оружием, так что стоило только протянуть руку и взять любое на выбор, – свет падал сюда из большой бойницы, с которой ядром только что сорвало железную решетку; из этой комнаты другая винтовая лестница вела в такую же круглую залу на третьем этаже, где находилась дверь, соединяющая башню с замком на мосту. Эту залу обычно называли «залой с железной дверью», или «зеркальной», ибо здесь по голым каменным стенам на ржавых гвоздях висели зеркала – причудливая уступка варварства изяществу. Верхние залы защищать было бесполезно, так что «зеркальная» являлась, следуя Манессону-Малле, непререкаемому авторитету в области фортификации, «последним убежищем, где осажденные сдаются врагу». Как мы уже говорили, задача заключалась в том, чтобы любой ценой помешать неприятелю сюда проникнуть.

Зала третьего этажа освещалась через бойницы; однако и сюда тоже внесли факел. Факел этот, вставленный в железную скобу, точно такую же, как и в нижнем помещении, собственноручно зажег Иманус, он же заботливо прикрепил рядом с факелом конец пропитанного серой шнура. Страшные приготовления.

В глубине нижней залы, на длинных козлах, расставили еду, словно в пещере Полифема, – огромные блюда с вареным рисом, похлебку из ржаной муки, рубленую телятину, пироги, вареные яблоки и кувшины с сидром. Ешь и пей сколько душе угодно.

Пушечный выстрел поднял всех на ноги. Времени оставалось всего полчаса.

Взобравшись на верх башни, Иманус зорко следил за передвижением неприятеля. Лантенак приказал не открывать пока огня и дать штурмующим возможность подойти ближе. Он заключил:

– Их четыре с половиной тысячи человек. Убивать их на подступах к башне бесполезно. Убивайте их только здесь. Здесь мы добьемся равенства сил.

И добавил со смехом:

– Равенство, Братство.

Условлено было, что, когда начнется движение противника, Иманус даст сигнал на трубе.

Осажденные молча ждали; кто стоял позади редюита, кто занял позицию на ступеньках винтовой лестницы, положив одну руку на курок мушкетона и зажав в другой четки.

Положение теперь прояснилось и сводилось к следующему:

Нападающим надлежало проникнуть под градом пуль в пролом, под градом пуль опрокинуть редюит, взять с боя три расположенные друг над другом залы, отвоевать ступеньку за ступенькой две винтовые лестницы; осажденным надлежало умереть.

VII. Переговоры

Готовился к штурму башни и Говэн. Он отдавал последние распоряжения Симурдэну, который, как мы уже говорили, не принимал участия в деле, имея поручение охранять плоскогорье, равно как и Гешану, которому передали командование над главной массой войск, остававшихся пока на опушке леса. Было решено, что и нижняя батарея, установленная в лесу, и верхняя, установленная на плоскогорье, откроют огонь лишь в том случае, если осажденные решатся на вылазку или предпримут попытку к бегству. За собой Говэн оставил командование отрядом, идущим на штурм. Это-то и тревожило Симурдэна.

Солнце только что закатилось.

Башня, возвышающаяся среди пустынных пространств, подобна кораблю в открытом море. Поэтому штурм ее напоминает морской бой. Это скорее абордаж, нежели атака. Пушки безмолвствуют. Ничего лишнего. Что даст обстрел стен в пятнадцать футов толщины? Борт пробит, одни пытаются пробраться в брешь, другие ее защищают, и тут уж в ход идут топоры, ножи, пистолеты, кулаки и зубы. Таков в подобных обстоятельствах бой.

Говэн чувствовал, что иначе Тургом не овладеть. Нет кровопролитнее боя, чем рукопашная. И Говэн знал, как неприступна башня, ибо жил здесь ребенком.

Он погрузился в глубокое раздумье.

Между тем Гешан, стоявший в нескольких шагах от командира, пристально глядел в подзорную трубу в сторону Паринье. Вдруг он воскликнул:

– А! Наконец-то!

Говэн встрепенулся.

– Что там такое, Гешан?

– Лестницу везут, командир.

– Спасательную лестницу?

– Да.

– Неужели до сих пор ее не привезли?

– Нет, командир. Я и сам уж забеспокоился. Нарочный, которого я отрядил в Жавенэ, давно возвратился.

– Знаю.

– Он сообщил, что обнаружил в Жавенэ лестницу нужной длины, что он ее реквизировал, велел погрузить на повозку, приставил к ней стражу – двенадцать верховых – и самолично убедился, что повозка, верховые и лестница отбыли в Паринье. После чего он прискакал сюда.

– И доложил нам о своих действиях. Он добавил, что в повозку впрягли добрых коней и выехали в два часа утра, следовательно должны быть здесь к заходу солнца. Все это я знаю. Ну, а дальше что?

– А дальше то, командир, что солнце садится, а повозки с лестницей еще нет.

– Да как же так? Ведь пора начинать штурм. Уже время. Если мы замешкаемся, осажденные решат, что мы струсили.

– Можно начинать, командир.

– Но ведь нужна лестница.

– Конечно, нужна.

– А у нас ее нет.

– Она есть.

– Как так?

– Не зря же я закричал: наконец-то! Вижу, повозки все нет и нет; тогда я взял подзорную трубу и стал смотреть на дорогу из Паринье в Тург и, к великой своей радости, заметил повозку и стражников при ней. Вот она спускается с откоса. Хотите посмотреть?

Говэн взял из рук Гешана подзорную трубу и поднес ее к глазам.

– Верно. Вот она. Правда, уже темнеет и плохо видно. Но охрану я вижу. Только знаете, Гешан, что-то людей больше, чем вы говорили.

– Да, что-то многовато.

– Они приблизительно за четверть лье отсюда.

– Лестница, командир, будет через четверть часа.

– Можно начинать штурм.

И в самом деле, по дороге двигалась повозка, но не та, которую с таким нетерпением ждали в Турге.

Говэн обернулся и заметил сержанта Радуба, который стоял, вытянувшись по всей форме, опустив, как и положено по уставу, глаза.

– Что вам, сержант Радуб?

– Гражданин командир, мы, то есть солдаты батальона Красный Колпак, хотим вас просить об одной милости.

– О какой милости?

– Разрешите сложить голову в бою.

– А! – произнес Говэн.

– Что ж, будет на то ваша милость?

– Это… смотря по обстоятельствам, – ответил Говэн.

– Да как же так, гражданин командир. После Дольского дела уж слишком вы нас бережете. А нас ведь еще двенадцать человек.

– Ну и что?

– Унизительно это для нас.

– Вы находитесь в резерве.

– А нам бы желательно находиться впереди.

– Но вы понадобитесь мне позже, в конце операции, для решительного удара. Поэтому я вас и берегу.

– Слишком уж бережете.

– Ведь это все равно. Вы в строю. И вы тоже пойдете на штурм.

– Пойдем, да сзади. А парижане вправе идти впереди.

– Я подумаю, сержант Радуб.

– Подумайте сейчас, гражданин командир. Случай уж очень подходящий. Нынче самый раз – свою голову сложить или чужую с плеч долой снести. Дело будет горячее. К башне Тург так просто не притронешься, руки обожжешь. Окажите милость – пустите нас первыми.

Сержант помолчал, покрутил ус и добавил взволнованным голосом:

– А кроме того, гражданин командир, в этой башне наши ребятки. Там наши дети, батальонные, трое наших малюток. И эта гнусная харя Грибуй – «в зад-меня-поцелуй», он же Синебой, он же Иманус, ну, словом, этот самый Гуж-ле-Брюан, этот Буж-ле-Грюан, этот Фуж-ле-Трюан, эта сатана треклятая, грозится наших детей погубить. Наших детей, наших крошек, командир. Да пусть хоть все громы небесные грянут, не допустим мы, чтобы с ними беда приключилась. Верьте, командир, не допустим. Вот сейчас, пока еще тихо, я взобрался на откос и посмотрел на них через окошко; они и верно там, их хорошо видно с плоскогорья, я их видел и, представьте, напугал малюток. Так вот, командир, если с ангельских их головенок хоть один волос упадет, клянусь вам всем святым, я, сержант Радуб, доберусь до потрохов отца предвечного. И вот что наш батальон заявляет: «Мы желаем спасти ребятишек или умрем все до одного». Это наше право, чорт побери, наше право – умереть. А засим – привет и уважение.

Говэн протянул Радубу руку и сказал:

– Вы молодцы. Вы пойдете в первых рядах штурмующих. Я разделю вас на две группы. Шесть человек прикомандирую к передовому отряду, чтобы вести остальных, а пятерых к арьергарду, чтобы никто не смел отступить.

– Всеми двенадцатью командовать буду попрежнему я?

– Конечно.

– Ну, спасибо, командир. Стало быть, я пойду впереди.

Радуб отдал честь и вернулся в строй.

Говэн вынул из кармана часы, шепнул несколько слов на ухо Гешану, и колонна нападающих начала строиться в боевом порядке.

VIII. Речь и рык

Тем временем Симурдэн, который еще не занял своего поста на плоскогорье и не отходил от Говэна, вдруг подошел к горнисту.

– Подай сигнал! – скомандовал он.

Горнист заиграл, ему ответила труба.

И снова рожок и труба обменялись сигналами.

– Что такое? – спросил Говэн Гешана. – Что это Симурдэн задумал?

А Симурдэн уже шел к башне с белым платком в руках.

Приблизившись к ее подножью, он крикнул:

– Люди, засевшие в башне, знаете вы меня?

С вышки ответил чей-то голос – голос Имануса:

– Знаем.

Началась беседа, голос снизу спрашивал, сверху отвечал.

– Я посланец Республики.

– Ты бывший кюре из Паринье.

– Я делегат Комитета общественного спасения.

– Ты священник.

– Я представитель закона.

– Ты предатель.

– Я революционный комиссар.

– Ты расстрига.

– Я Симурдэн.

– Ты сатана.

– Вы меня знаете?

– Мы тебя ненавидим.

– Вам хотелось, чтобы я попался к вам в руки?

– Да мы все восемнадцать голову сложим, лишь бы твою с плеч снять.

– Вот и прекрасно, предаюсь в ваши руки.

На верху башни раздался дикий хохот и возглас:

– Иди!

В лагере воцарилась глубочайшая тишина – тишина ожидания.

Симурдэн продолжал:

– Но лишь при одном условии.

– Каком?

– Слушайте.

– Говори.

– Вы меня ненавидите?

– Ненавидим.

– А я вас люблю. Я ваш брат.

– Да, ты Каин.

Симурдэн продолжал голосом громким и в то же время мягким:

– Оскорбляй, но выслушай. Я пришел к вам в качестве парламентария. Да, вы мои братья. Вы несчастные, заблудшие люди. Я ваш друг. Я несу вам свет и взываю к вашему невежеству. А свет – он и есть братство. Да разве мы с вами – не дети одной матери – нашей родины? Так слушайте же. Придет время, и вы поймете, или ваши дети поймут, или дети ваших детей поймут, что все, что творится ныне, свершается во имя законов, данных свыше, и что в революции проявляет себя воля божья. И пока не наступит то время, когда все умы, даже ваши, уразумеют истину и всяческий фанатизм, даже ваш, исчезнет с лица земли, пока, повторяю, не воссияет этот великий свет, кто сжалится над вашей темнотой? Я сам пришел к вам, я предлагаю вам свою голову; больше того, протягиваю вам руку. Я как милости прошу: отнимите у меня жизнь, ибо я хочу спасти вас. Я наделен широкими полномочиями и могу выполнить то, что пообещаю. Наступила решительная минута; я делаю последнюю попытку. Да, с вами говорит гражданин, но в этом гражданине – тут вы не ошиблись – жив священнослужитель. Гражданин воюет с вами, а священник молит вас. Выслушайте меня. У многих из вас жены и дети. Я беру на себя охрану ваших детей и жен. Я защищаю их от вас же самих. О братья мои…

– А ну-ка попроповедуй еще! – насмешливо крикнул Иманус.

Симурдэн продолжал:

– Братья мои, не допустите, чтобы пробил час кровопролития. Близится миг страшной схватки. Многие из нас, что стоят здесь перед вами, не увидят завтрашнего рассвета; да,

многие из нас погибнут, но вы, вы умрете все. Так пощадите же самих себя. К чему проливать втуне столько крови? К чему убивать стольких людей, когда можно убить всего двух?

– Двух? – переспросил Иманус.

– Да, двух.

– А кого?

– Лантенака и меня.

Симурдэн повысил голос:

– Два человека здесь лишние: Лантенак для нас, я для вас. Так вот что я вам предлагаю, и это спасет вашу жизнь: выдайте нам Лантенака и возьмите меня. Лантенак будет гильотинирован, а со мной сделаете все, что вам будет угодно.

– Поп, – заревел Иманус, – попадись только нам в руки, мы тебя живьем зажарим.

– Согласен, – ответил Симурдэн.

И продолжал:

– Вы обречены на смерть в этой башне, а я предлагаю вам жизнь и свободу. Я несу вам спасение. Соглашайтесь.

Иманус захохотал.

– Ты не только негодяй, но и сумасшедший. Зачем ты нас беспокоишь зря? Кто тебя просил с нами разговаривать! Чтобы мы выдали маркиза? Чего ты хочешь?

– Его голову. А вам предлагаю…

– Свою шкуру. Ведь мы с тебя, как с паршивого пса, шкуру спустим, кюре Симурдэн. Но нет, не выйдет, твоя шкура против его головы не потянет. Убирайся.

– Бой будет ужасен. В последний раз говорю: подумайте хорошенько.

Пока шла эта страшная беседа, каждое слово которой четко слышалось и внутри башни и в лесу, спускалась ночь. Маркиз де Лантенак молчал, предоставляя действовать другим. Военачальникам свойственен этот зловещий эгоизм. Это право тех, на ком лежит ответственность.

Иманус заговорил, заглушая слова Симурдэна:

– Люди, идущие на нас штурмом! Мы сообщили вам свои условия, они вам известны, и ничего мы менять не будем. Примите их, иначе раскаетесь. Согласны? Мы отдаем вам троих детей, которые находятся в замке, а вы выпускаете нас всех целыми и невредимыми.

– Всех, согласен, – ответил Симурдэн. – За исключением одного.

– Кого же?

– Лантенака!

– Нашего маркиза! Выдать вам маркиза! Ни за что на свете!

– Нам нужен Лантенак.

– Ни за что.

– Мы можем вести переговоры лишь при этом условии.

– Тогда начинайте штурм.

Наступила тишина.

Иманус, протрубив сигнал сбора, сошел вниз; Лантенак обнажил шпагу; все девятнадцать человек в молчании зашли за редюит и опустились на колени; до них доносился мерный шаг передового отряда, продвигавшегося в темноте к башне. Шум все приближался; вдруг вандейцы угадали, что враг достиг самого пролома. Тогда мятежники, не подымаясь с колен, припали к бойницам, оставленным в редюите, вскинули к плечу ружья и мушкетоны, а Гран-Франкер, он же священник Тюрмо, выпрямился во весь свой рост и, держа в правой руке саблю, а в левой распятие, торжественно провозгласил:

– Во имя отца и сына и святого духа!

Осажденные дали залп, и бой начался.

IX. Титаны против гигантов

Началось нечто неописуемо страшное.

Рукопашная под Тургом превосходила все, что может представить себе человеческое воображение.

Дабы дать о ней хотя бы слабое представление, пришлось бы обратиться к великим схваткам эсхиловских трагедий или к резне феодальных времен, к тем побоищам «нож к ножу», которые происходили еще в XVII веке, когда наступающие проникали в крепость через проломы, вспомнить те трагические поединки, о которых старик сержант из провинции Алентехо говорит: «Когда мины сделают свое дело, нападающие пойдут на штурм, опустив забрало, прикрываясь щитами и досками, обшитыми железом, вооруженные гранатами, они вытеснят врага из ретраншементов и редюитов, овладеют ими и продолжат неудержимое наступление».

Уже само поле битвы внушало ужас; она разыгрывалась в проломе, который на военном языке зовется «подсводная брешь», ибо, если читатель помнит, стена треснула, но сквозного прохода не образовалось. Порох в данном случае сыграл роль бурава. Действие мины было столь сильно, что в стене образовалась трещина, достигшая сорока футов высоты над местом взрыва, но это была лишь трещина, а единственное отверстие, которое отвечало своему назначению и позволяло проникнуть внутрь башни в нижний зал, напоминало скорее узкий след копья, нежели широкую щель от удара топором.

Это был прокол на теле башни, глубокий шрам, похожий на горизонтально прорытый колодец или на извилистый коридор, идущий несколько вверх, какое-то подобие кишки, пропущенной через стену пятнадцатифутовой толщины, некий бесформенный цилиндр, сплошь загроможденный препятствиями, расставивший десяток ловушек; гранит здесь норовил разбить человеку лоб, щебень – засосать его по колено, а мрак – застлать ему глаза.

Перед штурмующими зияла черная арка, этот зев бездны, ощерившейся острыми обломками камней, грозно торчащими снизу и сверху, как зубы в гигантской челюсти; пожалуй, акулья пасть не так зубаста, как эта страшная пробоина. Надо было войти в эту дыру и выйти из нее живым.

Тут рвалась картечь, там преграждал путь редюит, – там, то есть в зале нижнего этажа.

Только в подземных галереях, где саперы, подводящие мину, встречаются с вражеским отрядом, ставящим контрмину, только в трюмах взятого на абордаж корабля, где идут в ход топоры, только там бой достигает такого накала. Битва в глубине рва – это крайний предел ужаса. Страшна рукопашная под нависающим над головою сводом. В ту самую минуту, когда первая волна нападающих заполнила пролом, редюит засверкал молниями и глухо, словно под землей, проворчал гром. Грому осады ответил гром обороны. На эхо отвечало эхо; раздался крик Говэна: «Вперед!» Потом крик Лантенака: «Держитесь стойко!» Потом крик Имануса: «Ко мне, земляки!» Потом лязг скрещивающихся сабель, и один за другим – залпы ружей, несущие смерть. Факел, воткнутый в трещину стены, бросал слабый свет на эту ужасную картину. Все смешалось, все было окутано красноватым мраком, попавший сюда человек сразу глохнул и слепнул, глохнул от шума, слепнул от дыма. Раненые падали на землю прямо на обломки; дерущиеся шагали по трупам, скользили в крови, доламывали сломанные кости, с пола доносился вой, и умирающие впивались зубами в ноги бойцов. Временами воцарялась тишина, еще более гнетущая, чем шум битвы. Грудь прижималась к груди, слышалось тяжелое дыхание, зубовный скрежет, предсмертный хрип, проклятья, и вновь все заглушалось раскатами грома. Из бреши струился ручеек крови, растекаясь по земле в ночном мраке. От темной лужи подымался пар.

Казалось, кровоточит сама башня, смертельно раненная великанша. Как ни странно, снаружи почти не было слышно отголосков боя. Ночь выдалась темная, над равниной и в лесу, подступавшему к башне, стояла зловещая тишина. Внутри башни был ад, снаружи царил могильный покой. Схватка людей, уничтожавших друг друга во мраке, мушкетные выстрелы, вопли, крики ярости – все эти шумы замирали под сводами, среди толщи стен; звуки слабели от недостатка воздуха, и ужас резни усугублялся удушьем. Но грохот битвы почти не доносился наружу. Дети мирно спали в библиотеке.

Ярость возрастала. Редюит держался стойко. Труднее всего опрокинуть именно такой редюит со входящим углом. На стороне штурмующих было численное превосходство, зато на стороне осажденных – позиционное преимущество. Атакующие несли большой урон. Теснившаяся у подножия башни колонна республиканцев медленно просачивалась в зияющую брешь, укорачиваясь, как змея, вползающая в свою нору.

Говэн, горевший безрассудной отвагой молодого полководца, находился в самой гуще схватки, не обращая внимания на свиствевшие вокруг пули. Добавим, что, подобно многим счастливцам, выходящим из боя без царапины, он верил в свою счастливую звезду.

Когда он обернулся, чтобы отдать какое-то приказание, раздался залп из мушкетонов, и при вспышке огня рядом с собой он увидел знакомое лицо.

– Симурдэн! – вскричал он. – Что вы здесь делаете?

В самом деле это был Симурдэн. Симурдэн ответил:

– Я хочу быть рядом с тобой.

– Но ведь вас убьют.

– А ты сам зачем сюда пришел?

– Но я здесь нужен. А вы нет.

– Раз ты здесь, я тоже должен быть здесь.

– Отнюдь нет, учитель.

– Да, дитя мое.

И Симурдэн остался рядом с Говэном.

На каменных плитах залы росла груда трупов.

Хотя редюит еще держался, было очевидно, что более сильный числом противник победит. Правда, нападающие шли без всякого прикрытия, а осажденные укрылись за редюитом, и на одного убитого вандейца приходилось десять убитых республиканцев, зато на месте павшего бойца вырастал десяток новых. Ряды республиканцев множились, а ряды осажденных таяли.

Все девятнадцать осажденных находились позади редюита, здесь и сосредоточился бой. У мятежников тоже были убитые и раненые. С их стороны сражалось уже не более пятнадцати человек. Один из самых свирепых вандейцев, Зяблик, был весь изувечен. Это был коренастый бретонец с курчавой шевелюрой, неугомонный и верткий коротышка. Ему выкололи глаз и раздробили челюсть. Но двигаться он еще мог. Он пополз вверх по винтовой лестнице и добрался до второго этажа, надеясь с молитвой отойти здесь к господу.

Он прислонился к стене, неподалеку от бойницы, и жадно вдыхал свежий воздух.

А внизу резня становилась все ожесточеннее. В минуту затишья, меж двух залпов, Симурдэн вдруг возвысил голос:

– Осажденные! Зачем дальше проливать кровь? Вы в наших руках. Сдавайтесь! Подумайте, ведь нас четыре с половиной тысячи против девятнадцати, другими словами более двухсот на одного человека. Сдавайтесь!

– Прекратить эту комедию! – крикнул в ответ Лантенак.

И двадцать пуль ответили Симурдэну.

Верх редюита не доходил до свода, что давало осажденным возможность стрелять поверх редюита, а нападающим взобраться на него.

– На приступ! – прокричал Говэн. – Есть охотники добровольно взобраться на редюит?

– Есть, – отозвался сержант Радуб.

X. Радуб

При этих словах нападающие оцепенели от изумления. Радуб ворвался в пролом башни во главе колонны, шестым по счету; из шести человек, уцелевших от парижского батальона, четверо уже пали в бою. Закричав «есть», он к удивлению присутствующих и не подумал броситься к редюиту, а наоборот, согнувшись, стал пробираться назад; скользя между ног своих товарищей, он добрался до устья бреши и вышел наружу. Неужели такой человек способен убежать с поля боя? Что все это значит?

Выйдя из-под свода, еще полуслепой от едкого дыма, Радуб протер глаза, словно желая прогнать прочь мрак и ужас, и при свете звезд оглядел стену башни. Потом удовлетворенно кивнул головой, словно говоря сам себе: «Да, я не ошибся».

Еще раньше Радуб заметил, что глубокая трещина, образовавшаяся после взрыва мины, шла вверх по стене вплоть до той бойницы второго яруса, в которую угодило ядро, повредив железную решетку и расширив отверстие. Наполовину вырванные из камня железные прутья свисали вниз, и теперь, пожалуй, человек мог бы проникнуть через эту бойницу внутрь башни.

Человек мог проникнуть внутрь, но мог ли человек добраться до бойницы? По трещине мог, но лишь при одном условии – превзойти в ловкости кошку.

Радуб как раз и превосходил ее. Он принадлежал к той породе людей, которых Пиндар именует: «проворные атлеты». Можно быть старым воякой и не старым человеком; Радубу, бывшему рядовому французской гвардии, не исполнилось еще сорока лет. Это был Геркулес, наделенный ловкостью.

Радуб положил наземь мушкетон, снял кафтан и кожаное снаряжение, оставив при себе лишь два пистолета, которые он заткнул за пояс, и обнаженную саблю, которую он взял в зубы. Рукоятки пистолетов торчали из-за пояса.

Избавившись таким образом от всего лишнего, он под внимательным взглядом колонны, еще не успевшей проникнуть в брешь, начал взбираться по камням, выступавшим по обоим краям трещины, будто по ступенькам лестницы. Отсутствие сапог на сей раз пошло на пользу, босая нога, не в пример обутой, легко цепляется за любой выступ; Радуб просовывал пальцы ног в малейшую расселину. Он подтягивался на руках и удерживался на весу, упираясь коленами в края трещины. Подъем был труден. Вообразите, что человеку пришлось бы лезть по зубьям бесконечно длинной пилы. «Хорошо еще, – думал Радуб, – что в зале наверху никого нет, а то ни за что бы мне не взобраться!»

Ему предстояло преодолеть не менее сорока футов. По мере подъема трещина становилась все уже, а тут еще рукоятки пистолетов цеплялись за камни, что затрудняло продвижение. И чем глубже становилась бездна, тем более неминуемым казалось падение.

Наконец, он добрался до края бойницы; он раздвинул прутья искалеченной и вывороченной из стены решетки, с силой подтянулся, уперся коленом о карниз, схватился правой рукой за уцелевший обломок решетки, левой рукой – за другой обломок и приподнялся до половины бойницы, держа в зубах саблю и повиснув над бездной только на руках.

Ему оставалось перенести через край бойницы ногу, и он спустился бы в зале второго яруса.

Но вдруг в бойнице показалось лицо.

Во мраке Радуб увидел нечто страшное: пред ним возникла окровавленная маска с вырванным глазом и раздробленной челюстью.

И маска эта пристально глядела на него своим единственным зрачком.

Но у маски оказалось две руки; две эти руки поднялись из мрака и потянулись к Радубу; одна ловким движением вытащила у него из-за пояса оба пистолета, а другая вырвала из зубов саблю.

Радуб оказался безоружным. Его колено скользило по наклонному карнизу, руками он судорожно цеплялся за обломки решетки, с трудом удерживаясь на весу, а под ним зияла пропасть в сорок футов глубиной.

Эти руки и эта маска принадлежали Зяблику.

Задыхаясь от порохового дыма, поднимавшегося снизу, Зяблик кое-как дополз до бойницы; свежий воздух оживил его, ночная прохлада остановила кровь, шедшую из раны, и придала ему силы; вдруг в отверстии бойницы он увидел торс Радуба, а так как Радуб сжимал обеими руками прутья решетки и ему не было иного выбора, как рухнуть вниз или лишиться оружия, Зяблик, страшный и спокойный, вытащил у него из-за пояса пистолеты, а из зубов саблю.

Начинался неслыханный поединок. Поединок раненого с безоружным.

Казалось, победителем станет умирающий. Единственной пули было достаточно, чтобы сбросить Радуба в зиявшую под его ногами бездну.

К счастью для Радуба, Зяблик, держа оба пистолета в одной руке, не мог стрелять и вынужден был действовать саблей. Он ударил ею Радуба. Сабля рассекла плечо Радуба, но рана спасла его.

Безоружный, и тем не менее полный сил, Радуб, презрев удар, который, впрочем, не тронул кости, напрягся всем телом и впрыгнул в бойницу, выпустив из рук прутья решетки.

Теперь он очутился лицом к лицу с Зябликом, который отбросил саблю и схватил в каждую руку по пистолету.

Зяблик почти в упор целился с колен в Радуба, но ослабевшая рука задрожала, и он не успел спустить курок.

Радуб воспользовался этой передышкой и громко захохотал.

– А ну-ка, мордоворот, – закричал он, – уж не думаешь ли ты меня своим бифштексом запугать?.. А здорово, ей-богу, тебе личико освежевали.

Зяблик молча продолжал целиться.

Радуб не унимался.

– Не обессудь, но наша картечь тебе малость рыло подпортила. Бедный ты парень, гляди, как Беллона всю морду тебе поцарапала. А ну, стреляй, голубчик, стреляй скорее.

Раздался выстрел, пуля просвистела у самого виска Радуба и оторвала пол-уха. Зяблик поднял другую руку с пистолетом, но Радуб не дал ему времени прицелиться.

– И так уж я без уха остался, – закричал он. – Ты меня два раза ранил. Теперь мой черед.

И он бросился на врага, подбил снизу его руку, так что пистолет выстрелил в воздух, затем схватил вандейца за разбитую челюсть.

Зяблик взвыл от боли и потерял сознание.

Радуб перешагнул через бесчувственное тело, валявшееся поперек бойницы.

– А теперь потрудись выслушать мой ультиматум, – произнес он, – и не смей шелохнуться. Лежи здесь червяк-злыдень. Сам понимаешь, нет мне сейчас времени с тобой возиться. Ползай себе по земле сколько твоей душе угодно, мои сапоги тебе компанию составят. А лучше умирай, вот это будет дело. Сам скоро поймешь, что твой поп тебе глупостей наобещал. Лети, мужичок, в райские кущи.

И он спрыгнул с бойницы на пол.

– Ни черта не видно, – буркнул он.

Зяблик судорожно забился и взревел в предсмертных муках. Радуб обернулся.

– Сделай милость, помолчи, гражданин холоп. Я больше в твои дела не мешаюсь. Презираю тебя и даже добивать не стану. Иди ты к чорту.

Он в раздумье поскреб затылок, глядя на Зяблика.

– Что же мне теперь делать? Все это хорошо, но я остался без оружия. А мог целых два раза выстрелить. Ты меня обездолил, скотина! А тут еще дым этот, так глаза и ест.

Он случайно коснулся раненого уха и воскликнул: «Ой!»

Потом снова заговорил:

– Ну, что, легче тебе от того, что ты конфисковал у меня ухо? Хорошо еще, что все прочее цело, ухо – пустяки, – так, только для украшения. Да еще плечо мне повредил, да это ничего. Помирай, мужичок; я тебя прощаю.

Он прислушался. Из залы доносился страшный гул. Бой достиг высшего накала.

– Там внизу дело идет на лад. Смотри ты, все еще кричат: «Да здравствует король!» Хоть и подыхают, а благородно.

Нога его задела за саблю, которую отбросил Зяблик. Радуб поднял ее с земли и обратился к вандейцу, который уже не шевелился, да и вряд ли был еще жив:

– Видишь ли, лесовик, для того дела, что я задумал, сабля мне ни к чему. А беру я ее только потому, что она мой старый друг. Вот пистолеты мне нужны были. Чтобы тебя, дикаря, черти подрали. Что же мне теперь делать? Куда я теперь гожусь?

Он стал пробираться через залу, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Вдруг возле колонны, посреди комнаты, он заметил длинный стол, на столе что-то тускло поблескивало. Радуб протянул руку. Он нащупал пищали, пистолеты, карабины, целый склад оружия, разложенного в строгом порядке; казалось, оно только ждало руки бойца; это осажденные припасли себе оружие для второй фазы битвы. Словом, целый арсенал.

– Гляди-ка, какое богатство! – воскликнул Радуб.

И он бросился к оружию, не веря своим глазам.

Теперь он стал поистине грозен.

Рядом со столом, нагруженным оружием, Радуб увидел широко распахнутую дверь, ведущую на лестницу, которая соединяла этажи башни. Радуб отбросил саблю, схватил в каждую руку по двуствольному пистолету и выстрелил наудачу вниз, в пролет винтовой лестницы, потом взял мушкетон и выстрелил, затем схватил пищаль, заряженную крупной дробью, и тоже выстрелил. Выстрел из пищали, выпускавший сразу пятнадцать свинцовых шариков, походил по звуку на залп картечи.

Тогда Радуб, передохнув, оглушительным голосом крикнул в пролет: «Да здравствует Париж!»

И, схватив вторую пищаль, еще более крупного калибра, чем первая, он наставил ее дулом на лестницу и стал ждать.

В нижней зале началось неописуемое смятение. Одна минута внезапного удивления может погубить сопротивляющихся.

Две пули из трех залпов попали в цель; одна убила старшего из братьев Деревянные Копья, другая сразила Узара, иначе господина де Келена.

– Они наверху! – воскликнул маркиз.

Этот возглас решил судьбу редюита: защитники его, как стая испуганных птиц, бросились к винтовой лестнице. Маркиз подгонял отступающих.

– Скорее, скорее, – говорил он. – Сейчас бегство и есть проявление мужества. Подымемся на третий этаж! Там мы снова дадим бой!

Он покинул баррикаду последним.

Этот отважный поступок спас его от гибели.

Радуб, засевший на лестнице второго этажа, поджидал отступающих, держа палец на курке пищали. Вандейцы, первыми появившиеся из-за поворота лестницы, были сражены его пулями насмерть. Если бы в их числе был маркиз, он не миновал бы той же участи. Но прежде чем Радуб успел схватить заряженный мушкетон, уцелевшие вандейцы поднялись на третий этаж, а за ними неторопливо проследовал Лантенак. Вандейцы решили, что в зале второго этажа засел неприятель, и потому, не останавливаясь, пробрались прямо на третий этаж, в зеркальную. Здесь была железная дверь, здесь был пропитанный серой шнур, здесь предстояло погибнуть или сдаться на милость победителя.

Говэн, не меньше, чем вандейцы, удивленный выстрелами на лестнице, не знал, чему приписать эту неожиданную подмогу, но он не стал доискиваться причины; воспользовавшись благоприятной минутой, он во главе своих солдат перескочил через редюит и бросился за вандейцами к лестнице, подгоняя их вверх ударами шпаги.

На втором этаже он обнаружил Радуба.

Радуб отдал Говэну честь и сказал:

– Сию секунду, командир. Это я наделал здесь переполоху. Вспомнил, как было в Доле. И повторил ваш тогдашний маневр. Зажал, так сказать, неприятеля меж двух огней.

– Что ж, ученик способный, – ответил, улыбаясь, Говэн.

Когда человек долгое время пробыл в неосвещенном помещении, глаза его постепенно привыкают к темноте и приобретают совиную зоркость; приглядевшись, Говэн заметил, что Радуб весь залит кровью.

– Да ты ранен, друг! – воскликнул он.

– Пустяки, командир, не стоит обращать внимания. Велика важность, одним ухом больше, одним меньше. Правда, меня и саблей хватили, да наплевать, – так, царапина. Волков бояться – в лес не ходить. Впрочем, тут не одна только моя кровь.

В зале второго этажа, отбитой Радубом у неприятеля, устроили короткий привал. Принесли фонарь. Симурдэн подошел к Говэну. Они стали совещаться. И правда, было, что обсудить. Нападающие так и не раскрыли тайны осажденных, не подозревали, что у вандейцев совсем мало боевых припасов; не знали они и того, что запасы пороха у врага приходят к концу; зала третьего этажа была последним оплотом осажденных; но нападающие могли предполагать, что лестница заминирована.

Одно было верно – враг теперь не ускользнет из их рук. Уцелевшие в бою были как бы заперты в зеркальной. Лантенак попался в мышеловку.

Эта уверенность позволяла устроить передышку и на досуге найти наилучшее решение. И без того уже ряды республиканцев поредели. Надо было действовать так, чтобы не понести лишних потерь в этой последней схватке.

Решительный приступ был сопряжен с немалым риском. Враг встретит их ожесточенным огнем.

Наступило затишье. Осаждающие, завладев двумя нижними этажами, ждали, когда командир даст сигнал к бою. Говэн и Симурдэн держали совет. Радуб молча присутствовал при обсуждении.

Но вот он снова стал навытяжку и робко окликнул:

– Командир!

– Что тебе, Радуб?

– Заслужил я хоть небольшую награду?

– Конечно, заслужил. Проси чего хочешь.

– Прошу разрешения идти первым.

Отказать ему было невозможно. Да он и не стал бы дожидаться разрешения.

XI. Обреченные

Пока в зале второго этажа шло совещание, на третьем спешно возводили баррикаду. Если успех есть исступление, то поражение есть бешенство. Двум этажам башни предстояло схватиться в отчаянном поединке. Мысль о близкой победе пьянит. Второй этаж был окрылен надеждой, которую следовало бы признать самой могучей силой, движущей человеком, если бы не существовало отчаяния.

На третьем этаже царило отчаяние.

Отчаяние холодное, спокойное, мрачное.

Добравшись до залы третьего этажа – до последнего своего прибежища, дальше которого отступать было некуда, осажденные первым делом загородили вход. Просто запереть двери было бы бесполезно, куда разумнее представлялось преградить лестницу. В подобных случаях любая преграда, позволяющая осажденным видеть противника и сражаться, куда надежнее закрытой двери.

Факел, прикрепленный Иманусом к стене, возле пропитанного серой шнура освещал лица вандейцев.

В зале третьего этажа стоял огромный, тяжелый дубовый сундук, в каких, до изобретения более удобных шкафов, наши предки хранили одежду и белье.

Осажденные подтащили сундук к лестнице и поставили его стоймя на самой верхней ступеньке. Размером он пришелся как раз по проему двери и плотно закупорил вход. Между сундуком и сводом осталось только узкое отверстие, через которое с трудом мог протиснуться человек, что давало в руки осажденным огромное преимущество, позволяя им разить одного наступающего за другим. Да и сомнительно было, чтобы кто-нибудь отважился пробраться сквозь эту щель.

Забаррикадировав дверь, осажденные получили небольшую отсрочку.

Пересчитали бойцов.

Из девятнадцати человек осталось лишь семеро, в том числе Иманус. За исключением Имануса и маркиза, все остальные были ранены.

Впрочем, все пятеро раненых чувствовали себя вполне пригодными владеть оружием, ибо в пылу битвы любая рана, если только она не смертельна, не мешает бойцу двигаться и действовать; то были Шатенэ, он же Роби, Гинуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовника и Гран-Франкер. Все прочие погибли.

Боевые припасы иссякли. Пороховницы опустели. Вандейцы сосчитали оставшиеся пули. Сколько они, семеро, могут сделать выстрелов? Четыре.

Пришла минута, когда осталось только одно – пасть в бою. Они были прижаты к краю зияющей, ужасной бездны. К самому ее краю.

Тем временем штурм возобновился, на этот раз его вели не столь стремительно, зато более уверенно. Слышно было, как осаждающие, поднимаясь по лестнице, тщательно выстукивают прикладами каждую ступеньку.

Бежать некуда. Через библиотеку? Но на плоскогорье стоят заряженные пушки и уже зажжены фитили. Через верхние залы? Но куда? Все ходы выходят на крышу. Правда, оттуда можно броситься вниз с вершины башни.

Семь уцелевших из этого легендарного отряда понимали, что они попались в западню, откуда нет выхода, что они заключены среди толстых стен, которые охраняют, но и выдают их с головой врагу. Их еще не взяли в плен, однако они уже были пленниками.

Маркиз произнес громовым голосом:

– Друзья мои, все кончено.

И, помолчав, добавил:

– Гран-Франкер снова становится аббатом Тюрмо.

Семеро вандейцев, перебирая четки, преклонили колена. Все слышнее становился стук прикладов по ступенькам лестницы.

Гран-Франкер с залитым кровью лицом, так как пуля сорвала ему с черепа лоскут кожи, поднял правую руку, в которой он держал распятие. Маркиз, скептик в глубине души, тоже опустился на колени.

– Пусть каждый из вас, – начал Гран-Франкер, – вслух исповедуется в грехах своих. Маркиз, начинайте.

Маркиз произнес:

– Убивал.

– Убивал, – промолвил Уанар.

– Убивал, – промолвил Гинуазо.

– Убивал, – промолвил Любовника.

– Убивал, – промолвил Шатенэ.

– Убивал, – промолвил Иманус.

И Гран-Франкер возгласил:

– Во имя отца и сына и святого духа, отпускаю вам грехи ваши; мир вам.

– Аминь, – ответило хором семь голосов.

Маркиз поднялся с колен.

– А теперь, – сказал он, – умрем.

– И убьем, – добавил Иманус.

Приклады уже били по сундуку, загораживающему вход.

– Обратитесь помыслами к богу, – сказал священник. – Отныне земные заботы для вас уже не существуют.

– Да, – подхватил маркиз, – мы в могиле.

Вандейцы склонили головы и стали бить себя в грудь. Лишь маркиз да священник не склонили головы. Все глаза были опущены долу, священник творил молитву, крестьяне творили молитву, маркиз был погружен в раздумье. Сундук зловеще гудел, словно под ударами топора.

В эту минуту чей-то сильный голос внезапно прокричал из темноты:

– Я ведь вам говорил, ваша светлость!

Все в изумлении обернулись.

В стене вдруг открылось отверстие.

Камень, искусно пригнанный к соседним камням, но не скрепленный с ними и вращающийся на двух стержнях, повернулся вокруг своей оси на манер турникета и открыл лазейку в стене. Камень свободно ходил в обе стороны, и за ним шли налево и направо два коридора, оба хоть и узкие, но достаточные для прохода по одному. В отверстие виднелись ступеньки винтовой лестницы. Из-за камня выглядывало чье-то лицо.

Маркиз узнал Гальмало.

XII. Спаситель

– Это ты, Гальмало?

– Я, ваша светлость. Как видите, камни иной раз все-таки вертятся; этим путем можно бежать. Я пришел во-время, но торопитесь. Через десять минут вы будете уже в чаще леса.

– Велико милосердие божье, – сказал священник.

– Бегите, ваша светлость, – прокричали все разом.

– Сначала вы, – ответил маркиз.

– Вы пойдете первым, ваша светлость, – сказал аббат Тюрмо.

– Последним.

И маркиз произнес сурово:

– Борьба великодушия здесь неуместна. У нас для этого нет времени. Вы ранены. Приказываю вам жить и уйти немедля. Спешите воспользоваться лазейкой. Спасибо, Гальмало.

– Стало быть, нам приходится расстаться, маркиз? – спросил аббат Тюрмо.

– Добравшись донизу, мы, конечно, расстанемся. Бежать нужно всегда по одному.

– А вы, ваша светлость, изволите назначить место встречи?

– Да. На лужайке в лесу, около камня Говэнов. Знаете, где он?

– Знаем.

– Я завтра буду там. Ровно в полдень. Всем, кто может передвигаться, быть на месте.

– Будем.

– И мы снова начнем войну, – сказал маркиз.

Однако Гальмало, который стоял, опершись на вращающийся камень, вдруг заметил, что он больше не движется. Отверстие теперь не закрывалось.

– Торопитесь, ваша светлость, – повторил Гальмало. – Камень что-то не подается. Открыть-то проход я открыл, а вот закрыть не могу.

И в самом деле, камень, который простоял неподвижно долгие годы, словно застыл на месте. Повернуть его обратно хоть на дюйм не представлялось возможным.

– Ваша светлость, – продолжал Гальмало, – я надеялся закрыть проход, и синие, ворвавшись сюда, не обнаружили бы в зале ни души; пусть бы поломали себе голову, куда вы делись, уж не с дымом ли через трубу вылетели? А он, гляди, упирается. Теперь враг заметит открытое отверстие и бросится за нами в погоню. Поэтому мешкать не годится. Скорее сюда.

Иманус положил руку на плечо Гальмало.

– Сколько времени, приятель, потребуется, чтобы пройти через эту лазейку и очутиться в лесу в полной безопасности?

– Тяжело раненных нет? – осведомился Гальмало.

Ему хором ответили:

– Нет.

– В таком случае четверти часа хватит.

– Значит, – продолжал Иманус, – если враг не придет сюда еще четверть часа?..

– Пусть тогда гонится за нами, – все равно не догонит.

– Но, – возразил маркиз, – они ворвутся сюда через пять минут. Старый сундук не такая уж страшная для них помеха. Достаточно нескольких ударов прикладом. Четверть часа! А кто их задержит на эти четверть часа?..

– Я, – сказал Иманус.

– Ты, Гуж-ле-Брюан?

– Да, я, ваша светлость. Послушайте меня. Из шести человек пять раненых. А у меня даже царапины нет.

– И у меня нет.

– Вы вождь, ваша светлость. А я солдат. Вождь и солдат не одно и то же.

– Знаю, у каждого из нас свой долг.

– Нет, ваша светлость, у нас с вами, то есть у меня и у вас, один долг – спасти вас.

Иманус повернулся к товарищам.

– Друзья, сейчас важно одно – преградить путь врагу и по возможности задержать преследование. Слушайте меня. Я в полной силе, я не потерял ни капли крови, я не ранен, и поэтому выстою дольше, чем кто-либо другой. Уходите все. Оставьте мне все оружие. Не беспокойтесь, я сумею пустить его в дело. Обещаю задержать неприятеля на добрые полчаса. Сколько у нас заряженных пистолетов?

– Четыре.

– Клади их все сюда, на пол.

Вандейцы повиновались.

– Вот и хорошо. Я остаюсь. И окажу им достойную встречу. А теперь бегите скорее.

В чрезвычайных обстоятельствах слова благодарности неуместны. Беглецы едва успели пожать Иманусу руку.

– До скорого свидания, – сказал маркиз.

– Нет, ваша светлость. Надеюсь, что свиданье наше не скоро состоится: я здесь сложу голову.

Пропустив вперед раненых, беглецы поочередно вошли в проход. Пока передние спускались, маркиз вынул из кармана карандаш и написал несколько слов на вращающемся, отныне, увы, неподвижном камне, закрывавшем спасительный проход.

– Уходите, ваша светлость, вы последний остались, – сказал Гальмало.

С этими словами Гальмало начал спускаться по лестнице.

Маркиз последовал за ним.

Иманус остался один.

XIII. Палач

Четыре заряженных пистолета вандейцы положили прямо на каменные плиты, ибо в зеркальной не было паркета. Иманус взял из них два, по одному в каждую руку.

Затем он встал сбоку от двери, ведущей на лестницу, загороженную и полускрытую сундуком.

Нападающие, очевидно, боялись какого-то подвоха со стороны врага, они ждали взрыва, который может принести нежданную гибель в решительную минуту и победителю и побежденному. Насколько первый натиск прошел бурно, настолько последний штурм был обдуманным и осторожным. Солдаты Говэна не могли, а быть может, и не хотели, разрушить сразу баррикаду; они разбили прикладами дно сундука, изрешетили крышку штыками и через эти пробоины пытались заглянуть в залу.

Свет фонарей, освещавших лестницу, пробивался сквозь эти дыры.

Иманус заметил, что к отверстию в днище сундука припал чей-то глаз. Он приставил пистолет прямо к дыре и нажал курок. Раздался выстрел, и торжествующий Иманус услыхал страшный вопль. Пуля, пройдя через глаз, пробила череп солдата, глядевшего в щель, и он свалился навзничь на ступеньки лестницы.

Наступающие в двух местах осторожно расширили отверстие между досками сундука и устроили таким образом две бойницы; Иманус воспользовался этим обстоятельством, просунул в отверстие руку и выстрелил из второго пистолета наудачу в самую гущу нападающих. Пуля пошла рикошетом, так как послышались крики; должно быть, выстрелом Имануса ранило или убило трех-четырех человек; на лестнице раздался топот сбегавших вниз людей.

Иманус отбросил два, теперь уже не нужные ему, пистолета и схватил два последних; затем, крепко зажав пистолеты в руке, он посмотрел в щелку.

Он убедился, что первые выстрелы не пропали даром.

Наступающие отошли вниз. На ступеньках корчились в предсмертных муках раненые; что делалось ниже, Иманусу не удалось разглядеть: из-за поворота лестницы ему видно было всего три-четыре ступеньки.

Иманус ждал.

«Время все-таки выиграно», – подумал он.

Между тем он заметил, как какой-то человек осторожно ползет по ступенькам лестницы; в то же время над последней площадкой лестницы показалась голова солдата. Иманус прицелился и выстрелил. Раздался крик, солдат упал, и Иманус переложил из левой руки в правую последний, оставшийся у него заряженный пистолет.

В это мгновенье он почувствовал страшную боль и тоже дико взвыл. Сабля вонзилась ему прямо в живот. Рука, рука человека, который полз вверх по лестнице, просунулась во вторую бойницу, устроенную внизу сундука, и эта-то рука погрузила саблю в живот Имануса.

Рана была ужасна. Живот был распорот сверху донизу.

Но Иманус устоял. Он только заскрежетал зубами и прошептал: «Ну ладно ж!»

Потом, шатаясь, едва передвигая ноги, он добрался до железной двери, положил пистолет на пол, схватил горящий факел и, поддерживая левой ладонью выпадающие внутренности, нагнулся и поджег пропитанный серой шнур.

Огонь в мгновение ока охватил его. Иманус выронил из рук факел, который не потух от падения, снова взял пистолет и, рухнув ничком на каменные плиты пола, приподняв голову, стал слабеющим дыханием раздувать фитиль.

Пламя, пробежав по шнуру, тут же исчезло под железной дверью и достигло замка.

Убедившись, что его гнусный замысел удался, гордясь своим злодеянием, быть может более, нежели своей добродетелью, этот человек, за минуту до того бывший героем и ставший теперь просто убийцей, улыбнулся на пороге смерти.

– Попомнят они меня, – прошептал он. – Я отомстил. Пусть их дети поплатятся за наше дитя – за нашего короля, заточенного в Тампле.

XIV. Иманус тоже уходит

В эту минуту раздался страшный грохот, под мощными ударами рухнул сундук, и в образовавшийся проход в зеркальную ворвался человек с саблей наголо.

– Это я, Радуб! А ну, выходи! Надоело мне ждать, да и все тут. Вот я и решился. Я тут одному сейчас распорол брюхо. А теперь выходи. Идут за мной наши или нет, а я уже здесь. Сколько вас тут?

Это действительно был Радуб, в единственном числе. После побоища, учиненного Иманусом, Говэн, боясь наткнуться на скрытую мину, отвел своих людей и стал совещаться с Симурдэном.

Радуб, стоя с саблей наголо у порога, зорко вглядывался в полумрак зеркальной, еле освещенной пламенем потухающего факела, и снова повторил:

– Я тут один. А вас сколько?

Не дождавшись ответа, он двинулся вперед. Догоравший факел вдруг ярко загорелся, и последняя вспышка угасавшего пламени, которую можно назвать предсмертным вздохом света, осветила все уголки зала.

Радуб вдруг заметил маленькое зеркало, висевшее на стене в ряд с другими, подошел поближе, поглядел на свое залитое кровью лицо, на свое полуоторванное ухо и сказал:

– Здорово попортили фасад.

Потом, обернувшись, с удивлением убедился, что зал пуст.

– Да здесь никого нет! – закричал он. – В наличии ноль.

Его взгляд упал на повернутый камень, он заметил проход и позади него лестницу.

– Ага, понятно! Удрали… Сюда, товарищи! Идите скорее, они улизнули. Ушли, ускользнули, улетучились, сбежали. Этот каменный кувшин оказался с трещиной. Вот через эту дыру они, канальи, и утекли. Попробуй-ка одолей Питта и Кобурга[419] с их фокусами. Держи карман шире! Не иначе как сам чорт им помог. Никого здесь нет!

Вдруг раздался пистолетный выстрел, пуля слегка задела локоть Радуба и сплющилась о камень стены.

– Вот как! Оказывается, здесь кто-то есть. Кто это пожелал мне уважение оказать?

– Я, – ответил чей-то голос.

Радуб вытянул шею и с трудом различил в полумраке какую-то темную массу, другими словами распростертого на полу Имануса.

– Ага, – закричал Радуб. – Одного все-таки поймал. Пусть все остальные убежали, – тебе, голубчик, не уйти.

– Ты в этом твердо уверен? – спросил Иманус.

Радуб сделал шаг вперед и остановился.

– Эй, человек, лежащий на полу, кто ты таков?

– Я хоть и лежащий, да смеюсь над вами, стоящими.

– Что это у тебя в правой руке?

– Пистолет.

– А в левой?

– Собственные потроха.

– Ты мой пленник.

– Плевать я на тебя хотел.

С этими словами Иманус потянулся к тлеющему шнуру, дунул на него из последних сил и умер.

Через несколько минут Говэн, Симурдэн и солдаты вошли в зеркальную. Они сразу увидели отверстие в стене. Обшарили все закоулки, обследовали лестницу – она выводила на дно оврага. Сомнения быть не могло – вандейцы спаслись бегством. Попробовали встряхнуть Имануса, но он был мертв. Говэн с фонарем в руке осмотрел камень, послуживший дверью беглецам; он давно слышал рассказы об этом вращающемся камне, но считал их пустыми баснями. Рассматривая камень, Говэн заметил на нем какую-то надпись, сделанную карандашом; приблизив к ней фонарь, он прочел следующие слова:

"До свиданья, виконт.

Лантенак".

К Говэну подошел Гешан. Преследовать беглецов было бессмысленно, – они убежали уже давно и скрылись надежно: весь край, каждый куст, каждый овраг, все чащи, любой крестьянин были за них и к их услугам. Кто же отыщет их в Фужерском лесу, когда весь Фужерский лес представляет собой огромный тайник? Что делать? Все приходилось начинать сызнова. Говэн и Гешан, не скрывая досады, обменивались своими соображениями.

Симурдэн молча и важно слушал их беседу.

– Кстати, Гешан, – вспомнил вдруг Говэн, – а где же лестница?

– Не привезли, командир.

– Как так, ведь мы сами видели повозку под охраной конвоя.

– На ней привезли не лестницу, – ответил за Гешана Симурдэн.

– А что же тогда привезли?

– Гильотину! – ответил Симурдэн.

XV. О том, что не следует класть в один карман часы и ключ

Маркиз де Лантенак был не так уж далеко, как предполагали преследователи. Тем не менее он находился в полной безопасности, вне пределов досягаемости.

Он шел следом за Гальмало.

Лестница, по которой они с Гальмало спустились последними, выводила в узкий сводчатый проход, из которого попадали в ров под аркой моста, а оттуда в естественную расщелину, которая вела в лесную чащу. Расщелина, прорезавшая склон оврага, вилась под густым покровом зелени, надежно укрытая от чужих глаз. Здесь был в безопасности любой беглец. Достигши этой расщелины, он мог ужом проскользнуть в лес по ее извивам, служившим ему верной защитой. Строители даже не потрудились замаскировать потайной выход, ибо сама природа превосходно спрятала его в зарослях колючего кустарника.

Маркизу оставалось просто идти вперед. О костюме, вернее о перемене костюма, заботиться ему не приходилось, так как с первого дня своего прибытия в Бретань он носил крестьянское платье, считая, что его знатности ничто умалить не может.

Он снял только шпагу и бросил ее в кусты вместе с портупеей.

Когда Гальмало и маркиз выбрались из потайного хода в расщелину, пятеро их товарищей – Гинуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовника, Шатенэ и аббат Тюрмо уже скрылись.

– Птицы-то, как видно, упорхнули, – заметил Гальмало.

– Последуй и ты их примеру, – сказал маркиз.

– Значит, ваша светлость, вы желаете, чтобы я вас оставил?

– Конечно. Я тебе уже говорил. Бежать можно только поодиночке. Где пройдет один, там двое попадутся. Вдвоем мы только привлечем к себе внимание. Я тебя погублю, а ты погубишь меня.

– Ваша светлость, вы здешние места знаете?

– Да.

– Значит, встреча назначена у камня Говэнов, ваша светлость?

– Да, завтра. В полдень.

– Я приду. Все мы придем.

Гальмало помолчал.

– Ах, ваша светлость, подумать только, – мы вдвоем плыли с вами в открытом море и я хотел вас убить, – я ведь не знал, что вы мой сеньор. Вы могли бы мне это сказать, да не сказали! Вот какой вы человек!

Маркиз прервал его:

– Англия и только Англия! Иного выхода нет. Надо, чтобы через две недели англичане были во Франции.

– Я еще не успел вам, ваша светлость, отдать отчет. Я все ваши поручения выполнил.

– Поговорим об этом завтра.

– Слушаюсь. До завтра, ваша светлость.

– Погоди. Ты не голоден?

– Да как сказать. Я к вам торопился. Уж теперь и не помню, ел я нынче что-нибудь или нет.

Маркиз вынул из кармана плитку шоколада, разломил ее пополам, протянул одну половину Гальмало, и сам откусил от другой.

– Ваша светлость, не заблудитесь, – сказал Гальмало, – направо будет ров, а налево – лес.

– Хорошо. А теперь оставь меня. Иди.

Гальмало повиновался. Вскоре он исчез во мраке. Сначала слышен был хруст веток под его ногами, потом все смолкло; несколько секунд спустя уже невозможно было определить, в каком он скрылся направлении, отыскать его след. Вандейская Дубрава, ощетинившаяся кустарником, изрезанная оврагами и запутанными тропками, была славной пособницей беглецов. Здесь человек даже не исчезал, а как бы растворялся без остатка. Именно та легкость, с какой в мгновение ока рассеивались вандейские банды, сдерживала наши армии, и подчас они останавливались в нерешительности перед отступающей Вандеей, перед противником, умеющим так мастерски ускользать.

Маркиз стоял неподвижно. Он принадлежал к той породе людей, которые стремятся подавлять в себе все чувства, но и он не смог сдержать сладостного волнения, вдыхая свежий воздух, столь приятный после запаха крови и резни. Знать, что ты спасся от неминуемой гибели, видеть перед собой свою разверстую могилу и вдруг оказаться в безопасности, вырваться из лап смерти и возвратиться к жизни – все это могло потрясти даже такого человека, как Лантенак; и хотя ему доводилось бывать в самых опасных передрягах, он не мог сдержать мгновенного волнения, охватившего его глухую к впечатлениям душу. Он не мог не сознаться себе, что он доволен. Но он быстро подавил это движение души, подозрительно походившее на обыкновенную радость.

Он вытащил часы и нажал репетитор. Который сейчас мог быть час?

К великому его удивлению, пробило только десять. Когда человек пережил только что одно из тех грозных мгновений, когда все, даже сама жизнь поставлена на карту, он неизменно поражается: как, неужели эти столь насыщенные минуты – всего лишь минуты, равные прочим? Пушечный выстрел, известивший о начале штурма, грянул незадолго до захода солнца, и через полчаса, то есть в восьмом часу, когда уже начало смеркаться, на Тург двинулась колонна республиканских войск. Следовательно, эта гигантская битва, начавшаяся в восемь часов, кончилась в десять. Вся эпопея длилась только сто двадцать минут. Иной раз трагические действия развертываются молниеносно. Катастрофы как бы обладают способностью сводить часы к минутам.

Но, по здравому размышлению, следовало удивляться другому: целых два часа горстка людей сопротивлялась большому отряду, чуть ли не армии, – вот что было поразительным; эту битву девятнадцати против четырех тысяч никак нельзя было назвать краткой, а конец ее мгновенным.

Однако пора было двигаться в путь. Гальмало, конечно, успел уже уйти далеко, и маркиз справедливо рассудил, что нет никакой нужды оставаться здесь дольше. Лантенак положил часы в карман, но не в тот, из которого их вынул, а в другой, так как убедился, что там лежит ключ от железной двери, врученный ему Иманусом, и побоялся, что от соприкосновения с тяжелым ключом часовое стекло может разбиться; затем он направился вслед за другими беглецами к лесу.

Но когда он уже повернул влево, ему вдруг показалось, что сквозь густой покров зелени пробился неяркий луч света.

Он обернулся и заметил, что заросли кустарника внезапно с поразительной четкостью выступили на фоне багрового неба, что стал виден каждый листок, каждая веточка, а весь овраг залит светом. Он тронулся было обратно к замку, но тут же остановился; что бы там ни произошло, оказаться в освещенном месте бессмысленно, да и какое в конце концов ему до всего этого дело; поэтому он повернул к тропинке, указанной ему Гальмало, и пошел в сторону леса.

Он уже углубился под шатер скрывавших его ветвей, как вдруг услышал где-то над своей головой страшный крик; крик, казалось, шел с плоскогорья, там, где оно переходит в овраг. Маркиз вскинул голову и остановился.

Книга пятая

In daemone deus[420]

I. Найдены, но потеряны

В тот миг, когда Мишель Флешар заметила башню, позлащенную лучами заходящего солнца, она находилась от нее на расстоянии полутора лье. И хотя каждый шаг давался ей с трудом, она не колебалась ни минуты. Женщина слаба, но силы матери неиссякаемы. Она двинулась дальше.

Солнце зашло за горизонт, вечерний сумрак сменился ночною мглой; упорно шагая вперед, она услышала, как вдалеке на невидимой отсюда колокольне пробило восемь, затем девять часов. Должно быть, это отбивали часы на колокольне в Паринье. Время от времени она останавливалась и прислушивалась к глухим ударам, которые, казалось, были смутным рокотом самой ночи.

И она все шла, ступая окровавленными ногами по колючкам и острым камням. Мать шла теперь на слабый свет, исходивший от башни, которая четко выступала из мрака, облитая таинственным мерцанием. И чем явственнее доносились удары, тем ярче вспыхивал свет, тут же сменявшийся мглою.

На широком плоскогорье, по которому брела Мишель Флешар, не было ни дерева, ни хижины, ничего, кроме травы и вереска; оно заметно подымалось в гору, и его прямые резкие очертания тянулись далеко-далеко, сливаясь на горизонте с темным, усеянным звездами небосводом. Путница шла с трудом, и лишь вид башни, ни на минуту не скрывавшейся из глаз, поддерживал ее силы.

Башня медленно увеличивалась в размерах.

Глухие взрывы и белесые вспышки над башней, как мы уже говорили, длились лишь мгновение, потом все пропадало, начиналось вновь, и для безутешной матери в этом чередовании гула и тишины, света и тьмы таилась мучительная загадка.

Вдруг все смолкло; стихли удары, потух свет; наступила глубокая тишина; какой-то зловещий покой окутал все вокруг.

Как раз в эту минуту Мишель Флешар достигла края плоскогорья.

Внизу лежал ров, дно которого скрывалось в ночном тумане, чуть подальше, на верхней части плоскогорья, колеса, пушечные лафеты, брустверы, амбразуры указывали на месторасположение батареи, а прямо, еле освещенное тлеющими фитилями, вырисовывалось огромное здание, как бы высеченное из самого мрака, но мрака еще более густого, еще более черного, чем тот, что царил вокруг.

К зданию вел мост, арки которого своим основанием уходили на дно рва, а за мостом, примыкая к замку, темной, круглой громадой высилась башня, к которой из такого далека брела мать.

Огни факелов перебегали от окна к окну, и по доносившемуся из башни гулу голосов нетрудно было догадаться, что там внутри собралось много людей, человеческие фигуры вырисовывались даже на самой вышке.

Возле батареи расположился лагерь; Мишель Флешар различала часовых, выставленных у палаток, а ее самое скрывала от них темнота и кустарник.

Она подошла к самому краю плоскогорья и очутилась так близко от моста, что, казалось, стоит только протянуть руку, чтобы коснуться его. Но ее отделял от моста глубокий ров. В темноте обозначились все три этажа замка, высившегося на мосту.

Сколько времени она простояла так – неизвестно, ибо время перестало существовать для нее; молча, не отрывая взора от страшного зрелища, смотрела она на зияющий под ногами ров и мрачное строение. Что это такое? Что там происходит? Да и Тург ли это? У нее закружилась голова, как будто она ждала чего-то и сама уже не знала, конец это пути или только начало его. Она с удивлением спрашивала себя, зачем она очутилась здесь?

Она глядела, она слушала.

Вдруг она перестала видеть что-либо. Завеса дыма встала между нею и тем, с чего она не спускала глаз. Она зажмурилась – так у нее защипало глаза. Но, прикрыв веки, она ощутила их живой багрянец и неожиданную прозрачность. И она снова открыла глаза.

Теперь уже не мрак ночи, а день окружал ее, но день безрадостный, день, порожденный пламенем. На глазах у матери начинался пожар.

Черный дым стал вдруг пурпурным, приняв в себя отсветы огня; огонь то заволакивало дымом, то он вырывался наружу неистовыми зигзагами, которые под стать лишь молниям и змеям.

Пламя, словно язык, высовывалось из черной пасти, которая была не чем иным, как провалом окна. Окно, забранное железной решеткой, прутья которой уже раскалились докрасна, помещалось в ряду других окон нижнего этажа замка, построенного на мосту. Из всего здания теперь видно было лишь одно это окно. Все вокруг, даже плоскогорье, обволакивал дым, и только край оврага черной линией выделялся на фоне багрового зарева.

Мишель Флешар в изумлении глядела на пожар. Клубы дыма были словно облако, словно сонная греза; она не понимала того, что видели ее глаза. Бежать прочь? Остаться здесь? Ей казалось, что она уже переступила порог реального мира.

Налетевший порыв ветра разодрал завесу дыма, и в разрыве внезапно открылась вся целиком трагическая цитадель – с башней, замком, мостом, ослепляющая, страшная, в великолепной позолоте пожара, игравшей на ней от подножья до кровли. При свете зловещего пламени все предстало перед Мишель Флешар с поразительной четкостью.

Нижний этаж замка, построенного у моста, пылал.

Пламя еще не коснулось двух верхних этажей, и они, казалось, были вознесены в небо в пурпурной корзине огня. С края плоскогорья, где стояла Мишель Флешар, можно было различить внутренность комнат в те краткие минуты, когда отступали огонь и дым. Все окна были открыты настежь.

В широкие окна второго этажа Мишель Флешар заметила стоящие у стен шкафы и как будто различала в них книги, а прямо на полу напротив одного из окон какое-то темное пятно, вернее кучку каких-то предметов, нечто, напоминавшее гнездо или выводок птенцов, и это «нечто» временами шевелилось.

Она пристально вглядывалась.

Что это за комочек теней?

Мгновениями ей приходило в голову, что эти тени похожи на живые существа. Ее била лихорадка, она ничего не ела с самого утра, она шла пешком весь день без отдыха, она с трудом держалась на ногах; она чувствовала, что у нее начинается бред, и поэтому инстинктивно не доверяла самой себе; и все же она не могла отвести взгляда, становившегося все напряженней, от этой кучки неизвестных предметов, судя по всему неодушевленных и лежавших неподвижно на паркете залы, как бы поднятой над линией пожара.

Вдруг огонь, словно наделенный волей, послал длинный язык пламени в направлении засохшего плюща, обвивавшего весь фасад замка, на который смотрела Мишель Флешар. Казалось, пламя только сейчас обнаружило эту сетку мертвых ветвей; сначала всего лишь одна искра жадно прильнула к ним и начала карабкаться по побегам плюща с той грозной быстротой, с какой бежит огонь по пороховой дорожке. В мгновение ока пламя достигло третьего этажа, и тогда оно сверху осветило внутренность второго этажа. Яркий свет озарил комнату и выхватил из мрака три спящие крохотные фигурки.

Очаровательная картина! Прижавшись друг к дружке, сплетясь ручками и ножками, спали спокойным детским сном три белокурых ангелочка и улыбались во сне.

Мать узнала своих детей.

Она испустила душераздирающий крик.

Только в материнском крике может звучать такое невыразимое отчаяние. Как дик и трогателен этот вопль! Когда его испускает женщина, кажется, что воет волчица, когда воет волчица, кажется, что стенает мать.

Крик Мишель Флешар был подобен вою. Гекуба взлаяла, – говорит Гомер.

Этот-то крик и достиг ушей маркиза де Лантенака.

И, как мы знаем, Лантенак остановился.

Он стоял между потайным выходом, через который его провел Гальмало, и рвом. Сквозь ветви кустарника, переплетавшиеся над его головой, он видел охваченный огнем мост, весь красный от зарева Тург и, раздвинув ветви, заметил вверху, на противоположной стороне рва, на самом краю плоскогорья, напротив пылающего замка, где было светло, как днем, жалкую и страшную фигуру женщины, склонившуюся над бездной.

Эта женщина и закричала так страшно.

Впрочем, сейчас то была уже не Мишель Флешар, то была Горгона. Поверженные так же страшны, как отверженные. Простая крестьянка превратилась в Эвмениду. Темная, невежественная, грубоватая поселянка вдруг поднялась до эпических высот отчаяния. Великие страдания мощно преобразуют души; эта мать стала воплощением самого материнства; то, что вмещает в себе все человеческое, становится уже сверхчеловеческим: Она возникла здесь, на краю оврага, перед бушующим пламенем пожара, перед этим преступлением, как гробовое видение; она выла, как зверь, но движения ее были движениями богини; ее скорбные уста слали проклятия, а лицо казалось огненной маской. Что сравнится в царственном величии со взором матери, увлажненным слезами, мечущим молнии; ее взгляд испепелял само пожарище.

Маркиз прислушался. Поток ее жалоб низвергался вниз, прямо на него. Он слышал бессвязные речи, раздирающие душу выкрики, слова, подобные рыданиям.

– Ах, господи боже ты мой! Дети, дети! Ведь это мои дети! На помощь! Пожар! Пожар! Так, значит, вы все разбойники? Неужели там никого нет? Сгорят, слышите, сгорят! Жоржетта, детки мои! Гро-Алэн, Рене-Жан! Да где же это видано! Кто запер там моих детей? Они ведь спят. Да нет, я с ума сошла. Разве такое бывает? Помогите!

Тем временем вокруг башни на плоскогорье поднялось движение. Когда занялся пожар, сбежался весь лагерь. Нападающие, только что встретившиеся с картечью, встретились теперь с огнем. Говэн, Симурдэн, Гешан отдавали приказание. Но что можно было сделать? Ручеек, бежавший по дну оврага, совсем пересох, там не наберешь и десяти ведер воды. Всех охватил ужас. По всему краю плоскогорья стояли люди, обратив испуганные лица в сторону пожара.

Зрелище, открывшееся их взорам, было поистине страшным.

Люди смотрели и ничем не могли помочь.

Пламя, пробежав по веткам плюща, перекинулось в верхний этаж. Там ему нашлась богатая пожива – целый чердак, набитый соломой. Теперь пылал чердак. Вокруг плясали языки пламени; ликование огня – ликование зловещее. Казалось, дыхание самого зла раздувает этот костер. Словно чудовищный Иманус вдруг обернулся вихрем искр, слив свою жизнь со смертоносной жизнью огня, а его звериная душа стала душою пламени. Второй этаж, где помещалась библиотека, был еще не тронут огнем, – толстые стены и высокие потолки отсрочили миг его вторжения, но роковая минута неотвратимо приближалась; его уже лизали языки пламени, подбиравшегося снизу, и ласкал огонь, бежавший сверху. Его уже коснулось неумолимое лобзание смерти. Внизу, в подвале, – огненная лава, наверху, под сводами, – пылающий костер; прогорит хоть в одном месте пол библиотеки – и все рухнет в огненную пучину; прогорит потолок – и все погребут под собой раскаленные угли. Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта еще не проснулись, они спали глубоким и безмятежным сном детства, и сквозь волны огня и дыма, то окутывавшие окна, то уносившиеся прочь, было видно, как в огненном

гроте, в сиянии, равном сиянию метеора, мирно спят трое ребятишек, прелестные, как три младенца Иисуса, доверчиво спящие в аду; и тигр пролил бы слезы при виде этих лепестков розы, брошенных в горнило, этого детского ложа в огненном склепе.

Мать в отчаянье ломала руки.

– Пожар! Пожар! Спасите! Да что же вы все оглохли, что ли? Почему никто не спешит им на помощь? Там ведь моих детей жгут! Да помогите же, вон сколько вас тут! Я много дней шла, я две недели шла, и вот, когда я до них, наконец, добралась, видите, что случилось. Пожар! Спасите! Ангелочки ведь! Ведь это же ангелочки! Чем они провинились, невинные крошки? Собаку и ту пожалели бы. Детки мои, детки спят там. Жоржетта, вон сами посмотрите, разбросалась маленькая, животик у нее голенький. Рене-Жан! Гро-Алэн – ведь их Рене-Жан и Гро-Алэн зовут! Вы же видите, что я их мать. Что же это творится? Какие времена настали! Я шла дни и ночи. Даже еще сегодня утром я говорила с одной женщиной… На помощь! Спасите! Да это не люди, а чудовища какие-то! Злодеи! Ведь старшенькому-то всего пять лет, а меньшой и двух нету. Вон смотрите, какие у них ножки – босонькие. Спят, святая дева Мария! Рука всевышнего вернула их мне, а рука сатаны отняла. Подумать только, сколько времени я шла! Дети мои, дети, я ведь вскормила их собственным молоком!.. Да как же это?.. А я-то еще считала, что не будет хуже горя, если я их не найду! Сжальтесь надо мной! Верните мне моих детей! Посмотрите, ноги мои все в ссадинах, в крови, столько я шла! На помощь! Ни за что не поверю, что люди дадут несчастным крошкам погибнуть в огне. На помощь, люди! На помощь! Да разве может такое на земле случиться? Ах, разбойники! Да что это за дом такой страшный? У меня украли детей, чтобы их убить. Иисусе милостивый, верни мне моих детей! Я все, все готова сделать, только бы их спасти. Не хочу, чтобы они умирали! На помощь! Спасите! Спасите! О, если б я знала, что им так суждено погибнуть, я бы самого бога убила.

Грозные мольбы матери покрывал громкий гул голосов, подымавшихся с плоскогорья и из оврага:

– Лестницу!

– Нет лестницы.

– Воды.

– Нет воды!

– В башне на третьем этаже есть дверь.

– Железная она.

– Так взломаем ее!

– До нее не достать.

А мать взывала с новой силой:

– Пожар! Спасите! Да торопитесь же вы! Скорее! Спасите или уж убейте меня. Мои дети! Мои дети! Ах, треклятый огонь, пусть их вынесут оттуда или пусть меня в огонь бросят.

И когда на мгновенье замолкал плач матери, слышалось деловитое потрескивание огня.

Маркиз опустил руку в карман и нащупал ключ от железной двери. Затем, пригнувшись, он снова вступил под своды подземелья, через которое выбрался на свободу, и пошел обратно к башне, откуда он только что бежал.

II. От каменной двери до двери железной

Целая армия, парализованная невозможностью действовать, четыре с половиной тысячи человек, бессильные спасти трех малюток, – таково было положение дел.

Лестницы действительно не оказалось; лестница, отправленная из Жавенэ, не дошла до места назначения; пламя ширилось, словно из кратера выливалась огненная лава; пытаться затушить его, черпая воду из пересохшего ручейка, бегущего по дну оврага, было столь же нелепо, как пытаться залить извержение вулкана стаканом воды.

Симурдэн, Гешан и Радуб спустились в овраг; Говэн поднялся в залу, расположенную в третьем ярусе башни Тург, где находился вращающийся камень, прикрывавший потайной ход, и железная дверь, ведущая в библиотеку. Как раз здесь поджег Иманус пропитанный серою шнур, отсюда и распространилось по замку пламя.

Говэн привел с собой двадцать саперов. Оставалась единственная надежда – взломать железную дверь. Засовы ее были сработаны на редкость искусно.

Саперы для начала пустили в ход топоры. Топоры сломались. Кто-то из саперов заметил:

– Против этой двери любая сталь – стекло.

И верно, дверь была из кованого железа. Да еще обшита двойными металлическими полосами в три дюйма толщины.

Решили взять железные брусья и, подсунув их под дверь, налечь на них; железные брусья тоже сломались.

– Как спички, – заметил тот же сапер.

Говэн мрачно проговорил:

– Только ядром и можно пробить эту дверь. Попытаться разве вкатить сюда пушку?

– Не поможет! – вздохнул сапер.

Наступила минута горького унынья. Все в отчаянии бессильно опустили руки. Молча, безнадежно, как побежденные, смотрели они на эту страшную железную дверь. В узенькую щелку под ней пробивался багровый отблеск. А за дверью бушевал огонь.

Страшный труп Имануса справлял здесь свою зловещую победу.

Еще несколько минут, и все пропало.

Что делать? Никакой надежды на спасение нет.

Глядя на отодвинутый камень, за которым зиял потайной ход, Говэн воскликнул в отчаянье:

– Но ведь маркиз де Лантенак ушел по этому ходу.

– И по нему же вернулся, – раздался чей-то голос.

И в каменной рамке потайного хода показалась среброволосая голова.

Это был маркиз.

Многие годы Говэн не видел его так близко, как сейчас, и невольно отступил назад.

Да и все присутствующие замерли, окаменев в тех позах, в которых их застало неожиданное появление маркиза.

В руках маркиз держал огромный ключ; высокомерным взглядом он словно отодвинул от себя саперов, стоявших на его пути, подошел к железной двери, наклонился и вставил ключ в замочную скважину. Ключ заскрипел, дверь отворилась, за ней открылась огненная бездна. Маркиз вступил в нее.

Вступил твердой стопой, не склонив головы.

Все с трепетом следили за ним.

Не успел маркиз сделать несколько шагов по охваченной пламенем зале, как вдруг паркет, подточенный огнем, дрогнул под пятой человека и рухнул вниз, так что между дверью и маркизом легла пропасть. Но он даже не обернулся и продолжал идти вперед. Скоро он исчез в клубах дыма.

Больше ничего не было видно.

Удалось ли маркизу добраться до цели? Не разверзлась ли под его ногами новая бездна пламени? Значит, он пошел навстречу верной гибели? Никто не мог ответить на этот вопрос. Перед Говэном и саперами стояла сплошная стена дыма и огня. А по ту сторону ее был маркиз, живой или мертвый.

III. В которой спящие дети просыпаются

Тем временем дети все-таки открыли глаза.

Пламя, обходившее пока стороной библиотечную залу, окрашивало весь потолок в розоватые тона. Впервые дети видели такую странную зарю и внимательно глядели на нее. Жоржетта вся погрузилась в созерцание.

Пожар разворачивал перед ними все свое великолепие. В бесформенных клубах дыма, роскошно окрашенных в бархатисто-темные и пурпуровые цвета, то появлялись, то исчезали черные драконы и алые гидры. Искры, пролетая в воздухе, оставляли за собой длинный огненный след, и казалось, что это гонятся друг за другом враждующие кометы. Огонь по своей природе расточитель: любой костер беспечно пускает на ветер целые алмазные россыпи, ведь не случайно алмаз – близкий родич углю. Стены третьего этажа местами прогорели, и из образовавшихся брешей огонь щедро сыпал в овраг каскады драгоценных камней; солома и овес, пылавшие на чердаке, заструились из всех окон дождем золотой пыли, горящие зерна овса вдруг начинали сиять аметистами, а соломинки превращались в рубины.

– Кьясиво! – заявила Жоржетта.

Все трое ребятишек приподнялись.

– Ах! они просыпаются! – закричала мать.

Рене-Жан встал на ноги, затем встал Гро-Алэн, затем поднялась Жоржетта.

Рене-Жан потянулся, подошел к окну и сказал:

– Мне жарко!

– Зяйко! – повторила Жоржетта.

Мать окликнула их:

– Дети! Рене! Алэн! Жоржетта!

Дети огляделись вокруг. Они старались понять. Там, где взрослого охватывает ужас, ребенок испытывает только любопытство. Кто легко удивляется, пугается с трудом; неведение полно отваги. Дети так не заслуживают ада, что даже при виде пламени преисподней пришли бы в восторг.

Мать крикнула снова:

– Рене! Алэн! Жоржетта!

Рене-Жан обернулся; голос привлек его внимание; у детей короткая память, зато вспоминают они быстрее взрослых; вчерашний день – все их прошлое; Рене-Жан увидел мать, счел ее появление вполне естественным, а так как кругом творились какие-то странные вещи, он хоть и смутно, но почувствовал необходимость в чьей-то поддержке и крикнул:

– Мама!

– Мама! – повторил Гро-Алэн.

– Мам! – повторила Жоржетта. И протянула к матери ручонки.

Мать закричала раздирающим голосом:

– Мои дети!

Все трое подбежали к окну; к счастью, пламя бушевало с противоположной стороны.

– Ой, как жарко, – сказал Рене-Жан. И добавил: – Жжется!

Он стал искать глазами свою мать.

– Мама, иди сюда.

– Мам, иди! – повторила Жоржетта.

Мать с разметавшимися по плечам волосами, в разодранном платье, с окровавленными ногами бросилась, не помня себя, вниз по откосу оврага, цепляясь за ветки кустарника. Там стояли Симурдэн с Гешаном, и тут внизу, в овраге, они были столь же бессильны, как Говэн

наверху, в зеркальной зале. Солдаты, в отчаянии от собственной бесполезности, теснились вокруг них. Жара была непереносимая, но никто этого не ощущал. Они учли все – наклон обрыва у моста, высоту арок, расположение этажей и окон, недоступных для человека, а также и необходимость действовать быстро. Но как преодолеть три этажа? Нет никакой возможности туда добраться. Весь в поту и крови, подбежал раненый Радуб, – сабля рассекла ему плечо, пуля почти оторвала ухо; он увидел Мишель Флешар.

– Эге! – сказал он. – Расстрелянная, вы, значит, воскресли?

– Дети, – вопила мать.

– Правильно, – ответил Радуб, – сейчас не время заниматься привидениями.

И он начал карабкаться на мост. Увы, попытка оказалась безуспешной. Обломав о каменную стену все ногти, он поднялся лишь на небольшую высоту; устои моста были гладкие, как ладонь, без трещинки, без выступа; камни были подогнаны, как в новой кладке, и Радуб сорвался. Пожар продолжал бушевать, наводя ужас на окружающих; в пламенеющем квадрате окна ясно виднелись три белокурые головки. Тогда Радуб погрозил кулаком небу и, впившись в него взором, словно ища там виновника, произнес:

– Так вот каковы твои дела, милосердный господь!

Мать упала на колени и, охватив руками каменный устой моста, молила:

– Помогите!

Потрескивание горящих балок сопровождалось гудением огня. Стекла в библиотечных шкафах лопались и со звоном падали на пол. Было ясно, что перекрытия замка сдают. Не в силах человека было предотвратить катастрофу. Еще минута, и все рухнет. Ждать оставалось одного – страшной развязки. А тоненькие голоса звали: «Мама, мама!» Ужас достиг предела.

Вдруг в окне, по соседству с тем, возле которого стояли дети, на пурпуровом фоне пламени возникла высокая человеческая фигура.

Все подняли вверх голову, все впились взглядом в окно. Какой-то человек был там, наверху, какой-то человек проник в библиотечную залу, какой-то человек вошел в самое пекло. На фоне огня его фигура выделялась резким черным силуэтом, только волосы были седые. Все сразу узнали маркиза де Лантенака.

Он исчез, затем появился вновь.

Грозный старик высунулся из окна, держа в руках длинную лестницу.

Это была та самая спасательная лестница, которую заблаговременно убрали в библиотеку, положили у стены, а маркиз подтащил к окну. Он схватил лестницу за конец, с завидной легкостью атлета перекинул ее через оконницу и стал осторожно спускать вниз, на дно рва. Радуб, стоявший во рву, не помня себя от радости, протянул руки, принял лестницу и закричал:

– Да здравствует Республика!

Маркиз ответил:

– Да здравствует король!

– Кричи все, что тебе вздумается, любые глупости кричи. Все равно ты сам господь бог, – проворчал Радуб.

Лестницу приставили к стене; между землей и горящим зданием установилось сообщение; двадцать человек во главе с Радубом бросились к лестнице и в мгновение ока заняли все перекладины с низу до самого верха, наподобие каменщиков, которые передают вверх на стройку или спускают вниз кирпичи. На деревянной лестнице выросла вторая живая лестница из человеческих тел. Радуб, взобравшийся на самую верхнюю ступеньку, оказался у окна, лицом к лицу с пламенем.

Солдаты маленькой армии, волнуемые самыми разнообразными чувствами, теснились кто в зарослях вереска, кто на откосах рва, кто на плоскогорье, а кто и на вышке башни.

Маркиз опять исчез, затем показался в окне, держа на руках ребенка.

Его приветствовали оглушительными рукоплесканиями.

Маркиз схватил первого, кто подвернулся ему под руку. Это оказался Гро-Алэн.

Гро-Алэн закричал:

– Боюсь!

Маркиз передал Гро-Алэна Радубу, который в свою очередь передал его солдату, стоявшему ниже, а тот таким же образом передал следующему, и пока перепуганный плачущий Гро-Алэн переходил из рук в руки, маркиз снова исчез и через секунду появился у окна, держа на руках Рене-Жана, который плакал, отбивался и успел ударить Радуба, когда маркиз подавал ему малыша.

Маркиз в третий раз скрылся в зале, куда уже ворвалось пламя. Там оставалась одна Жоржетта. Лантенак подошел к ней. Она улыбнулась. И этот человек, будто высеченный из гранита, почувствовал вдруг, что глаза его увлажнились. Он спросил:

– Как тебя зовут?

– Зойзета, – ответила она.

Маркиз взял Жоржетту на руки, она все улыбалась, и в ту минуту, когда Радуб уже принимал малютку из рук маркиза, душа этого старика, столь высокомерного и столь мрачного, внезапно озарилась восторгом перед детской невинностью, и он поцеловал ребенка.

– Вот она, наша крошка! – кричали солдаты. Жоржетту тем же путем снесли с лестницы, и она очутилась на земле под крики обожания. Люди хлопали в ладоши, стучали ногами; седые гренадеры плакали, а она улыбалась им.

Мать стояла внизу у лестницы, задыхаясь от волнения, уже ничего не сознавая, опьяненная этим нежданным счастьем, разом вознесенная из мрака преисподней в светлый рай. Избыток радости по-своему ранит сердце. Она протянула руки, схватила сначала Гро-Алэна, затем Рене-Жана, наконец Жоржетту, осыпала их поцелуями, потом захохотала диким смехом и лишилась чувств.

Со всех концов слышались громкие крики:

– Все спасены!

И впрямь, все, кроме старика маркиза, были спасены.

Но никто не думал о нем, возможно и сам он тоже.

Несколько мгновений он задумчиво стоял на подоконнике, словно ждал, чтобы огонь сказал свое последнее слово. Потом, не торопясь, перешагнул через подоконник и, не оборачиваясь, медленно и величаво, прямой и словно застывший, стал спускаться по лестнице спиной к бушующему пламени, среди общего молчания, торжественно, как призрак. Те, кто еще замешкались на лестнице, быстро скатывались вниз, все почувствовали трепет и расступались в священном ужасе перед этим человеком, будто перед сверхъестественным видением. А он тем временем горделиво спускался в подстерегавший его мрак; они отступали, а он приближался к ним; ничто не дрогнуло в его бледном, словно из мрамора изваянном лице; в его недвижном, как у привидения, взгляде не промелькнуло ни единой искорки чувства; при каждом шаге, который приближал его к людям, смотревшим на него из темноты, он казался выше, лестница сотрясалась и скрипела под его тяжелой стопой, – казалось, это статуя командора сходит в свою гробницу.

Когда маркиз спустился, когда он достиг последней ступеньки и уже поставил ногу на землю, чья-то рука легла на его плечо. Он обернулся.

– Я арестую тебя, – сказал Симурдэн.

– Я одобряю тебя, – сказал Лантенак.

Книга шестая

После победы начинается битва

I. Лантенак в плену

И в самом деле, маркиз спустился в могильный склеп.

Его увели.

Подземный каземат, расположенный под нижним ярусом башни Тург, был незамедлительно открыт под строгим надзором самого Симурдэна; туда внесли лампу, кувшин с водой, каравай солдатского хлеба, бросили на пол охапку соломы, и меньше чем через четверть часа после того, как рука священника схватила маркиза, за Лантенаком захлопнулась дверь.

Затем Симурдэн отправился к Говэну; в это время где-то далеко, в Паринье, на колокольне пробило одиннадцать часов; Симурдэн обратился к Говэну:

– Завтра я соберу военнополевой суд. Ты в нем участвовать не будешь. Ты – Говэн, и Лантенак – Говэн. Вы слишком близкая родня, и ты не можешь быть судьей; я сам порицаю Филиппа Эгалитэ за то, что он судил Капета. Военнополевой суд соберется в следующем составе: от офицеров – Гешан, от унтер-офицеров – сержант Радуб, а я буду председательствовать. Все это тебя больше не касается. Мы будем придерживаться декрета, изданного Конвентом, и ограничимся лишь тем, что установим личность бывшего маркиза де Лантенака. Завтра военнополевой суд, послезавтра – гильотина. Вандея мертва.

Говэн не ответил ни слова, и Симурдэн, озабоченный важной миссией, которая ему предстояла, отошел прочь. Нужно было назначить время и место казни. Подобно Лекинио в Гранвиле, подобно Тальену в Бордо, подобно Шалье в Лионе, подобно Сен-Жюсту в Страсбурге, Симурдэн имел привычку, считавшуюся похвальной, лично присутствовать при казнях; судья должен был видеть работу палача; террор 93 года перенял этот обычай у старинного французского парламента и испанской инквизиции.

Говэн тоже был озабочен.

Холодный ветер дул со стороны леса. Говэн, передав Гешану командование лагерем, удалился в свою палатку, которая стояла на лугу у лесной опушки близ башни Тург; он взял свой плащ с капюшоном и закутался в него. Плащ этот по республиканской моде, скупой на всяческие украшения, был обшит простым галуном, что указывало на высокий чин. Говэн вышел из палатки и долго ходил по лугу, обагренному кровью, так как здесь началась схватка. Он был один. Пожар все еще продолжался, но на него уже не обращали внимания. Радуб возился с ребятишками и матерью, пожалуй, не уступая ей в материнских заботах о малютках; замок мирно догорал, солдаты рыли могилы, хоронили убитых, перевязывали раненых; они разбирали редюит, очищали залы и лестницы от трупов, наводили порядок на месте побоища, сметали прочь грозный хлам победы, – словом, с военной сноровкой и быстротой занялись тем, что было бы справедливо назвать домашней уборкой после битвы. Говэн не видел ничего.

Погруженный в свои мысли, он рассеянно скользнул взглядом по черному пролому башни, где по приказу Симурдэна был выставлен удвоенный караул.

Этот пролом – можно было в ночном мраке различить его очертания – находился приблизительно шагах в двухстах от луга, где Говэн старался укрыться от людей. Он видел эту черную пасть. Через нее начался штурм три часа тому назад; через нее Говэн проник в башню; за ней открывался нижний ярус с редюитом; из нижней залы дверь вела в темницу, куда был брошен маркиз. Караул, стоявший у пролома, охранял именно эту темницу.

В то время как его взгляд угадывал неясные очертания пролома, в ушах его, будто похоронный звон, звучали слова: «Завтра военнополевой суд, послезавтра – гильотина».

Хотя пожар удалось обуздать, хотя солдаты вылили на огонь всю воду, которую только удалось раздобыть, пламя не желало сдаваться без боя и время от времени еще выбрасывало багровые языки; слышно было, как трещат потолки и с грохотом рушатся перекрытия; тогда взмывал вверх целый вихрь огненных искр, будто кто-то встряхивал горящим факелом; яркий отблеск света на мгновение озарял небосклон, а тень от башни Тург, став вдруг гигантской, протягивалась до самого леса.

Говэн медленно шагал взад и вперед во мраке перед черным зевом пролома. Иногда он, сцепив пальцы, закидывал руки за голову, прикрытую капюшоном. Он думал.

II. Говэн размышляет

Мысль Говэна впервые проникала в такие глубины.

На его глазах совершился неслыханный переворот.

Маркиз де Лантенак вдруг преобразился.

И Говэн был свидетелем этого преображения.

Никогда бы он не поверил, что сплетение обстоятельств, пусть самых невероятных, может привести к подобным результатам. Никогда, даже во сне, ему не привиделось бы ничего подобного. То непредвиденное, что высокомерно играет человеком, овладело Говэном и не выпускало его из своих когтей. Говэн с удивлением замечал, что невозможное стало реальным, видимым, осязаемым, неизбежным, неумолимым.

Что думал об этом он сам, Говэн?

Теперь уже нельзя уклоняться; надо делать выводы.

Перед ним поставлен вопрос, и он не смеет бежать от него.

Кто же поставил этот вопрос?

Сами события.

Да и не только одни события.

Коль скоро события, которые суть величина переменная, ставят перед нами вопрос, то справедливость, являющаяся величиной постоянной, понуждает нас отвечать.

За черной тучей, застилающей небо, есть звезда, которая шлет нам свой свет.

Мы равно не можем избежать и этой тени и этого света.

Говэну учинили допрос.

Он стоял перед грозным судьей.

Перед своей совестью.

Говэн чувствовал, как все вдруг зашаталось в нем. Его решения самые твердые, клятвы самые святые, выводы самые непреложные, – все это вдруг заколебалось в самых глубинах его воли.

Бывают великие потрясения души.

И чем больше он размышлял над всем виденным, тем сильнее становилось его смятение.

Республиканец Говэн верил, что он достиг, – да он и впрямь достиг, – абсолюта. Но вдруг перед ним только что открылся высший абсолют.

Выше абсолюта революционного стоит абсолют человеческий.

То, что произошло, нельзя было отбросить прочь; случилось нечто весьма важное, и Говэн сам был участником этого; был внутри этого круга, не мог из него выйти; пусть Симурдэн говорит: «Тебя это не касается», – он все равно чувствовал нечто сходное с тем, что должно испытывать дерево в ту минуту, когда его рубят под корень.

У каждого человека есть свои основы жизни; потрясение этих основ вызывает в нем жестокое смятение; и Говэн испытывал такое смятение.

Он с силой сжимал обеими руками голову, словно надеясь, что сейчас хлынет из нее свет истины. Разобраться в том, что произошло, было делом нелегким. Свести сложное к простому всегда очень трудно; перед Говэном как бы был начертан столбец грозных цифр, и ему предстояло подвести итог слагаемых, данных судьбою, – есть от чего закружиться голове. Но он силился собраться с мыслями, старался отдать себе отчет, подавить поднимавшийся в душе протест, вновь и вновь пытался восстановить ход событий.

Он мысленным взором оглядывал их одно за другим.

Кому не доводилось хоть раз в жизни, в роковой час, заглядывать в свою совесть и спрашивать у самого себя, какой надлежит выбрать путь – идти ли вперед, или вернуться назад?

Говэн только что был свидетелем чуда.

Пока на земле шла борьба, шла борьба и на небесах.

Борьба добра против зла.

Сердце, наводившее ужас, только что признало себя побежденным.

Если учесть, что в этом человеке было столько дурного – необузданная жестокость, заблуждения, нравственная слепота, злое упрямство, надменность, эгоизм, – то с ним поистине произошло чудо.

Победа человечности над человеком.

Человечность победила бесчеловечность.

С помощью чего была одержана эта победа? Каким образом? Как удалось сразить этого колосса злобы и ненависти? С каким оружием вышли против него? с пушкой, с ружьями? Нет, – с колыбелью.

Перед глазами Говэна зажегся ослепительный свет. В разгар гражданской войны, в неистовом полыхании вражды и мести, в самый мрачный и самый яростный час, когда преступление все заливало заревом пожара, а ненависть все окутывала зловещим мраком, в минуты борьбы, где все становилось оружием, где схватка была столь трагична, что люди уже не знали, где справедливость, где честность, где правда, – вдруг в это самое время Неведомое – таинственный наставник душ – только что пролило над бледным человеческим светом и человеческой тьмой свое извечное великое сияние.

Лик истины внезапно воссиял из бездны над мрачным поединком меж ложным и относительным.

Неожиданно проявила себя сила слабых.

На глазах у всех три жалких крохотных существа, трое глупеньких брошенных сироток, что-то лепечущих, чему-то улыбающихся, восторжествовали, хотя против них было все – гражданская война, возмездие, неумолимая логика кары, убийство, резня, братоубийство, ярость, злоба, все фурии ада; на глазах у всех пожар, который вел к жесточайшему преступлению, отступил и сдался; на глазах у всех были расстроены и пресечены злодейские замыслы; на глазах у всех старинная феодальная жестокость, старинное неумолимое презрение к малым сим, зверство, якобы оправданное требованиями войны и государственными соображениями, предубеждения надменного и безжалостного старика – все растаяло перед невинным взором младенцев, которые почти и не жили еще. И это естественно, ибо те, кто мало жил, не успели еще сделать зла, они – сама справедливость, сама истина, сама чистота, и великий сонм ангелов небесных живет в душе младенца.

Зрелище поучительное; более того – наставление, урок. Неистовые ратники безжалостной войны вдруг увидели, как перед лицом всех злодеяний, всех посягательств, всяческого фанатизма, всех убийств, перед лицом мести, раздувающей костер вражды, и смерти, шествующей с погребальным факелом в руке, над бесчисленным множеством преступлений подымалась всемогущая сила – невинность.

И невинность победила. Каждый вправе был сказать: «Нет, гражданской войны не существует, не существует варварства, не существует ненависти, не существует преступления, не существует мрака; чтобы одолеть все эти призраки, достаточно было возникнуть утренней заре – детству».

Никогда еще, ни в одной битве, так явственно не проступал лик сатаны и лик бога.

И ареной этой битвы была человеческая совесть – совесть Лантенака.

Теперь началась вторая битва, еще более яростная и, может быть, более важная, и ареной ее была тоже совесть человека – совесть Говэна.

Человеческая душа – это поле битвы.

Мы отданы во власть богов, чудовищ, гигантов, имя коим – наши мысли. И часто эти страшные бойцы растаптывают своей пятой нашу душу.

Говэн размышлял.

Маркизу де Лантенаку, окруженному, запертому, обреченному, объявленному вне закона, затравленному, как дикий зверь на арене цирка, зажатому, как гвоздь в тисках, осажденному в его убежище, которому суждено было стать его тюрьмой, замурованному стеной железа и огня, все же удалось ускользнуть. Произошло чудо – он скрылся. Он совершил побег, то есть сделал то, что требует высшего искусства в такой войне. Он снова мог стать хозяином леса, мог укрыться в нем, стать хозяином Вандеи и продолжать войну, стать хозяином мрака и исчезнуть во мраке. Он снова стал бы грозным бродягой, зловещим скитальцем, вожаком невидимок, главой подземных обитателей леса, владыкой Дубравы. Говэн добился победы, но Лантенак вернул себе свободу. Лантенак уже был в полной безопасности, располагал необозримыми просторами для продвижения, неистощимым выбором надежных убежищ. Он вновь становился неуловимым, неуязвимым, недосягаемым. Лев попался в западню, но вырвался на волю.

И вот он вернулся в силки.

Маркиз де Лантенак по собственной воле, по внезапному решению, никем не понуждаемый, покинул верный мрак леса, лишился свободы и пошел навстречу самой страшной опасности, и пошел без страха. В первый раз Говэн увидел его, когда он бросился навстречу пламени, рискуя жизнью, и второй раз – когда он спускался с лестницы, которую своими руками отдал врагу, с той лестницы, что принесла спасение другим, а ему принесла гибель.

Почему он пошел на это?

Чтобы спасти троих детей.

Что его ждет, этого человека?

Гильотина.

Итак, этот человек ради трех маленьких ребятишек – своих детей? – нет; своих внуков? – нет; даже не детей своего сословия – ради трех крохотных ребятишек, которых он почти и не видел, трех найденышей, трех никому не известных босоногих оборвышей, ради них он, дворянин, он, принц, он, старик, только что спасшийся, только что вырвавшийся на свободу, он, победитель, ибо его бегство было торжеством, поставил на карту все, рисковал всем, все загубил и, спасая трех ребятишек, гордо отдал врагу свою голову, склонив перед ним свое доселе грозное, а теперь божественное чело.

А что собирались сделать?

Принять его жертву.

Маркиз де Лантенак должен был пожертвовать или своей, или чужой жизнью; не колеблясь в страшном выборе, он выбрал смерть для себя.

И с этим выбором согласились. Согласились его убить.

Такова награда за героизм!

Ответить на акт великодушия актом варварства!

Так извратить революцию!

Так умалить республику!

В то время, как этот старик, проникнутый предрассудками, поборник рабства, вдруг преображается, возвращаясь в лоно человечности, – они, носители избавления и свободы, неужели они не поднимутся над сегодняшним днем гражданской войны, закосневшие в кровавой рутине, в братоубийстве?

Неужели высокий закон всепрощения, самоотречения, искупления, самопожертвования существует лишь для защитников неправого дела и не существует для воинов правды?

Как! Отказаться от борьбы великодушия? Примириться с таким поражением? Будучи более сильными, стать более слабыми, будучи победителями, стать убийцами, дать богатую пищу молве, которая не преминет разнести, что на стороне монархии спасители детей, а на стороне республики убийцы стариков!

И на глазах у всех этот закаленный солдат, этот могучий восьмидесятилетний старик, этот безоружный боец, даже не взятый честно в плен, а схваченный за шиворот в тот самый миг, когда он совершил благородный поступок, старик, сам позволивший связать себя по рукам и ногам, хотя на челе его еще не высох пот от трудов величественного самопожертвования, этот старец взойдет по ступеням эшафота, как восходят к славе. И голову его, вокруг которой витают, моля о пощаде, невинные ангельские души трех спасенных им младенцев, положат под нож, и казнь его покроет позором палачей, ибо люди увидят улыбку на устах этого человека и краску стыда на лике республики.

И все это должно свершиться в присутствии его, Говэна, военачальника!

И он, который мог бы помешать этому, он отстранится! И он сочтет себя удовлетворенным высокомерно брошенной фразой: «Тебя это не касается!» И голос совести не подскажет ему, что в подобных обстоятельствах бездействие – есть соучастие! И он не вспомнит о том, что в столь важном акте участвует двое: тот, кто действует, и тот, кто не препятствует действию, и что тот, кто не препятствует, худший из двух, ибо он трус!

Но не сам ли он предуготовил эту смерть? Он, Говэн, милосердный Говэн, разве не объявил он, что милосердие не распространяется на Лантенака и что он предаст Лантенака в руки Симурдэна?

Да, он в долгу у Симурдэна, он обещал ему эту голову. Что ж, он платит свой долг. Вот и все.

Но та ли это голова, что прежде?

До сего дня Говэн видел в Лантенаке лишь варвара с мечом в руках, фанатического защитника престола и феодализма, истребителя пленных, кровавого убийцу, – порождение войны. И этого Лантенака он не боялся; этого палача он отдал бы палачу; этот неумолимый не умолил бы Говэна. Ничего не могло быть легче, путь, намеченный заранее, был зловеще прост, все было предрешено: тот, кто убивает, – того убьют; оставалось только следовать, не уклоняясь, этой до ужаса прямолинейной логике. Внезапно эта прямая линия прервалась, нежданный шквал открыл иные горизонты, вдруг произошла метаморфоза. На сцену вышел Лантенак в новом облике. Чудовище обернулось героем, больше чем героем – человеком. Больше чем просто человеком – человеком с благородным сердцем. Перед Говэном был уже не прежний ненавистный убийца, а спаситель. Говэн был ослеплен потоками небесного света. Лантенак сразил его молнией своего благодеяния.

Могло ли преображение Лантенака не преобразить Говэна? Как? и этот свет не зажжет ответного света? Человек прошлого пойдет впереди, а человек будущего поплетется за ним! Этот варвар, этот защитник суеверий воспарит ввысь, внезапно окрыленный, и сверху будет

взирать, как тонет в грязи и мраке человек идеала! Говэн пойдет по проторенным колеям жестокости, а Лантенак вознесется к неведомым вершинам!

И еще одно.

Узы родства!

Кровь, которую он прольет, – ибо позволить пролить кровь – все равно, что самому пролить ее, – разве это не его, не Говэна кровь? Родной дед Говэна умер, но двоюродный дед жив. И этот двоюродный дед зовется маркиз де Лантенак. И разве не восстанет из гроба старший брат, дабы воспрепятствовать младшему сойти в могильный мрак? Разве не накажет он своему внуку с уважением взирать на этот нимб серебряных кудрей, подобных тем, что обрамляли чело старшего брата? И разве не сверкнет, будто молния, между Говэном и Лантенаком негодующий взор мертвеца?

Неужели цель революции – извратить природу человека? Неужели она совершилась лишь для того, чтобы разбивать семейные узы, душить все человеческое? Конечно, нет. Восемьдесят девятый год поднялся над землей, чтобы утвердить непреложные истины, а отнюдь не за тем, чтобы их отрицать. Разрушить все бастилии – значит освободить человечество; уничтожить феодализм – значит заново создать семью. Виновник наших дней – начало всяческого авторитета и его хранитель, и нет поэтому власти выше родительской, отсюда законность власти пчелиной матки, которая выводит свой рой: будучи матерью, она становится королевой; отсюда вся бессмысленность власти короля, человека, который, не будучи отцом, не может быть властелином, отсюда – свержение королей; отсюда – республика. А что такое республика? Это семья, это человечество, это революция. Революция – есть будущее народов; а ведь Народ – это тот же Человек.

Теперь, когда Лантенак вернулся в лоно человечества, следовало решить, вернется ли он, Говэн, в лоно семьи.

Теперь следовало решить, соединятся ли дед и внук, озаренные единым светом, или же тот шаг вперед, который сделал дед, вызовет, как противовес, отступление внука вспять.

Это и было предметом того страстного спора, который вел Говэн с собственной совестью, и решение, казалось, напрашивалось само собой: спасти Лантенака.

Да… Но как же Франция?

Тут головоломная задача вдруг обращалась совсем иной стороной.

А Франция? Франция при последнем издыхании! Франция, отданная врагу, беззащитная, безоружная Франция! Даже простой ров не отделяет ее от неприятеля – Германия перешла Рейн; она не ограждена более даже стеной – Италия перешагнула через Альпы, а Испания через Пиренеи. Ей осталось одно – бескрайняя бездна, океан. Ее заступница – пучина. Она может еще опереться на этот щит, она, великанша, призвав в соратники море, может сразиться с землей. И тогда она неодолима. Но, увы, даже этого выхода у нее нет. Океан больше не принадлежит ей. В этом океане есть Англия. Правда, Англия не знает, как его перешагнуть. Но вот нашелся человек, который хочет перебросить ей мост, человек, который протягивает ей руку, человек, который кричит Питту, Крэгу, Корнваллису, Дундасу, кричит этим пиратам: «Сюда!» – человек, который взывает: «Англия, возьми Францию!» И человек этот – маркиз де Лантенак.

Этот человек в нашей власти. После трех месяцев погони, преследований, ожесточенной охоты он, наконец, пойман. Длань революции опустилась на Каина; рука 93 года крепко держит за шиворот роялистского убийцу; по таинственному предначертанию свыше, которое вмешивается во все людские деяния, этот отцеубийца ждет теперь кары в фамильном замке, в их лантенаковском узилище; феодал заключен в феодальную темницу; камни его собственного замка возопили против него и поглотили его; того, кто хотел предать свою родину, предал его родной дом. Сам господь бог возжелал этого. Пробил назначенный час; революция взяла в плен врага всего общества; отныне он не может сражаться, не может

бороться, не может вредить; в этой Вандее, где тысячи рук, он, и только он, был мозгом; умрет он, умрет и гражданская война; теперь он пойман; счастливая и трагическая развязка; после долгих месяцев избиения и резни он здесь, этот убийца, и теперь настал его черед умереть.

Так неужели же у кого-нибудь подымется рука спасти его?

Симурдэн, другими словами, сам 93 год, крепко держал Лантенака, другими словами, монархию, так неужели же найдется человек, который пожелал бы вырвать из тисков эту добычу? Лантенак, воплощение того груза бедствий, что именуется прошлым, маркиз де Лантенак уже в могиле, тяжелые врата вечности захлопнулись за ним; и вдруг кто-то живой подойдет и отопрет замок; этот преступник против всего общества уже мертв, вместе с ним умерли мятеж, братоубийство, бойня, жестокая война, и вдруг кто-то пожелает воскресить их!

О, какой насмешкой осклабился бы этот череп!

И с каким удовлетворением промолвит этот призрак: «Прекрасно, я снова жив, слышите вы, глупцы!»

И с каким рвением возьмется он вновь за гнусное свое дело! С какой радостью окунется неумолимый Лантенак в пучину ненависти и войны! С каким наслаждением уже завтра он будет любоваться пылающими хижинами, убитыми пленниками, прикончеными ранеными, расстрелянными женщинами!

Да полно, уж не переоценивает ли сам Говэн так заворoживший его добрый поступок старика?

Трое детей были обречены на гибель: Лантенак их спас.

Но кто обрек их на гибель?

Разве не тот же Лантенак?

Кто поставил их колыбельки среди пламени пожара?

Разве не Иманус?

А кто такой Иманус?

Правая рука маркиза.

За действия подчиненного отвечает начальник.

Следовательно, и поджигатель и убийца сам Лантенак.

Чем же так прекрасен его поступок?

Просто не довершил начатого. И ничего более.

Замыслив преступление, он отступил. Ужаснулся самого себя. Вопль матери разбудил дремавшую под спудом извечную человеческую жалость, хранительницу всего живого, что есть в каждой душе, даже в самой роковой. Услышав крик, он вернулся обратно в замок. Из мрака, где он погряз, он обернулся к дневному свету. Замыслив преступное деяние, он сам расстроил свои козни. Вот и вся его заслуга: не остался чудовищем до конца.

И за такую малость вернуть ему все! Вернуть просторы, поля, равнины, воздух, свет дня, вернуть лес, который он превратит в разбойничье логово, вернуть свободу, которую он отдаст на служение рабству, вернуть жизнь, которую он отдаст на служение смерти!

А если попытаться убедить его, попробовать вступить в сговор с этой высокомерной душой, обещать ему жизнь на определенных условиях, потребовать, чтобы в обмен на свободу он отказался впредь от вражды и мятежа, – какой непоправимой ошибкой был бы такой дар! Это дало бы ему огромное преимущество, и ответ его прозвучал бы как пощечина; с каким презрением воскликнул бы он: «Позор – это ваш удел! Убейте меня!»

Когда имеешь дело с таким человеком, есть всего два выхода: или убить его, или вернуть ему свободу. Ведь он не знает середины; он способен и на низкий поступок и на высокое самопожертвование; он одновременно и орел и бездна. Странная душа.

Убить его? какая мука! Дать ему свободу? какая ответственность!

Пощадив Лантенака, пришлось бы начинать в Вандее все сначала; гидра остается гидрой, пока ей не срубят последнюю голову. В мгновение ока, с быстротой метеора, пламя, затихшее с исчезновением этого человека, возгорелось бы вновь. Лантенак никогда не успокоится, до тех пор, пока не приведет в исполнение свой смертоубийственный замысел – водрузить над республикой, словно могильный камень, монархию, а над трупом Франции – Англию. Спасти Лантенака – значило принести в жертву Францию; жизнь Лантенака – это гибель тысяч и тысяч ни в чем не повинных существ, мужчин, женщин, детей, захваченных водоворотом гражданской войны; это высадка англичан, отступление революции, разграбленные города, истерзанный народ, залитая кровью Бретань – добыча, вновь попавшая в когти хищника. И в сознании Говэна, в свете противостоящих друг другу истин, возникал неразрешимый вопрос, выпускать ли тигра на волю.

И снова Говэн приходил к первоначальному рассуждению; камень Сизифа, который не что иное, как борьба человека с самим собой, снова скатывался вниз: значит, Лантенак тигр?

Может быть, раньше он и был тигром, ну а теперь? Мысль, пройдя по головокружительной спирали, возвращается к своим истокам, вот почему рассуждения Говэна были подобны свивающейся кольцом змее. В самом деле, даже после всестороннего рассмотрения, можно ли отрицать преданность Лантенака, его стоическую самоотверженность, его прекрасное бескорыстие? Как, под угрозой разверстой пасти гражданской войны проявить человечность! Как, в споре низких истин провозгласить высшую правду! Доказать, что выше монархий, выше революций, выше всех людских дел – великая доброта человеческой души, долг сильного покровительствовать слабому, долг спасшегося помочь спастись погибающему, долг каждого старца по-отечески печься о младенцах? Доказать все эти блистательные истины и доказать их ценой собственной головы! Стать полководцем и отказаться от своего стратегического замысла, от битв, от возмездия! Как, будучи роялистом, взять весы, поместить на одну их чашу французского короля, монархию, насчитывающую пятнадцать веков, старые законы, их восстановление, старое общество, его воскрешение, а на другую – трех безвестных крестьянских ребятишек и обнаружить вдруг, что король, трон, скипетр и пятнадцать веков монархии куда легковеснее, чем жизнь трех невинных существ! Неужели все это пустяки! Неужели свершивший это был и останется тигром и должен впредь быть травим, как хищник! Нет, нет и нет! Не может быть чудовищем человек, озаривший небесным отблеском добра пучину гражданских войн! Меч в его руках превратился в светоч! Сатана, владыка преисподней, вдруг стал светозарным Люцифером. Лантенак, жертвуя собой, искупил все свои злодеяния; губя свое тело, он спас свою душу; он заслужил прощение грехов; он сам подписал себе помилование. Разве не существует право прощать самому себе? Отныне он достоин уважения.

Лантенак доказал, что он способен совершить необычайное. Теперь очередь была за Говэном.

Теперь Говэну предстояло ответить на этот вызов.

Борьба добрых и злых страстей разыгрывалась сейчас над миром, порождая хаос. Восторжествовав над этим хаосом, Лантенак взял под защиту идею человечности; теперь Говэну надлежало сделать то же с идеей семьи.

Как же поступит он?

Неужели он обманет доверие творца? Нет. И он прошептал еле слышно: «Спасу Лантенака».

Ну что ж! Спасай! Иди, помогай англичанам в их замыслах! Стань перебежчиком! Перейди на сторону врага! Спаси Лантенака и предай Францию!

Говэн задрожал всем телом.

Твое решение не есть решение, мечтатель! И Говэн видел во мраке зловещую улыбку сфинкса.

Положение Говэна как бы ставило его на грозном перекрестке трех дорог, где сходились и сталкивались три истины, находящиеся в борении, и где мерялись взглядом три самые высокие идеи, исповедуемые человеком: человечность, семья, родина.

Каждый из этих голосов вещал по очереди и каждый вещал истину. Что выбрать? Казалось, каждый по очереди подсказывал решение, в котором сочетались мудрость и справедливость, и говорил: «Поступи так». Надо ли так поступать? Да. Нет. Рассудок твердил одно, чувство говорило другое; и советы их противоречили друг другу. Рассудок это всего лишь разум, а чувство нередко сама совесть; первое исходит от самого человека, а второе – свыше.

Вот почему чувство не столь ясно как разум, но более мощно.

И все же какая сила заключена в неумолимости разума!

Говэн колебался.

Страшная нерешительность.

Две бездны открывались перед Говэном. Погубить маркиза? Или спасти его? И надо было броситься в одну из этих бездн.

Какая из этих двух пучин была долгом?

III. Плащ командира

А ведь вопрос шел как раз о долге.

В зловещем свете вставал этот долг перед Симурдэном, и в грозном – перед Говэном.

Простой для одного; сложный, многоликий, мучительный для другого.

Пробило полночь, затем час.

Говэн незаметно для себя приблизился к пасти пролома. Затухавшее пожарище бросало теперь лишь неяркие отсветы.

Те же отсветы падали на плоскогорье, по ту сторону башни, и оно то становилось отчетливо видным, то исчезало, когда клубы дыма заволакивали огонь. Эти вспышки вдруг оживавшего пламени, сменявшиеся внезапной темнотой, искажали размеры и очертания предметов, придавали часовым, стоявшим у входа в лагерь, вид призраков. Говэн, поглощенный своими думами, рассеянно следил за этой игрой; то дым исчезал в вспышках пламени, то пламя исчезало в клубах дыма. И в том, что происходило перед его глазами – в этом появлении и исчезновении света, – было нечто сходное с тем, что творилось в его мыслях, где также то появлялась, то исчезала истина.

Вдруг меж двух огромных клубов дыма, из полуугасшего пожарища, пронеслась пылающая головня, ярко осветила вершину плоскогорья и окрасила в багрянец темный силуэт повозки. Говэн взглянул на эту повозку; вокруг нее стояли всадники в жандармских треуголках. Он подумал, что эту самую повозку они с Гешаном видели в подзорную трубу несколько часов назад, еще до захода. Какие-то люди, забравшись на повозку, видимо, разгружали ее. Они снимали оттуда что-то, должно быть, очень тяжелое и издававшее по временам металлический звон; трудно было сказать, что это такое; больше всего это, пожалуй, походило на плотничьи леса; два солдата сошли с повозки и опустили на землю ящик, в котором, судя по его форме, лежал какой-то треугольный предмет. Головня потухла, все вновь погрузилось во мрак. Говэн стоял в раздумье, пристально всматриваясь в темноту и стараясь понять, что там происходит.

А там зажигались фонари, суетились люди, но ночная мгла скрадывала очертания предметов, и снизу, с противоположной стороны оврага, трудно было разглядеть, что делается на плоскогорье.

Оттуда доносились голоса, но слова сливались в нестройный гул. То и дело слышались удары по дереву. Временами раздавался металлический визг, словно точили косу.

Пробило два часа.

Говэн медленно, неохотно, как это бывает, когда делаешь шаг вперед, чтобы тут же отступить назад, направился к бреши. Когда он приблизился, часовой в потемках разглядел его командирский плащ с галунами и взял на караул. Говэн проник в залу нижнего яруса, превращенную в кордегардию. К балке под сводами прицепили фонарь. Его слабого света хватало ровно настолько, чтобы пройти по зале, не наступая на лежавших на соломе солдат, большинство из которых уже спало.

Они лежали здесь на том самом месте, где еще несколько часов назад дрались с врагом; пол, усеянный осколками картечи, которые не удосужились вымести, вряд ли мог служить особенно удобным ложем; но люди утомились и вкушали отдых. Эта зала еще так недавно была ареной страшных сцен: здесь начался штурм башни, здесь раздавались вой, рычание, скрежет, удары, здесь убивали, здесь испускали дух; много солдат упало бездыханными на этот пол, где мирно почивали сейчас их товарищи; солома, служившая постелью для спящих, впитала кровь их соратников; сейчас все кончилось, кровь перестала литься, сабли были насухо вытерты, мертвецы были мертвецами, а живые спали мирным сном. Такова война. К тому же завтра на всех нас снизойдет этот сон.

При появлении Говэна кое-кто из спящих проснулся и приподнялся, и среди прочих офицер, начальник караула. Говэн указал ему на дверь темницы.

– Откройте, – промолвил он.

Тот отодвинул засовы, дверь открылась.

Говэн вошел в темницу.

Дверь за ним захлопнулась.

Книга седьмая
Феодализм и революция
I. Предок

На одной из плит каземата стояла лампа около четырехугольной отдушины, пробитой в каменном мешке.

Тут же рядом на полу виднелся кувшин с водой, солдатский паек хлеба и охапка соломы. Каземат был высечен прямо в скале, и если бы узнику пришла дикая мысль поджечь солому, он только впустую потерял бы время; тюрьма все равно бы не загорелась, а узник наверняка задохся бы.

Когда Говэн открыл дверь, маркиз шагал из угла в угол, – так хищник в неволе машинально мечется по клетке.

Услышав скрип отворившейся и захлопнувшейся двери, старик поднял голову, и лампа, стоявшая на полу, как раз между Говэном и маркизом, ярко осветила их лица.

Они взглянули друг на друга, и такова была сила их взгляда, что оба застыли на месте.

Наконец, маркиз разразился хохотом и воскликнул:

– Добро пожаловать, сударь! Вот уже много лет, как я не имел счастья вас видеть. Но вы все же соизволили ко мне пожаловать. От души благодарю. Я как раз не прочь поболтать немного. Признаться, я уже начал скучать. Ваши друзья зря теряют время. К чему вся эта возня – установление личности, военнополевой суд, – все это излишние проволочки. Я бы лично действовал гораздо быстрее. Я здесь у себя дома. Соблаговолите войти. Ну, что же вы мне скажете обо всем, что творится? Оригинально, не правда ли? Жили-были король и королева, король был король, королева была Франция. Отрубили королю голову, а королеву сочетали законным браком с Робеспьером; от сего господина и сей дамы родилась дочь, которую нарекли гильотина и с которой, если не ошибаюсь, мне завтра суждено свести знакомство. Заранее восхищен. Равно как и встречей с вами. Для чего вы явились сюда? Вас, быть может, повысили в чине, назначили палачом? Если это просто дружеский визит– я тронут. Вы, виконт, должно быть, уже забыли, что такое настоящий дворянин. Так вот он перед вами – это я.

Смотрите хорошенько. Зрелище любопытное: верит в бога, верит в традиции, верит в семью, верит в предков, верит в благой пример отцов, верит в преданность, в верность, в долг по отношению к своему государю, уважает старые законы, добродетель, справедливость – и этот человек с наслаждением приказал бы расстрелять вас. Садитесь, сделайте милость. Придется сесть прямо на пол, – в этой гостиной, увы, нет кресел, но тот, кто живет в грязи, может сидеть и на земле. Я отнюдь не желаю вас обидеть своими словами, ибо то, что мы зовем грязью, вы зовете нацией. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я провозгласил: Свобода, Равенство, Братство? Мы находимся с вами в одной из комнат моего собственного дома; некогда сеньоры сажали сюда смердов; ныне смерды сажают сюда сеньоров. И вот эти-то нелепости называются революцией. Если не ошибаюсь, через тридцать шесть часов мне отрубят голову. Я не досадую на это обстоятельство, но люди вежливые прислали бы мне мою табакерку, которую я обронил в зеркальной, где вы играли ребенком, а я качал вас у себя на коленях. Я сейчас, сударь, сообщу вам нечто – вас зовут Говэн, и по странной игре случая в ваших жилах течет благородная кровь, та же, чорт побери, что и в моих, и именно эта кровь сделала меня человеком чести, а вас негодяем. Каждому свое. Не возражайте, это не ваша вина. И не моя. Ей-богу же, человек становится преступником, сам того не замечая. Это зависит от того, кто каким воздухом дышит; в такие времена, как наши, никто не отвечает за свои поступки. Революция – большая плутовка в отношении всех и вся, и наши великие преступники по сути дела взрослые младенцы. Экие глупцы! Начать хотя бы с вас. Примите мое восхищение. Да, я вами восхищаюсь. Помилуйте, юноша прекрасного рода, могущий занимать государственные посты, человек, в жилах коего течет великолепная старинная кровь, достойная быть пролитой за великолепные дела, виконт, владелец вот этой самой Тур-Говэн, бретонский принц, в будущем герцог и пэр Франции, по праву наследования, другими словами имеющий все, чего только может пожелать на земле мало-мальски разумный человек, предпочел стать тем, что он есть сейчас, и посему враги считают его мошенником, а друзья – глупцом. Соблаговолите, кстати, засвидетельствовать аббату Симурдэну мое почтение.

Маркиз говорил непринужденным, миролюбивым тоном, ничего не подчеркивая, как и положено человеку светскому, серые его глаза смотрели спокойно, а руки были засунуты в карманы куртки. Он помолчал, глубоко вздохнул и заговорил снова:

– Не хочу скрывать от вас – я делал все, чтобы вас убить. Я сам, собственной рукой трижды наводил на вас пушку. Не совсем учтиво, не спорю, но воображать, что на войне враг старается доставить нам удовольствие – значит исходить из ложных соображений. Ибо мы, дорогой мой племянник, мы с вами воюем. Все предано огню и мечу. Ведь убили же короля. Прекрасные времена!

Он снова замолчал, потом начал:

– И ничего бы этого не произошло, если бы в свое время вздернули Вольтера и сослали Руссо на галеры. Ох, уж эти мне умники! Истый бич. А теперь, скажите честно, в чем вы можете упрекнуть монархию? Правда, аббата Пюселя сослали в его аббатство Корбиньи, но разрешили ему ехать туда не спеша и в любом экипаже, какой ему заблагорассудится выбрать; а что касается господина Титона, который, с вашего разрешения, был отчаянным дебоширом и не прочь был заглянуть в веселое заведение, отправляясь смотреть чудеса диакона Париса, то этого Титона перевели из Венсенского замка в замок Гам в Пикардии, признаться откровенно, довольно неприятное место. Вот и все обвинения… Как же, помню: я тоже возмущался в свое время; был таким же глупцом, как и вы.

Маркиз притронулся к карману, словно нащупывая табакерку, и продолжал:

– Но только не таким злобным. Мы говорили, чтобы говорить. Случалось, что бунтовали парламенты; а потом появились на сцену господа философы и, вместо того чтобы сжечь самих авторов, сожгли их сочинения, а тут еще начались все эти придворные интриги, вмешались эти ротозеи Тюрго, Кенэй, Мальзерб, физиократы и прочее, и прочее, и пошла свара. Все началось с писак и рифмоплетов. Ах, «Энциклопедия»! Ах, Дидро! Ах, д'Аламбер! Вот уж

зловредные бездельники! Даже человек королевской крови, сам прусский король, и тот попался на их удочку! Я всех этих писак прибрал бы к рукам. Да, мы чинили суд и расправу! Вот, полюбуйтесь, здесь на стене следы колес, употребляемых для четвертования! Мы шутить не любили. Нет, нет, только не писаки! Пока есть Вольтеры, будут и Мараты. Пока есть бумагомаратели, переводящие бумагу, будут и мерзавцы, которые убивают; пока есть чернила, будет черно; пока человек держит в пятерне гусиное перо, легкомыслие и глупость будут порождать жестокость. Книги творят преступления. Слово *химера* имеет двойной смысл – оно означает мечту, и оно же означает чудовище. Каким только вздором не тешат людей! Что это вы твердите о ваших правах? Права человека! права народа! Да все это яйца выеденного не стоит: все это и глупости, и выдумка, прямая бессмыслица! Когда я, например, говорю: Авуаза, сестра Конана Второго, принесла в приданое графство Бретонское супругу своему Гоэлю, графу Нантскому и Корнуэльскому, трон коего наследовал Алэн Железная Перчатка, дядя Берты, той, что сочеталась законным браком с Алэном Черным, владельцем земель и замка Рош-Сюр-Ион, и являлась матерью Конана Младшего, прадеда Ги, или Говэна де Туар, то есть нашего предка, – я говорю вещи бесспорные, – вот оно – право. Но ваши оборванцы, ваши плуты, ваша голытьба, они-то о каких правах толкуют? О богоубийстве и цареубийстве. Что за мерзость! Ах, негодяи! Как это ни прискорбно для вас, сударь, но в ваших жилах течет благородная бретонская кровь; мы с вами оба происходим от Говэна де Туар; нашим с вами предком был великий герцог де Монбазон, который получил звание пэра Франции и был пожалован орденской цепью; он взял штурмом Тур, был ранен при Арке и скончался на восемьдесят седьмом году в чине обер-егермейстера в своем замке Кузьер в Турени. Я мог бы вам назвать также и герцога Лодюнуа, сына госпожи де ла Гарнаш, Клода де Лорена, герцога де Шеврез, и Анри де Ленонкура и Франсуазу де Лаваль-Буадоффэн. Но к чему? Вам, сударь, угодно быть идиотом, вам не терпится стать ровней моему конюху. Знайте же, я был уже стариком, когда вы лежали в колыбели. Я вытирал вам нос, сопляк, и сейчас я тоже утру вам нос. Вы как-то ухитрились расти и в то же время умаляться. С тех пор что мы с вами не виделись, мы шли каждый своей дорогой, я – дорогой чести, а вы – в противоположном направлении. Не знаю, чем все это кончится, но господа ваши друзья – жалкие людишки. О, все это прекрасно, согласен, прогресс умопомрачительный, – еще бы! у нас солдат, уличенный в пьянстве, должен был три дня сряду выпивать перед фронтом штоф чистой воды, – это суровое, видите ли, наказание вы отменили; теперь у вас есть максимум, есть Конвент, епископ Гобель,[421] господин Шомет и господин Эбер, и вы яростно уничтожаете все прошлое, начиная с Бастилии и кончая календарем, где святых вы заменили овощами. Ну что ж, господа граждане, будьте хозяевами, берите в руки бразды правления, располагайтесь как дома, не стесняйтесь. Но как бы вы ни изощрялись, религия все равно останется религией, и того обстоятельства, что монархия пятнадцать веков освещала нашу историю, вам не зачеркнуть, как не зачеркнуть и того, что старое дворянство, даже обезглавленное, все равно выше вас. А что касается ваших кляуз насчет исторических прав королевских династий, то ведь это же смеха достойно. Хильперик в конце концов был лишь простым монахом и звался Даниэль; и не кто иной, как Рэнфруа породил Хильперика, чтобы досадить Карлу Мартелу; все это мы знаем не хуже вас. Да разве в этом дело? Дело в том, чтобы быть великим королевством, быть старой Францией, быть превосходно устроенным государством, где почитаются священными, во-первых, особа монарха-самодержца, затем принцы, затем королевская гвардия, охраняющая с оружием в руках нашу страну на суше и на море, затем артиллерия, затем высшие правители, ведающие финансами, затем королевские судьи и судьи низшие, затем чиновничество, взимающее подати и налоги, и, наконец, государственная полиция на трех ее иерархических ступенях. Вот что называется прекрасным и образцовым устройством, а вы разрушили его. Вы жалкие невежды, вы уничтожили наши провинции, так и не поняв, чем они были. Гений Франции вобрал в себя гений всего континента, и каждая из провинций Франции представляла одну из добродетелей Европы; германская честность была представлена в Пикардии; великодушие Швеции – в Шампани; голландское трудолюбие – в Бургундии; польская энергия

– в Лангедоке; испанская гордость – в Гаскони; итальянская мудрость – в Провансе; греческая смекалка – в Нормандии; швейцарская верность – в Дофинэ. А вы ничего этого не знали; вы все сломали, разбили, разнесли в щепы, уничтожили с равнодушием скотов. Ах, вы не желаете иметь аристократию? Что ж, больше ее у вас не будет. Вы еще пожалеете о ней. У вас не будет отныне рыцарей, не будет героев. Прощай былое величие Франции! Покажите мне нынешнего Асса. Все вы трясетесь за свою шкуру. Не видать вам больше рыцарей, как те, что сражались при Фонтенуа и сначала приветствовали противника и затем лишь убивали его; не видать вам воинов, подобных тем, что шли на штурм Лерида в шелковых чулках; не видать вам таких сражений, где султаны кавалеристов проносились словно метеоры; вы пропащий народ, вы еще испытаете самое страшное из бедствий – иноземное владычество; если Аларих Второй воскреснет, он не встретит достойного противника в лице Хлодвига; если воскреснет Абдеран, он не встретит достойного противника в лице Карла Мартела; если вернутся саксонцы, они не встретят больше Пепина; не будет у вас великих сражений: ни Аньяделя, ни Рокруа, ни Ленса, ни Стаффарда, ни Нервинда, ни Штейнкерка, ни Марсайля, ни Року, ни Лоуфельда, ни Магона; не видать вам ни Франциска Первого при Мариньяне, ни Филиппа-Августа при Бувине, который одной рукой захватил в плен Рено, графа Булонского, а другой Феррана, графа Фландрского. У вас будет Азенкур, но не будет кавалера Баквилля, великого знаменосца, который, завернувшись в знамя, дал себя убить! Ну что ж, действуйте. Будьте новыми людьми. Мельчайте.

Маркиз помолчал немного и добавил:

– Но предоставьте нам быть великими. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, разите, разрушайте, режьте, топчите, попирайте своим сапогом древние установления, низвергайте троны, опрокидывайте алтари, убивайте и отплясывайте на развалинах – это ваше дело. На то вы изменники и трусы, неспособные ни на преданность, ни на жертвы. Я кончил. А теперь, виконт, прикажите гильотинировать меня. Честь имею выразить вам свое нижайшее почтение.

И он добавил:

– Да, я сказал вам много правды! Но что мне до того. Я мертв.

– Вы свободны! – сказал Говэн.

Говэн подошел к маркизу, снял с себя плащ, набросил на плечи старика и надвинул капюшон ему на глаза. Оба Говэна были одного роста.

– Что ты делаешь? – воскликнул маркиз.

Говэн, не отвечая, крикнул:

– Лейтенант, откройте дверь.

Дверь открылась.

Говэн крикнул:

– Потрудитесь запереть за мной дверь.

И он вытолкнул вперед оцепеневшего от неожиданности маркиза.

В низкой зале, превращенной в кордегардию, горел, если помнит читатель, лишь один фонарь, еле-еле озарявший помещение своим неверным пламенем. При этом тусклом свете солдаты, которые еще бодрствовали, увидели, как мимо них проследовал, направляясь к выходу, высокий человек в плаще, с низко надвинутым капюшоном, обшитым офицерским галуном; они отдали офицеру честь, и он исчез.

Маркиз медленно пересек кордегардию, прошел через пролом, стукнувшись раза два о выступы камней, и выбрался из башни.

Часовой, решив, что перед ним Говэн, взял на караул.

Когда Лантенак очутился на свободе, когда он ощутил под ногами луговую траву, увидел в двухстах шагах перед собой опушку леса, просторы, почуял ночную свежесть, свободу,

жизнь, он остановился и с минуту простоял неподвижно, как человек, застигнутый врасплох событиями: увидев случайно открытую дверь, он выходит и вот теперь размышляет, правильно ли он поступил, или нет, колеблется, идти ли дальше, и в последний раз проверяет ход своих мыслей. Потом, словно стряхнув с себя глубокую задумчивость, Лантенак приподнял руку, звонко прищелкнул пальцами и произнес: «Н-да!»

И скрылся во мраке.

Железная дверь захлопнулась. Говэн остался в темнице.

II. Военнополевой суд

В ту пору военнополевые суды не имели еще точно установленного кодекса. Дюма в Законодательном собрании наметил первоначальный проект военного судопроизводства, переработанный позже Тало в Совете пятисот, но окончательный военнополевой кодекс появился лишь в годы Империи. Заметим, кстати, что именно во времена Империи был введен порядок, по которому, при вынесении решения, голоса должны были подаваться, начиная с низших чинов. При революции такого закона не существовало.

В девяносто третьем году председатель военнополевого суда воплощал в своем лице чуть ли не весь состав трибунала, он сам назначал членов суда, устанавливал порядок подачи голосов по чинам и самую систему голосования; словом, был не только судьей, но и полновластным хозяином в суде.

По мысли Симурдэна, заседание трибунала должно было происходить в той самой нижней зале башни, где раньше помещался редюит, а сейчас устроили кордегардию. Он старался сократить путь от темницы до суда и путь от суда до эшафота.

В полдень, согласно его приказу, открылся суд в следующей обстановке: три соломенных стула, простой сосновый стол, два подсвечника с горящими свечами, перед столом табурет.

Стулья предназначались для судей, а табурет для подсудимого. По обоим концам стола стояли еще два табурета – один для комиссара-аудитора, которым назначали полкового каптенармуса, другой для секретаря, которым назначили капрала.

На столе разместили палочку красного сургуча, медную печать республики, две чернильницы, папки с чистой бумагой и два развернутых печатных оповещения – одно, объявлявшее Лантенака вне закона, другое с декретом Конвента.

За стулом, стоявшим посредине, высилось несколько трехцветных знамен; в те времена суровой простоты декорум был несложен, и не потребовалось много времени, чтобы превратить кордегардию в залу суда.

Стул, стоявший посредине и предназначенный для председателя суда, помещался как раз напротив двери в темницу.

В качестве публики – солдаты.

Два жандарма охраняли скамью подсудимых.

Симурдэн занял средний стул, по правую его руку сидел капитан Гешан – первый судья, по левую Радуб – второй судья.

Симурдэн был в форме – в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Яркокрасный шрам от недавно зажившей раны придавал ему грозный вид.

Радуб решился, наконец, сделать перевязку. Он обмотал голову носовым платком, на котором медленно проступало кровавое пятно.

В полдень заседание суда еще не было открыто, перед столом стоял вестовой, а лошадь его громко ржала во дворе. Симурдэн писал. Писал следующие строки:

"Гражданам членам Комитета общественного спасения.

Лантенак взят. Завтра он будет казнен".

Ниже он поставил число и подпись, сложил и запечатал депешу и вручил ее вестовому, который тут же удалился.

Закончив писать, Симурдэн произнес громким голосом:

– Откройте темницу.

Два жандарма отодвинули засов, открыли дверь и вошли в каземат.

Симурдэн вскинул голову, сложил на груди руки и, глядя на дверь, крикнул:

– Введите арестованного.

Под сводом открытой двери появились два жандарма и между ними какой-то человек.

Это был Говэн.

Симурдэн задрожал.

– Говэн! – воскликнул он.

И добавил:

– Я велел привести арестованного.

– Это я, – сказал Говэн.

– Ты?

– Я.

– А Лантенак?

– Он на свободе.

– На свободе?

– Да.

– Бежал?

– Бежал.

Симурдэн пробормотал дрожащим голосом:

– Верно, ведь з мок его, он знает здесь все лазейки. Должно быть, темница сообщается с каким-нибудь потайным ходом, я обязан был это предусмотреть… Он нашел возможность скрыться, для этого ему не понадобилось посторонней помощи.

– Ему помогли, – сказал Говэн.

– Помогли бежать?

– Да.

– Кто помог?

– Я.

– Ты?

– Я.

– Ты бредишь.

– Я вошел в темницу, я был наедине с заключенным, я снял свой плащ, я набросил свой плащ ему на плечи, я надвинул ему капюшон на лоб, он вышел вместо меня, я остался вместо него и стою здесь перед вами.

– Ты не мог этого сделать.

– Я сделал это.

– Это немыслимо.

– Как видите, мыслимо.

– Немедленно привести сюда Лантенака.

– Его там нет. Солдаты, увидев на нем командирский плащ, приняли его за меня и пропустили. Было еще темно.

– Ты сошел с ума.

– Я говорю то, что есть.

Воцарилось молчание. Затем Симурдэн произнес, запинаясь:

– В таком случае ты заслуживаешь…

– Смерти, – закончил Говэн.

Симурдэн побледнел как мертвец. Он застыл на месте, словно сраженный ударом молнии. Казалось, он не дышит. Крупные капли пота заблестели на его лбу.

Вдруг окрепшим голосом он произнес:

– Жандармы, усадите обвиняемого!

Говэн опустился на табурет.

Симурдэн скомандовал жандармам:

– Сабли наголо.

Эта фраза произносилась в суде в тех случаях, когда обвиняемому угрожала смертная казнь.

Жандармы обнажили сабли.

Симурдэн заговорил теперь своим обычным голосом.

– Подсудимый, – сказал он, – встаньте.

Он больше не говорил Говэну «ты».

III. Голосование

Говэн поднялся.

– Ваше имя? – спросил Симурдэн.

Говэн ответил:

– Говэн.

Симурдэн продолжал допрос.

– Кто вы такой?

– Командир экспедиционного отряда Северного побережья.

– Не состоите ли вы в родстве или связи с бежавшим?

– Я его внучатный племянник.

– Вам известен декрет Конвента?

– Вот он лежит у вас на столе.

– Что вы скажете по поводу этого декрета?

– Что я скрепил его своей подписью, что я приказал выполнять его неукоснительно и что по моему приказанию было написано объявление, под которым стоит мое имя.

– Выберите себе защитника.

– Я сам буду себя защищать.

– Слово предоставляется вам.

Симурдэн вновь обрел свое бесстрастие. Только бесстрастие это было схоже не с холодным спокойствием живого человека, а с мертвым оцепенением скалы.

Говэн с минуту молчал, словно собираясь с мыслями.

Симурдэн повторил:

– Что вы можете сказать в свое оправдание?

Говэн медленно поднял голову и, не глядя вокруг, начал:

– Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети, – они встали между

мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски прикончелнных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин, я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен. Из моих слов может показаться, что я свидетельствую против себя, – это не так. Я говорю в свою защиту. Когда преступник сознает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасти – свою честь.

– Это все? – спросил Симурдэн. – Все, что вы можете сказать в свою защиту?

– Могу добавить лишь одно, – будучи командиром, я обязан был подавать пример. В свою очередь и вы, будучи судьями, обязаны подать пример.

– Какой пример вы имеете в виду?

– Мою смерть.

– Вы находите ее справедливой?

– И необходимой.

– Садитесь.

Каптенармус, он же комиссар-аудитор, поднялся с места и зачитал сначала приказ, объявляющий вне закона бывшего маркиза де Лантенака, затем декрет Конвента, согласно которому каждый, способствовавший побегу пленного мятежника, подлежал смертной казни. В заключение он огласил несколько строк, приписанных внизу печатного текста декрета, в которых «под угрозой смертной казни» запрещалось оказывать «какое-либо содействие или помощь» вышеупомянутому мятежнику и стояла подпись: «Командир экспедиционного отряда: Говэн».

Закончив чтение, комиссар-аудитор сел.

Симурдэн скрестил на груди руки и произнес:

– Подсудимый, слушайте внимательно. Публика, слушайте, смотрите и сохраняйте молчание. Перед вами закон. Сейчас будет произведено голосование. Приговор будет вынесен простым большинством голосов. Каждый судья выскажет свое мнение вслух, в присутствии обвиняемого, правосудию нечего таиться. – И, помолчав, он добавил: – Слово предоставляется первому судье. Говорите, капитан Гешан.

Казалось, капитан Гешан не видит ни Симурдэна, ни Говэна. Он не подымал опущенных век, скрывавших выражение его глаз, и не сводил пристального взгляда с приказа, лежавшего на столе, он смотрел на него, как смотрит человек на разверзшуюся перед ним бездну. Он сказал:

– Закон ясен. Судья больше и в то же время меньше, чем человек: он меньше, чем человек, ибо у него не должно быть сердца; и он больше, чем человек, ибо в руке его меч. В четыреста четырнадцатом году до рождества Христова римский полководец Манлий обрек на смерть родного сына, чьим преступлением было лишь то, что он одержал победу, не испросив разрешения отца. Нарушение дисциплины требовало кары. В нашем случае нарушен закон, а закон еще выше дисциплины. Порыв милосердия вновь поставил под удар родину. Иной раз милосердие может обратиться в преступление. Командир Говэн помог бежать мятежнику Лантенаку. Говэн виновен. Я голосую за смертную казнь.

– Занесите в протокол, писец, – сказал Симурдэн.

Писец записал: «Капитан Гешан: смерть».

Говэн произнес громким голосом:

– Гешан, вы проголосовали правильно, и я благодарю вас.

Симурдэн продолжал:

– Слово предоставляется второму судье. Слово имеет сержант Радуб.

Радуб поднялся с места, повернулся к подсудимому и отдал ему честь. Потом прокричал:

– Если уж на то пошло, гильотинируйте меня. Потому что, чорт побери, даю честное слово, я сам хотел бы сделать то, что сделал старик, и то, что сделал мой командир. Когда я увидел, как он бросился прямо в огонь, – а ему восемьдесят лет, – чтобы спасти трех крошек, я тут же подумал: «Ну, молодец, дед!» А когда я узнал, что наш командир спас этого старика от вашей окаянной гильотины, я – тысяча чертей! – так подумал: "Вас, командир, нужно произвести в генералы, вы настоящий человек, и если бы от меня зависело, будь я неладен, я бы вам дал крест Святого Людовика, если бы еще были кресты, если бы еще были святые и если бы еще были Людовики. Да неужели мы все стали безголовыми дураками? Если ради этого мы выиграли битву при Жемапе, битву под Вальми, битву при Флерюсе и битву при Ватиньи, тогда прямо так и скажите. Как! вот уже четыре месяца наш командир Говэн гонит всю эту роялистскую сволочь, будто стадо баранов, и защищает республику с саблей в руках, выигрывает битву под Долем, – а ее так просто, за здорово живешь не выиграешь, – тут надо мозгами пораскинуть. И вы, имея такого человека, все делаете, чтобы его потерять, и не то что в генералы его не производите, а еще задумали ему голову отрубить! Да я вам прямо скажу, лучше уж броситься с Нового моста. А вам, гражданин Говэн, я вот что скажу, не будь вы моим командиром, а, скажем, моим капралом, я бы прямо так и заявил: «Ну и глупостей вы здесь нагородили!» Старик хорошо сделал, что спас детей, вы хорошо сделали, что спасли старика, и если посылать людей на гильотину за то, что они делают хорошие дела, – так пусть все идет к чертовой матери, тут уж я ничего не понимаю!.. Значит, и дальше так пойдет? Да скажите же мне, что все это неправда! Вот я сейчас себя ущипну, может, мне это только сон привиделся? Может, я проснусь? Ничего не понимаю. Выходит, что старик должен был допустить, чтобы крошки сгорели заживо, выходит, что наш командир должен был позволить отрубить старику голову. Нет, уж лучше гильотинируйте меня. Мне оно будет приятнее. Вы только подумайте: ведь если б крошки погибли, батальон Красный Колпак был бы опозорен. Этого, что ли, хотели? Тогда уж давайте прямо перегрызем друг другу глотки. Я тоже в политике разбираюсь не хуже, чем вы все, я состоял в клубе секции Пик. Чорт возьми! Неужели мы окончательно озверели! Я говорю так, как понимаю. Не нравится мне, когда творятся такие дела, – прямо ума не приложишь, что происходит. Тогда какого дьявола мы под пули лезли? Для того, выходит, чтобы нашего командира убивали? Нет, нет, Лизетта, – прошу, как говорится, прощенья. Командира нашего в обиду не дадим! Мне мой командир нужен! Я его сегодня еще сильнее люблю, чем вчера. Посылать его на гильотину! Да это же смеха достойно. Нет, нет, этого мы не допустим. Я выслушал все, что вы тут плели. Говорите, что хотите. А я говорю – этому не бывать.

И Радуб сел. Рана его открылась. Струйка крови показалась из-под повязки, прикрывавшей полуоторванное ухо, и медленно поползла вдоль шеи.

Симурдэн повернулся к Радубу.

– Вы подаете голос за оправдание подсудимого?

– Я голосую, – ответил Радуб, – за то, чтобы его произвели в генералы.

– Я вас спрашиваю, вы подаете голос за его оправдание?

– Я подаю голос за то, чтобы его сделали первым человеком в республике.

– Сержант Радуб, голосуете вы за то, чтобы командир Говэн был оправдан, или нет?

– Я голосую за то, чтобы вместо него мне отрубили голову.

– Следовательно, за оправдание, – сказал Симурдэн. – Занесите в протокол, писец.

Писец написал: «Сержант Радуб – оправдать».

После чего писец сказал:

– Один голос за смертную казнь. Один голос за оправдание. Голоса разделились.

Теперь голосовать должен был Симурдэн.

Он поднялся с места, снял шляпу и положил ее на стол.

Мертвенная бледность сошла с его лица, оно приняло землистый оттенок.

Если бы все присутствующие на заседании суда вдруг очутились в гробу, то и тогда бы в зале не могло быть тише.

Симурдэн торжественно провозгласил твердым и суровым голосом:

– Обвиняемый Говэн, дело слушанием закончено. Именем Республики военнополевой суд, большинством двух голосов против одного…

Он замолчал, словно собирался с мыслями. Перед чем колебался он? Перед смертным приговором? Перед помилованием? Все затаили дыхание. Симурдэн продолжал:

– …приговаривает вас к смертной казни.

Зловещее торжество мучительной гримасой исказило его лицо. Должно быть, такая же устрашающая улыбка искривила уста Иакова, когда во мраке он поборол ангела и заставил его благословить себя.

Но этот мгновенный отблеск тут же угас. Лицо Симурдэна вновь застыло, словно мрамор, он надел шляпу и добавил:

– Говэн, вы будете казнены завтра, на рассвете.

Говэн поднялся, отдал поклон и сказал:

– Я благодарю суд.

– Уведите осужденного, – приказал Симурдэн.

Симурдэн махнул рукой, дверь отворилась, темница поглотила Говэна, и дверь захлопнулась. Два жандарма с саблями наголо встали по обе ее стороны.

Пришлось на руках вынести Радуба, – он потерял сознание.

IV. На смену Симурдэну-судье – Симурдэн-учитель

Военный лагерь – то же осиное гнездо, особенно в годы революции. Жало гражданского гнева, которое таится в душе каждого солдата, слишком легко и охотно появляется наружу, и, поразив насмерть врага, оно может, не колеблясь, уязвить и своего военачальника. Доблестный отряд, овладевший Тургом, жужжал на разные лады; сначала, когда прошел слух о том, что Лантенак на свободе, недовольство обратилось против командира Говэна. Когда же из темницы, где полагалось сидеть взаперти Лантенаку, вывели Говэна, словно электрический разряд прошел по зале суда, и через минуту весть о происшествии облетела лагерь. В маленькой армии поднялся ропот: «Сейчас они судят Говэна, – говорили солдаты, – но это только для отвода глаз. Знаем мы этих бывших и попов. Сначала виконт спас маркиза, а теперь священник помилует аристократа!» Когда же разнесся слух о том, что Говэн приговорен к смертной казни, пошел уже другой ропот: «Молодец Говэн! Вот командир у нас так командир! Молод годами, а герой! Что ж, что он виконт, если он при том честный республиканец, – в этом двойная заслуга! Как! казнить его, освободителя Понторсона, Вильдье, Понт-о-Бо! Победителя при Доле и Турге! Да ведь с ним мы непобедимы! Да ведь он меч республики в Вандее! Казнить человека, который нагнал страху на шуанов и вот уже пять месяцев исправляет все те глупости, что наделал Лешель с присными! И Симурдэн еще смеет приговаривать его к смертной казни! А за что? За то, что он помиловал старика, который спас трех детей! Чтобы поп убивал солдата? Этого еще нехватало!»

Так роптал победоносный и растревоженный отряд. Глухой гнев подымался против Симурдэна. Четыре тысячи человек против одного – какая же это на первый взгляд сила! Но нет, это не сила. Четыре тысячи человек были толпой. А Симурдэн был волей. Каждый знал, что Симурдэн спуску не даст и что стоит ему угрюмо насупить брови, как задрожит вся армия. В те суровые времена, если за спиною человека подымалась тень Комитета общественного спасения, этого было достаточно, чтобы он стал грозой, и проклятия сами собой переходили в приглушенный ропот, а ропот в молчание. Был ли ропот, или нет, Симурдэн распоряжался судьбой Говэна, равно как и судьбою всех остальных. Каждый понимал, что просить

бесполезно, что Симурдэн будет повиноваться только своей совести, чей нечеловеческий глас был слышен только ему одному. Все зависело от него. То, что он решил в качестве военного судьи, мог перерешить он один в качестве гражданского делегата. Только он один мог миловать. Он был наделен чрезвычайными полномочиями: мановением руки он мог дать Говэну свободу; он был полновластным хозяином над жизнью и смертью; он повелевал гильотиной. В эту трагическую минуту этот человек был всемогущ.

Оставалось только одно – ждать.

Тем временем настала ночь.

V. В темнице

Зала, где отправляли правосудие, вновь превратилась в кордегардию; караулы, как и накануне суда, удвоили; на страже перед запертой дверью темницы стояли два жандарма.

В полночь какой-то человек с фонарем в руках прошел через кордегардию; он назвал себя и приказал отпереть двери темницы.

Это был Симурдэн.

Он переступил порог, оставив дверь полуоткрытой.

В подземелье было тихо и темно. Симурдэн сделал шаг, поставил фонарь наземь и остановился. Во мраке слышалось ровное дыхание спящего человека. Симурдэн задумчиво вслушался в этот мирный звук.

Говэн лежал в глубине каземата на охапке соломы. Это его дыхание доносилось до Симурдэна. Он спал глубоким сном.

Стараясь не шуметь, Симурдэн подошел поближе и долго смотрел на Говэна; мать, склонившаяся над спящим своим младенцем, не глядит на него таким невыразимо нежным взглядом, каким глядел Симурдэн. Быть может, это зрелище было сильнее Симурдэна; он как-то по-детски прикрыл глаза кулаками и несколько мгновений стоял неподвижно. Потом он опустился на колени, бережно приподнял руку Говэна и прижался к ней губами.

Спящий пошевелился и, открыв глаза, удивленно посмотрел вокруг, как озирается внезапно проснувшийся человек.

Свет фонаря слабо освещал подземелье. Говэн узнал Симурдэна.

– А, – сказал он, – это вы, учитель!

И, помолчав, добавил:

– А мне приснилось, что смерть целует мне руку.

Симурдэн вздрогнул, как порой вздрагивает человек, когда внезапно на него нахлынет волна разноречивых чувств; подчас эта волна так бурлива и высока, что грозит загасить душу. Но слова не шли из глубины сердца Симурдэна. Он мог выговорить лишь одно: «Говэн!»

Они поглядели друг на друга. Глаза Симурдэна горели тем нестерпимым пламенем, от которого сохнут слезы, губы Говэна морщила кроткая улыбка.

Говэн приподнялся на локте и заговорил:

– Вот этот рубец на вашем лице – он от удара сабли, который предназначался мне, а вы приняли его на себя. Еще вчера вы были в самой гуще схватки – рядом со мной и ради меня. Если бы провидение не послало вас к моей колыбели, где бы я был? Блуждал бы в потемках. Если у меня есть понятие долга, то лишь благодаря вам. Я родился связанным. Предрассудки – те же путы, вы освободили меня от них, вы дали мне взрасти свободно, и из того, кто уже в младенчестве был мумией, вы сделали живое дитя. Вы зажгли свет разума в том, кто без вас оставался бы убогим недоноском. Без вас я рос бы карликом. Все живое во мне идет от вас. Без вас я бы стал сеньором и только, вы же сделали из меня гражданина; я остался бы только гражданином, но вы сделали из меня мыслящее существо; вы подготовили меня к земной жизни, а душу мою – к жизни небесной. Вы вручили мне ключ истины, дабы я познал

человеческий удел, и ключ света, дабы я мог приобщиться к неземному уделу. Учитель мой, благодарю вас. Ведь это вы, вы создали меня.

Симурдэн присел на солому рядом с Говэном и сказал:

– Я пришел поужинать с тобой.

Говэн разломил краюху черного хлеба и протянул ее Симурдэну. Симурдэн взял кусок; потом Говэн подал ему кувшин с водой.

– Пей сначала ты, – сказал Симурдэн.

Говэн отпил и передал кувшин Симурдэну. Говэн отхлебнул только глоток, а Симурдэн пил долго и жадно.

Так они и ужинали: Говэн ел, а Симурдэн пил, – верный признак душевного спокойствия одного и лихорадочного волнения другого.

Какая-то пугающая безмятежность царила в подземной темнице. Учитель и ученик беседовали.

– Назревают великие события, – говорил Говэн. – То, что совершает ныне революция, полно таинственного смысла. За видимыми деяниями есть деяния невидимые. И одно скрывает от наших глаз другое. Видимое деяние – жестоко, деяние невидимое – величественно. Сейчас я различаю это с предельной ясностью. Это удивительно и прекрасно. Нам пришлось лепить из старой глины. Отсюда этот необычайный девяносто третий год. Идет великая стройка. Над лесами варварства подымается храмина цивилизации.

– Да, – ответил Симурдэн. – Временное исчезнет, останется непреходящее. А непреходящее – это право и долг, идущие рука об руку, это прогрессивный и пропорциональный налог, обязательная воинская повинность, равенство, прямой без отклонений путь, и превыше всего самая прямая из линий – закон. Республика абсолюта.

– Я предпочитаю республику идеала, – заметил Говэн.

Он помолчал, затем продолжал свою мысль:

– Скажите, учитель, среди всего упомянутого вами найдется ли место для преданности, самопожертвования, самоотречения, взаимного великодушия и любви? Добиться всеобщего равновесия – это хорошо; добиться всеобщей гармонии – это лучше. Ведь лира выше весов. Ваша республика взвешивает, отмеряет и направляет человека; моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между геометром и орлом.

– Ты витаешь в облаках.

– А вы погрязли в расчетах.

– Не пустая ли мечта эта гармония?

– Но без мечты нет и математики.

– Я хотел бы, чтоб творцом человека был Эвклид.

– А я, – сказал Говэн, – предпочитаю в этой роли Гомера.

Суровая улыбка появилась на губах Симурдэна, словно он желал удержать на земле душу Говэна.

– Поэзия! Не верь поэтам!

– Да, я уже много раз слышал это. Не верь дыханию ветра, не верь солнечным лучам, не верь благоуханию, не верь цветам, не верь красоте созвездий.

– Всем этим человека не накормишь.

– Кто знает? Идея – та же пища. Мыслить – значит питать себя.

– Поменьше абстракций. Республика это дважды два четыре. Когда я дам каждому, что ему положено…

– Тогда вам придется еще добавить то, что ему не положено.

– Что ты под этим подразумеваешь?

– Я подразумеваю те поистине огромные взаимные уступки, которые каждый обязан делать всем и все должны делать каждому, ибо это основа общественной жизни.

– Вне незыблемого права нет ничего.

– Вне его – все.

– Я вижу лишь правосудие.

– А я смотрю выше.

– Что же может быть выше правосудия?

– Справедливость.

Минутами они замолкали, словно видели отблеск яркого света.

Симурдэн продолжал:

– Выразись яснее, если можешь.

– Охотно. Вы хотите обязательной воинской повинности. Но против кого? Против других же людей. А я, я вообще не хочу никакой воинской повинности. Я хочу мира. Вы хотите помогать беднякам, а я хочу, чтобы нищета была уничтожена совсем. Вы хотите ввести пропорциональный налог. А я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы общественные расходы были сведены к простейшим формам и оплачивались бы из избытка общественных средств.

– Что же, по-твоему, надо для этого сделать?

– А вот что: первым делом уничтожьте всяческий паразитизм: паразитизм священника, паразитизм судьи, паразитизм солдата. Затем употребите с пользой ваши богатства; теперь вы спускаете туки в сточную канаву, внесите их в борозду. Три четверти наших земель не возделаны, подымите целину во всей Франции, используйте пустые пастбища; поделите все общинные земли. Пусть каждый человек получит землю, пусть каждый клочок земли получит хозяина. Этим вы повысите общественное производство во сто крат. Франция в наше время может дать крестьянину мясо лишь четыре раза в год; возделав все свои поля, она накормит триста миллионов человек – всю Европу. Сумейте использовать природу, великую помощницу, которой вы ныне пренебрегаете. Заставьте работать на себя даже легчайшее дуновенье ветра, все водопады, все магнетические токи. Наш земной шар изрезан сетью подземных артерий, в них происходит чудесное обращение воды, масла, огня; вскройте же эти жилы земные, и пусть оттуда для ваших водоемов потечет вода, потечет масло для ваших ламп, огонь для ваших очагов. Поразмыслите над игрой морских волн, над приливами и отливами, над непрестанным движением моря. Что такое океан? Необъятная, но впустую пропадающая сила. Как же глупа наша земля! До сих пор она не научилась пользоваться мощью океана!

– Ты весь во власти мечты.

– Но ведь это всецело в пределах реального.

И Говэн добавил:

– А женщина? Какую вы ей отводите роль?

– Ту, что ей свойственна, – ответил Симурдэн. – Роль служанки мужчины.

– Согласен. Но при одном условии.

– Каком?

– Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины.

– Что ты говоришь? – воскликнул Симурдэн. – Мужчина– слуга женщины! Да никогда! Мужчина – господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть – власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король.

– Согласен. Но при одном условии.

– Каком?

– Пусть тогда и женщина будет королевой в своей семье.

– Иными словами, ты требуешь для мужчины и для женщины…

– Равенства.

– Равенства? Что ты говоришь! Два таких различных существа…

– Я сказал «равенство». Я не сказал «тождество».

Вновь воцарилось молчание, словно два эти ума, метавшие друг в друга молнии, на минуту заключили перемирие. Симурдэн нарушил его первым.

– А ребенок? Кому ты отдашь ребенка?

– Сначала отцу, от которого он зачат, потом матери, которая произвела его на свет, потом учителю, который его воспитает, потом городу, который сделает из него мужа, потом родине – высшей из матерей, потом человечеству – великому родителю.

– Ты ничего не говоришь о боге.

– Каждая из этих ступеней: отец, мать, учитель, город, родина, человечество, – все они – ступени лестницы, ведущей к богу.

Симурдэн молчал, а Говэн говорил:

– Когда человек достигнет верхней ступени лестницы, он придет к богу. Бог отверзнет перед ним врата, и человек смело войдет в них.

Симурдэн махнул рукой, словно желая предостеречь друга.

– Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.

– Берегитесь, как бы возможное не стало невозможным.

– Возможное всегда осуществимо.

– Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?

– Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реального. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, зато приобретет в полезности; пусть она будет не столь широкой, зато станет вернее. Необходимо, чтобы право легло в основу закона, и когда право становится законом, он становится абсолютом. Вот что я называю возможным.

– Возможное гораздо шире.

– Ну, вот ты снова начал мечтать.

– Возможное – это таинственная птица, витающая над нами.

– Значит, нужно ее поймать.

– Но только живую.

Говэн продолжал:

– Моя мысль проста: всегда вперед. Если бы бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы ему глаза на затылке. Так будем же всегда смотреть в сторону зари, расцвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить. Треск старого рухнувшего дуба – призыв к молодому деревцу. Пусть каждый век свершит свое деяние, ныне гражданское, завтра просто человеческое. Ныне стоит вопрос о праве, завтра встанет вопрос о заработной плате. Слова «заработная плата» и «право» в конечном счете означают одно и то же. Жизнь человека должна быть оплачена; давая человеку жизнь, бог берет на себя обязательство перед ним; право – это прирожденная плата; заработная плата – это приобретенное право.

Говэн говорил сосредоточенно и строго, как пророк. Симурдэн слушал. Они поменялись ролями, и теперь, казалось, ученик стал учителем.

Симурдэн прошептал:

– Уж очень ты скор.

– Что поделаешь! Приходится поторапливаться, – с улыбкой ответил Говэн. – Учитель, вот в чем разница между нашими двумя утопиями. Вы хотите обязательной для всех казармы, я хочу – школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы хотите, чтобы человек был грозен, а я хочу, чтобы он был мыслителем. Вы основываете республику меча, я хотел бы основать…

Он помолчал.

– Я хотел бы основать республику духа.

Симурдэн потупился и, глядя на черные плиты пола, спросил:

– А пока что ты хочешь?

– Того, что есть.

– Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?

– Да.

– Почему?

– Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает весь лес. Цивилизация была покрыта гнойными, заразными язвами; великий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится. Но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана. А впрочем, что мне бури, когда у меня есть компас! Что мне бояться страшных событий, раз моя совесть спокойна!

И он добавил низким торжественным голосом:

– Есть некто, чьей воле нельзя чинить препятствия.

– Кто же это? – спросил Симурдэн.

Говэн указал пальцем ввысь. Симурдэн проследил взглядом его движение, и ему почудилось, что сквозь каменные своды темницы он прозревает звездное небо.

Они снова замолчали.

Наконец, Симурдэн сказал:

– Ты чересчур возвышаешь человеческое общество. Я уже говорил тебе, – это невозможно, это мечта.

– Это цель. А иначе зачем людям общество? Живите в природе. Будьте дикарями. Таити, на ваш взгляд, рай. Но только в этом раю нет места для мысли. А по мне куда лучше мыслящий ад, нежели безмозглый рай. Да нет, причем здесь ад! Будем людьми, обществом людей. Возвысимся над природой. Именно так. Если человек ничего не привносит в природу, зачем же выходить из ее лона? Удовлетворитесь тогда работой, как муравьи, и медом, как пчелы. Будьте рабочей пчелой, а не мыслящей владычицей улья. Если вы привносите хоть что-то в природу, вы тем самым возвышаетесь над ней; привносить – значит увеличивать; увеличивать – значит расти. Общество – та же природа, но природа улучшенная. Я хочу того, чего нет у пчел в улье, чего нет у муравьев в муравейнике: мне нужны памятники зодчества, искусство, поэзия, герои, гении. Вечно гнуть спину под бременем тяжкой ноши – неужели таков человеческий закон? Нет, нет и нет, довольно париев, довольно рабов, довольно каторжников, довольно отверженных! Я хочу, чтобы все в человеке стало символом цивилизации и образцом прогресса; для ума я хочу свободы, для сердца – равенства, для души – братства. Нет! прочь ярмо! Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а чтобы раскинуть крылья. Пусть сгинут люди-ужи. Я хочу, чтобы куколка стала бабочкой, хочу, чтобы червь превратился в живой крылатый цветок и вспорхнул ввысь. Я хочу…

Он остановился. Глаза его блестели. Губы беззвучно шевелились.

Дверь темницы так и не закрыли. Какие-то невнятные шумы проникали снаружи в подземелье. Слышалось далекое пение рожков, очевидно играли зорю; потом раздался стук

прикладов о землю, – это сменился караул; потом возле башни, сколько можно было судить из темницы, послышалось какое-то движение, словно перетаскивали и сваливали доски и бревна; раздались глухие и прерывистые удары, – должно быть, перестук молотков.

Симурдэн, побледнев как полотно, вслушивался в эти звуки. Говэн не слышал ничего. Он все больше уходил в свои мечты. Казалось даже, что он не дышит, с таким напряженным вниманием всматривался он в прекрасное видение, возникшее перед его глазами. Все его существо пронизывал сладостный трепет. Свет зари, зажегшийся в его зрачках, разгорался все ярче.

Так прошло несколько минут. Симурдэн спросил:

– О чем ты думаешь?

– О будущем, – ответил Говэн.

И он снова погрузился в мечты. Симурдэн поднялся с соломенного ложа, где они сидели бок о бок. Говэн даже не заметил этого. Симурдэн, не отрывая горящего страданием взгляда от своего замечтавшегося ученика, медленно отступил к двери и вышел.

Дверь темницы захлопнулась.

VI. Тем временем солнце взошло

В небе занималась заря.

Одновременно с рассветом на плоскогорье Тург, напротив и выше Фужерского леса, появилось нечто странное, неподвижное, загадочное и незнакомое небесным птицам.

Это было какое-то диковинное сооружение, выросшее здесь за ночь. Его не выстроили, а воздвигли. Силуэт, вырисовывавшийся на фоне неба прямыми и жесткими линиями, издали напоминал букву древнееврейского алфавита или один из египетских иероглифов, входящих в таинственную азбуку древности.

Первая мысль, которую вызывал этот предмет, была мысль о его полной бесполезности. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно возникал вопрос: каково его назначение? Затем глядевшего охватывал трепет. Это сооружение напоминало помост, установленный на четырех столбах. На одном краю помоста были укреплены стоймя еще два столба, соединенные поверху перекладиной, к которой был подвешен треугольник, казавшийся черным на фоне утренней лазури. К другому краю помоста вела лестница. Внизу между двумя столбами прямо под треугольником можно было различить две доски, образующие вертикальную раздвижную раму, посреди которой имелось круглое отверстие, равное по диаметру размерам человеческой шеи. Верхняя часть рамы скользила на пазах, так что не составляло труда ее опустить или поднять. Сейчас обе части рамы, которые при соединении образовывали посередине круглое отверстие, были раздвинуты. У подножия двух столбов с перекладиной, к которой был прикреплен треугольник, виднелась доска, легко вращающаяся на шарнирах и походившая на обыкновенную доску качелей. Рядом с этой доской стояла продолговатая корзина, а между двух столбов впереди, на краю помоста, вторая – квадратная корзина. Она была выкрашена в красный цвет. Все сооружение было деревянное, за исключением металлического треугольника. Чувствовалось, что оно возведено руками человека, – таким оно казалось безобразным, жалким и ничтожным; и в то же время водрузить его не отказались бы и духи зла, – таким оно было ужасным.

Это уродливое сооружение было гильотиной.

Напротив нее, всего в нескольких шагах, по ту сторону рва, возвышалось другое чудище – Тург. Каменное чудище как будто бросало вызов чудищу деревянному. Заметим кстати: стоит человеку коснуться дерева или камня, как и дерево и камень уже перестают быть самими собою, а перенимают нечто от человека. Башня – это догма, машина – это идея.

Тургская башня была роковым итогом прошлого, который в Париже именовался Бастилией, в Англии – Лондонской башней, в Германии – Шпильбергом, в Испании – Эскуриалом, в Москве – Кремлем, в Риме – замком Святого Ангела.

В Турге было воплощено целых пятнадцать столетий: все средневековье, вассальство, крепостничество, феодализм, а в гильотине – только один год – девяносто третий; и эти двенадцать месяцев весили больше, чем пятнадцать веков.

Башня Тург – это была монархия; гильотина – это была революция.

Трагическое сопоставление.

С одной стороны – долг, с другой – расплата. С одной стороны – сложнейший лабиринт средневековья: крепостной и помещик, раб и властитель, простолюдин и вельможа, лоскутное законодательство, обраставшее обычаями, судья и священник, действующие заодно, бесчисленные путы, поборы казны, подати сеньору, соляной налог, закрепощение человека и земли, подушная подать, прерогативы, предрассудки, всяческий фанатизм, королевские земли, привилегии, скипетр, трон, произвол, божественное право; с другой стороны – нечто простое: нож гильотины.

С одной стороны – узел; с другой – топор.

Долгие века башня Тург простояла в одиночестве среди пустынных лесов. Из ее устрашающих бойниц на голову врага лилось кипящее масло, горящая смола и расплавленный свинец; ее подземелья, усыпанные человеческими костями, ее застенки для четвертования были ареной неслыханных трагедий; мрачной громадой возвышалась она над этим лесом; пятнадцать веков она, зловеще-спокойная, скрывалась в лесной сени; на много миль окрест она была единственной владычицей, единственным кумиром и единственным пугалом; она царила, она ни с кем не желала делиться своей варварской властью, – и вдруг прямо перед ней, словно дразня ее, возникло что-то, нет, не что-то, а кто-то столь же грозный, как она сама, – возникла гильотина.

Иной раз кажется, что камень тоже видит своим загадочным оком. Статуя наблюдает, башня подкарауливает, фасад здания взирает. Башня Тург словно приглядывалась к гильотине.

Она будто пыталась понять, спрашивала себя: «Что это здесь такое?»

Странное сооружение, оно словно выросло из-под земли.

И впрямь оно выросло из-под земли.

Роковая земля породила зловещее древо. Из этой земли, щедро политой потом, слезами, кровью, из этой земли, изрезанной рвами, могилами, тайниками, подземными ходами, из этой земли, где тлели кости многих и многих людей, ставших мертвецами по воле всяческих тиранов, из этой земли, скрывавшей столько гибельных бездн, схоронившей в себе столько злодеяний – ужасных семян грядущего, из недр этой земли в назначенный срок выросла эта незнакомка, эта мстительница, эта жестокая машина, подъявшая меч, и 93 год сказал старому миру: «Я здесь».

Гильотина с полным правом могла сказать башне: «Я твоя дщерь».

И в то же время башня предугадывала (ведь подобные роковые громады живут своей сокрытой жизнью), что гильотина убьет ее.

Башня Тург робела перед возникшим перед ней грозным видением. Да, она словно испытывала страх. Это страшилище, эта каменная громада была величественна и гнусна, но плаха с треугольником была хуже. Развенчанное всемогущество трепетало перед всемогуществом новоявленным. Историческое преступление взирало на историческое возмездие. Былое насилие тягалось с сегодняшним насилием; старинная крепость, старинная темница, старинное страшное обиталище сеньоров, в стенах которого звучали вопли пытаемых, это сооружение, предназначенное для войн и убийств, ныне непригодное ни для

жилья, ни для осад, опозоренная, поруганная, развенчанная груда камней, столь же ненужная, как куча золы, мерзкий и величественный труп, эта хранительница зверских ужасов минувших столетий смотрела, как наступает грозный час живого времени. Вчерашний день трепетал перед сегодняшним днем; жестокая старина лицезрела новое страшилище и склонялась перед ним; то, что стало ничем, глядело сумрачным оком на то, что стало ужасом; видение всматривалось в призрак.

Природа неумолима; она не желает ради людской мерзости поступаться своими цветами, своей музыкой, своими благоуханиями и своими лучами; она подавляет человека, являя ему разительное противопоставление божественной красоты и социального уродства; она не щадит его, подчеркивая яркость крылышек бабочки, очарование соловьиной трели, и человек в разгар убийства, в разгар мщения, в разгар варварской бойни осужден взирать на эти святыни; ему не скрыться от укора, который шлет ему отовсюду благость вселенной и неумолимая безмятежность небесной лазури. Видно, так надо, чтобы все безобразие человеческих законов выступало во всей своей неприглядной наготе среди вечной красоты мира. Человек крушит и ломает, человек опустошает, человек убивает; а лето – все то же лето, лилия – все та же лилия, звезда – все та же звезда.

Никогда еще в ясном небе не занимался такой чудесный рассвет, как в то летнее утро. Теплый ветерок пробегал по зарослям вереска, клочья тумана лениво цеплялись за сучья дерев, Фужерский лес, весь напоенный свежим дыханием ручейков, словно огромная кадильница с благовониями, дымился под первыми лучами солнца; синева тверди, белоснежные облачка, прозрачная гладь вод, вся гамма цветов от аквамарина до изумруда, прозрачная сень по-братски обнявшихся ветвей, ковер трав, широкие равнины – все было исполнено той чистоты, которую природа создает в извечное назидание человеку. Среди этой мирной картины, словно напоказ, выставляло себя мерзкое людское бесстыдство; средь мирной картины виднелись друг против друга крепость и эшафот, орудие войны и орудие казни, образ кровожадных веков и обагренной кровью минуты, ночная сова прошлого и летучая мышь, возникшая в предрассветном сумраке будущего. И перед лицом цветущей, благоуханной, любвеобильной и прекрасной природы сияющие небеса, заливая светом зари башню Тург и гильотину, казалось, говорили людям: «Смотрите, вот что делаю я и что делаете вы».

Такое страшное применение находит себе иной раз солнечный свет.

Это зрелище имело своих зрителей.

Четыре тысячи человек, составляющие экспедиционный отряд, стояли в боевом строю на плоскогорье. Шеренги солдат окружали гильотину с трех сторон, образуя геометрическую фигуру, или, вернее, букву «Е»; батарея, расположенная в центре длинной ее стороны, служила для этого «Е» перпендикулярной черточкой. Казалось, что выкрашенное в красный цвет сооружение отгорожено живой стеной, доходившей с двух сторон до самого края плоскогорья; четвертая сторона была открыта, здесь проходил ров, за которым высилась башня.

Таким образом, получился как бы вытянутый прямоугольник, середину которого занимал эшафот. По мере того как разгоралась заря, тень от гильотины, лежавшая на траве, все укорачивалась.

Канониры стояли с зажженными факелами возле своих орудий.

Из оврага подымался тонкий синеватый дымок, – там затухал пожар, уничтоживший мост.

Дымок заволакивал Тургскую башню, не скрадывая ее очертаний, вышка ее попрежнему царила над всей округой. Башня была отделена от гильотины лишь шириною рва. Стоя на эшафоте и на вышке, люди могли бы свободно переговариваться.

На площадку вышки поставили судейский стол, стул и прикрепили позади трехцветные знамена. Заря разгоралась за Тургом, в ее лучах черная громада башни четко выступала на

фоне порозовевшего неба, а наверху башни виднелся силуэт человека, – скрестив руки, он неподвижно сидел на стуле, осененном знаменами.

Этот человек был Симурдэн. Как и накануне, на нем была одежда гражданского делегата, шляпа с трехцветной кокардой, сабля на боку и пистолеты за поясом.

Он молчал. Молчали все. Солдаты стояли сомкнутым строем, приставив ружье к ноге и не подымая глаз. Каждый касался локтем соседа, но никто не обменивался ни словом с соседом. Каждый думал об этой войне, о бесчисленных схватках, о внезапной пальбе из-за изгородей, храбро подавляемой их ответным огнем, о толпах разъяренных крестьян, рассеянных их доблестью, о взятых крепостях, о выигранных сражениях, об одержанных победах, – и теперь им казалось, что былая слава оборачивается позором. Грудь каждого сжимало мрачное ожидание. Все глаза были прикованы к палачу, расхаживавшему по высокому помосту гильотины. Свет разгоравшегося дня уже охватил полнеба.

Вдруг до толпы донесся тот приглушенный звук, который издают барабаны, обвитые траурным крепом. Похоронная дробь с каждой минутой становилась громче; ряды расступились и пропустили в прямоугольник шествие, направлявшееся к эшафоту.

Впереди – барабанщики в черном, затем рота гренадеров с ружьями, обращенными дулом вниз, затем взвод жандармов с саблями наголо, затем осужденный – Говэн.

Говэн шел свободно. Ему не связали веревками ни рук, ни ног. Он был в походной форме и при шпаге.

Шествие замыкал второй взвод конвоиров.

Лицо Говэна еще хранило след мечтательной радости, которая зажглась в его глазах в ту минуту, когда он сказал Симурдэну: «Я думаю о будущем». Несказанно прекрасна и возвышенна была эта улыбка, так и не сошедшая с его уст.

Подойдя к роковому помосту, он бросил взгляд на вершину башни. Гильотину он даже не удостоил взгляда.

Он знал, что Симурдэн сочтет своим долгом лично присутствовать при казни. Он искал его глазами. И нашел.

Симурдэн был бледен и холоден. Стоявшие рядом с ним люди не могли уловить его дыхания.

Увидев Говэна, он даже не вздрогнул.

Тем временем Говэн шел к гильотине.

Он шел и все смотрел на Симурдэна, и Симурдэн смотрел на него. Казалось, Симурдэн ищет поддержки в его взгляде.

Говэн приблизился к подножью эшафота. Он поднялся на помост. Офицер, командовавший конвоем, последовал за ним. Говэн отстегнул шпагу и передал ее офицеру; затем снял галстук и отдал его палачу.

Он был подобен видению. Никогда еще он не был так прекрасен. Ветер играл его темными кудрями, – в ту пору мужчины не стриглись так коротко, как в наши дни. Его шея блистала женственной белизной, а взгляд был твердый и светлый, как у архангела. И здесь, на эшафоте, он продолжал мечтать. Лобное место было вершиной, и Говэн стоял на ней, выпрямившись во весь рост, величавый и спокойный. Солнечные лучи ореолом окружали его чело.

Полагалось, однако, связать казнимого. Палач подошел с веревкой в руке.

Но тут, видя, что их молодого командира сейчас положат под нож, солдаты не выдержали, закаленные сердца воинов переполнились горечью. Послышалось то, чего нет ужаснее, – рыдание войска. Раздались крики: «Помиловать! Помиловать!» Некоторые падали на колени, другие, бросив наземь оружие, протягивали руки к вершине башни, где сидел Симурдэн. Какой-то гренадер, указывая на гильотину, воскликнул: «А замена разрешается? Я готов!»

Все в каком-то исступлении кричали: «Помиловать! Помиловать!» Даже сердце льва, услышавшего эти крики, сжалось бы и дрогнуло в ужасе, ибо страшны солдатские слезы.

Палач остановился в нерешительности.

Тогда с вершины башни раздался властный голос, и все услышали зловещие слова, как тихо ни были они произнесены:

– Исполняйте волю закона.

Все узнали этот неумолимый голос. Это говорил Симурдэн. И войско затрепетало.

Палач больше не колебался. Он подошел к Говэну, держа в руках веревку.

– Подождите, – сказал Говэн.

Он повернулся лицом к Симурдэну и послал ему правой, еще свободной рукой прощальный привет, затем дал себя связать.

И уже связанный, он сказал палачу:

– Простите, еще минутку.

Он крикнул:

– Да здравствует Республика!

Потом его положили на доску, прекрасную и гордую голову охватил отвратительный ошейник, палач осторожно приподнял на затылке волосы, затем нажал пружину, стальной треугольник пришел в движение и заскользил вниз, сначала медленно, потом быстрее, и все услышали непередаваемо мерзкий звук.

В ту самую минуту раздался другой звук. На удар топора отозвался выстрел пистолета. Симурдэн схватил один из двух пистолетов, заткнутых за пояс, и в то самое мгновение, когда голова Говэна скатилась в корзину, Симурдэн выстрелил себе в сердце. Струя крови хлынула из его рта, и он упал мертвым.

Две трагические души, две сестры, отлетели вместе, и та, что была мраком, слилась с той, что была светом.

О романе «Девяносто третий год»

«Девяносто третий год» – одно из самых значительных произведений Виктора Гюго. Этот роман представляет собой широкое художественное полотно, на котором яркими красками изображены события и деятели, участники и противники великого революционного переворота конца XVIII века, ликвидировавшего прогнившие феодальные порядки во Франции и открывшего новую главу в ее истории, а отчасти и в истории других стран. «Она недаром называется великой, – писал В. И. Ленин о первой французской буржуазной революции. – Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции».[422]

Многие выдающиеся мастера слова – в том числе Анатоль Франс, Ромен Роллан, Чарльз Диккенс – изобразили в своих произведениях грандиозную историческую драму 1789–1794 годов. Но, быть может, никому из них не удалось дать такую широкую картину эпохи, такое потрясающее по своей силе изображение событий, какое привлекает читателей в романе Гюго. Объясняется это прежде всего тем, что Гюго был современником и очевидцем четырех революций (1830, 1848, 1870 и 1871 годов), что он являлся активным участником борьбы за утверждение республиканского строя во Франции. А борьба эта развернулась в 70-х годах, как раз тогда, когда создавался роман «Девяносто третий год».

Замысел романа появился у Гюго в начале 1863 года. «Я задумал большое произведение, – писал он тогда. – Я колеблюсь перед громадностью задачи, которая в то же время меня привлекает. Это 93-й год».

Шестидесятые годы XIX века были временем оживления и подъема общественного движения во Франции, направленного против душившего ее режима бонапартистской реакции. Нараставшая с каждым годом борьба рабочего класса и республиканских групп буржуазии отражалась и в литературе, особенно исторической. Не случайно, что именно в этот период появляется большое количество книг не только по истории революции 1848 года, память о которой еще была свежа тогда, но и по истории революции конца XVIII века.

Находясь в эмиграции, Гюго внимательно следил за тем, что происходило во Франции. Он тщательно изучал документы и литературу по истории Франции эпохи революции 1789–1794 годов. Писатель проделал огромную подготовительную работу: сохранилось множество папок с историческими материалами (заметками, выписками из документов, копиями), которые Гюго собирал и изучал, подготовляя роман об этой эпохе. Сведения о ней он черпал преимущественно из трудов буржуазно-демократического направления: из книги Луи Блана «Французская революция», из «Истории Робеспьера» Эрнеста Амеля, из трудов Мишле и других прогрессивных историков. Однако ему осталась, повидимому, неизвестна книга Бужара о Марате, появившаяся в 1866 году.

Гюго начал писать роман 16 декабря 1872 года и закончил его 9 июня 1873 года. Роман был издан в 1874 году.

Выход в свет этого произведения совпал с обострением политической обстановки во Франции, вызванным происками крайних реакционеров, стремившихся восстановить монархический строй и привести к власти династию Бурбонов, которую поддерживали крупные помещики, высшее католическое духовенство, реакционное офицерство и верхушка буржуазии.

Гюго принял активное участие в борьбе прогрессивных сил против планов монархической реставрации. Он боролся против них и в своих речах в Национальном собрании и в своих литературных произведениях. Роман о 1793-м годе – самом трудном и вместе с тем самом славном годе французской революции – всем своим содержанием, всей своей направленностью служил делу защиты республиканского строя, делу борьбы против приверженцев новой реставрации. Реакционная критика сразу же почувствовала это и потому так враждебно встретила роман Гюго. «В „Девяносто третьем годе“, – с неприкрытым негодованием писал в газете „La Presse“ от 1 марта 1874 года критик Лескюр, – чувствуется дыхание революционного демона, которым теперь вдохновляется поэт; видно, как над романом реет знамя социальных требований… не белое или трехцветное, а красное знамя».

Лескюр был, разумеется, неправ, изображая Гюго сторонником красного знамени – знамени пролетарской революции, знамени Парижской Коммуны. Известно, что писатель не понял великих освободительных задач и целей Коммуны. Но известно и то, что Гюго сурово осуждал дикие жестокости версальской военщины, ее кровавую расправу с трудящимися Парижа, что он энергично боролся за амнистию коммунарам. Страх, который под влиянием событий Коммуны охватил имущие классы Франции, превратил многих буржуазных либералов в ярых реакционеров. Показательна эволюция, которую проделал Тэн, в своей книге «Происхождение современной Франции» (она начала издаваться в 70-х годах) грубо фальсифицировавший историю французской революции и клеветнически чернивший ее деятелей (особенно якобинцев).

Заслуга Гюго состоит в том, что в своем романе, проникнутом духом свободолюбия и гуманности, он стремился показать величие революционного переворота конца XVIII века, бесстрашие и героизм французского революционного народа, стойко защищавшего свою родину и от контрреволюционных мятежников и от иностранных интервентов. Прославляя мужество французских революционеров конца XVIII века, их патриотическую преданность, Гюго клеймил изменников родины – дворян-эмигрантов, которые ради восстановления своих былых привилегий предавали свою страну ее злейшим врагам. Патриотический пафос, которым проникнут «Девяносто третий год», оказался не по нутру версальским реакционерам,

пошедшим на прямой сговор с германскими милитаристами для совместной борьбы против парижских коммунаров, доблестных защитников свободы и независимости Франции.

С большой художественной силой и с большим знанием исторического материала показывает Гюго в своем романе два враждебно-противостоящих друг другу лагеря – лагерь буржуазно-демократической революции, сплоченный вокруг якобинского Конвента, и лагерь дворянско-монархической контрреволюции. Картины, изображающие гражданскую войну в Вандее, борьбу между «синими» (частями республиканской армии) и «белыми» (отрядами монархических мятежников), сменяются картинами, рисующими революционный Париж, его народные массы и их вождей.

Писатель резко клеймит контрреволюционных мятежников, как врагов прогресса, как изменников родине. Какими ничтожными и ограниченными людьми выглядят действующие в романе эмигранты– граф дю Буабертло, шевалье де Ла Вьевиль. Они твердо убеждены в том, что революция произошла из-за пустяков, что через месяц они вступят в Париж победителями, что восстановление феодально-абсолютистского строя «спасет» Францию. Однако даже они вынуждены признать, что «принцы не хотят драться» и что без активной поддержки со стороны Англии и других монархических держав французские монархисты ничего не добьются.

Вождь монархистов маркиз де Лантенак (под этим именем выведен один из руководителей вандейского мятежа граф де Пюизэ, мемуары которого использованы в романе) изображен как образ явно отрицательный. Это – законченный представитель «старого режима», злобный и фанатичный враг революционного народа, идущий на прямое предательство национальных интересов Франции ради спасения социальных привилегий дворянской аристократии. Сознавая, что одних вандейцев недостаточно для борьбы с революцией, Лантенак призывает в свою страну английских интервентов, готов отдать им часть французского побережья. Именно за это больше всего и осуждает его Гюго. Описывая гибель английского корабля «Клеймор», шедшего к берегам Франции, чтобы высадить там Лантенака, писатель отмечает, что хотя «Клеймор» погиб так же мужественно, как и французский республиканский корабль «Мститель» (он пошел ко дну в битве с английской эскадрой 1 июня 1794 года), слава не выпала на его долю. «Нельзя быть героем, сражаясь против своей отчизны», – справедливо замечает Гюго.

«Все предать огню и мечу… Не давать пощады», – такова программа действий Лантенака, считающего, что только таким путем можно «покончить с революцией». И эта программа выполняется: раненых республиканских солдат добивают, пленных – расстреливают. Поступок Лантенака, спасающего крестьянских детей из горящего замка, совершенно не вяжется с образом жестокого вожака вандейцев и кажется ничем не оправданным. Этот надуманный эпизод не меняет общей характеристики Лантенака. Эпизод этот понадобился Гюго, чтобы оправдать изменнический поступок Говэна – молодого командира батальона республиканских войск и вместе с тем близкого родственника Лантенака. Освобождая взятого в плен Лантенака, Говэн совершает тяжкое преступление перед родиной и революцией. Гюго из соображений отвлеченной гуманности прощает Говэна, которого он идеализирует и которым восхищается. Только в самом конце романа писатель вкладывает в уста Говэна слова, свидетельствующие о том, что он осознал свою вину. Он говорит: «Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин; я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен».

Один из самых волнующих образов романа – это образ Симурдэна. Симурдэн – комиссар отряда Говэна, бывший священник, в прошлом воспитатель молодого аристократа. Этот аскетически суровый и непреклонный революционер списан с натуры. Среди деятелей французской революции были и такие люди, вышедшие из рядов низшего духовенства. Достаточно вспомнить священника Жака Ру, одного из наиболее ярких представителей группы «бешеных», мужественно защищавших интересы городской бедноты, рабочего класса; достаточно вспомнить монаха Дюкенуа, одного из «последних якобинцев», заколовшего себя

кинжалом после того, как судьи восторжествовавшей контрреволюции вынесли ему смертный приговор. Симурдэн убежден в необходимости беспощадной расправы с врагами революции. Чувство гражданского долга, сознание своей ответственности перед народом заставляют Симурдэна гильотинировать того, кого он любит, как родного сына. Но, выполнив свой долг, Симурдэн оказался не в силах пережить смерть Говэна и в момент его казни покончил с собой. Это самоубийство как бы символизирует моральную капитуляцию Симурдэна перед идеей милосердия. Образ стойкого комиссара Конвента, разумеется, проигрывает от этого, оказывается менее цельным.

Для Гюго и его идеалистического мышления этот эпизод, которым заканчивается роман, весьма характерен. В этом трагическом эпизоде отчетливо обнаруживается противоречивость взглядов Гюго на революционный террор. Писатель оправдывает его лишь как временное, преходящее явление, допустимое лишь в обстановке ожесточенной гражданской войны (впрочем, в других местах романа он не скрывает своего отрицательного отношения к «закону о подозрительных» и другим террористическим мерам якобинской диктатуры). В дальнейшем, полагает Гюго, допустимы одни только методы милосердия.

Глубоко реалистичен образ матроса Гальмало – темного, невежественного, суеверного крестьянина, слепо верящего в бога и короля. Именно такова была основная масса вандейцев, которых дворянам и священникам так легко удалось поднять против Республики.

«Их можно было уверить, в чем угодно, – пишет Гюго, – священники показывали им своего собрата по ремеслу, которому предварительно веревкой стягивали докрасна шею, и объявляли собравшимся: „Смотрите, вот он воскрес после гильотинированья!‟ – и те верили». Подчеркивая умственную и политическую отсталость бретонских крестьян того времени, которых он изображает полудикарями, Гюго игнорирует социально-экономические причины вандейского мятежа (в частности, недовольство, вызванное в деревне законом о максимуме цен на зерно). Обходя молчанием эти причины, писатель скользит по поверхности явлений в анализе того, что он называет вандейской загадкой. Историческая концепция Гюго, идеалистическая по своей сущности, приводит его к тому, что он придает чрезмерное значение географическим условиям; утверждая, что человек подчиняется «роковому воздействию природной среды», писатель пытается доказать, что жители гор свободолюбивы по природе, а жители болот и лесов, уже в силу природных условий, мирятся с рабством, чужды идеалам прогресса. С этими рассуждениями, в которых чувствуется несомненное влияние исторической теории Монтескье, нельзя, конечно, согласиться. Зато как правдива картина партизанской войны в Вандее, которую рисует Гюго.

Особого упоминания заслуживает фигура нищего и бродяги Тельмарша. Тельмарш весьма невысокого мнения о «старом режиме», представителем которого является Лантенак; этот нищий крестьянин, живущий в землянке и питающийся каштанами, помнит, что до революции простых людей вешали ни за что ни про что; несмотря на это, он осуждает казнь короля, хотя и затрудняется сказать, почему этого не следовало делать. Он признает, что антагонизм между бедными и богатыми является источником всех происходящих на земле переворотов, но заявляет, что не может разобраться, где настоящая правда, и фаталистически замечает: «Только мое дело сторона. События, они и есть события… Знаю только, что, раз есть долги, их надо платить. Вот и все». Зная, что за выдачу Лантенака обещано огромное денежное вознаграждение, этот умирающий с голоду нищий спасает маркиза, укрывая его в своей землянке. «Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость, – говорит он. -Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие».

Так мотивирует свой поступок Тельмарш, устами которого говорит сам Гюго, делающий нищего носителем своей излюбленной идеи о «превосходстве» отвлеченной гуманности над социальными конфликтами. Впрочем, суровая правда классовой борьбы вскоре разбивает иллюзии Тельмарша: он был убежден, что делает доброе дело, спасая человека, которого травили как хищного зверя, и вот оказывается, что по приказу этого человека расстреливают

пленных, убивают женщин. С ужасом убеждается Тельмарш, что он совершил ошибку, укрыв Лантенака от республиканских властей.

Большой творческой удачей Гюго в романе «Девяносто третий год» следует признать мастерское описание жизни Парижа в период якобинской диктатуры, основанное на изучении разнообразных исторических источников. В этих главах романа, заполненных множеством интересных фактов и деталей, живо чувствуются биение пульса революции, патриотический подъем народных масс, энергия революционного правительства якобинцев. Несмотря на огромные экономические трудности, страшную дороговизну, нехватку хлеба, угля, мыла и других предметов, несмотря на контрреволюционные заговоры и мятежи в провинции, несмотря на обостренное положение на фронтах, «Париж Сен-Жюста», как называет Гюго столицу Франции 1793 года, не падал духом. "Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица выставляла батальон. Над головой проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз. На знамени округа Капуцинов значилось: «Нас голыми руками не возьмешь!» На другом: «Благородным должно быть лишь сердце!» На всех стенах афиши и объявления – большие, маленькие, белые, желтые, зеленые, красные, отпечатанные в типографии и написанные от руки – провозглашали: «Да здравствует Республика!» Крохотные ребятишки лепетали: « a ira».

Никто из историков, писателей, мемуаристов, писавших о французской революции, не дал такого яркого изображения Конвента, какое мы находим в романе «Девяносто третий год». Прекрасное знание исторического материала позволило Гюго дать меткие, хотя и предельно сжатые, характеристики наиболее видных деятелей Конвента как из партии монтаньяров, так и из партии жирондистов. Разумеется, не все эти характеристики исторически верны: некоторые из них (особенно это относится к характеристике левых якобинцев) явно тенденциозны и несправедливы.

Знаменитая сцена беседы Робеспьера, Дантона и Марата в кабачке на улице Павлина свидетельствует о том, как тщательно изучал Гюго детали событий (даже мельчайшие), а также характеры этих виднейших деятелей революции. Впрочем, не всех трех. Если Робеспьер и Дантон обрисованы в общем исторически верно, то этого никак нельзя сказать о Марате. Даже описание наружности «Друга народа», как любовно называли Марата простые люди Парижа, выдает неприязненное отношение к нему Гюго, типичное почти для всех буржуазных деятелей. Это описание искажает действительный физический облик Марата, каким мы знаем его из воспоминаний объективно настроенных современников.

Нельзя согласиться и с общей характеристикой, которую дает Гюго членам Конвента: «Когорта героев и стадо трусов». Этой характеристике противоречит та высокая оценка исторического значения Конвента, которую здесь же дал сам писатель: «Воинский стан человечества, атакуемый всеми темными силами; сторожевой огонь осажденной армии идей; великий бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны».

Подводя итог деятельности Конвента, Гюго перечисляет проведенные им демократические преобразования, подчеркивает проявленную им кипучую энергию (11210 декретов!). При этом он явно переоценивает результаты деятельности Конвента, не замечает антипролетарской направленности многих его декретов (как, например, закона о всеобщем максимуме цен, устанавливавшего и предельные ставки заработной платы), приписывает Конвенту издание декрета о праве на труд, что не соответствует исторической правде, утверждает, что Конвент провозгласил «все высшие принципы». Переоценка парламентаризма и буржуазно-демократических свобод, свойственная вообще Гюго, отчетливо чувствуется в этом прославлении Конвента.

Следует заметить, что революционная решительность Конвента 1793–1794 годов и якобинской диктатуры в целом подчеркивается и в трудах классиков марксизма, «…чтобы быть конвентом, – писал в 1917 году В. И. Ленин, – для этого надо сметь, уметь, иметь силу наносить беспощадные удары контрреволюции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, чтобы власть

была в руках самого передового, самого решительного, самого революционного для данной эпохи класса».[423] Но одновременно классики марксизма отмечали и классовую ограниченность французской революции, которая, освободив народ от цепей феодализма, надела на него новые цепи – цепи капитализма.

Буржуазная по своему объективному содержанию, по своим историческим задачам, французская революция конца XVIII века была демократической по своим движущим силам. Роль народных масс в событиях этой революции, в ее развитии по восходящей линии была чрезвычайно велика; «…буржуа на этот раз, как и всегда, были слишком трусливы, чтобы отстаивать свои собственные интересы, – указывает Энгельс (в письме к Каутскому от 20 февраля 1889 года), – …начиная с Бастилии, плебс должен был выполнять за них всю работу… без его вмешательства 14 июля, 5–6 октября, 10 августа, 2 сентября и т. д. феодальный режим неизменно одерживал бы победу над буржуазией, коалиция в союзе с двором подавила бы революцию… таким образом, только эти плебеи и совершили революцию»[424]

Решающая роль народных масс и тесная связь с ними органов якобинской диктатуры хорошо показаны в романе Гюго. «Народ глядел на Конвент через свое собственное открытое окно – трибуны для публики, но когда это окно оказывалось слишком узким, он распахивал дверь, и в зал вливалась улица». Заседания Конвента беспрестанно прерывались появлением депутаций от народа с приветствиями, петициями, дарами. Описывая эти сцены, Гюго подчеркивает, что обычно они носили дружелюбный характер, происходили в обстановке братания. «Впрочем, иной раз не все обходилось так мирно, и Анрио в таких случаях приказывал ставить у входа в Тюильрийский дворец жаровни, на которых накаливали пушечные ядра». Так было, заметим, только один раз – 2 июня 1793 года, когда сорок тысяч вооруженных жителей народных кварталов окружили здание Конвента, навели на него пушки, потребовали и добились декрета об исключении и аресте двадцати двух депутатов-жирондистов и двух министров, принадлежавших к той же партии.

Все симпатии автора романа «Девяносто третий год» принадлежат простым людям Франции вроде сержанта Радуба, крестьянина по происхождению, беззаветно храброго бойца республиканской армии, человека, наделенного огромной человечностью и душевным благородством. Таких Радубов было много во французских революционных войсках, победоносно отражавших натиск вражеских армий и удары контрреволюционных мятежников. Однако Гюго не вскрывает социально-экономических причин (полная ликвидация феодализма, переход к свободной крестьянской собственности на землю и т. д.), обеспечивших эти блестящие победы, которые потрясли всю Европу.

Придавая такое большое значение роли народных масс, а также руководящих исторических деятелей, Гюго видел, однако, в революции действие стихийных сил, не зависящих от воли людей. «Революция, – утверждает он, – дело Неведомого… Революция – одна из форм того имманентного явления, которое теснит нас со всех сторон и которое мы зовем Необходимостью… То, чему положено свершиться, – свершится, то, что должно разразиться, – разразится». Это чисто фаталистическая концепция исторического процесса весьма характерна для Гюго как писателя буржуазно-демократического направления. Но фатализм сочетается у Гюго с оптимизмом; с глубокой верой в прогресс человечества. «Над революциями, – заявляет он, – как звездное небо над бурями, сияют Истина и Справедливость».

Идеалистическое мировоззрение Гюго и его политическая позиция как буржуазного демократа, далекого от социалистической идеологии рабочего класса, чуждого ей, определили слабые стороны этого романа, обусловили имеющиеся в нем принципиальные недостатки.

И все же «Девяносто третий год» представляет собой выдающееся, монументальное произведение, наиболее сильное среди произведений мировой художественной литературы, посвященной бурному революционному перевороту конца XVIII века.

Драматизму сюжета и мастерству изложения соответствует романтическая приподнятость тона, страстный волнующий стиль. Вместе с тем это и глубоко реалистическое произведение, в котором чувствуется основательное знание событий и людей той эпохи, а также обстановки, в которой развертывались эти события и действовали эти люди.

Данный исторический роман знаменитого французского писателя, пламенного патриота своей родины, убежденного демократа, великого гуманиста, пользуется огромной популярностью среди миллионов прогрессивно настроенных читателей во всех странах света. Это – одна из любимейших книг нашей советской молодежи.

В настоящее время, когда национально-патриотические силы Франции во главе с рабочим классом ведут мужественную борьбу за мир, национальную независимость и демократические свободы, интерес к историческому прошлому великого французского народа, к его славным демократическим традициям все возрастает. Тем самым усиливается интерес к художественным произведениям, в которых отразился тот или иной этап освободительного движения во Франции. Роман Гюго «Девяносто третий год» занимает одно из первых мест среди произведений этого рода.

Примечания

1

Сантерр Антуан-Жозеф (1752–1809) – деятель французской революции, якобинец, пользовавшийся большой популярностью в Сент-Антуанском предместье, принимал активное участие в борьбе против вандейских мятежников.

2

Жемап – бельгийский город; в битве при Жемапе 6 ноября 1792 года французские республиканские войска одержали блестящую победу над австрийскими войсками, следствием чего явилось занятие французскими войсками всей Бельгии.

3

Вальми – французское село; в битве при Вальми 20 сентября 1792 года австро-прусские войска, шедшие на Париж с целью задушить революцию, были отброшены французскими революционными войсками и вынуждены были начать отступление. Битва при Вальми означала перелом в войне между революционной Францией и коалицией европейских монархов.

4

Гойе Луи-Жером (1746–1830) – французский политический деятель и адвокат, член Законодательного собрания, член правительства Директории, после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

5

Бушотт Жан-Батист-Ноэль (1754–1840) – деятель французской революции, якобинец, военный министр в 1793–1794 годах. Проявил большую энергию в организации дела снабжения революционных войск продовольствием и боеприпасами.

6

Клебер Жан-Батист (1753–1800) – французский генерал, участник войн конца XVIII века; участвовал в борьбе с вандейцами. Был убит в Египте во время переговоров об эвакуации оттуда французских войск.

7

Вестерман – французский генерал, участник войн против европейской коалиции и борьбы против вандейских мятежников.

8

Граф д'Артуа (1757–1836) – французский принц из династии Бурбонов, брат Людовика XVI. Через два дня после падения Бастилии бежал за границу; руководил изменническими действиями дворян-эмигрантов. В 1814 году, после свержения наполеоновской империи, возвратился во Францию. В 1824 году, после смерти своего брата Людовика XVI, стал королем Франции под именем Карла X. Проводил политику защиты интересов наиболее реакционных слоев дворянства и высшего католического духовенства. Такая политика вызвала рост общественного недовольства в стране. Июльская революция 1830 года свергла Карла X. Он бежал за границу, где и умер.

9

Герцог Йоркский (1763–1827) – второй сын английского короля Георга III. Во время войны европейской коалиции против революционной Франции командовал английскими войсками в Голландии; потерпел поражение и в 1794 году отплыл обратно в Англию. Неудачей окончились и действия английских войск под его командованием в 1799 году. Бездарный полководец, но весьма честолюбивый и корыстолюбивый человек.

10

Приер (из департамента Марны) Пьер-Луи (1756–1827) – деятель французской революции XVIII века, якобинец; был членом Учредительного собрания, членом Конвента и Комитета общественного спасения; в качестве комиссара Конвента проявил большую энергию в борьбе с вандейскими мятежниками.

11

Тремуйль Антуан-Филипп, князь де Тальмон – французский генерал, выходец из старинного дворянского рода, в начале революции эмигрировал, затем возвратился во Францию и присоединился к вандейцам. В 1794 году был арестован и казнен.

12

Роганы – старинный французский дворянский род, владевший огромными поместьями в Бретани. Представители фамилии Роганов носили княжеский титул и находились в родстве с французской королевской династией Бурбонов.

13

Д'Эльбе – один из предводителей вандейских мятежников.

14

Лескюр, де – один из главных руководителей вандейских мятежников.

15

Боншан Шарль, де – один из главных руководителей вандейских мятежников; умер от ран, полученных в бою (1793).

16

Ларошжаклен Анри, де – крупный помещик-дворянин в Бретани; был одним из предводителей вандейских мятежников.

17

Катлино – один из предводителей вандейских мятежников.

18

Стоффле Никола (1751–1796) – один из главных предводителей вандейских мятежников; отличался зверской жестокостью в обращении с пленными республиканцами; был расстрелян по приговору военного суда.

19

Шаретт де ла Контри, Франсуа-Атаназ (1763–1796) – один из главных руководителей вандейского мятежа; крайне жестоко расправлялся с пленными республиканцами; был взят в плен и расстрелян.

20

Гастон – один из предводителей вандейских мятежников.

21

Паш Жан-Никола (1746–1823) – деятель французской революции конца XVIII века, жирондист, а позже якобинец, одно время был военным министром, затем мэром Парижа, сыграл видную роль в установлении якобинской диктатуры. После ее крушения отошел от политической деятельности.

22

Жоли – один из предводителей вандейских мятежников.

23

Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) – древнеримский политический деятель, защитник интересов земельной аристократии, руководил заговором против Цезаря и его убийством (в 44 г.).

24

Кокро – один из вожаков вандейских мятежников.

25

Санкюлоты – термин, служивший для обозначения активных участников французской революции конца XVIII века, выходцев из простого народа. Слово санкюлот происходит от французских слов sans (без) и culotte (короткие бархатные штаны, которые носили только дворяне и богачи; бедняки носили длинные панталоны из грубой материи).

26

Граф де Канкло – французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией.

27

Виконт де Миранда – французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией.

28

Виконт де Богарне – французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией; был казней в 1793 году по обвинению в измене.

29

Валанс Сирюс-Мари-Александр, граф, де (1757–1822) – французский генерал, участвовал в войне революционной Франции против европейской коалиции, но в 1793 году эмигрировал. Возвратившись во Францию в 1800 году, принял участие во многих наполеоновских походах. В период реставрации Бурбонов был членом палаты пэров.

30

Маркиз де Кюстин – французский генерал, участник войн конца XVIII века, был казнен в 1793 году по обвинению в сдаче крепости Майнц войскам коалиции.

31

Герцог де Бирон – французский генерал, участник войн конца XVIII века между Францией и европейской коалицией.

32

Герцог Шартрский Луи-Филипп (1776–1850) – старший сын герцога Филиппа Орлеанского, родственника короля Людовика XVI; в первые годы французской революции прикидывался из честолюбивых побуждений сторонником революции, отрекся от своего титула и принял фамилию Эгалитэ (то есть Равенство), участвовал в сражениях французской республиканской армии против войск европейской коалиции. В 1793 году принял участие в контрреволюционном

заговоре генерала-изменника Дюмурье; после разоблачения этого заговора бежал за границу; в 1814 году возвратился во Францию. После июльской революции 1830 года стал королем под именем Луи-Филиппа. Февральская революция 1848 года свергла его с престола.

33

Эгалитэ Филипп (1744–1794) – отец предыдущего, герцог Филипп Орлеанский, принявший фамилию Эгалитэ (то есть Равенство), вступивший в Якобинский клуб и ставший членом Конвента. Прикидывался убежденным якобинцем, голосовал за казнь Людовика XVI. Впоследствии истинное лицо Филиппа Эгалитэ и его честолюбивые замыслы были разоблачены, и он был казнен по приговору Революционного трибунала.

34

Дампьер Огюст-Анри-Мари, де (1756–1793) – французский генерал, участник войн революционной Франции против коалиции европейских монархов; был убит в бою.

35

Де Ларуари, маркиз – один из главных вожаков вандейских мятежников.

36

Дю Дрене – один из предводителей вандейских мятежников.

37

Куси – епископ Ла Рошели, один из предводителей вандейских мятежников.

38

Бопуаль Сент-Олэр – епископ Пуатье, один из предводителей вандейских мятежников.

39

Мерси – епископ Люсона, один из предводителей вандейских мятежников.

40

Серван Жозеф (1741–1808) – французский генерал и политический деятель; в начале революции был одно время военным министром; после перехода власти в руки якобинцев был арестован и заключен в тюрьму за близость к жирондистам. Впоследствии был восстановлен в звании генерала и занимал ряд видных постов в военном ведомстве.

41

Гийо де Фольвиль – епископ Дольский, один из предводителей вандейских мятежников.

42

«Монитер» – так называлась французская правительственная газета, издававшаяся с 1789 по 1868 год. Позже она была переименована в «Журналь офисьель».

43

Уиндхэм Уильям (1750–1810) – английский политический деятель, принадлежал к партии вигов и одно время был сторонником парламентской реформы. В дальнейшем перешел в лагерь крайней реакции, был военным министром в кабинете Питта-младшего, ярого врага революционной Франции.

44

Гуд Самюэль (1724–1810) – английский адмирал, с 1786 года лорд адмиралтейства; во время войны с революционной Францией командовал английским флотом в Средиземном море, захватил Тулон, вообще активно поддерживал французскую контрреволюцию.

45

Дьези, де, шевалье (младший) – один из предводителей вандейских мятежников.

46

Паррен – французский генерал, принимал участие в борьбе против вандейских мятежников.

47

Орудие войны (лат.)

48

Сила и мужество (лат.)

49

«Отец Дюшен» (иначе «Пэр Дюшен») – название одной из самых популярных демократических газет, издававшихся во время французской революции. Газета выходила с 1790 по 1794 год под редакцией левого якобинца Эбера (всего вышло 385 номеров).

50

Валазе Шарль-Элеонор (1751–1793) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист, во время якобинской диктатуры был казнен по приговору Революционного трибунала.

51

«Архивы морского министерства». Состояние флота на март месяц 1793 года.

52

Ламбаль Мария-Терезия-Луиза, принцесса, де (1749–1792) – родственница французской королевской семьи, приближенная королевы Марии-Антуанетты; после свержения монархии была арестована за участие в контрреволюционных заговорах и связь с иностранными дворами и казнена.

53

Гупиль де Префельн (умер в 1801 г.) – французский политический деятель, депутат Генеральных Штатов, умеренный либерал. В 1795 году был избран членом Совета старейшин, позже был его председателем.

54

Ассигнаты – бумажные деньги, выпускавшиеся во время французской революции и быстро падавшие в цене вследствие спекуляции и нехватки товаров.

55

Фротте Луи, граф, де (1755–1800) – французский помещик-монархист, один из главных вожаков контрреволюционных мятежников в Нормандии в конце XVIII века; был взят в плен, предан суду и расстрелян.

56

Рошкотт Фортюне-Гюйом, граф, де (1769–1798) – французский помещик-монархист, командовал одним из отрядов вандейских мятежников; был арестован, предан суду и казнен.

57

Дюбуа-Ги – один из вожаков вандейских мятежников.

58

Тюрпэн – один из вожаков вандейских мятежников.

59

Карно Лазар (1753–1823) – видный деятель французской революции XVIII века; член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения. Проявил огромную активность в деле обороны революционной Франции от войск интервентов (современники прозвали его «организатором победы»). В 1815 году после второй реставрации Бурбонов он был изгнан из Франции; умер в Магдебурге (в Пруссии).

60

Имеет уши, но не услышит (лат.)

61

«Закон о подозрительных» – был принят Конвентом 17 сентября 1793 года. Этот закон предписывал местным органам власти следить за действиями людей, ненадежных в политическом отношении, заключать их в тюрьму и предавать суду Революционного трибунала. Этот закон, изданный по требованию народных масс, сыграл большую роль в борьбе против контрреволюционных элементов.

62

Франклин Вениамин (1706–1790) – видный американский публицист, политический деятель и ученый (физик), принимал активное участие в войне за независимость в Северной Америке (1775–1783), был дипломатическим представителем США в Париже и добился заключения союза между Францией и США против Англии.

63

Руссо Жан-Жак (1712–1778) – французский писатель и философ, один из виднейших просветителей XVIII века, идеолог мелкой буржуазии, выдвигавший в своих трудах («Об общественном договоре» и др.) идею народовластия. Демократические теории Руссо сыграли крупную роль в идейной подготовке французской революции XVIII века.

64

Марат Жан-Поль (1743–1793) – один из виднейших деятелей французской революции, врач и публицист; член Конвента, один из руководителей Якобинского клуба, редактор газеты «Друг народа»; пользовался огромной популярностью в народных массах. 13 июля 1793 года был злодейски убит контрреволюционными заговорщиками.

65

Малуэ Пьер-Виктор (1740–1814) – французский политический деятель. Во время революции конца XVIII века основал монархический «Клуб беспристрастных». После свержения монархии эмигрировал. Возвратился во Францию в период Консульства. В 1814 году, после реставрации Бурбонов, был назначен морским министром.

66

Многим на пользу бьет его струя! (лат.)

67

Возвращение короля из Варенна. – Имеется в виду задержание Людовика XVI и его семьи, бежавших из Парижа 21 июня 1791 года с целью возглавить контрреволюционные войска и отряды эмигрантов и повести их на Париж для восстановления дореволюционных порядков. Заговор потерпел неудачу вследствие бдительности народных масс. В г. Варенне (недалеко от границы) король был узнан, задержан и возвращен в Париж. Но Учредительное собрание отвергло требование революционных групп и демократических клубов о низложении Людовика XVI, а республиканская демонстрация на Марсовом поле была расстреляна войсками.

68

Питу Луи-Анж (1769–1828) – французский писатель-монархист, автор песенок контрреволюционного содержания; не раз подвергался аресту и ссылке.

69

Ришелье Луи-Франсуа-Арман, герцог, де (1696–1788) – французский генерал (племянник знаменитого кардинала Ришелье), участвовал в войне Франции с Англией (так называемой Ганноверской войне) в XVIII веке.

70

Дюпле Морис (1738–1820) – владелец столярной мастерской в Париже, на улице Сент-Оноре, член Якобинского клуба, горячий сторонник Робеспьера, который жил в доме Дюпле во время революции и был помолвлен с его дочерью. После контрреволюционного переворота 9 термидора Дюпле был арестован и предан суду, но оправдан.

71

Вуллан Жан-Анри (1751–1801) – деятель французской революции, адвокат. Был членом Учредительного собрания и членом Конвента; явился одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.

72

Монфлабер, маркиз, де – французский политический деятель конца XVIII века, прикидывавшийся убежденным республиканцем и присвоивший себе прозвище «Десятое августа» (день свержения монархии во Франции в результате народного восстания 10 августа 1792 г.).

73

10-е августа. – Имеется в виду народное восстание в Париже 10 августа 1792 года, приведшее к свержению монархии и провозглашению Республики.

74

Фрерон Станислав-Луи-Мари (1754–1802) – французский политический деятель и публицист, член Конвента; будучи комиссаром в Тулоне, он совершил много излишних жестокостей; одновременно нажил большое состояние взятками и хищениями; опасаясь разоблачений, способствовал свержению якобинской диктатуры, позже был одним из вожаков термидорианской реакции.

75

Фукье-Тенвиль (1746–1795) – деятель французской революции, якобинец, был общественным обвинителем при Революционном трибунале в Париже; после переворота 9 термидора был арестован, а затем казнен.

76

Дюбуа-Крансэ (1747–1814) – деятель французской революции, был членом Учредительного собрания и членом Конвента, якобинец; в качестве комиссара Конвента проявил большую энергию в борьбе с контрреволюционными мятежниками и иностранными интервентами.

77

Давид Жак-Луи (1748–1825) – знаменитый французский художник, участник революции конца XVIII века, одно время близко стоявший к якобинцам. Широкую известность получила его картина, изображающая убитого Марата в ванне. Впоследствии Давид перешел на сторону Наполеона, получил от него титул барона и звание придворного художника.

78

Мерсье Луи-Себастьян (1740–1814) – французский писатель, публицист и драматург буржуазно-демократического направления; незадолго до революции опубликовал «Картины Парижа» (в 12-ти томах), в которых ярко изобразил быт и нравы парижского общества, нищету трудящихся масс.

79

Сен-Жюст Луи-Антуан Флорель, де (1767–1794) – один из виднейших деятелей французской революции XVIII века, член Конвента и Комитета общественного спасения, друг Робеспьера; после контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.

80

Тальен Жан-Ламбер (1767–1820) – деятель французской революции, член Конвента; будучи комиссаром в Бордо, нажил огромное состояние взятками и хищениями; был одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.

81

Регентство – период управления Францией герцогом Филиппом Орлеанским (1715–1723), ставшим регентом после смерти короля Людовика XIV (до совершеннолетия Людовика XV). Распущенность и расточительность двора, а также неудачные банковские операции привели к полному расстройству государственных финансов и совершенно дискредитировали регента, а вместе с ним и всю династию Бурбонов.

82

Директория – правительство французской республики, заменившее Конвент после его роспуска в октябре 1795 года; состояло из 5 членов (директоров) и существовало с ноября 1795 года по ноябрь 1799 года; выражало интересы крупной буржуазии («новых богачей», биржевых дельцов). Директория вела реакционную внутреннюю и захватническую внешнюю политику. Государственный переворот 18 брюмера покончил с режимом Директории и установил бонапартистский режим.

83

Тримальхион – главный персонаж сатирического произведения древнеримского писателя Петрония «Пир у Тримальхиона», тип богатого выскочки, обжоры и циника.

84

«Старый Кордельер» – газета, которую издавал в Париже Камилл Демулен, представитель правого крыла якобинцев (дантонистов); после казни дантонистов газета была закрыта.

85

Жокрис – литературный персонаж, тип глупца, выведенный во французских комедиях конца XVIII и начала XIX века.

86

Мирабо Оноре-Габриэль, граф (1749–1791) – знаменитый французский политический деятель и публицист, выдающийся оратор, один из вожаков «третьего сословия» в Генеральных Штатах 1789 года. Впоследствии был подкуплен королевским двором.

87

Бобеш – французский уличный актер и певец начала XIX века.

88

Фермопилы – горный проход из Фессалии в среднюю Грецию. Здесь в 480 году до нашей эры семь тысяч греков под командой царя Спарты Леонида героически оборонялись против стотысячного персидского войска.

89

Варле Жан (родился в 1764 г., год смерти неизвестен) – деятель французской революции, один из руководителей группы «бешеных», выражавшей интересы трудящейся бедноты; принимал активное участие в борьбе против жирондистов, критиковал политику якобинцев, пропагандировал эгалитарные (уравнительные) идеи.

90

Гюффруа Арман-Бенуа-Жозеф (1742–1801) – французский политический деятель и публицист, член Конвента.

91

Платон (ок. 427 – ок. 347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист, живший в Афинах в период крушения рабовладельческой демократии, автор многочисленных произведений, написанных в защиту рабовладельческого строя.

92

Епископат – организация левых якобинцев, тесно связанная с плебейскими массами Парижа; помещалась в бывшем здании парижского епископства.

93

Герцог Брауншвейгский – немецкий владетельный князь и одновременно генерал прусской армии. В 1792 году был главнокомандующим австро-прусских войск, вторгшихся во Францию с целью восстановления в ней дореволюционных порядков. В битве при Вальми (20 сентября) интервенты были разбиты и отброшены.

94

Спарта – одно из рабовладельческих государств древней Греции.

95

Жиронда – партия буржуазных республиканцев во время французской революции, выражавшая интересы крупной торгово-промышленной буржуазии; название ее объясняется тем, что наиболее видные представители этой партии были выбраны в Законодательное собрание, а затем в Конвент от департамента Жиронды. Жирондисты занимали господствующее положение в Конвенте до народного выступления 31 мая – 2 июня 1793 года, которое привело к власти якобинцев.

96

Инар Анри-Максимен (1758–1825) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; впоследствии получил от Наполеона титул барона.

97

Гоншон Антуан – французский генерал, участвовавший в борьбе против вандейских мятежников; умер в 1794 году.

98

Фурнье Клод, по прозвищу Фурнье-американец (1745–1823) – деятель французской революции, якобинец; не раз подвергался аресту и ссылке.

99

Анрио Франсуа (1761–1794) – деятель французской революции, якобинец; был начальником парижской национальной гвардии; принимал активное участие в борьбе против жирондистов. После переворота 9 термидора был казнен вместе с Робеспьером.

100

Ларейни Никола-Габриэль, де (1625–1709) – французский государственный деятель, начальник полиции при Людовике XIV, отличался большой жестокостью.

101

Шнейдер Эйлож (1756–1794) – деятель французской революции XVIII века, родом из Германии, епископ, снявший с себя сан. На посту общественного обвинителя при Революционном трибунале департамента Нижнего Рейна проявлял излишнюю жестокость, за что был смещен, арестован и казнен.

102

Данжу Жан-Пьер (1760–1832) – деятель французской революции XVIII века, член Конвента, якобинец.

103

Бернонвиль Пьер, маркиз, де (1752–1821) – французский генерал, в 1793 году был военным министром; впоследствии был сенатором и графом наполеоновской империи; после реставрации Бурбонов получил звание маршала и титул маркиза.

104

Моморо Антуан-Франсуа (1756–1794) – деятель французской революции, книготорговец и типограф, член клуба Кордельеров, примыкал к левому крылу якобинцев (эбертисты), был казнен по приговору Революционного трибунала.

105

Гусман (1752–1794) – деятель французской революции, испанец по происхождению; играл видную роль в борьбе против жирондистов; был казнен вместе с Дантоном и дантонистами.

106

Эбер Жак-Рене (1757–1794) – деятель французской революции, левый якобинец, в 1790–1794 годах издавал газету «Отец Дюшен», которая пользовалась большой популярностью среди мелких ремесленников и бедноты парижских предместий. Добивался усиления революционного террора, более решительной борьбы со спекулянтами, закрытия всех церквей. Против Эбера и его сторонников (эбертистов) выступили и робеспьеристы и дантонисты. 24 марта Эбер и некоторые другие левые якобинцы были казнены по обвинению в заговоре против якобинского революционного правительства.

107

Гора – партия монтаньяров (якобинцев) в Конвенте 1792–1795 годов; название этой партии объясняется тем, что ее члены сидели на верхних скамьях зала заседаний.

108

Дантон Жорж-Жак (1759–1794) – один из виднейших деятелей французской революции XVIII века, талантливый оратор. Сыграл выдающуюся роль в 1792 году в борьбе против нашествия австро-прусских интервентов. Был членом Конвента. Впоследствии возглавил правое крыло якобинцев, выражавших интересы «новых богачей». Был казнен по приговору Революционного трибунала.

109

Лютер Мартин (1483–1546) – немецкий богослов, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии, выразитель интересов бюргерства и либеральной части дворянства; к движению народных масс относился отрицательно.

110

Работы Паллуа (лат.)

111

Шарлотта Корде (1773–1793) – французская дворянка, связанная с жирондистами. 13 июля 1793 года из политических побуждений вероломно убила Марата. Была казнена по приговору Революционного трибунала.

112

Громогласно клянутся тенями (лат.)

113

Ромм Жильбер (1750–1795) – французский философ-просветитель; одно время жил в России в качестве воспитателя молодого графа П. А. Строганова; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; после подавления народного восстания в Париже в мае 1795 года был приговорен к смертной казни и покончил с собой ударом ножа.

114

Пюизэ Жозеф, граф, де (1784–1827) – французский офицер-монархист, один из главных руководителей вандейского мятежа, оставил мемуары.

115

Шатонеф – деятель французской революции, член Конвента.

116

Дюмурье Шарль-Франсуа (1739–1823) – французский генерал, участник Семилетней войны, в 1792 году командовал центральной армией, действовавшей против войск коалиции, и одержал ряд побед. Но в апреле 1793 года составил заговор с целью восстановления

монархии. Заговор был раскрыт, после чего Дюмурье, изменив родине, бежал в Австрию, а оттуда в Англию, где и поселился, живя на средства английского правительства.

117

Нервинд – село в Бельгии, близ которого 18 марта 1793 года французские войска под начальством Дюмурье были разбиты австрийскими войсками, которыми командовал герцог Кобургский. Это поражение имело тяжелые последствия для революционной Франции.

118

Рабо Сент-Этьен, Жан-Поль (1743–1793) – французский политический деятель, публицист, священник (протестантский пастор в Ниме), член Учредительного собрания, а затем член Конвента, жирондист; был казнен по приговору Революционного трибунала.

119

Монтескью, герцог, де (1756–1832) – французский политический деятель, конституционный монархист, был членом Учредительного собрания, затем эмигрировал; после падения наполеоновской империи в 1814 году был членом Временного правительства и содействовал реставрации Бурбонов.

120

Вюрмсер Дагоберт-Сигизмунд (1724–1797) – австрийский генерал, родом из Эльзаса, сначала служил во французской армии, потом перешел на службу Австрии. Участвовал в Семилетней войне; в 1793–1796 годах участвовал в войнах против Франции. Потерпел сокрушительное поражение в Италии в 1796 году в боях против французских войск, которыми командовал Наполеон Бонапарт.

121

Феро Жан-Бертран (1759–1795) – деятель французской революции, член Конвента, комиссар в ряде департаментов; был убит во время народного восстания в мае 1795 года.

122

Менье – французский генерал, участник войн революционной Франции против европейской коалиции, отличился при обороне Майнца в 1793 году.

123

Дарвиль – французский генерал времен революции конца XVIII века; демократы подозревали его в измене.

124

Мутон – французский генерал, участник войн конца XVIII века и начала XIX века.

125

Нейи, граф, де – французский генерал времен революции XVIII века; демократы подозревали его в измене.

126

Стенжель Анри – французский генерал, участник войн конца XVIII века, принимал участие в борьбе против вандейских мятежников, был убит в сражении при Мондови (1796) в Италии.

127

Лану Рене-Жозеф, де (1740–1793) – французский генерал. В 1793 году был казнен по приговору Революционного трибунала, по обвинению в измене (в связи с поражением, которое понесли его войска в бою с войсками коалиции).

128

Лигонье – французский генерал, участник войн конца XVIII века, был казнен по приговору Революционного трибунала, по обвинению в измене.

129

Мену Жак-Франсуа, де (1750–1810) – французский генерал и политический деятель, участник войн против Вандеи, подавил народное восстание в Париже в мае 1795 года, участвовал в египетском походе Наполеона. В период империи был французским наместником в Пьемонте, а затем в Венеции.

130

Диллон Артюр, граф (1750–1794) – французский генерал, участник войн конца XVIII века, монархист, был казнен по подозрению в измене.

131

Фридрих Второй (1740–1786) – прусский король. Вел политику так называемого «просвещенного абсолютизма»: защищая интересы помещиков-крепостников, проводил и некоторые, впрочем, весьма ограниченные, реформы, не затрагивавшие феодальных порядков. В области внешней политики проводил захватнические войны, направленные на расширение территории Пруссии за счет других немецких государств; во время Семилетней войны (1756–1763) потерпел ряд тяжелых поражений, в результате которых русские войска заняли Берлин (1760 г.).

132

Сен-Мартен Франсуа-Жером (1744–1814) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента; позже член Совета пятисот, депутат Законодательного корпуса наполеоновской империи.

133

Бриссо Жан-Пьер (1754–1793) – деятель французской революции, вождь партии жирондистов, издавал газету «Французский патриот», член Законодательного собрания. В Конвенте боролся против якобинцев, добивался роспуска Парижской Коммуны, отвергал требования масс о борьбе против спекуляции. Был казнен по приговору Революционного трибунала.

134

Дидро Дени (1713–1784) – крупнейший французский философ-материалист, писатель и теоретик искусства, просветитель, глава энциклопедистов.

135

Шазо Жан-Франсуа-Симон (1747–1818) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента.

136

Петион Жером (1756–1794) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, один из вожаков партии жирондистов; после событий 31 мая – 2 июня 1793 года был исключен из состава Конвента, бежал в провинцию и там покончил жизнь самоубийством.

137

Керсэн Арман-Гюи-Симон, граф, де (1742–1793) – французский политический деятель и морской офицер; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; арестован и казнен по обвинению в тайных связях с королевским двором.

138

Моретон-Шабрийян Жак-Анри, де (1750–1793) – французский генерал, участник войны за независимость в Северной Америке и войны революционной Франции против коалиции европейских монархов; умер на посту коменданта крепости Дуэ.

139

Дюфриш-Валазе Шарль (1751–1793) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист, был приговорен к смертной казни Революционным трибуналом, покончил жизнь самоубийством.

140

Банвиль, де – французский генерал, участник войн конца XVIII века, был казнен по обвинению в измене (1794 г.).

141

Жансоннэ Арман (1758–1793) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист, был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала.

142

Лидон Бернар-Франсуа (1752–1793) – деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был арестован и покончил жизнь самоубийством.

143

Шамбон Антуан-Бенуа – деятель французской революции, член Конвента, жирондист; после перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа; в 1793 году был убит.

144

Ролан Жак-Мари (1734–1793) – член Конвента, жирондист, один из главарей этой партии; после событий 31 мая – 2 июня 1793 года бежал из Парижа и покончил жизнь самоубийством.

145

Лендэ Жан-Батист-Робер (1749–1825) – видный деятель французской революции XVIII века, член Законодательного собрания, а потом Конвента, якобинец; был членом Комитета общественного спасения, в котором руководил продовольственным делом. За участие в заговоре Бабефа был арестован, но затем оправдан. После захвата власти Наполеоном отказался от политической деятельности; во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

146

Нарбонн (точнее Нарбонн-Лар) Луи, граф, де (1755–1813) – французский генерал и политический деятель, в начале революции был некоторое время военным министром. После свержения монархии эмигрировал в Англию. Возвратился во Францию после переворота 18 брюмера; исполнял ряд дипломатических поручений правительства Наполеона.

147

Лекуант-Пюираво Мишель-Матье (1764–1827) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был комиссаром Конвента в Вандее и в некоторых других департаментах; был членом Совета пятисот; занимал некоторые посты в период консульства и империи; после второй реставрации Бурбонов был изгнан.

148

Клермон-Тоннер Станислав, граф, де (1747–1792) – французский политический деятель, член Учредительного собрания, конституционный монархист, основатель «Клуба беспристрастных». Выступал против демократического движения и в день свержения монархии (10 августа 1792 г.) был убит.

149

Клод Фоше (1744–1793) – деятель французской революции XVIII века, демократический публицист, один из руководителей «Социального кружка»; впоследствии сблизился с жирондистами и был казнен по приговору Революционного трибунала.

150

Прюдом Луи-Мари (1752–1830) – французский журналист буржуазно-демократического направления, автор многочисленных политических памфлетов и брошюр, редактор влиятельной газеты «Парижские революции».

151

И так далее (лат.)

152

Тренк Фридрих, барон (1726–1794) – прусский офицер, перешедший затем на службу России, потом Австрии, провел десять лет в тюрьме, куда он был заточен по приказу Фридриха II; типичный авантюрист, он переезжал из одной страны в другую, предлагая свои услуги то одному, то другому правительству. В 1793 году он был арестован в Париже по подозрению в шпионаже (в пользу Пруссии) и в 1794 году казнен.

153

Шенье Андре (1762–1794) – французский поэт и публицист, был казнен по приговору Революционного трибунала за свою контрреволюционную деятельность (за прославление Шарлотты Корде, убийцы Марата, за связь с монархистами).

154

Пайан – деятель французской революции, якобинец, после крушения якобинской диктатуры был казнен.

155

Кофингаль Жан-Батист (1754–1794) – деятель французской революции, якобинец, заместитель председателя Революционного трибунала; после крушения якобинской диктатуры был казнен.

156

Кутон Жорж-Огюст (1755–1794) – деятель французской революции, член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения, якобинец; после переворота 9 термидора был казнен.

157

Барбару Шарль-Жак (1767–1794) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист; после событий 31 мая – 2 июня 1793 года бежал из Парижа в провинцию, где пытался поднять контрреволюционный мятеж.

158

31-е мая. – Имеется в виду выступление народных масс Парижа 31 мая – 2 июня 1793 года, окруживших здание Конвента и потребовавших исключения и ареста депутатов-жирондистов. Под давлением вооруженного народа Конвент принял соответствующие решения. С этого момента власть перешла в руки якобинцев.

159

Лакруа Жан-Мишель (1751–1820) – деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был арестован за протест против событий 31 мая – 2 июня 1793 года; после переворота 9 термидора был освобожден и возвращен в Конвент.

160

Мори Жан-Сифрен (1746–1817) – французский политический деятель, ярый реакционер, аббат и депутат от духовенства в Генеральных Штатах 1789 года; в 1791 году эмигрировал, в 1794 году получил от папы звание кардинала. В 1804 году примкнул к Наполеону, в 1810–1814 годах управлял парижской епархией. После реставрации Бурбонов эмигрировал.

161

Казалес Жак-Антуан-Мари, де (1758–1805) – французский политический деятель, ярый монархист, член Учредительного собрания, эмигрировал в 1791 году, служил в английском флоте; возвратившись во Францию, отошел от политической деятельности.

162

Сийес Эмманюэль-Жозеф (1748–1836) – французский политический деятель, член Учредительного собрания, играл видную роль в начале революции, как один из главных вожаков «третьего сословия». Был членом правительства Директории, способствовал перевороту 18 брюмера; во время империи стал сенатором и получил звание графа. Во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции; вернулся лишь после июльской революции 1830 года.

163

Верньо Пьер-Викторньен (1753–1793) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; был казнен по приговору Революционного трибунала.

164

Силлери Шарль-Алексис, маркиз, де (1737–1793) – французский генерал и политический деятель, был членом Учредительного собрания и членом Конвента; был арестован и казнен за связь с герцогом Орлеанским (Эгалитэ) и другими контрреволюционными заговорщиками.

165

Бюзо Франсуа-Никола-Леонор (1760–1794) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист; после перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа, поднял контрреволюционный мятеж в департаменте Эр; после подавления мятежа покончил жизнь самоубийством.

166

Саладэн Жан-Батист-Мишель (умер в 1813 г.) – деятель французской революции, адвокат и судья; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; был арестован во время якобинской диктатуры; после переворота 9 термидора был освобожден. В последующие годы примыкал к монархистам. После переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

167

Ласурс Марк-Давид (1763–1793) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; казнен по приговору Революционного трибунала.

168

Леба Филипп-Франсуа-Жозеф (1764–1794) – деятель французской революции, якобинец, член Конвента и комиссар, близким друг Сен-Жюста; был казнен после переворота 9 термидора.

169

Дамьен Робер-Франсуа (1715–1757) – покушался на короля Людовика XV, желая отомстить ему за бедственное положение народных масс. Был подвергнут жестоким пыткам и казнен.

170

Лежандр Луи (1752–1797) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец; впоследствии был одним из вожаков термидорианской контрреволюции.

171

4-е августа. – Имеется в виду ночное заседание Учредительного собрания 4 августа 1789 года, на котором было принято решение о ликвидации феодальных повинностей; решение это

было принято с целью остановить дальнейшее развитие крестьянских восстаний; на деле отменены были тогда только личные повинности крестьян, а так называемые реальные повинности, наиболее тяжелые, подлежали выкупу (на крайне невыгодных для крестьян условиях). Полностью и притом безвозмездно феодальные повинности были отменены лишь якобинским Конвентом (по закону 17 июля 1793 г.).

172

Гара Доминик-Жозеф (1749–1833) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, был министром иностранных дел, а затем министром внутренних дел; во время якобинской диктатуры был дважды арестован. Был сенатором и графом наполеоновской империи; после реставрации Бурбонов отошел от политической деятельности.

173

Сентябрьские события. – Имеется в виду казнь нескольких тысяч заключенных в тюрьмах контрреволюционеров (преимущественно дворян и священников), совершенная в начале сентября 1792 года народными массами, которыми руководили левые якобинцы. Казнь эта была совершена с целью расстроить заговор контрреволюционеров, рассчитывавших на помощь австро-прусских войск, которые приближались в то время к Парижу.

174

21-е января. – Имеется в виду день 21 января 1793 года, когда по приговору Конвента был казнен свергнутый и уличенный в измене король Людовик XVI.

175

Монморен Арман-Марк, граф, де (1746–1792) – французский политический деятель, был министром иностранных дел в 1789–1791 годах, ярый враг революции; в 1792 году был арестован и казнен.

176

6-е октября. – Имеется в виду народное выступление 6 октября 1789 года, вылившееся в поход на Версаль, расстроившее планы контрреволюции и заставившее королевский двор перебраться в Париж.

177

20-е июня. – Имеется в виду демонстрация 20 июня 1792 года в Париже, организованная жирондистами с целью предотвратить революционное восстание и свержение монархии. Демонстрация эта лишь ненадолго отсрочила падение монархии, которое произошло в результате восстания 10 августа 1792 года.

178

Клотц Анахарсис (1755–1794) – деятель французской революции, философ и публицист, выходец из Германии; был членом Конвента, примыкал к левому крылу якобинцев; выдвигал авантюристский план продолжения войны до полной победы республиканских принципов во всей Европе. Был предан суду Революционного трибунала по подозрению в связях с агентами иностранных держав и казнен.

179

Бабеф Гракх (1760–1797) – видный деятель французской революции, организатор и теоретик «Заговора равных», ставившего своей целью свержение реакционного правительства Директории и создание революционного правительства, которое должно было осуществить переход к новому общественному строю – коммунизму. Коммунизм Бабефа и его сторонников (бабувистов) был утопическим: Бабеф не понимал ведущей роли рабочего класса в социальной революции и уделял главное внимание аграрному вопросу. Заговор не получил поддержки широких масс, и Бабеф был казнен.

180

Дону Пьер-Клод-Франсуа (1761–1840) – деятель французской революции, член Конвента; был арестован за протест против исключения жирондистов; после переворота 9 термидора был освобожден и возвращен в Конвент. В период Директории был депутатом; во время консульства и империи стоял в стороне от политической жизни; во время Реставрации и Июльской монархии был членом палаты депутатов, в которой примыкал к умеренным либералам.

181

Лендэ Робер-Тома (1743–1823) – деятель французской революции, священник, а позже епископ, член Учредительного собрания и член Конвента, якобинец. Позже был членом Совета старейшин; впоследствии отошел от политической деятельности.

182

Масье Жан-Батист (1743–1818) – деятель французской революции, епископ, был членом Учредительного собрания и членом Конвента, сложил с себя духовный сан; был комиссаром Конвента в ряде департаментов.

183

Вожуа – деятель французской революции, выходец из духовенства (старший викарий парижского архиепископа); был членом революционного комитета, руководившего восстанием 10 августа 1792 года.

184

Шабо Франсуа (1756–1794) – деятель французской революции, бывший монах, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, был казнен по обвинению в финансовых спекуляциях.

185

Жерль (иначе Дом Жерль) Кристоф-Антуан (1740–1805) – французский политический деятель, монах; был депутатом Генеральных Штатов; впоследствии возглавлял одну религиозную секту.

186

«Зал для игры в мяч» – в здании манежа в Версале. Здесь 17 июня 1789 года депутаты Генеральных Штатов, принадлежавшие к третьему сословию, провозгласили себя Национальным собранием и постановили не расходиться до тех пор, пока не выработают конституции.

187

Одран Ив-Мари (1741–1800) – деятель французской революции, аббат, был членом Законодательного собрания и членом Конвента; убит бандой роялистов.

188

189

Грегуар Анри (1750–1831) – французский политический деятель, священник, а позже епископ. В Конвенте одним из первых внес предложение о провозглашении Республики, был членом Совета пятисот, затем членом Законодательного корпуса и сенатором наполеоновской империи. Во время Реставрации был членом палаты депутатов и примыкал к умеренному крылу либеральной оппозиции.

190

Колло д'Эрбуа Жан-Мари (1749–1796) – деятель французской революции, актер и драматург, член Конвента, якобинец, был комиссаром в ряде департаментов. Содействовал перевороту 9 термидора, но во время термидорианской реакции был арестован и сослан; умер в ссылке.

191

Дюссо Жан-Жозеф (1769–1824) – французский публицист и историк либерально-буржуазного направления.

192

Гесс Карл – немецкий князь (из рода герцогов Гессенских); одно время поселился в Париже и разыгрывал из себя якобинца.

193

Монто Луи-Мари-Бон, маркиз, де (1754–1824) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец; во время термидорианской реакции был подвергнут преследованиям; после реставрации Бурбонов был изгнан из Франции, но позже амнистирован.

194

Вилат Иоахим (1768–1795) – деятель французской революции, якобинец, член Революционного трибунала; после контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.

195

Антоннель Пьер-Антуан, маркиз (1747–1817) – французский политический деятель, буржуазно-демократический публицист и экономист; был членом Законодательного собрания и Революционного трибунала; участвовал в заговоре Бабефа, был судим, но оправдан.

196

Борепэр – французский генерал, участник войн между Францией и европейской коалицией, застрелившийся при сдаче крепости Верден прусским войскам в 1792 году.

197

Кондорсе Марк-Жан-Антуан-Никола, маркиз, де (1743–1794) – деятель французской революции, видный ученый (математик), философ-просветитель и публицист, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; был арестован и покончил жизнь самоубийством.

198

Гракхи Тиберий (163–132 гг. до н. э.) и Гай (153–121 гг. до н. э.) – политические деятели древнего Рима, пытались провести аграрную реформу, имевшую целью наделение мелких крестьян государственной землей. Законопроект, составленный в этом духе Тиберием Гракхом, встретил ожесточенное сопротивление со стороны аристократической партии; группа сенаторов убила Тиберия. Его младший брат Гай Гракх провел некоторые демократические реформы в интересах городских и сельских плебеев. Во время восстания он был убит. При всей ограниченности братьев Гракхов их проекты и реформы имели прогрессивное значение.

199

Лешель – французский генерал, участвовал в войне против вандейских мятежников, одержал ряд побед над ними, позже был взят в плен вандейцами и умер в тюрьме.

200

Нужен Лешель (лестница), чтобы прыгнуть на Шаретта (повозка). Игра слов, основанная на созвучии фамилии Лешель со словом «лестница» и фамилии Шаретт со словом «повозка» – имеется в виду «повозка палача»

201

Филиппо Пьер-Никола (1756–1794) – деятель французской революции, был членом Конвента и его комиссаром в ряде департаментов; был казнен вместе о Дантоном и некоторыми другими дантонистами.

202

Алькье Шарль-Жан-Мари (1752–1826) – деятель французской революции, был членом Учредительного собрания и членом Конвента; в период Директории был членом Совета старейшин; позже занимал дипломатические посты в различных странах.

203

Симонна Эврар – молодая парижская работница, подруга Марата, деятельно помогавшая ему в издании и распространении его газеты «Друг народа». В период бонапартистского режима подвергалась полицейским преследованиям (одно время была арестована).

204

21-е сентября. – Имеется в виду 21 сентября 1792 года – день провозглашения Республики Национальным Конвентом.

205

Знак Зодиака (лат.)

206

Совет старейшин – верхняя палата Законодательного корпуса во Франции в период Директории (1795–1799); название объясняется тем, что членом Совета старейшин мог быть только человек, достигший 40 лет. Нижняя палата называлась Советом пятисот (он насчитывал 500 членов).

207

18-е брюмера. – Имеется в виду государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), положивший конец правительству Директории и приведший к установлению режима военно-буржуазной диктатуры Наполеона. Переворот был организован крупной буржуазией, стремившейся к установлению твердой власти, и совершен войсками, участвовавшими в захватнических походах в Египет и в Италию.

208

Персье – французский архитектор конца XVIII века.

209

Гаран-Кулон Жан-Филипп (1748–1816) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, позже был членом Совета пятисот, получил от Наполеона звание сенатора и титул графа.

210

Лепеллетье де Сен-Фаржо Луи-Мишель (1760–1793) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, якобинец; был убит 20 января 1793 года роялистом Пари за то, что голосовал за казнь Людовика XVI.

211

«Декларация прав человека» – один из важнейших документов французской революции – была принята Учредительным собранием 27 августа 1789 года. Декларация провозглашала, что каждый человек имеет право на свободу, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Буржуазно-демократические принципы Декларации были нарушены Учредительным собранием, которое выработало в 1791 году конституцию, лишавшую широкие слои населения избирательных прав.

212

Ликторский пучок – эмблема ликторов, служителей высших должностных лиц в древнем Риме; ликторы несли перед ними пучки прутьев и топор.

213

Ликург – легендарный царь и законодатель, которому древние писатели приписывают реформы, определившие общественно-политический строй Спарты.

214

Солон (ок. 638 – ок. 558 гг. до н. э.) – древнегреческий политический деятель, реформатор. В 595 году до нашей эры провел важные реформы, видоизменившие общественно-политический строй Афин (уничтожение долговых обязательств, кодификация гражданского права, разделение граждан на четыре класса и т. д.). Реформы Солона были направлены против засилья древних аристократических родов.

215

Вадье Марк-Гильом-Алексис (1736–1828) – деятель французской революции, был членом Законодательного собрания, членом Конвента и Комитета общественной безопасности; принял участие в перевороте 9 термидора; после второй реставрации Бурбонов был изгнан из Франции и умер за границей (в Бельгии).

216

Каррье Жан-Батист (1756–1794) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов; за излишнюю жестокость, проявленную им в расправе с контрреволюционными элементами, он был отозван якобинским правительством; впоследствии был комиссаром Конвента в Бресте, принимал участие в борьбе против вандейцев, после переворота 9 термидора был арестован, но затем освобожден.

217

Леньело Жозеф-Франсуа (1752–1829) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, был комиссаром в Бресте, принимал участие в борьбе против вандейцев; после переворота 9 термидора был арестован, но затем освобожден.

218

Кервелеган Огюстен-Бернар-Франсуа (1748–1825) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист, был арестован 2 июня 1793 года, но бежал в Бретань; после переворота 9 термидора был возвращен в Конвент, участвовал в подавлении народного восстания в Париже в мае 1795 года; позже был членом Совета старейшин, а затем членом Законодательного корпуса наполеоновской империи.

219

Гюадэ Маргерит-Эли (1755–1794) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; 2 июня 1793 года бежал из Парижа, был арестован и казнен.

220

Салль Жан-Батист (1759–1794) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист; 2 июня 1793 года бежал из Парижа в Бретань, а затем в Бордо; был арестован и казнен.

221

Лоз-Дюперре – деятель французской революции, член Конвента, жирондист.

222

Кинет Никола-Мари (1762–1821) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был близок к якобинцам, исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов; был арестован и провел несколько лет в тюрьме в Австрии; позже был членом Совета пятисот, министром внутренних дел; получил звание барона наполеоновской империи; был членом Временного правительства 1815 года; позже был изгнан из Франции (за то, что в 1793 году голосовал за казнь Людовика XVI), эмигрировал в США; умер в Бельгии.

223

Камюс Арман-Гастон (1740–1804) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, был арестован изменником-генералом Дюмурье,

выдан австрийским властям и заключен в тюрьму; позже был членом Совета пятисот, отказался присягнуть наполеоновскому режиму.

224

Парис Франсуа, де (1690–1727) – французский церковный деятель, известный своей благотворительностью; ему приписывались всевозможные чудеса.

225

Демулен Камилл (1760–1794) – деятель французской революции, активный участник штурма Бастилии, член Конвента, дантонист, требовал ослабления революционного террора, был казнен вместе с Дантоном.

226

Дюпон Жак-Луи, по прозвищу Жакоб (1755–1823) – деятель французской революции, священник и преподаватель; был членом Законодательного собрания и членом Конвента, вышел в отставку в 1794 году по болезни.

227

Ланжюинэ Жан-Дени (1755–1827) – французский политический деятель, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист, в период якобинской диктатуры скрывался, впоследствии был возвращен в Конвент; был членом Совета старейшин, затем сенатором и графом наполеоновской империи; в период Реставрации был членом палаты пэров, в которой примыкал к умеренно-либеральной оппозиции.

228

Дюкос Жан-Франсуа (1765–1793) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; был казнен за то, что протестовал против исключения жирондистов.

229

Буайе-Фонфред Жан-Батист (1766–1793) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист, был казнен по приговору Революционного трибунала.

230

Ребекки Франсуа-Трофим (1744–1794) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист; после перехода власти в руки якобинцев бежал в Марсель и там покончил жизнь самоубийством.

231

Ришо Гиацинт (1757–1822) – деятель французской революции, член Конвента, был комиссаром в ряде департаментов; позже был членом Совета пятисот; в дальнейшем большой политической роли не играл.

232

Бирото Жан-Бонавантюр-Блэз-Иларион (1758–1793) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист; был арестован 2 июня 1793 года, но бежал в Лион, а затем в Бордо, где присоединился к контрреволюционному мятежу; был арестован и казнен.

233

Луве де Кувре, Жан-Батист (1760–1797) – французский писатель, автор знаменитого в свое время романа «Похождения кавалера Фоблаза». Во время революции был членом Законодательного собрания, а затем Конвента, примыкал к жирондистам. После перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа; вернулся в Конвент после крушения якобинской диктатуры.

234

Карра Жан-Луи (1743–1793) – деятель французской революции, член Конвента, примыкал к жирондистам, был казнен по приговору Революционного трибунала.

235

Виже Луи-Жан-Батист-Этьенн (1768–1820) – французский поэт и драматург, автор ряда бытовых комедий.

236

Гораций (65-8 гг. до н. э.) – знаменитый древнеримский поэт, автор многочисленных од и сатир.

237

Понтекулан Луи-Гюстав, граф, де (1764–1853) – французский политический деятель, член Конвента, в котором примыкал к жирондистам, затем член Совета пятисот, префект и сенатор наполеоновской империи, член палаты пэров в период Реставрации; после революции 1848 года отошел от политической деятельности.

238

Марбоз Франсуа (1739–1825) – деятель французской революции, епископ, был членом Конвента, из которого был исключен за то, что подписал протест против осуждения жирондистов, после переворота 9 термидора был возвращен в Конвент; позже был членом Совета пятисот.

239

Буало Жак (1751–1793) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист; был казнен по приговору Революционного трибунала.

240

Бертран Антуан (1749–1816) – деятель французской революции, член Конвента, член Совета старейшин, а затем Совета пятисот.

241

Лестер-Бове Бенуа (1750–1793) – деятель французской революции, член Конвента; подписал протест против исключения жирондистов; принял участие в контрреволюционном мятеже на юге Франции; был казнен по приговору Революционного трибунала.

242

Лесаж Дени-Туссен (1758–1796) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист, в период якобинской диктатуры скрывался; после переворота 9 термидора был возвращен в Конвент.

243

Гомэр Жан-Эмэ (1745–1805) – деятель французской революции, священник; был членом Конвента; был арестован вместе с жирондистами, но затем освобожден; позже был членом Совета пятисот.

244

Гардьен Жан-Франсуа-Мартен (1755–1793) – деятель французской революции, член Конвента, примыкал к фракции Равнины; был казнен по приговору Революционного трибунала.

245

Мэнвьель Пьер (1764–1793) – деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был казнен по приговору Революционного трибунала.

246

Дюплантье Жак-Поль (1764–1814) – деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; после их исключения из Конвента вышел в отставку; позже был членом Совета пятисот; после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

247

Лаказ Жак (1752–1793) – деятель французской революции, член Конвента, подписал протест против исключения жирондистов и был казнен по приговору Революционного трибунала.

248

Антибуль Шарль-Луи (1752–1793) – деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был казнен вместе с ними.

249

Мерлен (из г. Тионвиля) Антуан Кристоф (1762–1833) – деятель французской революции, был членом Законодательного собрания и членом Конвента, якобинец; исполнял обязанности комиссара в борьбе с войсками коалиции и с вандейскими мятежниками. Впоследствии примкнул к заговору против якобинской диктатуры. В период термидорианской реакции был членом Совета пятисот, но вскоре отошел от политической деятельности.

250

Субрани Пьер-Амабль, де (1752–1795) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, левый якобинец, после подавления народного восстания в Париже в мае 1795 года был приговорен к смертной казни и покончил жизнь самоубийством.

251

Лебон Гюисман-Франсуа-Жозеф (1765–1795) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, после крушения якобинской диктатуры был казнен.

252

Билло-Варенн Жак-Никола (1756–1819) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец; после контрреволюционного переворота 9 термидора был сослан в Кайенну; умер в изгнании.

253

Фабр д'Эглантин Филипп-Франсуа-Назар (1750–1794) – французский поэт, драматург, политический деятель, член Конвента, якобинец; автор нового, республиканского календаря, введенного в октябре 1793 года; примыкал к группе дантонистов; был казнен вместе с Дантоном.

254

Руже де Лилль Клод-Жозеф (1760–1836) – французский офицер и поэт, создатель патриотического гимна Марсельеза (1792) и множества революционных и военных песен.

255

Манюэль Луи-Пьер (1751–1793) – деятель французской революции, был прокурором Парижской Коммуны, а затем членом Конвента, из которого вышел в знак протеста против казни бывшего короля. Был казнен по приговору Революционного трибунала.

256

Гужон Жак-Мари-Клод-Александр (1766–1795) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец. После подавления народного восстания в Париже в мае 1795 года был (вместе с другими «последними якобинцами») арестован и приговорен к смертной казни; покончил жизнь самоубийством.

257

Рюль Филипп-Жак (1737–1795) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец; во время термидорианской реакции был арестован и покончил жизнь самоубийством.

258

Фуше Жозеф (1759–1820) – французский политический деятель, беспринципный и аморальный карьерист. Был членом Конвента и его комиссаром в ряде департаментов, где проявил крайнюю жестокость, за что был отозван и исключен из Якобинского клуба. Принял участие в подготовке переворота 9 термидора. Будучи министром полиции при Директории, предал это правительство и содействовал установлению бонапартистской диктатуры. Получил от Наполеона звание сенатора, титул герцога Отрантского и пост министра полиции. Изменил Наполеону и способствовал реставрации Бурбонов. Умер в изгнании.

259

Камбулас – деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец.

260

Гильотен Жозеф-Иньяс (1738–1814) – французский политический деятель и врач, член Учредительного собрания, якобинец, изобрел гильотину.

261

Клуб фельянов – один из политических клубов времен французской революции, заседал в здании бывшего монастыря ордена фельянов, или фельянтинцев (отсюда его название). Клуб этот был организацией умеренной либеральной буржуазии.

262

Жаго Грегуар-Мари (1750–1838) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, во время Директории был арестован, но затем освобожден; после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

263

Жавог Клод (1759–1796) – деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец, был комиссаром в ряде департаментов; после раскрытия заговора Бабефа был арестован и казнен.

264

Осселэн Шарль-Никола (1754–1794) – деятель французской революции, член Конвента, примыкал к якобинцам. В 1794 году был арестован и казнен по обвинению в укрывательстве контрреволюционеров.

265

Бантаболь Пьер-Луи (1756–1798) – деятель французской революции, член Конвента, а затем член Совета пятисот; сначала примыкал к якобинцам, но впоследствии отошел от них.

266

Робер Пьер-Франсуа-Жозеф (1762–1826) – деятель французской революции, демократический публицист, член клуба кордельеров. Был членом Конвента; умер в изгнании.

267

Кералио Луиза-Фелисите (1758–1821) – французская писательница либерального направления, жена Робера.

268

Амар Жан-Пьер-Андре (1755–1816) – деятель французской революции, якобинец, член Конвента, комиссар Конвента в ряде департаментов, член Комитета общественной безопасности; во время термидорианской реакции был арестован, но затем освобожден; арестованный позже по делу Бабефа, был освобожден. В дальнейшем отошел от политической деятельности.

269

Руйе Жан-Паскаль (1761–1819) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был комиссаром в ряде департаментов, был

одним из вожаков термидорианской реакции, позже членом Совета пятисот. Во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

270

Шенье Мари-Жозеф (1764–1811) – автор ряда революционных песен, деятель французской революции, поэт и драматург, член Конвента, якобинец; после переворота 9 термидора превратился в реакционера; был членом Совета пятисот. Сначала одобрил переворот 18 брюмера, но вскоре перешел в оппозицию к бонапартистскому режиму.

271

Танис – деятель французской революции, член Конвента.

272

Шарантон – больница для умалишенных близ Парижа.

273

Прайд – деятель английской революции XVII века, полковник английской армии, руководил по приказу Кромвеля чисткой Долгого парламента (6 декабря 1648 г.) от реакционно-монархических элементов. За этим последовали казнь Карла I и провозглашение Республики.

274

Шалье Мари-Жозеф (1747–1793) – деятель французской революции, левый якобинец, вождь рабочих и бедноты Лиона, был казнен во время контрреволюционного переворота в Лионе.

275

Женисье – деятель французской революции, член Конвента.

276

Бурдон Леонар (1754–1807) – деятель французской революции, играл видную роль в восстании 10 августа 1792 года, член Конвента, якобинец, был комиссаром Конвента в Орлеане; участвовал в перевороте 9 термидора; однако после переворота был арестован, но затем освобожден. При Директории занимал некоторые второстепенные посты; в период империи был начальником военных госпиталей.

277

Топсан – деятель французской революции, член Конвента, морской офицер.

278

Гупильо де Фонтенэ Жан-Франсуа (1755–1823) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был комиссаром Конвента в Вандее; в 1816 году был изгнан из Франции реакционным правительством Бурбонов; умер в изгнании.

279

Лоран Лекуантр (1742–1805) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был одним из организаторов переворота 9 термидора, позже был арестован, затем освобожден; был членом Совета пятисот, после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

280

Дюгем Пьер-Жозеф (1758–1807) – деятель французской революции, врач, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, был комиссаром Конвента в ряде департаментов и членом Комитета общественной безопасности; содействовал перевороту 9 термидора, но затем подвергся преследованиям. Позже занимал медицинские посты в армии.

281

Сержан Антуан-Франсуа (1751–1847) – деятель французской революции, скульптор; был членом Конвента и членом его Комитета народного просвещения; после переворота 18 брюмера был арестован; впоследствии отошел от политической деятельности.

282

Лендэ Жан-Батист-Робер (1746–1825) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, член Комитета общественного спасения, был комиссаром Конвента в ряде департаментов, где проявил большую энергию; во время термидорианской реакции был арестован; был членом Совета пятисот; после переворота 9 термидора отошел от политической деятельности.

283

Лебеф – деятель французской революции, член Конвента.

284

«Лебеф» созвучно с франц. «le boeuf» – бык.

285

Пэйн Томас (1737–1809) – английский публицист и политический деятель буржуазно-радикального направления. В 1776 году опубликовал брошюру «Здравый смысл», которая сыграла большую роль в войне за независимость США. В 1791–1792 годах издал книгу «Права человека», в которой восхвалял идеи французской революции. Переехал во Францию, где был избран членом Конвента.

286

Ровер Жозеф (1748–1798) – деятель французской революции, выходец из дворянской аристократии, человек беспринципный и неустойчивый; член Законодательного собрания, затем член Конвента и Комитета общественной безопасности. Будучи комиссаром Конвента в провинции, преследовал демократов и занимался хищениями; участвовал в подготовке переворота 9 термидора; был арестован за связь с роялистами; позднее был членом Совета пятисот.

287

Шарлье Луи-Жозеф (1754–1797) – деятель французской революции, член Конвента.

288

Тальен Жак-Ламбер (1767–1820) – деятель французской революции, член Конвента; будучи комиссаром Конвента в Бордо, использовал служебное положение для личного обогащения, за что был исключен из Якобинского клуба. Принимал активное участие в перевороте 9 термидора; был одним из вожаков термидорианской реакции. В последние годы жизни отошел от политической деятельности.

289

Термидорианец – участник переворота 9 термидора; 9 термидора (27 июля 1794 г.) – день контрреволюционного переворота, который положил конец существованию якобинской диктатуры и привел к казни вождей якобинцев. Буржуазная контрреволюция, которая началась в этот день, известна в истории под названием термидорианской (июль 1794 г. – октябрь 1795 г.). После роспуска термидорианского Конвента власть перешла к правительству Директории.

290

Камбасерес Жан-Жак-Режи (1753–1824) – французский политический деятель, член Конвента, впоследствии был вторым консулом, а затем архиканцлером и князем наполеоновской империи.

291

Лапланш – деятель французской революции конца XVIII века, член Конвента.

292

Тюрьо – деятель французской революции, член Конвента, якобинец.

293

Бурдон из Уазы Франсуа-Луи (умер в 1797 г.) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, позже примкнул к противникам якобинской диктатуры и был одним из вожаков переворота 9 термидора (современники обвиняли его в том, что он нажил большое состояние на спекуляциях). В 1797 году был арестован за контрреволюционную деятельность и сослан; умер в ссылке.

294

Фэйо – деятель французской революции, член Конвента, якобинец.

295

Таво Луи-Жозеф (1767–1830) – деятель французской революции, был членом Конвента, а позже членом Трибунала и Законодательного корпуса. После реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

296

Вернье – деятель французской революции конца XVIII века, член Конвента.

297

Ревбель Жан-Франсуа (1747–1807) – деятель французской революции, был членом Учредительного собрания, членом Конвента, членом Директории и членом Совета пятисот. В период наполеоновского господства подвергался преследованиям за свои республиканские убеждения.

298

Бурбот Пьер (1763–1795) – деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец, исполнял обязанности комиссара в Вандее. После подавления прериальского восстания (май 1795 г.) был приговорен к смертной казни и пытался покончить жизнь самоубийством.

299

Гимберто – деятель французской революции, член Конвента.

300

Жард-Панвилье – деятель французской революции, член Конвента.

301

Лекарпантье Жан-Батист (1760–1828) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, принимал активное участие в качестве комиссара Конвента в борьбе против вандейского мятежа. После крушения якобинской диктатуры был арестован, позже освобожден. В 1819 году был заключен в тюрьму, где и умер.

302

Робержо Клод (1753–1799) – французский политический деятель, был членом Конвента, затем членом Совета пятисот и послом Французской республики в Гамбурге. Во время конгресса в Раштадте, созванного для переговоров о мире между Францией и Австрией, был вероломно убит (вместе с другим французским делегатом – Бонье) австрийскими солдатами.

303

Левассер (из департамента Сарты) Рене (1747–1834) – деятель французской революции конца XVIII века, член Конвента, якобинец. Оставил исторические мемуары, которые были изданы в эмиграции (в Бельгии). Эти мемуары использовал К. Маркс в статье «Борьба якобинцев с жирондистами» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 599–611). После июльской революции 1830 года Левассер возвратился во Францию.

304

Ревершон Жак (1746–1828) – деятель французской революции, был членом Законодательного собрания, членом Конвента, членом Совета пятисот и членом Совета старейшин. Был одно время председателем Клуба якобинцев и секретарем Комитета общественной безопасности. После крушения якобинской диктатуры примкнул к термидорианцам. В период наполеоновского господства отошел от политической деятельности. После реставрации Бурбонов был изгнан из Франции; умер в Швейцарии.

305

Мор (1761–1795) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, исполнял обязанности комиссара в Шампани; после подавления прериальского восстания покончил с собой, чтобы избежать суда.

306

Бернар де Сент Адриан-Антуан (1750–1819) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов; в 1795 году был арестован; в 1816 году изгнан из Франции.

307

Шарль Ришар – деятель французской революции, был членом Конвента, в котором примыкал к правому крылу якобинцев (дантонистам).

308

Лекинио Жозеф-Мари (1740–1813) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, проявил большую энергию на посту комиссара в Вандее; после контрреволюционного переворота 9 термидора был арестован, но затем освобожден.

309

Болото – так именовали современники ту фракцию Конвента, которая составляла его большинство и поддерживала сначала жирондистов, потом якобинцев; фракция эта выражала интересы средних слоев буржуазии и зажиточного крестьянства; название «болото» укрепилось за этой фракцией оттого, что члены ее сидели на нижних скамьях зала заседаний.

310

Дебри Жан-Антуан-Жозеф (1760–1834) – деятель французской революции, член Законодательного собрания, а затем член Конвента, якобинец; впоследствии примкнул к лагерю реакции, был префектом первой империи; в 1816 году был изгнан из Франции правительством Реставрации; после июльской революции 1830 года возвратился на родину.

311

Лаканаль Жозеф (1762–1845) – деятель французской революции, член Конвента и председатель его «комитета просвещения»; проявил большую энергию в реорганизации дела народного образования. После второй реставрации был изгнан из Франции; вернулся на родину в 1832 году.

312

Лантенас – деятель французской революции, член Конвента, занимавшийся вопросами начального обучения в школах.

313

Ревельер-Лепо Луи-Мари (1753–1824) – французский политический деятель и ученый (ботаник). Был членом Учредительного собрания и членом Конвента, примыкал к жирондистам; позже был членом правительства Директории.

314

Гюитон-Морво Луи-Бернар (1737–1816) – видный французский ученый (химик) и политический деятель; был членом Законодательного собрания, а затем членом Конвента и

Комитета общественного спасения; содействовал своими научными знаниями укреплению обороноспособности революционной Франции в ее борьбе против европейской коалиции.

315

Жан-Бон-Сент-Андре (1749–1813) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, руководил в Комитете общественного спасения реорганизацией флота. В период Директории выполнял разные дипломатические поручения; был префектом ряда департаментов в период консульства и империи.

316

Шапп – французский инженер, разработавший проект использования привязных аэростатов для целей военной разведки.

317

Дюбоэ – деятель французской революции, член Конвента, занимавшийся приведением в порядок архивов.

318

Коран-Фюстье – деятель французской революции, член Конвента, разрабатывавший проекты создания анатомического кабинета и музея естествознания.

319

Гюйомар – деятель французской революции, член Конвента, занимавшийся разработкой плана речного судоходства и постройки плотин на реке Шельде.

320

Безар – деятель французской революции, член Конвента.

321

Рубенс Петер-Пауль (1577–1640) – знаменитый фламандский художник.

322

Майль, Дельмас, Прожан, Калес, Эйраль, Жюльен, Дезаси – деятели французской революции, члены Конвента от департамента Верхней Гаронны, которые первыми произнесли приговор Людовику XVI; все они высказались за казнь свергнутого короля.

323

Паганель Пьер (1745–1826) – деятель французской революции, член Конвента.

324

Мийо – деятель французской революции, член Конвента.

325

Рафрон дю Труйе Никола (1723–1801) – французский политический деятель, член Конвента, якобинец, после переворота 9 термидора примкнул к термидорианцам.

326

Огюстен-Бон Робеспьер (1763–1794) – младший брат знаменитого вождя якобинцев, член Конвента; после переворота 9 термидора был казнен.

327

Фусседуар – деятель французской революции, член Конвента.

328

Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737–1814) – французский писатель, естествоиспытатель и политический деятель. В литературе принадлежал к школе так называемого сентиментализма. Большой популярностью в буржуазно-демократических кругах пользовался его роман «Павел и Виргиния», написанный под влиянием идей Руссо.

329

Лавиконтри Луи-Тома (1746–1809) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, одно время был членом Комитета общественной безопасности; после переворота 9 термидора отошел от политической деятельности.

330

Шатонеф-Рандон – деятель французской революции, член Конвента.

331

Гийярден Луи (1758–1816) – деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента; был комиссаром Конвента при Мозельской и Рейнской армиях, а затем в западных областях Франции. В период Директории, консульства и империи не играл большой политической роли. В 1816 году был изгнан из Франции, умер в изгнании.

332

Жантиль – деятель французской революции, член Конвента.

333

Карл I – английский король из династии Стюартов; во время буржуазной революции XVII века был свергнут и казнен (30 января 1649 г.).

334

Кромвель Оливер (1599–1658) – вождь английской буржуазной революции XVII века, выдвинулся как генерал во время гражданской войны; в декабре 1653 года был провозглашен лордом-протектором Англии и с этого времени правил фактически как диктатор; выражал интересы крупной буржуазии и нового дворянства; сурово подавлял революционные выступления народных масс.

335

Банкаль (дез Иссар) Жак-Анри (1750–1826) – деятель французской революции, член Конвента, примыкал к фракции Болота; два года провел в плену в Австрии; позже был членом Совета пятисот.

336

Альбуис – деятель французской революции, член Конвента.

337

Занджиакоми – деятель французской революции, член Конвента.

338

Шайон – деятель французской революции, член Конвента.

339

Дюшатель – деятель французской революции, член Конвента, жирондист.

340

Шенар, Нарбонн, Вальер – французские артисты (певцы) времен французской революции.

341

Базир Клод (1764–1794) – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, примыкал к правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном, и был казнен вместе с ним (по обвинению в связях с крупными спекулянтами).

342

Армонвиль Жан-Батист (1756–1808) – деятель французской революции, член Конвента (единственный рабочий среди его членов), якобинец. После свержения якобинской диктатуры вернулся к своей профессии ткача.

343

Ламуретт – деятель французской революции, конституционный монархист, епископ, добивавшийся примирения враждующих партий на основе взаимного всепрощения и братания («Ламуреттов поцелуй»).

344

Легарди (из департамента Морбигана) – деятель французской революции, член Конвента.

345

Барер Бертран (1755–1841) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, после переворота 9 термидора был осужден на изгнание, но затем помилован. Во время реставрации Бурбонов снова был изгнан из Франции. Революция 1830 года дала ему возможность вернуться во Францию.

346

Оратория – один из политических клубов времен французской революции, объединявший умеренных либералов.

347

Лакло – Имеется в виду французский писатель, публицист и политический деятель времен французской революции Шодерло де Лакло, автор нашумевшего в свое время романа «Опасные связи».

348

Эро де Сешель Мари Жан (1760–1794) – деятель французской революции, член Законодательного собрания, член Конвента, член Комитета общественного спасения, автор конституции 1793 года. Примыкал к правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном, и был казнен вместе с ним.

349

Гамон Франсуа-Жозеф – деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, близкий к жирондистам; уехал в Швейцарию, чтобы избежать преследований со стороны якобинских властей; в период термидорианской реакции возвратился во Францию и снова занял свое место в Конвенте. В последующие годы большой политической роли не играл.

350

Лалуа – деятель французской революции, член Конвента.

351

Леконт Пьер (1745–1831) – французский политический деятель, член Конвента, после переворота 9 термидора превратился в ярого реакционера, впоследствии отошел от политической деятельности.

352

Буасси д'Англа Франсуа-Антуан (1756–1826) – французский политический деятель, адвокат и литератор, член Учредительного собрания и член Конвента, в котором примыкал к Болоту. Был одним из вожаков термидорианской контрреволюции. Впоследствии был сенатором наполеоновской империи и получил титул графа. После реставрации Бурбонов стал членом палаты пэров.

353

Дюпра Жан (1760–1793) – деятель французской революции, член Конвента, жирондист, был арестован и казнен. Его брат, Луи Дюпра, поссорился с ним и обвинил его в покушении на его жизнь.

354

Одуэн Жан-Пьер (1764–1808) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, член Совета пятисот, позже занимал различные административные и дипломатические посты.

355

Панис Этьен-Жан (1757–1832) – деятель французской революции, якобинец, член Конвента, примыкал к дантонистам; после переворота 9 термидора был арестован, но затем освобожден, после чего отошел от политической деятельности.

356

Рюан Пьер-Шарль (1750–1808) – деятель французской революции, член Конвента, якобинец, был комиссаром в ряде департаментов; после подавления народного восстания в Париже в апреле 1795 года был арестован, но затем освобожден. После этого он отошел от политической деятельности.

357

Буонаротти Филипп (1761–1837) – итальянский и французский революционер, уроженец Корсики, в 1792 году переселился во Францию; якобинец, активный участник заговора Бабефа и его историк (в 1828 г. он опубликовал книгу «История заговора равных»).

358

Фельяны (иначе: фельянтинцы) – политическая партия во время французской революции, выражавшая интересы умеренно-либеральной верхушки буржуазии; название этой партии объясняется тем, что ее главной опорой являлся клуб, заседавший в бывшем монастыре ордена фельянов (или фельянтинцев).

359

Модерантисты (умеренные) – так называли во время французской революции жирондистов и других представителей правых партий.

360

Террористы – так контрреволюционеры называли якобинцев.

361

Прюнель (Прюнель-Льер) Лемар-Жозеф (1748–1828) – деятель французской революции, член Конвента.

362

Виллар Ноэль-Габриэль-Люк (1748–1826) – деятель французской революции, член Конвента, епископ, сложивший свой сан в 1793 году; позже был сенатором наполеоновской империи.

363

Бутру Лоран (1757–1816) – деятель французской революции, член Конвента, позже член Совета пятисот.

364

Тибодо Антуан-Клэр (1765–1854) – французский политический деятель, член Конвента, примыкал к Болоту; позже был членом Совета пятисот; во время наполеоновского режима был префектом, членом Государственного совета; после реставрации Бурбонов был изгнан из Франции; после июльской революции возвратился на родину; во время Второй империи получил звание сенатора.

365

«Монитер», т. XIX, стр. 81.

366

Массад, Трюллар, Нион, Марсе, Паррен, Мильер – комиссары Конвента в провинции, принимавшие участие в борьбе против контрреволюционных мятежей в 1793–1794 годах.

367

Сенека Луций-Анней (родился ок. 54 г. до н. э. – умер ок. 39 г. н. э.) – знаменитый древнеримский философ, историк и литератор; покончил с собой по приказу императора Нерона, заподозрившего его в заговоре против правительства.

368

Фокар – один из предводителей вандейских мятежников.

369

Камбиз – второй царь древней Персии (Ирана), сын Кира, покорил Африку. С дикой жестокостью расправлялся со своими врагами. Покончил жизнь самоубийством.

370

Друиды – название жрецов у древних кельтов.

371

Тевтат – один из главных богов у древних кельтов (бог войны).

372

Цезарь Кай-Юлий (100-44 гг. до н. э.) – политический деятель, полководец и историк в древнем Риме; захватив государственную власть, правил в качестве диктатора; был убит группой заговорщиков-сенаторов, выражавших интересы высшей земельной знати.

373

Моклерк Пьер – герцог бретонский (1213–1237), неоднократно восстававший против королевской власти ради сохранения политической автономии Бретани. Потерпев поражение, вынужден был передать управление Бретанью своему сыну. Участвовал в крестовом походе Людовика IX и был вместе с ним взят в плен. Умер в 1250 году.

374

Блуа – древний французский графский род, владевший большими землями в Бретани; впоследствии владения этого рода перешли к роду герцогов Шатильон; последний потомок этого рода продал свои владения герцогу Людовику Орлеанскому (1391). При короле Людовике XII территория Блуа была присоединена к землям короны.

375

Монфор Симон, де (1206–1265) – английский политический деятель, в 1263–1265 годах правил Англией в качестве протектора. При нем впервые в Англии был создан парламент, в который были допущены и представители городов.

376

Рене II, виконт де Роган (1550–1586) – французский аристократ, участник гражданских войн XVI века, командовал войсками гугенотов в крепости Ла Рошель.

377

Севинье Мари, маркиза, де (1626–1696) – известная французская писательница; ее письма к дочери представляют собой ценный исторический источник.

378

Троглодиты – общее название народов и племен древности, стоявших на крайне низком культурном уровне, живших в землянках и пещерах.

379

Кельты – группа племен, близких друг к другу по языку и материальной культуре, обитавших в течение долгого времени в Западной Европе, на территории от среднего течения Рейна и верховьев Дуная до Роны. Впоследствии они переселились во Францию и заняли

Бретань и Бельгию, северную часть Испании, Англию и Ирландию, позже – часть Италии и некоторые другие области Европы, а также Малой Азии. Во всех занятых ими областях кельты постепенно сливались с жившими там народами. В Северной Италии, северной Испании и Галлии (Франции и Бельгии), после покорения этих областей римлянами, кельты романизировались и утратили свой язык.

380

Гугеноты – название протестантов (кальвинистов) во Франции, утвердившееся с 50-х годов XVI века; главной опорой их являлись некоторые группы дворянства и некоторые слои торговой буржуазии, а также часть крестьянства (особенно на юге). Борясь за свободу вероисповедания, гугеноты боролись и против королевского абсолютизма, жестоко расправлявшегося с ними.

381

Тайефер – один из вожаков вандейских мятежников.

382

Гуж-ле-Брюан – один из предводителей вандейских мятежников.

383

Куртилье – один из вожаков вандейских мятежников.

384

«Господин Жак» – прозвище одного из предводителей вандейских мятежников.

385

Бернар де Вильнев – один из предводителей вандейских мятежников.

386

Шарль де Буагарди – один из предводителей вандейских мятежников.

387

Шальбос – один из предводителей вандейских мятежников.

388

Боэтиду – один из предводителей вандейских мятежников.

389

Пюизэ, т. II, стр. 35

390

Ределер (Ален) – один из предводителей вандейских мятежников.

391

Сапино, де (1736–1793) – один из главных предводителей вандейских мятежников, был убит в бою; среди руководителей мятежа был и его племянник, Шарль-Анри де Сапино (1760–1829).

392

Сепо Мари-Поль-Александр, виконт, де (1769–1821) – один из главных руководителей вандейских мятежников.

393

Тристан-Отшельник – один из вожаков вандейских мятежников.

394

Бернье, аббат – один из вожаков вандейских мятежников.

395

Жалиб д'Аржан – один из вожаков вандейских мятежников.

396

Форэ – один из вожаков вандейских мятежников.

397

Шуп – один из вожаков вандейских мятежников.

398

Нансиа – один из агентов французской дворянской эмиграции конца XVIII и начала XIX века.

399

Мелине Франсуа (1738–1793) – французский политический деятель и промышленник, был членом Конвента, в котором примыкал к жирондистам.

400

Пюизэ, т. II, стр. 35

401

Дюгесклен Бертран (1314–1380) – видный французский военачальник, выходец из бретонского дворянства, отличился своей храбростью во время Столетней войны между Францией и Англией.

402

Роже Мулинье – один из вожаков вандейских мятежников.

403

Бовилье, де, шевалье – один из вожаков вандейских мятежников.

404

Вимпфен Феликс, барон, де (1745–1814) – французский генерал и политический деятель, участник войн второй половины XVIII века. Во время гражданской войны 1793–1794 годов командовал армией, созданной жирондистами для борьбы против якобинской диктатуры. После того как эта армия была разбита войсками Конвента, Вимпфен скрывался вплоть до переворота 18 брюмера.

405

Федералисты – так якобинцы называли жирондистов за то, что они стремились ослабить политическую централизацию Франции и противопоставляли Парижу, центру революции, провинциальные города (особенно Южной и Западной Франции), на которые они стремились опереться в борьбе против якобинской диктатуры.

406

Ла Лозер – деятель французской революции, член Конвента, жирондист.

407

Горс Антуан-Жозеф (1751–1793) – деятель французской революции, публицист; был членом Конвента, примыкал к жирондистам; вел ожесточенную борьбу против Марата; пытался поднять Нормандию и Бретань против якобинской диктатуры; был казнен по приговору Революционного трибунала.

408

Мейян – деятель французской революции, член Конвента, жирондист.

409

Дюшатель – деятель французской революции, член Конвента.

410

Вильгельм Телль – согласно народной легенде начала XIV века, швейцарский крестьянин, отказавшийся поклониться шляпе австрийского эрцгерцога, повешенной на площади города Альторфа. В наказание за это императорский наместник Гесслер приказал ему стрелять в

яблоко, положенное на голову его сына; Вильгельм Телль сбил яблоко, не задев головы сына. Заключенный в тюрьму, он бежал из нее, подстерег Гесслера и убил его.

411

Сократ (ок. 469–399 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист, считавший, что главной задачей познания является самопознание и признававший тремя основными добродетелями умеренность (знание, как обуздывать страсти), храбрость (знание, как преодолевать опасность) и справедливость (знание, как соблюдать божественные и человеческие законы).

412

Никола Рапэн (1540–1608) – французский поэт и политический деятель, одно время был правителем Бретани и отстаивал ее самостоятельность от центральной (королевской) власти.

413

Лану Франсуа, де (1531–1591) – французский военачальник и политический деятель; один из руководителей партии гугенотов; участник гражданских войн XVI века; выходец из Бретани, пользовался большим влиянием в этой провинции.

414

Больше, чем гражданская война (лат.)

415

Своими глазами видел вчера дьявола (старо-франц.)

416

Скорбящая (лат.)

417

Святой Варнава повелел серпу жать траву (лат.)

418

Глас в пустыне(лат.)

419

Кобург – Имеется в виду австрийский генерал, герцог Кобургский, командовавший войсками европейской коалиции, которые действовали против революционной Франции.

420

В демоне – бог (лат.)

421

Гобель Жан-Батист-Жозеф (1727–1794) – деятель французской революции, член Учредительного собрания, был близок к якобинцам; в конце 1793 года публично снял с себя сан епископа; был казнен по приговору Революционного трибунала за принадлежность к оппозиционной фракции эбертистов-шометтистов.

422

В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 342

423

В. И. Ленин, Сочинения, т. 25, стр. 178

424

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVIII, стр. 81